

Генрих Джейне



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**

# Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией*

Н. Я. БЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,  
Я. М. МЕТАЛЛОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1958

# Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том

6

К РАЗЛИЧНОМУ ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ  
К ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ  
В ГЕРМАНИИ

РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ДУХИ СТИХИЙ

ФЛОРЕНТИНСКИЕ НОЧИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1958

*Редакция переводов*  
**Т. И. СИЛЬМАН**

*Комментарии*  
**А. А. МОРОЗОВА, Е. Ф. ПУРИЦ**  
**и Г. М. ФРИДЛЕНДЕРА**

*Перевод с немецкого*

**К РАЗЛИЧНОМУ  
ПОНИМАНИЮ  
ИСТОРИИ**





Книга истории встречает разнообразные толкования. Два совершенно противоположных воззрения выступают здесь с особенной отчетливостью. Одни во всех земных вещах видят только безнадежный круговорот: в жизни народов, как в жизни отдельных людей, как в органической природе вообще, они видят рост, расцвет, увядание и смерть—весну, лето, осень и зиму. «Нет ничего нового под солнцем» — таков их девиз; да и в нем тоже нет ничего нового, так как уже две тысячи лет тому назад его, вздыхая, шепотом произнес царь Востока. Они пожимают плечами по поводу нашей цивилизации, которая в конце концов ведь опять уступит место варварству; они качают головой, когда им напоминают о наших боях за свободу, которые только способствуют появлению новых тиранов; они посмеиваются над всеми порывами политического энтузиазма, который собирается сделать мир лучше и счастливее, но в конце концов все же остывает и никаких плодов не приносит; в мелочной летописи надежд, нужд, злоключений, страданий и радостей, ошибок и разочарований, которые заполняют жизнь отдельного человека, — в этой человеческой истории видят они историю человечества. В Германии особенной приверженностью этому взгляду отличаются мудрецы исторической школы и поэты гетевского эстетического периода; последние обыкновенно пользуются им для того, чтобы подсластить и приукрасить свой сентиментальный индифферентизм по отношению ко всем вопросам политической жизни родины.



Одно достаточно хорошо известное северогерманское правительство особенно ценит этот взгляд — ради его внедрения оно отправляет в путешествие людей, которым надлежит среди эгегических руин Италии развить в себе благодушно-успокоительный фатализм, чтобы потом, при посредстве проповедников христианского смирения, умерять с помощью компрессов из холодных газетных простыней трехдневную лихорадку народного свободолюбия. Что ж, кто не в состоянии вознестись вверх силой свободного духа, тот пусть ползает по земле, а будущее покажет этому правительству, чего можно добиться пресмыкательством и интригами.

Вышеизложенному фаталистическому взгляду противостоит другой, более светлый и более близкий к идее промысла взгляд, согласно которому все земное созревает, идя навстречу прекрасному совершенствованию, а великие герои и героические времена — только ступени, ведущие к высшему, богоподобному состоянию рода человеческого, нравственные и политические борения которого в конце концов приводят к священнейшему миру, чистейшему братству и вековечному блаженству. «Золотой век, — слышим мы от апостолов этого взгляда, — не позади нас, а перед нами; мы не изгнаны из рая пылающим мечом, а должны завоевать его пылающим сердцем, любовью; не смерть, а жизнь вечную дарит нам плод познания». «Цивилизация» — таков был в течение долгого времени их девиз. В Германии подобного взгляда придерживалась по преимуществу гуманитарная школа. Всем известно, с какой определенностью стремится к тому же так называемая философская школа. Она чрезвычайно способствовала исследованиям политических вопросов, и высшим порождением этого взгляда является проповедь идеального государственного строя, который, целиком покоясь на разумных основаниях, должен, в конечном итоге, облагородить и осчастливить человечество. Полагаю, что нет необходимости перечислять горячих поборников этого взгляда. Их высокие порывы во всяком случае отраднее, чем изгибы низменного пресмыкательства; если придется нам когда-нибудь вступить с ними в бой, мы обнажим для этого драгоценнейший почетный меч, а с пресмыкающимся прислушником расправимся более подходящим для него кнутом.

Оба взгляда, как я их обрисовал, не вполне отвечают нашим наиболее жизненным чувствам; с одной стороны, мы не хотим воодушевляться попусту и делать высшую ставку на преходящее; с другой стороны, мы хотим, чтобы и настоящее не теряло своей цены и чтобы оно не считалось только средством, а будущее — его целью. И в самом деле, мы чувствуем себя слишком значительными для того, чтобы смотреть на себя лишь как на средство для достижения какой бы то ни было цели; нам вообще представляется, что цель и средство — только условные понятия, вложенные в природу и историю человеческим мудрствованием и неизвестные творцу, ибо всякое создание имеет целью себя, и всякое событие обусловлено самим собою, и все, подобно самому миру, существует и происходит ради самого себя. Жизнь не есть ни цель, ни средство — жизнь есть право. Жизнь стремится осуществить это право в борьбе с леденящей смертью, с прошлым, и это осуществление права есть революция. Пусть в этой работе не сковывает нашу энергию эгегический индифферентизм историков и поэтов, и пусть фантастика утопистов не подбивает нас ставить на карту интересы дня и прежде всего нуждающееся в защите человеческое право — право на жизнь. «Le pain est le droit du peuple»,<sup>1</sup> — сказал Сен-Жюст, и это — величайшие слова, сказанные за всю революцию.

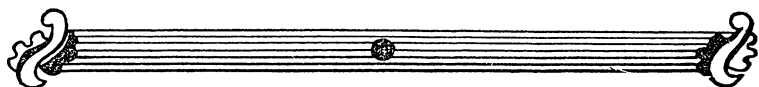
---

<sup>1</sup> Хлеб есть право народа (франц.).



**К ИСТОРИИ  
РЕЛИГИИ  
И ФИЛОСОФИИ  
В ГЕРМАНИИ**





## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Считаю пужбым обратить внимание немецких читателей на то, что статьи эти первоначально были написаны для французского журнала «Revue des deux mondes»<sup>1</sup> и имели перед собой определенную задачу, а именно: они относились к обзору событий немецкой духовной жизни, некоторые части которого были уже мною опубликованы для французских читателей и появились также на немецком языке под заглавием «К истории новейшей художественной литературы в Германии». Требования, предъявляемые периодической печатью, ее затруднительное финансовое положение, недостаток научных пособий, неудобства, связанные с моим пребыванием во Франции, недавно обнаруженный в Германии и примененный только ко мне закон об изданиях, вышедших за границу, и тому подобные осложняющие обстоятельства — все это не дало мне возможности расположить различные части этого обзора в хронологической последовательности и дать его под общим заглавием. Таким образом, книга эта, несмотря на внутреннее единство и внешнюю завершенность, является лишь отрывком некоего большего целого.

Я шлю моей родине самый дружеский привет.

Написано в Париже в декабре 1834 года.

*Генрих Гейне*

---

<sup>1</sup> «Обозрение Старого и Нового света» (франц.). (См. комментарий.)



## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Взяв после появления первого издания этой книги один экземпляр в руки, я пришел в немалый ужас от множества искажений, кишевших повсюду. Здесь недоставало прилагательного, там вводного предложения, выпущены были целые отрывки, без учета общей связи, так что местами исчезала не только мысль, но и общее направление мыслей. Не столько страхом Божиим, сколько страхом кесаревым была направляема рука, виновная в этих искажениях; трусливо вычеркивая все политически щекотливое, она пощадила все самое рискованное по отношению к религии. Так исчезло основное направление этой книги, по существу патриотически-демократическое, и жутким призраком усталился на меня из книги дух, мне совершенно чуждый, вызывающий в памяти схоластико-теологические словопрения и глубоко противный моей гуманистически терпимой натуре.

Вначале я льстил себя надеждой заполнить при втором издании пробелы этой книги; но никакое восстановление текста теперь невозможно, так как во время большого пожара в Гамбурге рукописный подлинник погиб в доме моего издателя. Память моя слишком слаба, чтобы восстановить погибшее; к тому же, состояние моих глаз не позволило бы мне взяться за внимательный пересмотр всей книги. Поэтому я довольствуюсь тем, что перевожу обратно с французского варианта, напечатанного ранее немецкого, некоторые наиболее обширные из выпущенных мест и вставляю их в текст. Одно из них, перепе-

чатанное многими французскими газетами, подвергавшееся обсуждению и упомянутое в прошлом году во французской палате депутатов одним из крупнейших государственных деятелей Франции, графом Моле, помещено в конце этого нового издания; пусть оно покажет, есть ли какая-нибудь доля правды в том «принижении и развенчивании» Германии в глазах иностранцев, в котором я, по уверениям некоторых честных людей, будто бы провинился. Если я и выразил свое недовольство старой официальной Германией, заплесневелой страпой филистеров,<sup>1</sup> — не создавшей, впрочем, ни одного Голиафа, ни одного великого человека, — то эти мои слова умудрились представить в таком виде, как будто здесь шла речь о подлинной Германии, о великой, таинственной, так сказать, безымянной Германии народа германского, спящего суверена, скипетром и короною которого играют мартышки. Такая клевета была тем легче для этих честных людей, что я в продолжение долгого времени был почти совершенно лишен возможности высказываться по поводу моих подлинных убеждений, в особенности после появления декретов Союзного сейма против «Молодой Германии», направленных главным образом против меня и поставивших меня в исключительно трудное положение, какого не знала до той поры история рабства печати. Когда впоследствии я получил возможность несколько ослабить намордник, мысли мои все еще оставались стесненными.

Предлагаемая книга есть фрагмент и фрагментом останется. Сказать по совести, мне было бы приятнее совсем не отдавать ее в печать. Дело в том, что после ее появления мои взгляды на некоторые вопросы, особенно на вопросы религиозные, изменились существенным образом, и многое из сказанного мною противоречит моим нынешним убеждениям. Но подобно тому, как раз выпущенная стрела, расставшись с тетивой, выходит из-под власти стрелка, так и слово, слетевшее с уст, не принадлежит сказавшему его, особенно если оно распространено по свсту печатью. Кроме того, не печатать этой книги и исключить ее из полного собрания моих сочинений — значило бы нарушить чужие права, с точки зрения которых мне могли быть

---

<sup>1</sup> Игра слов: Philister означает по-немецки «филистимлянин» и «филистер».



сделаны возражения весьма принудительного характера. Я, конечно, мог бы, как делают некоторые писатели в подобных случаях, прибегнуть к смягчению выражений, к прикрытию фразой, но я всей душой ненавижу двусмысленные слова, лицемерные цветочки, трусливые фиговые листки. Но во всяких обстоятельствах у честного человека остается неотъемлемое право открыто признать свои заблуждения, и этим правом я хочу здесь безбоязненно воспользоваться. Поэтому я безоговорочно признаю, что все относящееся в этой книге к великому вопросу о божестве столь же ложно, сколь несобудумно. Равным образом ложно и несобудумно повторенное мною вслед за школой утверждение, будто теория совершенно покончила с деизмом и лишь в мире явлений он влачит свое жалкое существование. Нет, неправда, будто критика разума, опровергнув доказательство бытия божьего, известные нам со времен Ансельма Кентерберийского, положила конец и самому бытию божьему. Деизм живет, живет самой живой жизнью, он не умер, и менее всего убила его новейшая немецкая философия. Эта паутинообразная берлинская диалектика неспособна выманить собаку из-под печки, она неспособна даже кошку убить, не то что бога. На самом себе я испытал, как безопасны ее смертоносные удары; она только и делает, что убивает, а жертвы ее продолжают жить. Некогда пивецар гегелевской школы, лютый Руге, твердо и бесповоротно объявил в «Галлеских ежегодниках», что убил меня насмерть своей привратничьей булавой, и, однако, в это самое время я разгуливал по парижским бульварам, целый и невредимый и более бессмертный, чем когда-либо. Милый бедный Руге! Он сам впоследствии не мог удержаться от самого искреннего смеха, когда я именно здесь, в Париже, признался ему, что в глаза не видал этих ужасных, смертоубийственных страниц «Галлеских ежегодников», и как мои полные, румяные щеки, так и превосходный аппетит, с которым я глотал устриц, убедили его в том, сколь мало подходило ко мне слово «труп». В самом деле, я был еще тогда здоров и дороден, находился в зените своей полноты и был надменен, как царь Навуходоносор перед падением.

Ах, несколько лет спустя произошла телесная и духовная перемена! Как часто с той поры возвращаюсь я мыслью к истории того вавилонского царя, который

возомнил себя господом богом, но позорно пал с вершины своего высокомерия, ползал зверем по земле и ел траву (думаю, что это был салат). В великолепно-грандиозной книге пророка Даниила рассказана эта легенда, и я рекомендую ее для назидательного размышления не только милейшему Руге, но и еще гораздо более непримиримому моему другу Марксу и даже господам Фейербаху, Даумеру, Бруно Бауэру, Генгстенбергу и как они там еще зовутся, все эти обожествившие себя безбожники! В библии вообще есть множество прекрасных и достопримечательных рассказов, заслуживающих их внимания, как, например, помещенное в самом ее начале сказание о запретном древе в раю и о змее, маленькой приват-доцентке, за шесть тысяч лет до рождения Гегеля излагавшей всю Гегелеву философию. Этот безногий синий чулок с чрезвычайным остроумием показывает, каким образом абсолюте заключаются в тождестве бытия и познания, как путем познания человек становится богом, или, что то же, как бог в человеке доходит до самопознания. Эта формула не так ясна, как первоначальные слова: «Если вкусите от древа познания, то будете как бог!» Из всего рассуждения госпожа Ева поняла лишь одно — что плод запрещен, а раз он запрещен, то она и вкусила его, эта милая женщина. Но, едва отведав соблазнительного яблока, она утратила свою невинность, свою наивную непосредственность, она сочла себя слишком обнаженной для особы ее положения, для родоначальницы стольких будущих кесарей и королей, и она потребовала себе платье. Правда, речь шла только о платье из фиговых листков, ибо в те времена еще не было льняных фабрикантов шелка, да к тому же в раю еще не знали портных и модисток. О, этот рай! Удивительное дело: едва женщина поднялась до мышления и самознания, как первой ее мыслью было: новое платье! И этот библейский рассказ, особенно речь змеи, не выходит у меня из головы, и я склонен поставить ее эпиграфом к этой книге, подобно тому как над садами знатных особ часто висит предостерегающая надпись: «Здесь расставлены западни и канканы».

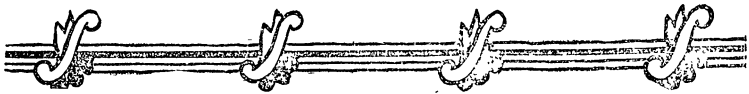
Уже в моей последней книге, в «Романсеро», я высказался по поводу происшедшей в моей душе перемены по отношению к вопросам религии. С тех пор много раз с христианской назойливостью меня допрашивали о том,

каким путем снизошло на меня это просветление. Набожные души, как видно, мечтают, чтобы я обогатил их каким-нибудь чудом, и они желали бы знать, не узрел ли я свет, подобно Савлу по пути в Дамаск, или не ездил ли, подобно Валааму, сыну Веора, на упрямой ослице, разверзшей уста и заговорившей по-человечьи. Нет, о набожные души, никогда не ездил я в Дамаск, ничего не знаю о Дамаске, кроме того, что недавно тамошних евреев обвинили в том, будто они пожрают старых капуцинов, и самое имя города было бы мне, вероятно, неизвестно, если бы я не читал «Песнь песней», где царь Соломон сравнивает пос своей возлюбленной с некоей башней, обращенной к Дамаску. Никогда не выдывал я и осла — по крайней мере четвероногого, — говорящего по-человечьи, тогда как встречал немало людей, которые всякий раз, когда открывали рот, говорили как ослы. В самом деле, ни видением, ни серафическим экстазом, ни гласом с небес, ни каким-либо необычайным сповидением или иным чудесным явлением не приведен я на путь благодати, и моим прозрением я обязан исключительно чтению одной книги. Книжки? Да, одной старой, простой книги, скромной, как природа, и, как природа, естественной; эта книга выглядит будничной и неприязательной, как солнце, нас согревающее, и как хлеб, нас питающий; книга, глядящая на нас так сердечно, так благостно-ласково, словно старая бабушка, которая ведь и читает ежедневно с очками на носу своими милыми дрожжащими губами эту книгу; и последняя так прямо и называется: «Книга» — «Библия». Правильно называют ее также «священным писанием»; кто потерял своего бога, может вновь обрести его в этой книге, а на того, кто его никогда не знал, вест от нее дыханием божественного слова. Евреи, знающие толк в драгоценностях, понимали очень хорошо, что делают, когда при пожаре второго храма бросили на произвол судьбы золотые и серебряные жертвенные сосуды, подсвечники и светильники и даже нагрудник первосвященника с крупными драгоценными камнями и спасли одну только библию. Она была истинным сокровищем во храме и, к счастью, не стала жертвою ни пламени, ни Тита Веспасиана, злодея, по рассказам раввинов так скверно кончившего дни свои. Еврейский священнослужитель, живший в Иерусалиме за двести лет до пожара второго храма, в блестящую эпоху Птолемея

Филадельфа, и звавшийся Иосуа бен-Сирах бен-Елиэзер, выразил взгляд своего времени на библию в собрании изречений «Мешалим», и я приведу здесь его прекрасные слова. Они богослужебно торжественны и, однако, так утолительно-свежи, словно вчера лишь исторглись из живой человеческой груди, и гласят: «Все это есть книга союза, заключенного с всевышним, а именно: закон, завещанный Моисеем дому Иакова. Отсюда истекала мудрость, подобно водам Фисона, когда он полноводен, и подобно водам Тигра, когда он весной разливается. Отсюда истекал разум, подобно Евфрату во время половодья и Иордану во время жатвы. Отсюда распространилась правдивость, подобно свету и подобно водам Нила осенью. Никогда не было человека, изучившего ее до конца, и вовеки не будет никого, кто постигнет ее до дна. Ибо смысл ее богаче всякого моря и слово ее глубже всякой бездны».

Написано в Париже в мае 1852 года.

*Георги Гейне*



## КНИГА ПЕРВАЯ

В течение последнего времени французам казалось, что они достигли некоторого понимания Германии, познакомившись с произведениями нашей изящной словесности. Этим путем, однако, они поднялись только от состояния полной безграмотности до поверхностного знания. Ибо произведения нашей художественной литературы остаются для них лишь немymi цветами, вся немецкая мысль остается для них чуждой загадкой, пока им не раскрылось значение, которое имеют в Германии религия и философия.

Пытаясь дать некоторые пояснения об этих двух предметах, я, как мне кажется, делаю полезное дело. Это для меня задача нелегкая. Приходится прежде всего обходиться без терминов школьного языка, совершенно неизвестного французам. С другой стороны, я не постиг тонкостей богословия и метафизики настолько, чтобы быть в состоянии формулировать их, согласно потребностям французских читателей, самым простым и кратким образом. Я затрону поэтому лишь основные вопросы, обсуждавшиеся в немецком богословии и в светской философии, и буду освещать лишь их социальное значение, неизменно при этом принимая во внимание ограниченность моих собственных популяризаторских средств и степень подготовленности французского читателя.

Великие немецкие философы, бросив, быть может, случайный взгляд на эти страницы, горделиво пожмут плечами по поводу скудного объема того, что я здесь излагаю. Пусть они, однако, благоволят сообразить, что то

темное, что сказано мною, выражено совершенно ясно и отчетливо, тогда как их собственные творения, правда, чрезвычайно основательны, беспредельно основательны, чрезвычайно глубокомысленны, поразительно глубокомысленны, но и в той же степени непонятны. Что пользы народу в запертых хлебных амбарах, если у него нет к ним ключей? Народ алкает знания и благодарен мне за кусочек хлеба духовного, который я честно с ним делю.

Я думаю, что не отсутствие таланта мешает большинству немецких ученых изложить в общедоступной форме их религиозное и философское учение. Я думаю, что причиной тому является страх перед результатами собственного их мышления, которые они не решаются сообщить народу. У меня же нет этого страха, так как я не ученый, я сам — народ. Я не ученый, я не принадлежу к семи сотням мудрецов Германии. Вместе с массою я стою пред воротами их мудрости, и как только какая-нибудь истина проскользнет оттуда, как только эта истина дойдет до меня, — этого уже достаточно: я записываю ее красивыми буквами на бумаге и передаю ее наборщику; он набирает ее свинцовыми литерами и передает печатнику, а тот печатает ее, и тогда она становится достоянием всего мира.

Религия, которую мы имеем удовольствие исповедовать в Германии, — христианство. Следовательно, мне предстоит рассказать, что такое христианство, как оно превратилось в римское католичество, как из последнего произошло протестантство, а из протестантства — немецкая философия.

Я начинаю с беседы о религии и заранее прошу все набожные души отнюдь не тревожиться. Не бойтесь, набожные души! Кощунственные шутки не оскорбят ваших ушей. Правда, такие шутки еще полезны в Германии, где важно в данную минуту нейтрализовать мощь религии. Мы ведь находимся там в таком же положении, в каком были вы до революции, когда христианство состояло в неразрывнейшем союзе со старым режимом. Невозможно было разрушить последний, пока первое еще сохраняло свое влияние на массу. Едкий смех Вольтера должен был прозвучать прежде, чем ударит топор Сансона. Однако как этот топор, так и тот смех по сути дела ничего не доказали, а только что-то осуществили. Вольтер мог ранить лишь тело христианства. Все его издевательства, почерпнутые

из истории церкви, все его остроты по поводу догматов и культа, по поводу библии, этой священнейшей книги человечества, по поводу девы Марии, этого прекраснейшего из цветов поэзии, весь лексикон философских стрел, направленных им против духовенства, — все это ранило лишь смертную плоть христианства, но никак не внутреннее его существо, не глубины его духа, не его вечную душу.

Ибо христианство есть идея, и потому оно неразрушимо и бессмертно, подобно всякой идее. Но что такое эта идея?

Именно потому, что идея эта еще не понята во всей ясности и внешняя ее оболочка принимается за существо, нет еще и истории христианства. Две враждующие между собой партии пишут историю церкви, непрестанно противореча друг другу, но никогда ни одна из них не сумеет определить, в чем идея, составляющая существо христианства, ищущая раскрытия в его символике, в его догматах и культе, во всей его истории и выразившаяся в действительной жизни христианских народов! Ни Барониус, кардинал католический, ни протестантский гофрат Шрек не открывают нам, в чем, собственно, заключалась эта идея! И даже изучив все фоллианты коллекции соборных материалов Манси, свод литургий Ассемани и всю «*Historia ecclesiastica*»<sup>1</sup> Саккарелли, вы не уясните себе, в чем, собственно, заключалась идея христианства. Что же видите вы в историях церкви восточной и западной? В первой, в истории восточной церкви, вы не находите ничего, кроме догматических ухищрений, в которых дает себя знать древнегреческая софистика; во второй, в истории западной церкви, вы не находите ничего, кроме препирательств о дисциплине, имеющих в виду церковные интересы, причем в новых формах и средствах принуждения заочно выступают древнеримская юридическая казуистика и политика. В самом деле, подобно тому, как спорили в Константинополе о *логосе*, так препирались в Риме об отношении властей светской и церковной; и как там предметом разногласий были единосущие, так здесь — инвестиатура. Но за византийскими вопросами — «единосущен ли логосу бог-отец?», «надлежит ли Марии именовать богородицей или человекородицей?», «голодал ли Христос из-за

---

<sup>1</sup> «Церковную историю» (лат.).

отсутствия пищи или потому, что хотел голодать?» — за всеми этими вопросами скрываются придворные интриги, разрешение которых зависит от того, о чем шушукуются и хихикают в покоях *Sacri Palatii*,<sup>1</sup> о том, например, падет ли Евдокия или Пульхерия, ибо вторая из этих дам ненавидит Нестория, раскрывшего ее любовные шашни, а первая — Кирилла, находящегося под покровительством Пульхерии; все в конце концов сводится единственно к сплетням баб и евнухов, и, говоря о догмате, преследуют или выдвигают человека, а говоря о человеке, — партию. То же самое происходит на Западе: Рим хотел властвовать; «когда пали его легионы, он разослал по провинциям свои догматы»; все религиозные раздоры имели в своей основе притязания Рима; все сводилось к упрочению единого верховенства римского епископа. В вопросах чисто религиозных он всегда был очень снисходителен, но при посягательстве на права церкви метал громы и молнии; он мало препирался о лицах во Христе, но много о выводах из Исидоровых декреталий; он централизовал свое могущество при посредстве канонического права, назначения епископов, принижения власти государей, учреждения монашеских орденов, celibата и т. п. Но разве это есть христианство? Раскрывается ли при чтении этих историй идея христианства? Что такое эта идея?

Как эта идея слагалась исторически и обнаруживалась в мире явлений, можно видеть уже в первые века нашей эры, особенно если без предубеждения изучить историю манихеев и гностиков. Несмотря на то, что первые объявлены еретиками, а вторые обесславлены, несмотря на то, что и те и другие прокляты церковью, следы их влияния на учение все же сохранились, из их символики развилось католическое искусство, и вся жизнь христианских народов проникнута их образом мыслей. По существу манихеи не слишком отличаются от гностиков. Общим для тех и других является учение о двух враждующих между собой началах — добре и зле. Первые, манихеи, заимствовали это учение из древнеперсидской религии, где Ормузд, свет, враждебно противопоставлен Ариману, мраку. Вторые, собственно гностики, верили больше в предсуществование доброго начала, объясняя возникновение злого

---

<sup>1</sup> Священного дворца (*лат.*). (См. комментарии.)



начала как эманацию через ряд поколений эонов, которые, постепенно отдаляясь от своего первоисточника, все более омрачаются и ухудшаются. Согласно учению Керинфа, создателем нашей вселенной был совсем не высший бог, но лишь его эманация, один из эонов, подлинный демург, постепенно переродившийся и теперь враждебно, как злое начало, противостоящий доброму началу — логосу, непосредственно испещшему из высшего божества. Это гностическое мировоззрение — индийское по своим первоисточникам; оно принесло с собой учение о воплощении бога, об умерщвлении плоти, о духовном самоуглублении, оно породило аскетически-созерцательную жизнь монахов, этот чистейший цвет христианской идеи. Подобная идея смогла найти лишь чрезвычайно смутное выражение в догматике и чрезвычайно неясное в культе. Однако повсюду, как мы видим, выступает учение о двух началах: благому Христу противостоит злой сатана; представителем мира духовного является Христос; материю представляет сатана; одному принадлежит наша душа, другому — наше тело. И в согласии с этим весь мир явлений, природа, изначально есть мир зла, и сатана, царь тьмы, стремится при посредстве ее соблазнов погубить нас. Потому следует отречься от всех радостей жизни, чувств, предать наше тело, достояние сатаны, истязаниям, дабы тем прекраснее душа возносилась в пресветлые небеса, в лучезарное царство Христово.

Такое воззрение на мир, представляющее сущность идеи христианства, с невероятной быстротой, подобно заразной болезни, распространилось по всей Римской империи; в продолжение всего средневековья длились страдания — то в виде горячечного неистовства, то в виде мертвеиного бессилия, и мы, люди нового времени, до сих пор ощущаем судороги и слабость в наших членах. Если кое-кто из нас уже выздоровел, то он все-таки не может вырваться из общей атмосферы лазарета и, в качестве единственного здорового среди массы больных, чувствует себя несчастным. Со временем, когда человечество вновь обретет свое здоровье, когда будет восстановлен мир между душою и телом и они вновь сольются друг с другом в первичной гармонии, тогда едва ли возможно будет даже понять искусственную вражду, созданную между ними христианством. Более счастливые и лучшие поколения,

зачатые в объятиях свободно избранной любви, возрастут в религии радости и с сострадательной улыбкой будут взирать на своих бедных предков, мрачно воздерживавшихся от всех наслаждений этой прекрасной земли и вследствие умерщвления теплой, многоцветной чувственности превратившихся чуть ли не в оледенелые привидения! Да, со всей определенностью я утверждаю: наши потомки будут прекраснее и счастливее нас. Ибо я верю в прогресс, верю, что человечество создано для счастья, и я, следовательно, более высокого мнения о божестве, чем все эти набожные люди, воображающие, будто бог создал человечество только для страдания. Уже здесь, на земле, хотел бы я, при благодатном посредстве свободных политических и промышленных учреждений, утвердить то блаженство, которое, по мнению набожных людей, воцарится лишь на небесах в день страшного суда. А быть может, и то и другое — лишь глупая надежда, и не существует никакого воскресения человечества, ни в нравственно-политическом, ни в апостольско-католическом смысле.

Быть может, человечество обречено на вечное страдание, и народы, быть может, осуждены на то, чтобы во веки веков их попирали деспоты, эксплуатировали клеветы этих деспотов и поносили лакеи.

Ах, в таком случае следовало бы все же стремиться к сохранению христианства, даже признав в нем только заблуждение, следовало бы босиком и в монашеской рясе бегать по Европе, проповедуя ничтожество всех земных благ и самоотречение, протягивая утешительное распятие бичуемым и осмеянным людям и обещая им после смерти все семь небес там, наверху.

Быть может, именно потому, что владыки мира сего уверены в своей мощи и в глубине души решили во веки веков пользоваться ею, во вред нам, они проникнуты убеждением в необходимости христианства для своих народов, и по существу не что иное, как чуткая человечность побуждает их столь усиленно заботиться о поддержке этой религии!

Таким образом, конечная судьба христианства зависит от того, нужно ли оно еще нам. В продолжение восемнадцати веков религия эта была благодеянием для страждущего человечества, она была провидением, была божественна, священна. Все, чем послужила она цивилизации,

смирив сильных и придавая силу смиренным, связывая народы единым чувством и единым языком, и все прочее, за что прославляют ее апологеты, — все это даже незначительно в сравнении с тем великим утешением, которое она самую сущностью своей дарила людям. Вечной славы достоин символ этого страждущего бога, спасителя в терновом венце, распятого Христа, кровь которого была подобна целительному бальзаму, струившемуся на раны человечества. В особенности поэт признает с благоговением суровое величие этого символа. Вся система символов, выразившаяся в искусстве и жизни средневековья, будет во все времена вызывать изумление поэтов. В самом деле, какая исполинская последовательность существует в христианском искусстве, особенно в архитектуре! Эти готические соборы — как согласованы они с культом и как раскрывается в них самая идея церкви! Все здесь стремится ввысь, все пресуществляется: камень разрастается в ветви и листву и становится деревом; плод виноградной лозы и хлебного колоса становится кровью и плотью; человек становится богом; бог становится чистым духом! Бесценно, неисчерпаемо богатство матерпала, который представляет для поэтов христианская жизнь средних веков. Лишь благодаря христианству могли создаться на этой земле положения, дающие столь дерзкие контрасты, такую живописность скорби, столь разнообразную красоту, что может показаться, будто ничего этого в действительности не было, что все это — лишь грандиозный горячечный бред, бред какого-то сошедшего с ума бога. Даже природа в эту пору как будто скрывалась в фантастическом наряде; тем не менее, хотя человек, затерявшийся в отвлеченных умозрениях, с досадой отворачивался от нее, она пробуждала его иногда голосом, столь ушлыо-сладостным, столь жутко-ласковым, столь колдовски-манящим, что человек невольно прислушивался, и улыбался, и пугался, и даже иной раз заболел смертельной болезнью. Мне приходит здесь на память история базельского соловья, и так как вам она, вероятно, неизвестна, то я расскажу ее.

В мае 1433 года, в дни Базельского собора, в пригородную рощу отправилась погулять компания духовных лиц: прелаты и доктора, монахи всех оттенков; они вели диспут о теологических разногласиях и аргументировали

или препиралась об аннатах, экспектативах и резервациях, или углублялись в вопрос о том, кто выше как философ — Фома Аквинский или Бонавентура — и тому подобное. Но вдруг посреди этих догматических и абстрактных дискуссий они смолкли и остановились как вкопанные перед цветущею липой — на ней сидел соловей, который, ликуя и рыдая, разливался в нежнейших и сладчайших мелодиях. Душу ученых мужей объяло при этом небывало блаженное томление, теплые звуки весны ворвались в их заостреннейшие от схоластики сердца, их чувства пробудились от тяжкого зимнего сна, они глядели друг на друга в недоумешном восторге, — пока, наконец, один из них не прервал молчания пронизательным замечанием, что тут что-то неладно, что этот соловей, возможно, дьявол и что этот дьявол вознамерился своим сладкозвучным пением отвлечь их от христианского собседования и совлечь на путь похоти и иных сладостных прегрешений; и он стал произносить заклинания, начав, вероятно, с обычной в те времена формулы: «*Adjuro te per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos*»<sup>1</sup> и т. д., и т. п. На это заклинание птица, говорят, ответила: «Да, я злой дух!» — и со смехом улетела; те же, кто слышал ее песню, в тот же самый день заболели и вскоре за тем скончались.

Этот рассказ, по-видимому, не нуждается в комментариях. Он целиком проникнут мрачным духом того времени, которое отвергало в качестве дьявольского соблазна все сладостное и милое. Оклеветан был даже соловей, и люди осеяли себя крестом, когда слышали его пение. Истинный христианин бродил среди цветущей природы, трусливо отрешившись от своих чувств, подобно абстрактному призраку. Об этом отношении христианина к природе я, быть может, поговорю подробнее в одной из дальнейших книг, где мне придется для уяснения новоромантической литературы основательно заняться немецкими народными верованиями. Пока ограничусь замечанием, что французские писатели, введенные в заблуждение некоторыми немецкими авторитетами, весьма ошибаются, полагая, что народная вера в средние века была одинакова во всей Европе. Лишь относительно доброго начала, царства

---

<sup>1</sup> Заклинаю тебя тем, кто грядет судить живых и мертвых (лат.).

Христова, вся Европа держалась одного мнения; об этом заботилась римская церковь, и кто отступал в этом вопросе от предписанного воззрения, тот был еретик. Но насчет злого начала, царства сатаны, в различных странах существовали различные взгляды, и германский север имел об этом совсем иные представления, нежели романский юг. Причиной было то, что христианское духовенство не отвергло прежних народных богов в качестве пустых порождений фантазии, но признало их действительное существование, утверждая, однако, что все эти боги — сплошь дьяволы и дьяволицы, которые вследствие победы Христа утратили свою власть над людьми и теперь хитростью и обольщением стараются совлечь их на путь греха. Весь Олимп превратился теперь в надземный ад, и как бы вдохновенно ни воспевал средневековый поэт приключения греческих богов, набожный христианин видел в них лишь дьяволов и наваждение. С наибольшим ожесточением обрушился мрачный бред монахов на бедную Венеру; именно она более других слыла дочерью Вельзевула, и любезный рыцарь Тангейзер даже говорит ей в лицо:

Венера, госпожа моя,  
Ведь вы же дьяволица!

Дело в том, что она заманила Тангейзера в ту волшебную пещеру, прозванную Венериной горой, где, согласно старым легендам, красавица богиня ведет вместе со своими девицами и женихами распутнейшую жизнь среди игр и плясок. Даже бедной Диане, несмотря на все ее целомудрие, не удалось избежать подобной же судьбы, и ее заставили проноситься ночами вместе с ее нимфами по лесам, и отсюда явилось сказание о пейстовом воинстве, о дикой охоте. Здесь во всей полноте еще проступает гностическое воззрение о постепенном перерождении того, что было некогда божественным, и в этой трансформации прежней народной веры наиболее глубокомысленно проявляется идея христианства.

Народная вера в Европе, на севере еще больше, чем на юге, была пантеистической, ее мистерии и символы относились к поклонению природе, в каждой стихии чтили сверхъестественное существо, в каждом дереве дышало божество, весь видимый мир был пронизан божественным началом; христианство перевернуло это представление вверх но-

гами, и место природы обожествленной запыла природа, пронизанная дьявольским началом. Но жизнерадостные, ставшие благодаря искусству еще более прекрасными образы греческой мифологии, господствовавшей вместе с римской культурой на юге, не так легко было превратить в отвратительные, ужасающие лики сатаны, как образы германских богов, в оформлении которых, конечно, не пришивало участия никакое особое художественное чутье и которые и раньше были так же мрачны и угрюмы, как самый север. Поэтому у вас во Франции и не могло быть создано такое темное и страшное царство нечистой силы, как у нас, и даже мир привидений и чудес получил у вас более светлый облик. Как красивы, ясны и многоцветны ваши народные предания в сравнении с нашими, этими уродами, сотканными из крови и тумана, тупо и злобно скалящими на нас свои зубы! Наши средневековые поэты, пользуясь по преимуществу сюжетами, созданными или впервые обработанными у вас в Бретани или Нормандии, быть может намеренно придали своим произведениям как можно больше этого веселого старофранцузского духа. Но в наших национальных эпопеях и в устных народных преданиях сохранился этот мрачный северный дух, о котором вы вряд ли имете представление. И у вас, как и у нас, есть много разнородных духов стихий, но наши отличаются от ваших так же, как немец от француза. Как светлокожи и, главное, как опрятны черти в ваших фэбли и волшебных романах в сравнении с нашей черной и очень часто отвратительно грязной бесовской поганью! Ведь ваши фэйи и духи стихий, откуда бы вы их ни позаимствовали, из Корнуолла или из Аравии, превосходно натурализовались у вас, и какой-нибудь французский дух отличается от немецкого, как денди, фланкирующий в желтых лайковых перчатках по бульвару Кобланс, от пуклюжого немецкого грузчика. Ваши русалки, например Мелузина, отличаются от наших, как принцесса от прачки. Как перепугалась бы фэйя Моргана, встретив немецкую ведьму, вымазанную притираниями и нагишом взлетающую верхом на помеле на Брокен. Эта гора — не веселый Авалон, а место сборищ всего дикого и мерзкого. На вершине горы восседает сатана в образе черного козла. Каждая ведьма со свечой в руке приближается к нему и лобызает его сзади, пониже спины. Затем поганое бабье

пляшет вокруг него, распевая: «Дондеремус, Дондеремус!» Блеет козел, ликует адский канкан. Недобрый знак для ведьмы, ежели в этой пляске она теряет башмак: это значит, что быть ей сожженной еще в этом году. Но все страшные предчувствия заглушены безумной, истинно берлиновской музыкой шабаша; и когда поутру бедная ведьма пробуждается от своего пьяного угара, она лежит, голая и истомленная, в золе подле потухшего очага.

Наиболее полные сведения об этих ведьмах можно найти в «Демонологии» достопочтенного и высокоученого доктора Николауса Ремигиуса, уголовного судьи его светлости герцога Лотарингского. Сей проникательный муж имел поистине наилучшую возможность проникнуть в тайны ведьм, так как он руководил судом над ведьмами и в его времена в одной Лотарингии было сожжено на костре восемьсот женщин, уличенных в колдовстве. Судебное разбирательство в большинстве случаев заключалось в следующем: связав им руки и ноги, их бросали в воду. Если они шли ко дну и тонули, то, значит, они не были виновны; если же они держались на поверхности, то их признавали виновными и сжигали. Такова была логика того времени.

Основной чертой характера немецких демонов представляется нам отсутствие в них всего идеального; пошлое смешано в них с ужасным. Чем грубее их повседневный облик, тем более зловещее впечатление производят они на нас. Нельзя себе представить ничего более жуткого, чем наши домовые, кобольды и гномы. «Антроподемус» Преториуса посвящает этому одну страничку, которую я привожу здесь по Добенеку:

«Предки наши иначе и не могли представить себе домовых, как в человеческом образе, только в виде маленьких детей в пестром платьице или юбочке. Некоторые добавляют, что кое у кого из них воткнуты в спину ножи, а у иных что-либо другое — смотря по тому, как и каким орудием они были убиты — и что облик у них страшный. Ибо суеверные люди считают, что это непременно души когда-то убитых в доме людей. И болтают они всякие истории, будто, к примеру, бывало, что кобольды немножко пособляли кухаркам и служанкам в доме и становились им милы. И кое-кому поэтому кобольды столь полюбились, что им пламенно хотелось увидеть своих маленьких

прислужников и сблизиться с ними, на что, однако, домовые никогда не соглашались, отговариваясь тем, что их нельзя увидеть, не придя от этого в ужас. Но когда похотливые служанки все же не отступали, то кобольды будто бы назначали им в доме местечко, куда они явятся во плоти; только надо при этом захватить с собой ведро холодной воды. И тут случалось, что такой кобольд оказывался лежащим голышом на подушке на чердаке с большим ножом мясника в спине. И девушка так пугалась, что падала без чувств. Тут он вдруг ескакивал и обливал ее с ног до головы водой, чтобы она пришла в себя. Это отбивало у служанок их похоть и охоту когда-нибудь увидеть опять своего Химхен. <sup>1</sup> У всякого кобольда ведь есть свое имя, но вообще они называются именем Хим. <sup>1</sup> И за работников и за служанок, которым они преданы, они делают всякую работу по дому: чистят и кормят лошадей, чистят конюшню, все подметают, кухню держат в чистоте и все прочие домашние работы исполняют тщательно, и скотина при них входит в тело и здоровеет. Зато, говорят, они требуют от прислуги ласки: чтоб никакой им не было обиды, чтобы над ними не смеялись и не отказывали им в еде. Раз уже кухарка, к примеру, взяла себе такого тайного пособника в дом, то должна она ежедневно ставить в установленном месте в доме горшочек с приготовленным добрым кушаньем, сама же она может уйти куда угодно и вольна потом лентяйничать, с вечера рано лечь спать — все равно ранним утром она найдет свою работу сделанной. Но стоит ей хоть раз забыть о своей обязанности, например не выстелить пищи, как придется ей вновь самой справлять всю работу, и во всем будет ей неудача: то кипятком ошпарится, то горшки и посуду перебьет, то кушанье опрокинет или на пол уронит или еще что-нибудь сделает, за что се непременно разругает хозяйка или хозяин; и людям приходилось не раз слышать, как при этом домовой хихикает или хохочет. И, говорят, такой домовой всегда остается в своем доме, хотя бы прислуга переменилась. Мало того, уходя с места, служанка должна препоручить и наилучшим образом отрекомендовать домового своей преемнице, чтобы и та ухаживала за ним. И если та, бывало, не соглашалась,

<sup>1</sup> Х и м, Х и м х е н — уменьшительные от имени Иоахим.



то и на нее сыпались всякие бедствия и ей приходилось вскоре расстаться с этим домом».

К самым страшным историям принадлежит, пожалуй, следующий маленький рассказ:

«В течение многих лет был у одной служанки домовой-невидимка, сидевший у ее очага, где она отвела ему уголок и где долгие зимние вечера напролет проводила с ним в разговорах. Вот однажды попросила девушка: пусть маленький Гейнц — так звали духа — покажется ей в своем природном виде. Но Гейнц все отказывался. Наконец, однако, он согласился и велел ей спуститься в погреб, — там-де она его увидит. Девушка берет свечу, спускается в погреб и там видит в открытой бочке плавающего в крови ребенка. А она много лет назад родила вне брака дитя, тайно убила его и спрятала в бочку».

И все же (таковы уж немцы — они часто ищут развлечения даже в ужасном) народные сказания о домовых подчас полны забавных черточек. Особенно заняты рассказы о Гюдекене, домовом, выкидывавшем свои штуки в Гильдесгейме в XII столетии и очень часто упоминаемом на посиделках и в романах о привидениях. Не раз воспроизведенное в печати место из старинной летописи сообщает о нем следующее:

«Около 1132 года в епископстве Гильдесгеймском в течение долгого времени многим людям показывался злой дух в образе крестьянина в шляпе, отчего крестьяне прозвали его на своем саксонском наречии Гюдекен.<sup>1</sup> Этому духу нравилось водиться с людьми, являться им то видимым, то невидимым, спрашивать их и отвечать на их вопросы. Он никого не обижал без причины. Если, однако, кто-либо высмеивал или как-нибудь оскорблял его, то он расплачивался за обиду в полной мере. Когда граф Бурхард де Лука был убит графом Германом Визенбургским и владениям последнего грозила опасность стать добычей мстителей, Гюдекен разбудил спавшего епископа Гильдесгеймского Бернгарда и обратился к нему с такими словами: «Вставай, плешивый! Из-за этого убийства графство Визенбургское покинуто и беззащитно, и ты легко можешь занять его». Епископ немедленно собрал свою рать, папал на землю провинившегося графа и, с разре-

<sup>1</sup> Шляпчонка.

пения императора, присоединил ее к своей епархии. Дух нередко по собственному почину предостерегал упомянутого епископа от грозящих ему опасностей и особенно часто появлялся в дворцовой кухне, где разговаривал с поварами и оказывал им всякие услуги. Так как понемногу все свыклись с Гюдекемом, то один поваренок осмелел до того, что всякий раз при его появлении дразнил его и даже обливал помоями. Домовой попросил главного повара или управляющего кухней запретить проказнику его озорство. Главный повар возразил: «Ты дух, а боишься мальчика», на что Гюдекем ответил угрозой: «Раз ты не хочешь наказать озорника, то я через несколько дней покажу тебе, как я его боюсь». Вскоре после этого мальчик, оскорбивший домового, сидел как-то один и дремал в кухне. Воспользовавшись этим, домовый схватил его, задушил и разорвал на куски, которые он поставил в горюшках на огонь. Заметив эту проделку, повар стал проклинать домового, но на следующий же день Гюдекем испортил все жаркие на вертелах, облив их ядом и жабьей кровью. Эта месть вызвала новые проклятия повара, за которые дух в конце концов повел его через пригрезившийся тому несуществующий мост и сбросил в глубокий ров. В то же время, неустанно обходя ночным дозором городские стены и башни, он принуждал стражу к постоянной бдительности. Один человек, имевший неверную жену, как-то, собираясь в отъезд, сказал в шутку Гюдекему: «Друг мой, поручаю тебе мою жену, присматривай за ней хорошенько». Как только муж уехал, распутница стала нускать к себе одного любовника за другим. Но Гюдекем ни одного не подпустил к ней, а сбрасывал всех с кровати на пол. Когда муж возвратился, домовый встретил его далеко от дома и сказал: «Очень рад твоему возвращению: наконец-то я освобожусь от тяжелой службы, которую ты возложил на меня. С несказанным трудом я оберег твою жену от настоящей измены. Но, прошу тебя, впредь никогда не поручай ее мне. Я охотнее стерег бы свиней во всей Саксонии, чем женщину, стремящуюся путем всяких ухищрений попасть в объятия к своим любовникам».

Точности ради я должен заметить, что головной убор Гюдекема отличается от обычного наряда домовых. Они большею частью одеты в серое и носят красный колпачок

на голове. Такими по крайней мере они являются в Дании, где теперь, говорят, их больше всего. Прежде я думал, что домовые так охотно проживают в этой стране из любви к сладкой гречневой каше. Но один молодой датский писатель, г-н Андерсен, с которым я имел удовольствие встретиться этим летом в Париже, с полной определенностью уверял меня, что «ниссы», как называют в Дании домовых, всего охотнее едят размазную с маслом. Раз обосновавшись в доме, домовые уж не склонны уходить из него. Однако без предуведомления они не вселяются и если вздумают куда вселиться, то предупреждают хозяина таким образом: ночью натаскивают в дом всяких щепок, а в молочную посуду набрасывают навоз. Если хозяин не выкинет этих щепок и если он с семьей отопьет загаженного молока, домовые навсегда остаются у него. Для многих людей это оказалось очень неудобно. Одному бедному ютландцу до такой степени наскучило сожительство с таким домовым, что он решил даже бросить свой дом, нагрузил свои пожитки на телегу и поехал в соседнюю деревню, чтобы там поселиться. Но по дороге, обернувшись, он увидел головку домового в красной шапочке, который выглядел из пустого бочонка и дружески закричал ему: «Wi Hütten!» («Перебираемся!»)

Быть может, я слишком заговорился об этих маленьких демонах и пора мне вернуться к большим. Но все эти сказания иллюстрируют верования и характер немецкого народа. В течение минувших столетий верования эти не уступали по силе церковной религии. Закончив свой большой труд о ведьмах, ученый доктор Ремигнус считал себя столь глубоким знатоком предмета, что вообразил в себе колдовские способности; и в качестве человека добросовестного он не преминул донести на себя как на колдуна судебным властям; в результате этого доноса он был сожжен как колдун.

Христианская церковь была хоть и косвенным, но все же источником этих ужасов, потому что она так коварно извратила старогерманскую народную религию, преобразовала пантеистическое мировоззрение германцев в пандемоническое, превратила прежние святые народы в отвратительную чертовщину. Но человек неохотно расстаётся с тем, что было мило и дорого ему и его предкам, и чувства его втайне цепляются за это прошлое, хотя бы оно

было изуродовано и искажено. Оттого эта извращенная народная религия, быть может, дольше удержится в Германии, чем христианство, не имеющее, подобно ей, корней в национальном характере. В эпоху Реформации исчезла очень быстро вера в католические легенды, но не вера в колдовство и ведовство.

Лютер уже не верит в католические чудеса, но верит еще в чертовщину. Его «Застольные речи» полны курьезных рассказов об ухищрениях сатаны, о домовых и ведьмах. Самому ему в тяжелые минуты казалось, что он борется с дьяволом во плоти. В Вартбурге, где Лютер переводил Новый завет, дьявол так мешал ему в работе, что тот запустил ему в голову чернильницей. С тех пор дьявол очень боится чернил, но еще больше боится он типографской краски. О хитрости дьявола немало рассказано забавных историй в упомянутых «Застольных речах», и я не могу удержаться, чтобы не привести одну из них.

«Доктор Мартин Лютер рассказывал, что однажды несколько добрых приятелей собрались за выпивкой. Был среди них один отчаянный парень, и вот он говорит, что если бы кто поднес ему доброе угощение, он продал бы ему за это свою душу.

Немного времени спустя входит в комнату некто, садится подле него, бражничает с ним и, поговорив со всеми, обращается к тому, кто решился на такое дело:

«Слушай-ка, ты давеча сказал, что за угощение ты бы продал свою душу?»

Тот повторил: «Да, я готов, дай только мне сегодня порядком покутить, пображничать и повеселиться».

Пришедший — это был дьявол — согласился и тут же скрылся. Когда же гуляка целый день прокутил и под конец совсем напился, является тот же человек, то есть дьявол, садится подле него, говорит с прочими собутыльниками и спрашивает: «Как полагаете, господа любезные, сжели кто купит лошадь, то принадлежат ему также седло и уздечка?» Они все перепугались, а этот человек говорит: «Ну, отвечайте-ка живей». Тут они согласились и сказали: «Да, седло и уздечка тоже его». Тут дьявол хватает этого отчаянного озорника и уносит его сквозь потолок, так что никто и не знал, куда он делся.

При всем моем величайшем уважении к нашему великому учителю Мартину Лютеру, я все же полагаю, что он

совершенно не понял характера сатаны. Сатана совсем не с таким пренебрежением относится к плоти, как здесь рассказано. Много плохого можно рассказать о черте, но никак нельзя обвинить его в том, что он спиритуалист.

Но еще менее, чем образ мыслей черта, понял Мартин Лютер образ мыслей папы и католической церкви. Мое строгое беспристрастие заставляет меня взять под свою защиту и Лютера и католическую церковь, равно как и черта, от чересчур уж рьяного противника. Мало того, если бы меня по совести спросили, я бы признал, что папа Лев X был в сущности гораздо разумнее Лютера и что последний совершенно не понял глубочайших основ католической церкви. Ибо Лютер не понял, что идея христианства — полное уничтожение чувственности — слишком сильно противоречит человеческой природе, чтобы эта идея могла когда-либо быть полностью осуществлена в жизни; он не понял, что католичество было как бы конкордатом между богом и дьяволом, то есть между духом и материей, что тем самым провозглашалось единодержавие духа в теории, но материи предоставлена была возможность пользоваться на практике всеми ее аннулированными правами. Отсюда мудрая система уступок, которые церковь сделала в пользу чувственности, хотя и неизменно в формах, клеймивших всякое проявление чувственности и обеспечивавших духу его высокомерные посягательства. Тебе позволено следовать нежным склонностям сердца и обнимать красивую девушку, но ты обязан признать, что это было постыдным прегрешением, и в этом прегрешении ты обязан покаяться. То, что это отпущение грехов случалось за деньги, было столь же благодетельно для людей, сколь полезно для церкви. Церковь взимала, так сказать, денежный штраф за всякое плотское наслаждение, и таким-то образом возникла такса на все сорта грехов и явились святые разносчики, торговавшие от имени римской церкви отпущениями всякого таксированного греха, и одним из таких продавцов был тот самый Тецель, против которого Лютер выступил прежде всего. По мнению наших историков, этот протест против торговли индульгенциями был незначительным событием, и только благодаря упорству Рима Лютер, восставший первоначально лишь против одного из злоупотреблений церкви, был вынужден перейти к нападению на авторитет самой церкви в лице ее высшего

представителя. Но это ошибка: торговля индульгенциями не была злоупотреблением, она была прямым следствием всей церковной системы, и, нападая на нее, Лютер нападал на самую церковь, которая и должна была осудить его как еретика. Лев X, утопченный флорентинец, ученик Полициано, друг Рафаэля, этот греческий философ в тройной тиаре, возложенной на него конклавом, быть может за то, что он страдал болезнью, происходящей совсем не от христианского воздержания и в те времена еще очень опасной, — как посмеивался, вероятно, этот Лев Медичи над бедным, целомудренным, наивным монахом, вообразившим, будто евангелие есть конституционная хартия христианства и будто хартия эта есть истина! Он, возможно, даже не заметил, чего хотел Лютер, так как слишком занят был постройкой собора св. Петра, который как раз и возводился на доходы с продажи индульгенций. Таким образом, грех стал своеобразным источником средств на сооружение этого храма, который поэтому явился как бы памятником чувственных наслаждений, подобно пирамиде, воздвигнутой египетской блудницей на деньги, добытые проституцией. С большим правом, чем о Кельнском соборе, об этом божьем храме можно, пожалуй, сказать, что он построен дьяволом. На немецком севере не поняли этого торжества спиритуализма, заключавшегося в том, что сенсуализм должен был воздвигать для него его прекраснейшие храмы, что именно благодаря множеству уступок в пользу плоти добывались средства для возвеличивания духа. Ибо здесь было много легче, чем под знойным небом Италии, исповедовать такое христианство, которое делало очень мало уступок чувственности. У нас, северян, кровь холоднее, и мы не нуждались в таком количестве индульгенций для плотских грехов, какое с отеческой заботливостью посылал нам Лев X. Климат облегчает нам осуществление христианских добродетелей, и 31 октября 1516 года, когда Лютер прибывал к дверям августинской церкви свои тезисы против отлучения грехов за деньги, городской ров в Виттенберге, быть может, уже замерз и там можно было кататься на коньках, что представляет собою весьма холодное, а стало быть, отнюдь не греховное развлечение.

Выше я, кажется, не раз употреблял слова «спиритуализм» и «сенсуализм»; однако эти слова не обозна-

чают у меня, как у французских философов, двух различных источников нашего познания; я употребляю их, как само собой явствует из смысла моей беседы, скорее для обозначения двух различных мировоззрений, из коих одно хочет возвеличить дух тем, что стремится свести на нет матерню, между тем как другое старается отстоять естественные права матерни от посягательств духа.

На вышеуказанные начатки Лютеровой реформации, уже обнаруживающие все ее существо, я должен обратить внимание также потому, что во Франции придерживаются еще по поводу Реформации старинных предрассудков, распространенных Боссюэ в его «Histoire des variations»<sup>1</sup> и проявляющихся даже у современных писателей. Французы поняли лишь негативную сторону Реформации, они увидели в ней только борьбу против католичества и подчас полагали, что борьба эта по ту сторону Рейна велась всегда из тех же соображений, что и по эту, во Франции. Но основания там были совсем не те, что здесь, и даже совершенно противоположные. Борьба против католичества в Германии была не чем иным, как войной, объявленной спиритуализмом, как только он заметил, что господство его номинально, что он властвует лишь де-юре, тогда как сенсуализм благодаря традиционному подлогу пользуется действительной властью и господствует де-факто. Торговцы индульгенциями были изгнаны, хорошенькие наложницы священнослужителей заменены холодными законными супругами, восхитительные изваяния мадонны разбиты, то тут, то там возникало пуританство, злейший враг плоти. Наоборот, борьба с католицизмом во Франции в XVII—XVIII веках была войной, начатой сенсуализмом, когда он уметрел, что хотя он господствует де-факто, все же всякое проявление его господства осмеивается в качестве пезаконного и чувствительнейшим образом поносится спиритуализмом, утверждающим свое господство де-юре. Вместо того чтобы бороться, как в Германии, с целомудренной сосредоточенностью, во Франции вели борьбу при помощи непристойной шутки, и в то время как там устраивали богословский диспут, здесь сочиняли какую-нибудь развеселую сатиру. Назначение последней состояло обыкновенно в том, чтобы

---

<sup>1</sup> «История изменений» (франц.).

показать противоречие, в которое впадает человек с самим собою, желая стать исключительно духом; тут-то и расцвели восхитительные рассказы о благочестивых подвижниках, невольно подпадающих под власть своего животного существа и ищущих подчас убежища в ханжестве, чтобл сохранить видимость святости. Уже королева Наваррская изображала в своих новеллах такие безобразия, ее излюбленная тема — отношения монахов к женщинам, и цель ее не только позабавить нас, но и подорвать монашество. Зловреднейшим цветком этой полемики с помощью смеха был, бесспорно, «Тартюф» Мольера, направленный не только против иезуитства своего времени, но и против христианства как такового, против самой идеи христианства, против спиритуализма. Действительно, притворный ужас перед обнаженной грудью Дорисы, слова:

Le ciel défend, de vrai, certains contentements,  
Mais on trouve avec lui des accommodements,<sup>1</sup>—

направлялись не только против заурядного лицемерия, но и против всеобъемлющей лжи, необходимо вытекающей из неосуществимости христианской идеи; осмеивалась вся система уступок, которые спиритуализм вынужден был делать сенсуализму. И в самом деле, янсенизм имел гораздо больше оснований чувствовать себя оскорбленным постановкой «Тартюфа», чем иезуитство, и Мольер должен был бы все еще раздражать нынешних методистов, так же как католических святош своего времени. Тем-то и велик Мольер, что, подобно Аристофану и Сервантесу, он делает предметом своих насмешек не только случайное и преходящее, но извечно смешное, исконные слабости человечества. Вольтер, всегда нападавший на преходящее и несущественное, уступает ему в этом отношении.

Однако это вольтеровское издевательство до конца выполнило во Франции свое назначение, и неуместно и неумно поступил бы тот, кто вздумал бы продолжить его. Ибо если бы искоренить последние видимые остатки католичества, то легко могло бы случиться, что идея его нашла бы, точно в новом теле, убежище в новой форме и, отбросив

---

<sup>1</sup> Есть запрещенные утехы — это да:  
Но с небом человек устроится всегда.

(Перев. М. Лозинского).



даже имя христианства, в этом преобразенном виде могла бы явиться для нас еще более тягостным гнетом, чем в нынешнем, надломленном, разбитом и потерявшем повсюду доверие облике. Да, не так плохо, что спиритуализм представлен религией и духовенством, из коих первая уже почти полностью утратила свои силы, а второе вообще стоит в прямой оппозиции к освободительному энтузиазму нашего времени.

Но почему так ненавистен нам спиритуализм? Разве он столь уж дурен? Нисколько. Розовое масло — вещь драгоценная, и пузырек его даст усладу, когда приходится горестно влачить дни в замкнутых покоях гарема. Но мы все же не хотим, чтобы все розы этой жизни были растоптаны и раздавлены ради нескольких капель розового масла, как бы ни были они живительны. Мы скорее подобны тем соловьям, которые охотно услаждаются самою розою и столь же упоены румяным расцветом ее, как и ее невидимым благоуханием.

Я заметил выше, что борьбу против католицизма начал у нас, собственно, спиритуализм, но это относится только к началу Реформации; как только спиритуализм проломил брешь в старом здании церкви, вырвался наружу сенсуализм со всем своим долго сдерживаемым пылом, и Германия сделалась ареной разгула страстей и необузданного упоения свободой. Угнетенные крестьяне нашли в новом учении духовное оружие для борьбы с аристократией; уже в течение полутора веков зрела воля к такой борьбе. В Мюнстере сенсуализм бегал голышом по улицам в образе Яна Лейденского и ложился со своими двенадцатью женами в огромную постель, которую и в наши дни показывают в тамошней ратуше. Монастырские ворота повсюду распахнулись, монахини и монахи бросились друг другу в объятия, и тут пошли нежности. Да и вся внешняя история этого времени состоит почти из одних только бунтов чувственности; как ничтожны были их последствия, как подавил вновь этих смутьянов спиритуализм, как постепенно он утвердил свое господство на севере, но был смертельно ранен врагом, которого пригрел на своей груди, а именно философией, — все это мы увидим в дальнейшем. Это очень запутанная история, в которой трудно разобраться. Католическая партия произвольно измышляет самые скверные побуждения, и если послу-

шать ее, то дело здесь было только в узаконении наглейшей чувственности и грабеже церковного достояния. Правда, для того чтобы победить, интересы духовные всегда должны вступать в союз с материальными. Но дьявол так свособразно перемешал карты, что относительно побуждений ничего достоверного сказать уже нельзя.

Высокие особы, собравшиеся в 1521 году в имперском зале в Вормсе, могли таить в сердце всевозможные мысли, совершенно расходившиеся с их речами. Здесь, кутаясь в свою новую пурпурную мантию, по-юношески упиваясь властью, сидел молодой император, втайне очень довольный тем, что гордый римлянин, так часто обижавший его предшественников на престоле и все еще не отказавшийся от своих притязаний, получил самый чувствительный урок. Представитель этого римлянина со своей стороны втайне радовался расколу, возникшему среди тех самых пемцев, которые так часто пьяными варварами вторгались в прекрасную Италию, грабили ее и теперь еще продолжали угрожать новыми вторжениями и грабежами. Светские князья радовались тому, что при новом учении они могут прибрать к рукам старые церковные владения. Высокие прелаты уже прикидывали, не смогут ли они жениться на своих кухарках и передать своим отпрыскам мужского пола в наследство свои курфюршества, епископства и аббатства. Представители городов радовались новому расширению своей независимости. Всякий мог здесь что-нибудь выиграть и втайне помышлял о земных выгодах.

Был там, однако, человек, который, по моему убеждению, думал не о себе, но исключительно о божеских интересах, представлять которые ему надлежало. Этот человек был Мартин Лютер, бедный монах, избранный провидением для того, чтобы сломить вселенское владычество Рима, против которого тщетно боролись сильнейшие императоры и отважные мудрецы. Но провидение хорошо знает, на чьи плечи оно возлагает бремена свои; здесь необходима была не только духовная, но и физическая сила. Требовалось закаленное с юности монастырской строгостью и целомудрием тело, для того чтобы снести трудности такого назначения. Наш дорогой учитель был тогда еще тощ и очень бледен на вид, так что краснощекие, упитанные господа, восседавшие в имперском

ссьме, почти с состраданием взирали сверху вниз на неприглядного человека в черной рясе. Но он был совершенно здоров и нервами так крепок, что вся блистательная суতোлка не смутила его ни в малой степени. И легкие его тоже, должно быть, были очень крепки, ибо, закончив свою длинную защитительную речь, он должен был повторить ее по-латыни, так как император не понимал верхненемецкого наречия. Я возмущаюсь всякий раз, когда вспоминаю об этом, ибо наш дорогой учитель стоял у открытого окна на сквозняке, а по лицу его текли капли пота. Долгая речь, конечно, очень утомила его, и в горле у него тоже, должно быть, пересохло. «Ему очень хочется пить», — подумал тогда, очевидно, герцог Брауншвейгский; во всяком случае мы знаем, что он послал Мартину Лютеру в заезжий двор три жбана лучшего эймбекского пива. Никогда не забуду Брауншвейгскому дому этого акта благородства.

Как о Реформации, так и о героях ее. во Франции существуют самые ложные представления. Ближайшей причиной этого непонимания является, конечно, то, что Лютер не только самый большой, но и самый немецкий человек во всей нашей истории, что в его натуре грандиозно сочетались все добродетели и все недостатки немцев, что он и лично является воплощением чудесного в Германии. Ибо он обладал качествами, сочетание которых крайне редко и которые обыкновенно представляются нам враждебно противоположными. Он был одновременно мечтательным мистиком и человеком практического действия. У его мыслей были не только крылья, но и руки; он говорил и действовал. Это был не только язык, но и меч своего времени. Это был одновременно и холодный, схоластический букввед и восторженный, упоенный божеством пророк. Проведя день в тяжелой работе над своими догматическими формулировками, он вечером брался за флейту и созерцал звезды, растекаясь в мелодии и благоговении. Этот человек, который мог ругаться, как торговка рыбой, мог быть и мягким, как нежная девушка. Временами он неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, и потом вновь становился кротким, как зефир, ласкающий фиалку. Он был исполнен трепетнейшего страха божьего, полон самопожертвования во славу святого духа. Он способен был целиком погрузиться в область чистой ду-

ховности; и, однако, он очень хорошо знал прелести жизни сей и умел их ценить, и с уст его слетело чудесное изречение: «Кто к вину, женщинам и песням не тянется, тот на всю жизнь дураком останется». Он был законченным, я бы сказал, — абсолютным человеком, в котором нераздельны были дух и материя. Поэтому назвать его спиритуалистом было бы столь же ошибочно, как и именовать сенсуалистом. В нем было нечто, если можно так выразиться, первозданное, непостижимое, чудодейственное, что мы встречаем у всех избранных, нечто наивно-ужасное, нечто нескладно-умное, нечто возвышенно-ограниченное, нечто неодолимо-демоническое.

Отец Лютера был рудокопом в Мансфельде, и мальчик часто бывал у него в подземной мастерской, где формируются могучие металлы и бьют мощные источники; и здесь юное сердце, быть может бессознательно, впитало в себя сокровеннейшие силы природы и получило в дар от горных духов неуязвимость. Поэтому, вероятно, было в нем столько персти, столько душевных шлаков, что так часто ставилось ему в вину. Упрек несправедлив, — без этой земной примеси он не мог бы быть человеком дела. Чистые духи неспособны действовать. Нам ведь известно из учения Юнг-Штиллинга о привидениях, что, хотя духи могут принимать красочную и вполне определенную видимость, умеют ходить, бегать, плясать и совершать всевозможные движения, подобно живым людям, однако они не в состоянии сдвинуть с места ничего материального, будь это даже самый маленький ночной столик.

Слава Лютеру! Вечная слава бесценному мужу, которому мы обязаны спасением нашего благороднейшего достоинства и благодеяниями которого мы живем по сей день! Не пристало нам жаловаться на ограниченность его взглядов. Карлик, взобравшийся на плечи великана, может, конечно, видеть дальше, чем сам великан, особенно если наденет очки; но для возвышенного кругозора ему недостает высокого чувства, исполинского сердца, которое нельзя себе присвоить. Еще менее пристало нам изрекать суровый приговор о его недостатках; эти недостатки принесли нам больше пользы, чем добродетели тысячи других. Утонченность Эразма и мягкость Меланхтона никогда не подвинули бы нас так далеко, как это иной раз удавалось божественной грубости брата Мартина.

Да, указанное мной недоразумение по поводу исходных пунктов принесло драгоценнейшие плоды, благодетельные для всего человечества. С имперского сейма, где Лютер отвергает авторитет папы, всенародно заявляя, что его «учение можно опровергать только словами библии или разумными доводами!» — начинается в Германии новая эпоха. Цепь, которой св. Бонифаций приковал германскую церковь к Риму, разрублена. Эта церковь, бывшая ранее составной частью великой иерархии, распадается на религиозные демократии. Сама религия становится иною; в ней исчезает индо-гностический элемент, и мы видим, как вновь усиливается в ней элемент иудейско-деистический. Возникает евангелическое христианство. Религия вновь становится истиной, поскольку совершенно неизбежные притязания материи не только принимаются во внимание, но даже узакониваются. Священник становится человеком, берет жену и, согласно требованию бога, родит детей. С другой стороны, бог вновь становится небесным холостяком без семьи; ставится под сомнение, является ли его сын законнорожденным; святые получают отставку; у ангелов подрезают крылья; богородица теряет все права на корону небесную, и ей воспрещено творить чудеса. С этих пор вообще, особенно после громадных успехов естествознания, чудеса прекращаются. Потому ли, что господу богу докучает подозрительность, с какой физики следят за его пальцами, или его не привлекает конкуренция с Боско, — но даже в последнее время, когда религии грозит столько опасностей, он не соблаговолил поддерживать ее каким-нибудь потрясающим чудом. Быть может, отныне он, вводя какую-нибудь новую религию на земле, перестанет пускаться на святейшие фокусы и будет доказывать истины новых учений исключительно с помощью разума; оно ведь и всего разумнее. По крайней мере сенсимонизм, представляющий собой самоновейшую религию, обошелся без всяких чудес, не считая разве того, что старый счет от портного, не оплаченный Сен-Симоном при жизни, был спустя десять лет полностью оплачен его учениками. Словно сейчас вижу еще, как великолепный отец Оленд с воодушевлением поднимается в зале Тебу и предъявляет изумленной общине оплаченный счет от портного. Юные лавочники были потрясены столь сверхъестественным знамением. Портные, однако, вновь обрели веру!

Между тем, если у нас в Германии благодаря протестантству вместе с прежними чудесами исчезла и всякая иная поэзия, то мы многое получили взамен. Люди сделались добродетельнее и благороднее. Протестантство оказало самое благое влияние, способствуя той чистоте нравов и той строгости в исполнении долга, которую мы обычно называем моралью. Более того, в некоторых общинах протестантство приняло даже направление, благодаря которому оно в конечном счете совершенно совпало с этой моралью, так что за евангелием сохраняется лишь значение прекрасной притчи. Особенно отрадно видеть перемену, наступившую теперь в быту духовенства. Вместе с celibатом исчезли благочестивое распутство и монастырские пороки. В среде протестантского духовенства мы нередко встречаемся с людьми высочайшей добродетели, людьми, которым и древние стоики не отказали бы в уважении. Надо побродить пешком в качестве бедного студента по Северной Германии, чтобы оценить, сколько добродетели и — украшу эту добродетель прекрасным эпитетом — сколько евангельской добродетели встречаешь подчас в какой-нибудь невзрачной пасторской обители. Как часто зимним вечером находил я там радушный прием, я, чужой человек, не имевший никакой иной рекомендации, кроме того, что я устал и голоден. И когда я, наевшись и выпавшись, собирался утром в путь, старый пастор выходил в халате и в довершение всего благословлял меня на дорогу, причем благословение это никогда не приносило мне несчастья; и добродушно-болтливая госпожа пасторша совала мне в сумку несколько бутербродов, подкреплявших меня в не меньшей степени; а поодаль молчаливо стояли хорошенькие пасторские дочки с зарумянившимися щечками и фиалковыми глазами, робкий огонь которых согревал воспоминаниями мое сердце в течение целого зимнего дня.

Высказав положение, что его учение можно опровергнуть только словами библии или доводами разума, Лютер утвердил за разумом право толковать библию, и он, этот разум, был признан верховным судьей во всех религиозных разногласиях. Это послужило в Германии источником для так называемой свободы духа, или, как ее называют также, свободы мысли. Мышление сделалось правом, и права разума были узаконены. Правда, уже в течение

нескольких столетий можно было мыслить и говорить довольно свободно, и схоласты спорили о таких вещах, что нам непонятно, как можно было даже произносить названия этих вещей в средние века. Но все это делалось на основе различения, которое проводили между истиной теологической и философской, — различия, явной целью коего было предохранить человека от ереси; и совершалось это исключительно в стенах университетских аудиторий на готически-темной латыни, совершенно непонятной пароду, так что церковь от этого мало могла пострадать. К тому же церковь никогда, собственно, не разрешала подобных начинаний, и время от времени она и сжигала какого-нибудь злополучного схоластика. Но теперь, со времен Лютера, перестали различать истину теологическую и философскую и начали без стеснения и страха посреди базарной площади препираться о религии на родном, немецком языке. Князья, ставшие на сторону Реформации, узаконили эту свободу мысли, и ее венцом, имеющим мировое значение, является немецкая философия.

В самом деле, нигде, даже в Греции, разум человеческий не получил возможности высказываться столь свободно, как в Германии, начиная с середины прошлого столетия вплоть до вторжения французов. Особенно в Пруссии царил неограниченная свобода мысли. Маркиз Бранденбургский понял, что, поскольку он только с помощью протестантизма получил возможность стать законным королем прусским, он должен поддерживать и протестантскую свободу мысли.

С тех пор, правда, положение вещей изменилось, и естественный покровитель нашей протестантской свободы мысли сговорился с ультрамонтанской партией о подавлении этой свободы, и для осуществления подобной цели он часто пользуется оружием, которое придумано и применено впервые папством против нас, — цензурой.

Странное дело! Мы, немцы, — сильнейший и умнейший народ. Наши царствующие роды восседают на всех европейских престолах, наши Ротшильды господствуют на биржах всего мира, наши ученые верховенствуют во всех науках, мы выдумали порох и книгопечатание — и, однако, кто выстрелит у нас из пистолета, платит три талера штрафа, и когда нам вздумается объявить на страницах «Гамбургского корреспондента»: «Моя любезная супруга

разрешилась от бремени дочуркой, прелестной, как свобода!», то г-н д-р Гофман берется за свой красный карандаш и вычеркивает нам эту «свободу».

Долго ли еще это будет длиться? Не знаю. Но знаю, что вопрос о свободе печати, обсуждаемый теперь в Германии с таким жаром, знаменательным образом связан с вышеизложенными соображениями, и, по моему убеждению, решить его не трудно, если будет принято во внимание, что свобода печати есть не что иное, как следствие свободы мысли, и, стало быть, представляет собой право протестанта. За права этого рода немец пролил уже свою лучшую кровь и, вероятно, будет вынужден вновь вступить за них в бой.

То же применимо к вопросу об академической свободе, так страстно волнующей ныне умы в Германии. С тех пор как полагают, будто было сделано открытие, что политическое возбуждение, сиречь свободолобие, более всего свирепствует в университетах, государям стали со всех сторон внушать, что эти учреждения необходимо уничтожить или по крайней мере превратить в обыкновенные учебные заведения. Строятся соответствующие планы и обсуждаются доводы pro<sup>1</sup> и contra.<sup>2</sup> Однако как публичные противники университетов, так и публичные их защитники, до сих пор выступавшие перед нами, как будто не понимают существенных основ этого вопроса. Первые не понимают, что молодежь всегда и при любом обучении будет воодушевлена интересами свободы и что при подавлении университетов эта воодушевленная молодежь, быть может в союзе с молодежью торгового и ремесленного сословий, выступит тем активней. Защитники стараются лишь доказать, что вместе с университетами кончится и расцвет немецкой науки, что академическая свобода совершенно необходима для занятия науками, что именно она дает молодежи прекрасную возможность получить всестороннее образование и т. д. Как будто вопрос сводится к тому, будет ли несколькими греческими вокабулами или несколькими грубостями больше или меньше.

Да и какое дело государям до науки, учения и образования, раз затронута священная безопасность их престо-

---

<sup>1</sup> За (лат.).

<sup>2</sup> Против (лат.).



лов! У них хватило героизма пожертвовать всеми этими относительными благами ради единственно абсолютного — ради их абсолютной власти. Ибо она вручена им господом богом, а где повелевает небо, там должны отступить все земные соображения.

Непонимание проявляют как бедные профессора, публично выступающие защитниками университетов, так и чиновники, являющиеся их противниками. Одним только проповедникам католицизма в Германии ясно их значение. Эти благочестивые обскуранты — опаснейшие противники нашей университетской системы, но они действуют предательски, путем лжи и обмана, и если кто из них принимает елейную внешность наборника университетов, то тут-то и обнаруживается иезуитская интрига. Этим трусливым лицемерам отлично известно, что можно выиграть в этой игре. Ибо с падением университетов падет также и протестантская церковь, корнящаяся со времен Реформации только в них, так что вся история протестантской церкви за последние столетия почти исчерпывается богословскими препирательствами виттенбергских, лейпцигских, тюбингенских и галлеских университетских ученых. Консистории — лишь слабый отблеск теологического факультета: без него они теряют всякую почву и всякую самобытность, опускаясь до безнадежной зависимости от министерств или даже от полиции.

Не станем, однако, слишком долго предаваться этим меланхолическим размышлениям, тем более что нам предстоит еще поговорить об избраннике, который совершил столько великого для немецкого народа. Я показал выше, как благодаря ему мы возвысились до величайшей свободы мысли. Однако этот самый Мартин Лютер дал нам не только свободу движения, но также и средства для движения, а именно: духу он дал тело, а мысли — слово. Он создал немецкий язык.

Он достиг этого своим переводом библии.

В самом деле, божественный автор этой книги, казалось, знал, подобно всем нам, что отнюдь не безразлично, кто нас переводит, и он сам избрал себе переводчика, одарив его чудодейственной силой, благодаря которой он переводил с мертвого, как бы погребенного, языка на другой, еще не начавший жить.

Правда, существовала «Вульгата», которую понимали, равно как «Септуагинта», которую можно было уже понимать. Но знание еврейского языка было совершенно утрачено в христианском мире. Только евреи, втихомолку гнездившиеся там и сям в уголках этого мира, сохранили еще знание этого языка. Подобно призраку, охраняющему доверенное ему некогда при жизни сокровище, этот умерщвляемый народ, этот народ-призрак сидел по своим мрачным гетто и хранил там еврейскую библию; и в эти проклятые трущобы тайком спускались пемецкие ученые, чтобы извлечь сокровище, чтобы овладеть знанием еврейского языка. Когда католическое духовенство почуяло, что ему с этой стороны грозит опасность, что этим окольным путем народ может добраться до истинного слова божьего и разоблачить подлоги Рима, — то оно оказалось не прочь вытравить все еврейское наследие; предположительно было уничтожить все еврейские книги, и на Рейне началось преследование книг, с которым так похвально боролся наш доблестный доктор Рейхлин. Кельнские теологи, действовавшие тогда, в особенности Гоогстратен, были совсем не так тупоголовы, как изображает их в своих «*Litteris obscurorum virorum*»<sup>1</sup> отважный соратник Рейхлина, рыцарь Ульрих фон Гуттен. Дело шло об уничтожении еврейского языка. После победы Рейхлина Лютер мог начать свое дело. В письме, написанном в это время Рейхлину, он как будто уже чувствует всю важность одержанной Рейхлином победы — победы, одержанной в тяжелом, зависимом положении, тогда как он, августинский монах, был совершенно независим. С великой наивностью говорит он в этом письме: «*Ego nihil timeo, quia nihil habeo*».<sup>2</sup>

Но каким образом Лютер дошел до языка, на который он перевел свою библию, остается для меня по сей час непостижимым. Древнешвабское наречие совершенно исчезло вместе с рыцарской поэзией гогенштауфенской империи. Древнесаксонское наречие, так называемый платтдейч, господствовал лишь в одной части Северной Германии и, несмотря на все предпринимавшиеся попытки, никак не поддавался использованию для литературных целей. Если бы Лютер для перевода библии взял язык,

---

<sup>1</sup> «Письмах темных людей» (лат.).

<sup>2</sup> Я ничего не боюсь, потому что ничего не имею (лат.).

на котором говорят в нынешней Саксонии, то был бы прав Аделунг, утверждающий, что саксонское, в частности мейсенское, наречие есть наш собственно верхненемецкий, то есть наш литературный язык. Но это давно опровергнуто, и я тем настойчивее должен упомянуть об этой ошибке, что она до сих пор распространена во Франции. Современное саксонское наречие никогда не было диалектом пемецкого народа, равно как и силезское, так как, подобно последнему, оно возникло благодаря славянскому воздействию. Поэтому с полной откровенностью признаюсь, что не знаю, как возник язык, который мы находим в Лютеровской библии. Но я знаю, что при посредстве этой библии, в тысячах экземпляров брошенной в народ юным печатным станком, этим черным искусством, язык Лютера в течение немногих лет распространился по всей Германии и возвысился до всеобщего литературного языка. Этот литературный язык и теперь господствует в Германии, придавая литературное единство политически и религиозно раздробленной стране. Да послужит нам столь неоценимая заслуга этого языка возмещением того, что в нынешнем его виде ему несколько недостает сердечности, которую мы находим обычно в языках, вышедших из одного наречия. Однако язык самой библии Лютера далеко не чужд этой сердечности, и эта старая книга остается для нашего языка вечным источником омоложения. Все выражения и обороты, принятые в библии Лютера, — немецкие, и писатель все еще может употреблять их и в наше время; и так как эта книга обращается в руках беднейших людей, то они не нуждаются ни в каком особом ученом руководстве для усвоения литературной речи.

Когда у нас разразится политическая революция, это обстоятельство будет иметь замечательные последствия. Свобода сможет высказываться повсюду, и язык ее будет библейским.

Оригинальные сочинения Лютера также послужили к утверждению немецкого языка. Благодаря своей polemической страстности они глубоко внедрились в душу эпохи. Тон их всегда пристоен. Но религиозная революция не совершается посредством флердоранжа. Для грубой колоды нужен подчас грубый топор. В библии язык Лютера, из благоговения перед духом господним, который здесь витает, всегда держится в рамках извест-

ного достоинства. В полемических своих писаниях он, наоборот, не избегает плебейской грубости, которая часто является столь же отталкивающей, сколь и грандиозной. В этих случаях его образы и выражения напоминают исполтинские каменные изваяния, которые мы встречаем в подземных индийских или египетских храмах; крикливая раскраска и причудливое уродство этих изваяний одновременно отталкивают и привлекают нас. Благодаря этому каменному барокко смелый монах является нам иногда неким религиозным Дантоном, проповедником Горы, извергающим с ее вершины пестрые словесные глыбы на головы своих противников.

Еще замечательнее и значительнее этих прозаических сочинений стихотворения Лютера, песни, изливавшиеся из его души в борьбе и бедствиях. Они напоминают то цветок, расцветший на скале, то отблеск лунного света, трепещущий на взволнованном море. Лютер любил музыку, он даже написал трактат об этом искусстве, и песни его поэтому необычайно мелодичны. И в этом отношении ему подходит имя Эйслобенский лебедь. Но менее всего был он кротким лебедем в некоторых своих песнопениях, где он разжигает отвагу своих приверженцев и подстрекает самого себя к неистовому боевому задору. Босвою была та упрямая песня, с которой он и его спутники вступили в Вормс. Старый собор содрогнулся при этих новых звуках, и вороны перепугались в своих сумрачных гнездах на колокольнях. Этот гимн, эта марсельеза Реформации, сохранил свою вдохновляющую силу до наших дней:

Господь — наш истинный оплот,  
Оружье и твердыня,  
Господь нас вызволит, спасет  
В беде, грозящей ныне.  
Древний лютый враг  
Правит к нам свой шаг.  
Могуч он и хитер,  
Опасен с давних пор,  
Врага страшнее нету.

Свою сплю земной  
Мы сделаем немного,  
За нас сражается иной,  
Иной, избранник бога.  
Кто же он? — вопрос.  
То Иисус Христос,

Бог наш Саваоф,  
И нет других богов,  
Пребудет с ним победа.

И пусть нам дьявольские тьмы  
Грозят осатанело,  
Не так-то их страшимся мы,  
И право наше дело;  
Князь мира сего  
Не сможет ничего,  
Как ни тщись, а он  
На гибель обречен,  
Его повергнет Слово.

И да отступятся они  
Пред вечным этим Словом  
И да святятся наши дни  
Учением Христовым.  
Пусть возьмут, что есть:  
Жизнь нашу и честь,  
Жен, детей и дом,  
Не будет проку в том,  
Господне царство — с нами. <sup>1</sup>

Я показал, в сколь великой степени обязаны мы нашему дорогому доктору Мартину Лютеру той свободой духа, которая необходима новой литературе для ее развития. Я показал, как он создал также для нас слово, язык, на котором могла высказаться эта новая литература. Мне остается прибавить, что он сам и начинает эту литературу, что она, а особенно художественная литература, именно с Лютера ведет свое начало, что его духовные песни представляют собою ее первые важнейшие проявления и уже свидетельствуют о ее характере. Поэтому всякий желающий говорить о новой немецкой литературе должен начинать с Лютера, а не с нюрнбергского обывателя Ганса Сакса, как это делалось некоторыми литераторами романтической школы из недобросовестного недоброжелательства. Ганс Сакс, этот трубадур достопочтенного сапожного цеха, мастерзингерские песни которого являются лишь неуклюжей пародией на бывшие любовные песни миннезингеров, а его драмы — туповатыми трагедиями старинных мистерий; этот педантичный шут, робко имитирующий свободную наивность средних веков, должен, пожалуй, рассматриваться как последний поэт старого, но ни в коем

---

<sup>1</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

случае не как первый поэт нового времени. Для доказательства мне совершенно достаточно отчетливо установить противоположность между нашей новой литературой и старой.

Таким образом, окидывая взглядом немецкую литературу до Лютера, мы находим:

1. Ее материал, ее содержание, подобно самой жизни средних веков, представляет собой смесь двух разнородных начал, которые в течение долгой борьбы столь неразрывно сочетались друг с другом, что в конце концов слились воедино; эти начала — германская национальность и индо-гностическое, так называемое католическое, христианство.

2. Способ изображения, или, вернее, дух изображения, в этой старой литературе романтический. Без всяких оснований говорят то же самое о материале этой литературы, обо всех явлениях средневековья, возникших вследствие слияния двух вышеупомянутых начал — немецкой национальности и католического христианства. Ибо, подобно тому как некоторые поэты средневековья изображали в совершенно романтическом духе греческую историю и мифологию, можно также изображать средневековые нравы и легенды в классических формах. Выражения «классический» и «романтический» относятся, следовательно, исключительно к духу изображения. Способ изображения будет классическим, если форма и идея того, что подлежит изображению, совершенно тождественны, как оно и наблюдается в созданиях греческого искусства, где в этом тождестве заключена наивысшая гармония формы и идеи. Способ изображения будет романтическим, если форма раскрывает идею не посредством тождественности, но позволяет угадывать ее в параболе. Слово «парабола» я предпочитаю здесь слову «символ». В греческой мифологии был ряд богов, облики которых, при всей тождественности формы и идеи, могли получить все же символическое значение. Но дело в том, что в этой греческой религии определенность имел лишь облик богов, все же остальное, их жизнь и дела, предоставлено было произволу поэтов, которые могли изображать их как угодно. В христианской религии, наоборот, нет столь определенных образов, но имеются лишь определенные факты, определенные священные события и деяния, в которые поэтическая настроенность человека могла вложить некое параболическое

ческое значение. Говорят, Гомер сочинил греческих богов; это неверно: они существовали и раньше в известных очертаниях, но он сочинил их истории. Художники средних веков, наоборот, никогда не осмеливались сочинить хотя бы ничтожнейшую мелочь в исторической части своей религии; грехопадение, воплощение, крещение, распятие и т. п. оставались неприкосновенными фактами, которые не подлежат никакому другому толкованию, но в которые поэтическое сознание человека было вправе вложить параболическое значение. Подобный параболический дух проникал в средние века во все искусства, и в этом сказывалась их романтичность. Отсюда мистическая всеобщность поэзии средневековья; образы настолько туманны, их действия так неопределенны, все в них так призрачно, словно освещено мерцающим лунным светом; идея лишь загадочно намечена в форме, и расплывчатая форма, какую мы находим здесь, соответствовала именно спиритуалистической литературе. Нет тут, как у греков, солнечно ясной гармонии между формой и идеей; но иной раз идея переходит за пределы установленной формы, которая в отчаянии стремится настигнуть ее, из чего возникает перед нами причудливое, фантастическое величие; иной раз форма совершенно перерастает идею, жалкая мыслишка ковыляется, неуклюже облеченная в колоссальную форму, и мы видим гротескный фарс. В этих случаях мы почти всегда имеем дело с чем-то неоформленным.

3. Общей особенностью этой литературы было проявление во всех ее созданиях той твердой, устойчивой веры, которая господствовала тогда во всех делах светских и духовных. Авторитеты были основой всех воззрений того времени; с уверенностью мула шагал по краю бездны сомнений, и отважное спокойствие царит в его творениях, блаженная уверенность, ставшая невозможной позднее, когда сломлена была вершина всех авторитетов, то есть авторитет папы, за которым рухнули и все остальные. Поэтому произведения средневековой поэзии носят один и тот же общий характер, словно их создавал не отдельный человек, а весь народ; они объективны, эпичны и наивны.

В литературе же, расцветшей со времен Лютера, мы обнаруживаем нечто совершенно противоположное:

1. Ее основным содержанием, тем материалом, который она использует для изображения, является борьба ре-

формационных интересов и воззрений со старым порядком вещей. Духу нового времени совершенно враждебна та смешанная вера, которая была порождена слиянием двух вышеуказанных начал: немецкой национальности и индо-гностического христианства. Последнее представляется ему языческим идолопоклонством, место которого должна занять истинная религия иудейско-деистического евангелия. Возникает новый порядок вещей; дух создаст изобретения, способствующие благополучию материи. Расцвет промышленности и философии подрывает авторитет спиритуализма в общественном мнении; третье сословие возвышается; революция бурлит уже в сердцах и головах; и чувства, и мысли, и потребности, и запросы времени получают выражение, и это и есть содержание новейшей литературы.

2. Дух изображения уже не романтический, а классический. Благодаря возрождению древней литературы вся Европа была охвачена восторженным увлечением греческими и римскими писателями, и ученые, единственные люди, владевшие тогда пером, стремились усвоить себе дух классической древности или по крайней мере воспроизводить в своих сочинениях формы классического искусства. Если гармония формы и идеи, свойственная грекам, оставалась для них недоступной, то тем строже соблюдали они внешнюю сторону изображения в духе греков, строго различали по греческому образцу отдельные роды поэзии, воздерживаясь от всяких романтических крайностей, и в этом смысле мы называем их классиками.

3. Общей особенностью новейшей литературы является преобладание индивидуализма и скептицизма. Авторитеты низвергнуты, разум остается единственным светочем человека, и совесть его — единственный посох в блужданиях по темному лабиринту этой жизни. Человек стоит теперь в одиночестве, лицом к лицу со своим создателем, и к нему обращает свою песнь. Вот почему литература эта начинается с духовных песен. Но и позднее, когда она становится светской, в ней царит еще глубочайшее самосознание, чувство личности. Поэзия перестает быть объективной, эпической и наивной и становится субъективной, лирической и рефлектирующей.





## КНИГА ВТОРАЯ

В предыдущей книге мы говорили о великой религиозной революции, представителем которой является в Германии Мартин Лютер. Теперь нам предстоит обратиться к философской революции, вышедшей из первой и даже представляющей собою не что иное, как конечное следствие протестантизма.

Прежде, однако, чем рассказать, как благодаря Иммануилу Канту разразилась эта революция, необходимо напомнить о философских событиях в других странах, о значении Спинозы, о судьбах Лейбницевоу философии, о взаимоотношениях между этой философией и религией, об их столкновениях, их разрыве и т. д. Неизменно, однако, при этом мы будем иметь в виду те из философских вопросов, которым мы приписываем социальное значение и в решении которых философия соперничает с религией.

Таков, прежде всего, вопрос о природе бога. «Бог есть начало и конец всей премудрости!» — говорят в своем смирении верующие, и философ во всей горделивости своего знания вынужден согласиться с этим благочестивым изречением.

Не Бэкон, как принято утверждать, а Рене Декарт является отцом новейшей философии, и мы совершенно отчетливо покажем, в какой степени германская философия ведет от него свое происхождение.

Рене Декарт — француз, и великой Франции принадлежит и здесь слава первенства. Но великая Франция,

шумливая, оживленная и говорливая страна французов, никогда не представляла собой подходящей почвы для философии, расцвета которой там, вероятно, никогда и не будет; это чувствовал Рене Декарт, и он переселился в Голландию, тихую, молчаливую страну трешкоутов и голландцев, и там написал он свои философские творения. Лишь там мог он освободить дух от традиционного формализма и построить цельную философию из чистых идей, не заимствованных ни у веры, ни у эмпирии, как это и требуется с тех времен от всякой истинной философии. Лишь там смог он погрузиться столь глубоко в бездны мышления, что сумел проследить его в первоосновах самосознания и именно благодаря мысли констатировать самосознание, выразив это во всемирно-знаменитом положении: «*Cogito, ergo sum*».<sup>1</sup>

Но, пожалуй, нигде, кроме Голландии, не мог бы Декарт осмелиться проповедовать философию, вступившую в самую откровенную борьбу со всеми традициями прошлого. Ему принадлежит честь основания автономии философии. С той поры последней не приходится выпрашивать у теологии разрешения на мышление, и она может теперь стать наряду с последней как самостоятельная наука. Не скажу — противопоставить себя ей, так как тогда в силе было положение: истины, до которых мы доходим путем философии, в конце концов те же самые, что и данные нам религией. Напротив, схоластики, как я заметил уже раньше, не только утверждали главенство религии над философией, но объявляли последнюю ничтожной игрой, пустым словесным преширательством, как только она впадала в противоречие с догматами религии. Схоластикам важно было высказать свои мысли, и притом безразлично, при каких условиях. Они говорили: «Единожды один — один», и доказывали это; но затем добавляли с улыбкой: «Это тоже есть заблуждение человеческого разума, всегда заблуждающегося в том случае, когда он впадает в противоречие с постановлениями вселенских соборов; ведь единожды один есть три, и это самая доподлинная истина, что давным давно открылась нам во имя отца и сына и святого духа!» Схоластики втайне образовали философскую оппозицию против церкви. Но внешне

<sup>1</sup> Я мыслю — следовательно, я существую (*лат.*).

они носили лицемерную маску величайшей покорности, в некоторых случаях даже боролись за церковь, на публичных выступлениях шествовали в ее свите, примерно так, как депутаты французской оппозиции на торжествах Реставрации. Комедия схоластиков длилась более шестисот лет и становилась все пошлее. Разрушая схоластику, Декарт разрушил также отжившую оппозицию средневековья. Старые метлы обтрепались от длительной работы, слишком много пристало к ним сора, и новая эпоха требовала новых метел. После каждой революции прежней оппозиции приходится уходить в отставку, в противном случае происходят большие глупости. Мы это видели. С католической церковью это случилось в меньшей степени, чем с ее бывшими противниками, последышами схоластиков, которые первыми восстали против картезианской философии. Лишь в 1663 году ее запретил папа.

Я вправе предположить у французов удовлетворительное и достаточное знакомство с философией их великого соотечественника и не имею оснований указывать предварительно, как противоположнейшие учения могли черпать в ней необходимый материал. Я имею в виду идеализм и материализм.

Так как эти два учения, особенно во Франции, обозначаются названиями «спиритуализм» и «сенсуализм» и так как я употребляю эти названия в ином смысле, то мне, во избежание путаницы понятий, приходится более подробно остановиться на этих терминах.

С древнейших времен существуют два противоположных воззрения на природу человеческого мышления, то есть на конечные основы духовного познания, на возникновение идей. Одни утверждают, что мы получаем наши идеи исключительно пассивно, что наш дух есть пустоеместилище, где поглощенные нашими чувствами впечатления перерабатываются приблизительно так же, как съеденная пища в нашем желудке. Прибегая к более высокому образу, скажем, что эти люди рассматривают дух наш как некую *tabula rasa*,<sup>1</sup> на которой впоследствии опыт ежедневно записывает что-нибудь новое по определенным правилам письма.

---

<sup>1</sup> Чистую доску (*лат.*).

Другие, сторонники противоположного взгляда, утверждают: человек получает идеи как нечто врожденное, человеческий дух есть первоисточник идей, и внешний мир, опыт и посредствующие чувства лишь приводят нас к познанию того, что уже раньше было в нашем духе, — они лишь пробуждают там дремлющие идеи.

Первое воззрение получило название сенсуализма, иногда также эмпиризма; другое называли спиритуализмом, иногда также рационализмом. Однако это легко могло быть источником недоразумений, так как с некоторых пор мы, как я уже упомянул в предыдущей книге, обозначаем этими двумя названиями также две известные социальные системы, дающие себя знать во всех проявлениях жизни. Поэтому название спиритуализма мы оставляем за той дерзновенной притязательностью духа, которая в стремлении к единоличному самовозвеличению старается поправить материю или по крайней мере заклеить ее; название сенсуализма мы оставляем за той оппозицией, которая, борясь с этим, стремится к реабилитации материи и отстаивает права, принадлежащие чувствам, не отрицая при этом прав духа и даже верховенства духа. Напротив, философские мнения о природе наших познаний я охотнее называю идеализмом и материализмом, и первым названием я обозначаю учение о врожденных идеях, об идеях *a priori*,<sup>1</sup> вторым названием я обозначаю учение о познании с помощью опыта, с помощью чувств, учение об идеях *a posteriori*.<sup>2</sup>

Знаменательно то обстоятельство, что идеалистическая сторона картезианской философии никогда не имела успеха во Франции. Многие знаменитые янсенисты следовали в течение некоторого времени этому направлению, но вскоре примкнули к христианскому спиритуализму. Быть может, именно это обстоятельство лишило идеализм доверия во Франции. Народы инстинктивно чувствуют, что необходимо им для того, чтобы выполнить свою миссию. Французы были уже на пути к той политической революции, которая разразилась лишь в конце XVIII века и для которой им понадобились топор и столь же холодная и острая материалистическая философия. Христианский

---

<sup>1</sup> Не основанных на опыте (*лат.*).

<sup>2</sup> Основанных на опыте (*лат.*).

спиритуализм был соратником их врагов, и поэтому сенсуализм сделался их естественным союзником. Так как французские сенсуалисты были обычно материалистами, то возникло заблуждение, будто сенсуализм может вытекать только из материализма. Нет, он может также явиться результатом пантеизма, и в таком случае он предстанет перед нами в прекрасной и величественной форме. Никким образом, однако, не станем мы отрицать заслуги французского материализма. Французский материализм был прекрасным противоядием против недугов минувшего, отчаянным лечебным средством от отчаянной болезни, ртутью для зараженного народа. Французские философы избрали своим учителем Джона Локка. Он явился для них тем спасителем, который был им нужен. Его «*Essay on human understanding*»<sup>1</sup> стал их свангелием. На нем они присягали. Джон Локк прошел школу Декарта и научился у него всему, чему способен научиться англичанин: механике, анализу, комбинированию, конструированию, расчету. Лишь одного не мог он понять, а именно — врожденных идей. Поэтому он усовершенствовал учение о том, что мы получаем наши познания извне при посредстве опыта. Он превратил дух человеческий в нечто подобное счетному механизму, весь человек стал некоей английской машиной. Это применимо также к тому человеку, которого конструировали ученики Локка, хотя они стремились отличаться друг от друга по названию. Все они боятся конечных выводов из своего основного принципа, и последователь Кондильяка пугается, когда его помещают в один разряд с каким-нибудь Гельвецием или, что еще хуже, с Гольбахом, наконец, — с самим Ламетри. И тем не менее это неизбежно, и я могу поэтому французских философов XVIII века и их нынешних последователей всех без исключения назвать материалистами. «*L'homme machine*»<sup>2</sup> есть наиболее последовательная книга французской философии, и уже заглавие книги вскрывает суть всего ее мировоззрения.

Эти материалисты были в большинстве также сторонниками деизма, потому что машина предполагает механика и высшее ее совершенство заключается в том, что

---

<sup>1</sup> «Опыт о человеческом разумении» (англ.).

<sup>2</sup> «Человек-машина» (франц.).

она способна понять и оценить технические познания такого творца, основываясь отчасти на собственной конструкции, отчасти на прочих его произведениях.

Материализм исполнил свою миссию во Франции. Теперь он совершает, быть может, то же дело в Англии, и на Локка опираются там революционные партии, в особенности бентамисты, проповедники утилитаризма. Это могучие умы, ухватившиеся за настоящий рычаг, которым можно расшевелить Джона Буля. Джон Буль — природный материалист, и его христианский спиритуализм в большинстве случаев есть традиционное лицемерие или продукт материальной ограниченности: плоть его самоограничивается, потому что дух не приходит ей на выручку. Иное дело в Германии, и немецкие революционеры ошибаются, воображая, что материалистическая философия благоприятствует их целям. Более того: там невозможна никакая всеобщая революция до тех пор, пока ее принципы не будут выведены из более народной, более религиозной, более немецкой философии и не получат господства благодаря последней. Какова же эта философия? О ней мы в дальнейшем поговорим без околичностей. Я говорю: без околичностей, потому что рассчитываю, что и немцы будут читать эти страницы.

Германия искони проявляла нерасположение к материализму и поэтому в течение полутора веков была подлинной ареной идеализма. Немцы тоже учились в школе Декарта, и великого ученика его звали Готфрид-Вильгельм Лейбниц. И если Локк следовал материалистическому направлению, то Лейбниц следовал идеалистическому направлению учителя. Здесь перед нами учение о врожденных идеях в наиболее законченном виде. Лейбниц спорил с Локком в своих «Nouveaux essais sur l'entendement humain».<sup>1</sup> С Лейбницем расцвело великое рвение немцев к изучению философии. Он пробуждал умы и направлял их на новые пути. То ли из-за присущей его сочинениям мягкости, то ли из-за оживлявшего их религиозного чувства, но с их смелостью до известной степени примирились и противники его, и воздействие этих сочинений было огромно. Смелость этого мыслителя обнаруживается особенно в его учении о монадах, одной

---

<sup>1</sup> «Новых опытах о человеческом понимании» (франц.).

из замечательнейших гипотез, когда-либо выпедших из головы философа. Она представляет собой также лучшее из его созданий, ибо в ней уже брезжит сознание важнейших законов, признанных нашей современной философией. Учение о монадах было, быть может, лишь беспомощной формулировкой этих законов, выраженных ныне в более удачных формулах натурфилософами. Вместо слова «закон» мне бы, таким образом, следовало употреблять здесь слово «формула», ибо Ньютон совершенно прав, замечая, что то, что мы называем в природе законами, собственно говоря не существует и что это только формулы, помогающие нашему пониманию уяснить ряд явлений в природе. Из всех сочинений Лейбница более всего толков возбудила в Германии его «Теодицея». Однако это слабейшее его произведение. Эта книга, как и некоторые другие сочинения, где выразилась религиозность Лейбница, вызвала немало враждебных откликов, немало горького непонимания. Враги обвиняли его в благодушнейшем слабоумии, защищавшие его друзья, наоборот, сделали его лукавым лицемером. Характер Лейбница в течение долгого времени оставался у нас предметом споров. Самые добросовестные не могли защитить философа от упрека в двусмысленности. Больше всего нападали на него свободомыслящие и просветители. Как могли они простить философу то, что он защищал троицу, вечные адские муки и даже божественность Христа! Так далеко не простиралась их терпимость. Но Лейбниц не был ни дураком, ни мошенником и мог со своей гармонической высоты очень хорошо защищать целостное христианство. Я говорю: «целостное христианство», потому что он защищал его от христианства половинчатого. Он показал последовательность ортодоксов в противоположность половинчатости их противников. Большого он никогда и не добивался. К тому же он стоял на той нейтральной точке, с которой самые различные системы представляют собой различные стороны одной и той же истины. Эту нейтральную точку познал впоследствии и г-н Шеллинг, а Гегель обосновал ее научно как систему систем. Сходным образом Лейбниц занимался примирением Платона и Аристотеля. И в позднейшие времена эта задача достаточно часто ставилась у нас. Решена ли она?

Нет, поистине нет! Ибо эта задача есть не что иное, как примирение борьбы между идеализмом и материализмом. Платон насквозь идеалист и признает только врожденные, или, точнее, прирожденные идеи: человек приносит идеи с собой в мир, и когда он осознает их, они представляются ему как бы воспоминаниями из прежнего бытия. Отсюда все неопределенное и мистическое у Платона, — он вспоминает не вполне отчетливо. У Аристотеля, напротив, все ясно, все отчетливо, все определено, ибо его знания раскрываются ему не в отношениях, предшествовавших бытию, — он черпает все из опыта и умеет все точнейшим образом классифицировать. Поэтому он остается также образцом для всех эмпириков, и они не знают, как достаточно восхвалить господина за то, что он дал его в учителя Александру, что завоевания последнего предоставили ему такую возможность способствовать развитию науки и что его победоносный ученик пожаловал ему столько тысяч талантов на занятия зоологией. Деньги эти старый магистр истратил со всей добросовестностью, для чего анатомировал изрядное количество млекопитающих, набил множество птичьих чучел и произвел при этом важнейшие наблюдения; но великую бестию, находившуюся перед его глазами, которую он сам воспитал и которая была неизмеримо замечательней, чем весь тогдашний мировой зверинец, он, к сожалению, оставил незамеченной и неисследованной. В самом деле, Аристотель не сообщил нам никаких сведений о характере юного царя, жизнь и деяния которого до сих пор поражают нас, как чудеса и загадки. Кем был Александр? К чему он стремился? Был он безумцем или богом? Мы до сих пор этого не знаем. Тем точнее те сведения, которые дает нам Аристотель о вавилонских мартышках, об индийских попугаях и о греческих трагедиях, которые он равным образом анатомировал.

Платон и Аристотель! Это не только две системы, но и два различных типа человеческой природы, с незапамятных времен, во всех костюмах, более или менее враждебно противостоящие друг другу. На протяжении всего средневековья вплоть до нынешнего дня тянулась эта вражда, представляя собою существеннейшее содержание истории христианской церкви. Под какими угодно именами, но речь всегда идет о Платоне и Аристотеле. Мечтательные, мистические, платонические природы создают христианские



идей и соответственные символы, черпая их в недрах своей души. Натуры практические, упорядочивающие, аристотелевские строят из этих идей и символов прочную систему, догматику и культ. В конце концов церковь приемлет в лоно свое оба эти вида натур, причем одни окапываются главным образом в светском духовенстве, другие — в монашестве, но и те и другие продолжают нескончаемую борьбу. В протестантской церкви наблюдается та же борьба, это — раздор между пиеистами и ортодоксами, в известном смысле соответствующими католическим мистикам и догматикам. Протестантские пиеисты — это мистики без фантазии, а протестантские ортодоксы — догматики без ума.

Мы застаем обе эти протестантские партии в ожесточенной борьбе во времена Лейбница, а его философское выступление произошло позднее, когда Христиан Вольф овладел его философией, приспособил ее к тогдашнему времени и, что самое важное, изложил ее на немецком языке. Прежде, однако, чем заняться этим учеником Лейбница, успехами его стремлений и дальнейшими судьбами лютеранства, мы должны упомянуть об избраннике, который прошел одновременно с Локком и Лейбницем школу Декарта, долго встречал только презрение и ненависть и тем не менее в наши дни возвышается до безраздельного господства над умами.

Я говорю о Бенедикте Спинозе.

Великий гений образуется с помощью другого гения не столько ассимиляцией, сколько посредством трения. Один алмаз полирует другой. Точно так же и философия Декарта ни в коем случае не породила философию Спинозы, а лишь способствовала ее появлению. Поэтому мы вначале встречаемся у ученика с методами учителя; это большое достоинство. Затем у Спинозы, как и у Декарта, мы обнаруживаем аргументацию, заимствованную у математики. Это большой порок. Математический метод изложения придаст Спинозе жесткую форму. Но она подобна жесткой скорлупе миндаля: тем отраднее ядро. При чтении Спинозы нас охватывает то же чувство, что и при созерцании великой природы в ее пронизанном жизнью покое. Лес возносящихся к небу мыслей, цветущие вершины которых волнуются в движении, меж тем как непоколебимые стволы уходят корнями в вечную землю. Некое дуновение проносится в творениях Спинозы, поистине неизъяснимое.

Это как бы веяние грядущего. Дух еврейских пророков еще покоился, быть может, на их позднем потомке. При этом в нем чувствуется сосредоточенность, какая-то самоуверенная гордость, какая-то величавость мыслей: она также кажется унаследованной, ибо Спиноза принадлежал к тем семьям-мученикам, которые в те годы изгонялись ультракатолическими королями из Испании. С этим сочетается еще терпение голландца, также никогда не изменявшее этому человеку ни в жизни, ни в его произведениях.

Устаповлено, что жизнь Спинозы безукоризненно чиста и незапятнана, как жизнь его божественного родича Иисуса Христа. Как тот, он пострадал за свое учение, как тот, носил он терновый венец. Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа.

Дорогой читатель, если случится тебе быть в Амстердаме, прикажи проводнику показать тебе там синагогу испанских евреев. Это прекрасное здание, крыша его покоится на четырех колоссальных колоннах, а в середине возвышается кафедра, откуда некогда провозглашена была анафема отступнику от закона Моисеева, идальго дону Бенедикту де Спиноза. При этом трубили в козлиный рог, носящий название шофар. С этим рогом связано, вероятно, нечто жуткое. Ибо, как я читал в жизнеописании Соломона Маймона, однажды альтонский раввин пытался вновь вернуть его, ученика Канта, в лоно старой веры, и когда тот настойчиво упорствовал в своих философских ересьях, раввин перешел к угрозам и показал ему шофар, произнося при этом мрачные слова: «Знаешь ты, что это такое?» Но когда ученик Канта совершенно равнодушно ответил: «Это козлиный рог!» — раввин от ужаса навзничь упал на землю.

Звуки этого рога были аккомпанементом к отлучению Спинозы, он был торжественно изгнан из общины израильской и объявлен недостойным носить впредь имя еврея. Его христианские враги были достаточно великодушны, чтобы оставить ему эту кличку. Но евреи, швейцарская гвардия деизма, были неумолимы, и перед испанской синагогой в Амстердаме показывают площадь, где они когда-то кололи Спинозу своими длинными кинжалами.

Я не мог не обратить особое внимание читателей на личные певзгоды этого человека. Его сформировала

не только школа, но и жизнь. Это отличает его от большинства философов, и мы ощущаем в его сочинениях косвенные воздействия жизни. Теология была для него не только наукой. Точно так же и политика. Ее он тоже изучил на практике. Отец его возлюбленной был повешен в Нидерландах за политическое преступление. Нигде на свете не вешают хуже, чем в Нидерландах. Вы не имеете представления о том, как бесконечно много приготовлений и церемоний происходит в связи с этим. Преступник умирает при этом от скуки, а у зрителя оказывается достаточно досуга для размышлений. Поэтому я убежден, что Бенедикт Спиноза очень много размышлял над казнью старого ван Энде, и как раньше он уразумел религию с ее кинжалами, так уразумел он теперь политику с ее веревками. Свидетельством этого является его «Tractatus politicus».<sup>1</sup>

Моя задача лишь выяснить, в чем и как эти философы более или менее сродни друг другу, и я указываю лишь степень родства и наследственности. Философия Спинозы, третьего сына Рене Декарта, в том виде, как она изложена в его главном произведении — в «Этике», так же далека от материализма его брата Локка, как и от идеализма его брата Лейбница. Спиноза не бьется над исследованием вопроса о первоосновах нашего познания. Он предлагает нам свой великий синтез, свое объяснение божества.

Бенедикт Спиноза учит: существует лишь одна субстанция, это — бог. Эта единая субстанция бесконечна, она абсолютна. Все конечные субстанции ведут свое происхождение от нее, приистекают из нее, содержатся в ней, погружены в нее, растворены в ней; они обладают лишь относительным, преходящим, акцидентным существованием. Абсолютная субстанция открывается нам как в форме бесконечного мышления, так и в форме бесконечного протяжения. И то и другое, бесконечное мышление и бесконечное протяжение, суть два атрибута абсолютной субстанции. Мы познаем лишь эти два атрибута. Однако бог, абсолютная субстанция, имеет, быть может, еще больше атрибутов, неизвестных нам. «Non dico, me deum omnino cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem omnia, neque maximam intelligere partem».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> «Трактат о политике» (лат.).

<sup>2</sup> Не говорю, что вполне познал бога, но лишь что понял некоторые его атрибуты, и не все, и не большую их часть (лат.).

Только непонимание и злонамеренность могли приложить к этому учению эпитет «атеистическое». Никто не выражался в более возвышенных словах о божестве, чем Спиноза. Вместо того чтобы сказать, будто он отрицает бога, можно было бы сказать, что он отрицает человека. Все конечные вещи суть для него лишь модусы бесконечной субстанции. Все конечные вещи заключены в божестве, человеческий дух есть лишь луч бесконечного мышления, человеческое тело есть лишь атом бесконечного протяжения; бог есть бесконечная причина того и другого — духов и тел, *natura naturans*.<sup>1</sup>

В одном письме к г-же дю Дефан Вольтер восторгается мыслью этой дамы, сказавшей, что все вещи, которых человек совершенно не может познать, несомненно таковы, что знание их не могло бы быть ему полезным. Это замечание я применил бы к положению Спинозы, которое передал выше его собственными словами и в котором он приписывает божеству не только два познаваемых атрибута — мышление и протяженность, но, быть может, и другие атрибуты, недоступные нашему познанию. То, чего мы не можем познать, не имеет для нас никакой цены, во всяком случае никакой цены с социальной точки зрения, поскольку здесь важно познанное духом превратить в реальное явление. Поэтому в нашем объяснении сущности бога мы принимаем во внимание только эти два познаваемые атрибута. И затем в конце концов ведь все, что мы называем атрибутами бога, это лишь различные формы нашего созерцания, и это различие форм исчезает в абсолютной субстанции. Мысль в конце концов есть лишь невидимое протяжение, а протяжение есть лишь видимая мысль. Здесь мы приходим к основному положению немецкой философии, к философии тождества, в существе своем ничем не отличающейся от учения Спинозы. Пускай же г-н Шеллинг усердствует сколько ему угодно по поводу того, что его философия отличается от спинозизма, пусть утверждает, что она представляет собою «живое взаимопроникновение идеального и реального», что она отличается от спинозизма, «как совершенные греческие статуи от безжизненных египетских оригиналов», однако я должен определенно заявить, что г-н Шеллинг на первом этапе

---

<sup>1</sup> Природа производящая (лат.). (См. комментарий.)

своего развития, когда он еще был философом, ни в малейшей степени не отличался от Спинозы. Он только пришел другим путем к этой же философии, и это я объясню в дальнейшем, когда расскажу, как Кант открывает новый путь, как Фихте следует за ним и как г-н Шеллинг, в свою очередь, шагает дальше по следам Фихте и, блуждая в темных чащах натурфилософии, наконец оказывается лицом к лицу с великой статуей Спинозы.

За новой натурфилософией остается лишь та заслуга, что она остроумнейшим образом выявила вечный параллелизм, царящий между духом и материей. Я говорю «дух» и «материя» и эти выражения употребляю как равнозначащие тому, что Спиноза называет мыслью и протяжением. В известной степени равнозначно им также то, что наши натурфилософы называют духом и природой, или идеальным и реальным.

В дальнейшем я буду называть пантеизмом не столько систему Спинозы, сколько его способ созерцания. Пантеизм, так же как деизм, исходит из единства божества. Но бог пантеистов пребывает в самом мире не таким образом, что он пронизывает его своей божественностью, как когда-то пытался наглядно объяснить блаженный Августин, сравнивая бога с большим озером, а мир с большой губкой, лежащей посредине и впитывающей в себя божество. Нет, мир не только пропитан богом, не только чреват богом, но тождествен богу. «Бог», которого Спиноза называет единой субстанцией, а немецкие философы абсолютом, есть «все, что существует». Он столько же материя, сколько дух, и то и другое равно божественно, и кто поносит священную матерно, грешен столько же, сколько тот, кто грешит против святого духа.

Бог пантеистов отличается, таким образом, от бога деистов тем, что пребывает в самом мире, между тем как бог деистов находится вне мира, или, что то же самое, над миром. Бог деистов правит миром сверху, как системой, отдельной от него. Деисты различаются между собой только в вопросе об образе этого правления. Евреи представляют себе бога тираном-громовержцем, христиане — любящим отцом, ученики Руссо — вся женеvская школа — представляют его себе мудрым художником, изготовившим мир приблизительно таким же образом, как их папаша изготовляет свои часы, и в качестве знатоков этого

искусства они изумляются механизму и славят мастера в небесах.

Деист, принимающий, таким образом, лишь внемирового или надмирового бога, считает священным лишь дух: он рассматривает его как божественное дыхание, которое творец вселенной вдохнул в человеческое тело, в создание рук своих, вылепленное из глины. Поэтому евреи видели в этом теле нечто низкое, жалкую оболочку «руах гакодаш», то есть жалкую оболочку священного дыхания, духа, которому они единственно посвящали свои заботы, свое благоговение, свой культ. Они стали поэтому истинным пародом духа, целомудренным, умеренным в потребностях, сосредоточенным, абстрактным, упорным, готовым к мученичеству, и их высшим цветом является Иисус Христос. Он есть воистину воплощенный дух, и глубокого значения полна прекрасная легенда о том, что дева, чистая телом, непорочная, лишь чрез духовное зачатие произвела его на свет.

Но если евреи смотрели на тело с пренебрежением, то христиане пошли по этому пути еще дальше и смотрели на него как на нечто недостойное, нечто дурное, как на само зло. И вот мы видим, как через несколько столетий после рождения Христова вырастает религия, которая вечно будет поражать человечество и приведет позднейшие поколения в изумление, смешанное с ужасом. Да, это великая, святая, исполненная бесконечного блаженства религия, желавшая отвоевать для духа безусловное владычество на земле, — но в том-то и дело, что эта религия была слишком возвышенна, слишком чиста, слишком хороша для этой земли, где ее идея могла быть провозглашена лишь в теории, но отнюдь не осуществлена на практике. Попытка осуществить эту идею породила в истории бесконечное множество прекраснейших явлений, и долго еще поэты всех времен будут воспевать и славить ее. Но все же опыт осуществления христианства в действительности, как мы в конце концов видим, провалился позорнейшим образом, и этот неудачный опыт стоил человечеству неисчислимых жертв. Печальным следствием его является наш теперешний социальный недуг во всей Европе. Если мы, как полагают многие, живем еще в юношеском возрасте человечества, то христианство относится к самому экзальтированному, к студенческому его периоду,

делающему честь больше его сердцу, нежели рассудку. Материю, светское, христианство оставило в руках цезаря и его еврейских казначеев, удовлетворившись тем, что отвергло главенство первого и заклеямило последних в общественном мнении. Но — увы — ненавистный меч и презренные деньги в конце концов все-таки добиваются господства, и представители духа вынуждены войти с ними в соглашение. Мало того, из этого соглашения вышел даже союз, направленный к одной цели. Не только римские, но и английские, прусские, словом, все привилегированные представители духовенства заключили союз с цезарем и его пособниками с целью порабощения народов. Но в результате этого союза тем быстрее идет к гибели религия спиритуализма. К этому убеждению пришли уже некоторые представители духовенства, а ради спасения религии они делают вид, будто отказываются от этого пагубного союза, перебегают в наши ряды, надевают на себя красный колпак; они клянутся в смертельной ненависти ко всем царям, всем кровопийцам, они требуют уравнивания имущества на земле, они клянутся Маратом и Робеспьером. Между нами говоря, рассмотрев их поближе, вы найдете, что они служат обедню на языке якобинства, и как некогда преподнесли они цезарю яд, скрытый в святых дарах, так теперь они пытаются поднести свои святые дары народу, прикрыв их революционным ядом, ибо они знают, что нам этот яд по вкусу.

Напрасны, однако, все ваши старания! Человечеству приелись все святые дары, оно требует более питательной пищи, настоящего хлеба и вкусного мяса. Человечество снисходительно посмеивается над юношескими идеалами, которые ему, несмотря на все усилия, не удалось осуществить, и оно становится мужественно-практичным. Человечество придерживается теперь земной системы полезности, оно серьезно подумывает о гражданском благоустройстве и зажиточности, о разумном ведении хозяйства, об удобствах на старости лет. Тут уже, поистине, не может идти речь о том, чтобы оставить меч в руках цезаря и тем менее — кошелек в руках его прислужников. Служение государям потеряло привилегию почета, и промышленность очищена от бывшего позора. Ближайшая задача — быть здоровым, ибо мы чувствуем себя еще очень слабыми. Святые вампиры средневековья высосали из нас много

крови и жизненных соков. И великие искупительные жертвы должны еще быть принесены материи, чтобы она простила былые оскорбления. Было бы даже уместно установить особые празднества и воздавать материи еще больше чрезвычайных почестей в возмещение нанесенного ущерба. Ибо христианство, оказавшись неспособным уничтожить материю, повсюду позорило ее, принижало благороднейшие наслаждения, и чувственности приходилось прикрываться лицемерием, что породило ложь и грех. Мы должны облечь наших жен в новые мысли и одежды, а все наши чувства обкурить, как после перенесенной чумы.

Таким образом, ближайшей целью всех наших новых установлений должна быть реабилитация материи, возведение ее в прежний сан, ее моральное признание, ее религиозное освящение, ее примирение с духом. Пуруша вновь вступает в брак с Пракрити. Следствием их насильственного разлучения, как это поучительно представлено в индийском мифе, явилась великая мировая раздвоенность, зло.

Знаете ли вы теперь, что такое мировое зло? Спиритуалисты всегда упрекали нас в том, что при пантеистической точке зрения исчезает различие между добром и злом. Но зло, с одной стороны, есть только бредовое представление их собственного мировоззрения, с другой стороны оно есть реальное следствие их же собственного мироустройства. Согласно их мировоззрению, материя сама по себе зло, что поистине является клеветой, ужасающим богохульством. Материя лишь тогда становится злом, когда она принуждается к тайному заговору против узурпации духа, когда дух опозорил ее и она прелюбодействует из презрения к себе, или когда она, более того, с ненавистью и отчаянием мстит за себя духу; и, таким образом, зло является лишь следствием спиритуалистического мироустройства.

Бог тождествен миру. Он проявляет себя в растениях, бессознательно ведущих космически-магнетическую жизнь. Он проявляет себя в животных, которые в смутной жизни своих чувств более или менее ощущают какое-то неясное существование. Но чудеснее всего он проявляет себя в человеке, который одновременно чувствует и мыслит, который умеет индивидуально отличить себя от объективной



природы и уже в разуме своем носит идеи, раскрывающиеся ему в мире явлений. В человеке божество приходит к самосознанию, и это самосознание проявляется опять-таки через посредство человека. Но это происходит не в единичном и не через единичного человека, а в совокупности людей и через нее, — таким образом, что каждый человек охватывает и составляет лишь одну часть бога-вселенной, а все люди в совокупности охватывают и составляют цельного бога-вселенную в идее и в реальности. Каждый народ, быть может, имеет предназначение познать и выразить определенную часть этого бога-вселенной, понять ряд явлений, воплотить ряд идей в явлении и передать результат последующим народам, на которые возложена исходная миссия. Поэтому бог есть истинный герой мировой истории, она же есть его непрестанное мышление, непрестанное действие, его слово, его дело, и мы можем с правом сказать о человечестве в совокупности, что оно есть воплощение бога!

Ложно мнение, будто эта религия, пантеизм, ведет людей к индифферентизму. Напротив, сознание своей божественности вдохновит человека на проявление ее, и лишь теперь прославят эту землю истинно великие подвиги истинного героизма.

Политическая революция, опирающаяся на принципы французского материализма, найдет в пантеизме не противников, а пособников, но пособников, почерпнувших свои убеждения из более глубокого источника — из религиозного синтеза. Мы заботимся о благе материи, о материальном счастье народов не потому, что мы, подобно материалистам, относимся с пренебрежением к духу, но потому, что мы знаем, что божественность человека проявляется также в его физическом существе, что нужда разрушает или принижает тело, образ божий, и что от этого погибает равным образом и дух. Великое изречение революции, произнесенное Сен-Жюстом, — «le pain est le droit du peuple»<sup>1</sup> — у нас изменено в «le pain est le droit divin de l'homme».<sup>2</sup> Мы боремся не за человеческие права народа, но за божественные права человека. В этом и еще кое в чем другом мы отличаемся от мужей революции.

---

<sup>1</sup> Хлеб есть право народа (*франц.*)

<sup>2</sup> Хлеб есть божественное право человека (*франц.*).

Мы не хотим быть ни санкюлотами, ни умеренными в своих потребностях мещанами, ни дешевыми президентами: мы устанавливаем демократию равно чудесных, равно святых, равно блаженных богов. Вы требуете простых одежд, воздержания в нравах, неприправленных наслаждений; мы, напротив, требуем нектара и амброзии, пурпурных одежд, драгоценных благоуханий, неги и роскоши, смеющейся пляски нимф, музыки и веселых комедий. Не прогневайтесь же, добродетельные республиканцы! На ваши цензорские упреки мы ответим вам словами шекспировского шута: «Или ты думаешь: раз ты добродетелен, так не бывать на свете ни пирогам, ни вину?»

Отчасти это поняли и собирались осуществить сен-симонисты. Но они находились в неблагоприятной обстановке, окружавший их материализм подавил их, по крайней мере на некоторое время. В Германии их оценили лучше, ибо Германия представляет благодатнейшую почву для пантеизма. Он является религией наших величайших мыслителей, наших лучших художников, и деизм, как я покажу впоследствии, давно опровергнут там в теории. Он удерживается там только в бессознательных массах, не находя разумного оправдания, как, впрочем, и многое другое. В этом не признаются, но всякий это знает. Пантеизм — это публичная тайна в Германии. Мы в самом деле переросли деизм. Мы свободны и не хотим громовержущего тирана. Мы стали совершеннолетними и не нуждаемся ни в каком отеческом попечении. Мы также и не машины, вышедшие из рук великого механика. Деизм есть религия для рабов, религия для детей, для жезловцев, для часовщиков.

Пантеизм есть тайная религия Германии, и что именно этим должно кончиться, предвидели те самые немецкие писатели, которые уже полвека тому назад так резко выступали против Спинозы. Самым яростным из этих противников Спинозы был Фридрих-Генрих Якоби, которому иногда оказывают честь, называя его среди немецких философов. Это был всего-навсего сварливый пропыра, который втерся в среду философов, прикрываясь плащом философии; сперва он долго ныл им о своей любви и мягкосердечии, а кончил поношением разума. Всегда был у него один и тот же припев: философия, познание посредством разума — пустой призрак, разум сам не знает, куда

он ведет, он приводит человека в темный лабиринт заблуждений и противоречий, и лишь одна только вера способна твердо его вести. Этот крот не видел, что разум подобен вечному солнцу, которое, уверенно обращаясь в небесах, освещает себе путь своим собственным светом. Ничто не может сравниться с благочестивой, благодушной ненавистью маленького Якоби к великому Спинозе.

Замечательно, как самые различные партии нападали на Спинозу. Они образуют армию, пестрый состав которой представляет забавнейшее зрелище. Рядом с толпой черных и белых клобуков, с крестами и дымящимися каминами марширует фаланга энциклопедистов, также возмущенных этим *renseur téméraire*.<sup>1</sup> Рядом с раввином амстердамской синагоги, трубящим к атаке в козлиный рог веры, выступает Аруэ де Вольтер, который на флейте насмешки наигрывает в пользу деизма, и время от времени слышится вой старой бабы Якоби, маркитантки этой религиозной армии.

И мы бежим как можно скорее от всей этой кутерьмы. Возвращаясь с нашей пантеистической прогулки, мы подойдем снова к философии Лейбница и займемся изложением се дальнейших судеб.

Известные вам произведения Лейбница написаны частью на латинском, частью на французском языке. Христиан Вольф — таково имя достойного человека, не только систематизировавшего, но и изложившего на немецком языке идеи Лейбница. Собственно, его заслуга заключается не в том, что он объединил идеи Лейбница в твердую систему, еще менее в том, что он сделал их доступными широкому кругу читателей посредством немецкого языка: заслуга его заключается в том, что он и нас побудил философствовать на нашем родном языке. До Вольфа мы могли заниматься философией — так же, как до Лютера богословием — только на латинском языке. Пример тех немцев, которые уже ранее излагали подобные вещи на немецком языке, оказался забытым; но историк литературы обязан воздать этим людям особую хвалу. Поэтому упомянем здесь, в частности, Иоганна Таулера, доминиканского монаха, который родился в начале XIV столетия

---

<sup>1</sup> Дерзким мыслителем (*франц.*).

на Рейне и умер там же, кажется в Страсбурге, в 1361 году. Это был набожный человек, принадлежавший к числу тех мистиков, которых я назвал партией средневековых платоников. В последние годы своей жизни человек этот отказался от всякого научного высокомерия и не стыдился проповедовать на смиренном народном языке, и эти проповеди, записанные им, равно как и немецкие переводы некоторых из его прежних латинских проповедей, принадлежат к замечательнейшим памятникам немецкого языка. Ибо уже здесь язык этот показывает, что он не только пригоден для метафизических изысканий, но что он создан для них гораздо более латинского. Этот последний, язык римлян, никогда не может оторваться от своего корня. Это язык команды для полководцев, язык указов для администраторов, язык юстиции для ростовщиков, лапидарный язык для твердого, как камень, римского народа. Он оказался подходящим языком для материализма. Хотя христианство, с терпением поистине христианским, более чем тысячелетие в муках стремилось спиритуализировать этот язык, это не удалось ему; и когда Иоганн Таулер хотел совершенно погрузиться в самые ужасающие бездны мысли и когда сердце его переполнилось священнейшими чувствами, он ощутил необходимость говорить по-немецки. Его язык — словно горный ключ, бьющий из твердой скалы: он пропитан чудесным благоуханием неведомых трав и таинственной силой камней. Но лишь в новейшие времена стала действительно заметна пригодность немецкого языка для философии. Ни на каком другом языке не могла бы природа открыть сокровеннейшее свое создание, кроме как на нашем милом, родном немецком языке. Только на могучем дубе могла вырасти священная омега.

Здесь заслуживал бы упоминания Парацельс, или, как он сам себя называет, Теофрастус-Парацельзус-Бомбастус фон Гогенгейм, ибо он также почти всегда писал по-немецки. Но мне придется позже говорить о нем, в связи с еще более значительным предметом. Ибо его философия была как раз тем, что мы в наши дни называем натурфилософией; и такое учение о природе, оживотворенной идеей, столь таинственно-любезное немецкому духу, развилося бы у нас уже тогда, если бы благодаря случайным влияниям не пришла к безраздельному господству безжизнен-

ная, механическая физика картезианцев. Парацельс был величайшим шарлатаном, выступавшим всегда в пурпурном камзоле, пурпурных штанах, красных чулках и красной шляпе, утверждавшим, что он в силах создавать гомункулов, маленьких человечков; во всяком случае он состоял в близких отношениях с невидимыми существами, гиздящимися в различных стихиях, — но в то же время он был одним из тех глубокомысленнейших естествоиспытателей, которые своим пытливым немецким сердцем поняли сущность дохристианской пародной веры, германский пантеизм, а то, чего они не знали, очень верно почувствовали.

Здесь, собственно, надлежало бы также упомянуть и о Якобе Беме, ибо он также пользовался немецким языком для философского изложения и за это заслужил великую хвалу. Но я ни разу до сих пор не мог решиться прочитать его. Я не люблю, когда меня дурачат. Тех, кто восхваляет этого мистика, я подозреваю в желании мистифицировать публику. Что касается содержания его произведений, то Сеп-Мартен сообщил вам кое-что из них на французском языке. Переводили его и англичане. Карл I так высоко ставил этого теософа-башмачника, что отправил в Герлиц одного ученого с единственной целью изучить Беме. Этот ученый был счастливее своего царственного господина, ибо если последний потерял в Уайтхолле голову под топором Кромвеля, то первый потерял в Герлице, под влиянием теософии Якоба Беме, всего-навсего свой разум.

Как я уже сказал, Христиан Вольф первый успешно ввел немецкий язык в философию. Менее важной его заслугой была систематизация и популяризация идей Лейбница. И то и другое достойно даже величайшего порицания, и мы должны мимоходом об этом упомянуть. Его систематизация была лишь пустой видимостью, которой принесено было в жертву важнейшее в Лейбницева философии, например лучшая часть учения о монадах. Правда, Лейбниц оставил не законченное здание своего учения, го лишь необходимые для его постройки идеи. Нужен был богатырь, чтобы объединить эти колоссальные плиты и колонны, извлеченные из недр и прекрасно выточенные другим богатырем из мраморных глыб. Это был бы прекрасный храм. Христиан Вольф, однако, был очень невысокого

роста и мог использовать лишь часть этого строительного материала — он употребил его на жалкую келью деизма. Вольф обладал скорее энциклопедической, чем систематизирующей головой, и единство учения он понимал лишь как полноту этого учения. Он довольствовался чем-то вроде шкафа, где полки прекрасно расположены, превосходно заполнены и снабжены четкими надписями. В таком роде построена и его «Энциклопедия философских наук». Само собой понятно, что он, внук Декарта, унаследовал дедовскую форму математической аргументации. Эту математическую форму я порицал уже у Спинозы. В руках Вольфа она оказалась чрезвычайно пагубной. Она выродилась у его учеников в невыносимый схематизм и в смешную манию доказывать все математическим методом. Возник так называемый вольфовский догматизм. Прекратилось всякое более глубокое исследование, — оно заменилось скучным стремлением к ясности. Вольфовская философия становилась все более водянистой и затопила, наконец, всю Германию. Следы этого потопа заметны до сих пор: то там, то здесь, на высочайших вершинах, где пребывают наши музы, попадаются старые ископаемые Вольфовой школы.

Христиан Вольф родился в 1679 году в Бреславле и умер в 1754 году в Галле. Более полувека продолжалось его духовное господство в Германии. Мы должны особенно подчеркнуть его отношение к богословам того времени, чем мы дополним наше изложение судеб лютеранства.

Во всей истории церкви нет более сложной распри, чем препирательства протестантских теологов со времен Тридцатилетней войны. С ними может сравниться лишь казуистическая грызня византийцев, но она была менее скучна, так как за нею скрывались большие государственные, придворные интриги, тогда как в основе протестантской потасовки лежал по преимуществу педантизм ограниченных магистерских голов и университетских париков. Университеты, особенно Тюбингенский, Виттенбергский, Лейпцигский и Галлеский, являлись аренами этих богословских споров. Две партии, которые, как мы видели, на протяжении всего средневековья боролись в католическом одеянии, платоновская и аристотелевская, переменили лишь одежды и продолжают враждовать. Это упомянутые уже пиетисты и ортодоксы, которых я назвал

мистиками без фантазии и догматиками без ума. Иоганн Шпенер был Скоттом Эригеной протестантизма, и как этот последний своим переводом легендарного Дионисия Ареопагита основал католический мистицизм, так Шпенер основал протестантский пиеизм с помощью своих проповедей «Colloquia pietatis»,<sup>1</sup> благодаря которым, быть может, и закрепилось за его последователями название пиеистов.<sup>2</sup> Он был благочестивый человек, вечная ему память. Берлинский пиеист г-н Франц Горн хорошо написал его биографию. Жизнь Шпенера — сплошное мученичество за христианскую идею. Он был в этом отношении выше своих современников. Он настаивал на добрых делах и набожности, он был более проповедником духа, чем слова. Его проповедническая деятельность была похвальна для его времени. Ибо вся теология, как ее преподавали в упомянутых выше университетах, заключалась только в узкой догматике и в педантической полемике о словах. Экзегетика и история церкви оставались в совершенном пренебрежении.

Ученик этого Шпенера, Герман Франке, выступил в Лейпциге с лекциями по примеру и в духе своего учителя. Он читал по-немецки — заслуга, о которой мы всегда упоминаем с признательностью. Успех этого курса возбудил зависть его коллег, которые поэтому отравляли жизнь нашему бедному пиеисту. Ему пришлось очистить место, и он переселился в Галле, где словом и делом учил христианству. Память его неувыдаема в Галле, так как он — основатель тамошнего сиротского приюта. Галльский университет отныне был переполнен пиеистами, которых называли «сиротской партией». Кстати сказать, партия эта сохранилась там до сего дня. Галле и теперь еще остается кротовой норой пиеистов, и их распри с протестантскими рационалистами привели несколько лет тому назад к скандалу, распространившему по всей Германии свое зловоние. Счастливые французы, вы ничего не слышали об этом! Для вас осталось неизвестным даже существование евангелических листков, наполненных сплетнями, где набожные селедочницы протестантской церкви досыта ругали друг друга. Счастливые французы, не имеющие

<sup>1</sup> «Благочестивые беседы» (лат.).

<sup>2</sup> Слова «пиеизм» и «пиеист» происходят от латинского pietas (благочестие).

никакого понятия о том, как злобно, мелко, отвратительно способны оплевывать друг друга наши евангелические священники! Как вы знаете, я не приверженец католичества. В моих нынешних религиозных убеждениях уже не живет, правда, догматика протестантства, но неизменно жив его дух. Я, таким образом, все еще остаюсь пристрастным сторонником протестантской церкви. И все же, истины ради, я должен признать, что никогда в летописях папства я не встречал таких гнусностей, какие раскрылись в берлинской «Евангелической церковной газете» при упомянутом скандале. Самые трусливые монашеские интриги, самые мелочные монастырские козни кажутся благородными и добропорядочными в сравнении с христианскими подвигами, совершенными нашими протестантскими ортодоксами и пиетистами в борьбе против ненавистных рационалистов. О ненависти, обнаруживающейся в подобных случаях, вы, французы, не имеете никакого понятия. Немцы ведь вообще злопамятнее, чем романские народы.

Это происходит оттого, что они и в ненависти идеалисты. Мы ненавидим друг друга не из-за внешних мелочей, как вы, например, — из-за оскорбленного тщеславия, из-за остроумного словца, из-за неотданного визита, — нет, мы ненавидим в наших врагах глубочайшее, важнейшее, что в них есть, — мысль. Вы, французы, легкомысленны и поверхностны как в любви, так и в ненависти. Мы, немцы, ненавидим основательно, продолжительно; а так как мы чересчур честны и к тому же слишком неповоротливы, чтобы мстить со стремительным коварством, то мы ненавидим до последнего вздоха.

«Я знаю ваше немецкое спокойствие, сударь, — сказала недавно одна дама, с недоверием и страхом глядя на меня своими широко раскрытыми глазами, — я знаю, вы, немцы, одним словом выражаете «простить» и «отравить». И в самом деле, она права: слово *vergeben* обозначает и то и другое.

Если не ошибаюсь, это галлеские ортодоксы, в борьбе с переселившимися к ним пиетистами, призвали на помощь вольфовскую философию. Ибо если религия теряет возможность сжигать нас на костре, она является к нам и начинает у нас попрошайничать. Но все наши подаяния не идут ей на пользу. Математическое, демонстративное одеяние, в которое Вольф любовно облек бедную религию, так дурно



сидело на ней, что она почувствовала себя еще более стесненной и в этой стесненности стала очень смешной. Повсюду лопались слабые швы. Стыдливая часть — первородный грех — выступила во всей своей особенно откровенной наготы. Здесь не помог никакой фиговый листок логики. Христианско-лютеранский первородный грех и лейбницевско-вольфовский оптимизм непримиримы. Поэтому французское издевательство над оптимизмом очень мало огорчило наших теологов. Насмешка Вольтера пошла на пользу нагому первородному греху. Но от уничтожения оптимизма немецкий Панглос потерял очень много и долго искал подходящее утешительное учение, пока гегелевское изречение: «Все действительное — разумно» до некоторой степени не вознаградило его.

С того момента как религия начинает искать помощи у философии, ее гибель становится несовратимой. Она пытается защититься и гибнет, погружаясь все глубже в пустые словопрения. Религия, как всякий абсолютизм, не должна оправдываться. Прометей приковывает к скале безмолвная сила. И действительно, Эсхил не влагает ни одного слова в уста олицетворенной силе. Она должна быть немой. Как только религия напечатала катехизис, наполненный рассуждениями, как только политический абсолютизм начал издавать официальную газету, обоим пришел конец. Но в том-то и заключается наше торжество, что мы заставили наших противников говорить и они вынуждены держать ответ перед нами.

Правда, нельзя отрицать, что религиозный абсолютизм, как и политический, обрел весьма мощный голос, чтобы отвечать нам. Но не пугайтесь этого. Если слово живо, то его донесет и карлик, если же оно мертво, то никакие великаны не удержат его от падения.

Итак, как я уже сказал, с тех пор как религия стала искать поддержки у философии, немецкие ученые, помимо облачения ее в новые одежды, произвели над нею еще бесчисленный ряд экспериментов. Вздумали вернуть ей молодость и взялись за это приблизительно таким же образом, как Медея при омоложении царя Эсона. Сперва ей вскрыли вену и понемногу выпустили из нее всю суеверную кровь; говоря без метафор, была сделана попытка изъять из христианства все историческое содержание и сохранить одну только моральную часть. Вследствие этого

христианство превратилось в чистый деизм. Христос перестал быть соправителем господ. Он был, так сказать, медиатизирован и только в качестве частного лица находил признание и почет. Сверх всякой меры восхваляли его нравственный характер. Не хватало слов, чтобы достаточно превознести его и выразить, каким он был хорошим человеком. Что касается чудес, совершенных им, то их объясняли естественными причинами или старались обращать на них как можно меньше внимания. Чудеса, говорили некоторые, были необходимы в те суеверные времена, и разумный человек, желавший возвестить истину, пользовался ими, как чем-то вроде объявления. Эти богословы, изгнавшие из христианства все историческое, назывались рационалистами, и против них в равной степени была направлена ярость как pietистов, так и ортодоксов, которые с тех пор не столь бешено боролись друг с другом, а нередко заключали союз. Чего не могла сделать любовь, то сделала общая ненависть, ненависть к рационалистам.

Это направление в протестантской теологии начинается со спокойного Землера, которого вы не знаете, достигает опасных высот вместе с ясным Теллером, которого вы тоже не знаете, и доходит до вершины при посредстве плоского Бардта, от знакомства с которым вы ничего не теряете. Сильнейшие импульсы шли из Берлина, где царствовали Фридрих Великий и книгопродавец Николай.

О первом, этом коронованном материалисте, вы осведомлены в достаточной степени. Вы знаете, что он писал французские стихи, очень хорошо играл на флейте, одержал победу при Росбахе, много шохал табаку и верил только в пушки. Некоторые из вас бывали, конечно, в Сан-Суви, и старый инвалид, тамошний дворцовый сторож, показывал вам в библиотеке французские романы, которые Фридрих, в бытность кронпринцем, читал в церкви и которые он приказал переплести в черный сафьян, чтобы его строгий родитель верил, будто он читает лютеранский молитвенник. Вы знаете его, этого царственного мудреца, прозванного вами Соломоном Севера. Франция была Офиром этого северного Соломона, и отсюда он получал своих поэтов и философов, к которым питал большое пристрастие, подобно Соломону Юга, получавшему, как вы можете прочесть в «Книге царств», гл. X, при посредстве своего друга Хирама целые корабли золота, слоновой

кости, поэтов и философов из Офира. Вследствие этого пристрастия к иноземным талантам Фридрих Великий не мог, конечно, оказать слишком большое влияние на немецкую культуру. Наоборот, он оскорблял, он унижал немецкое национальное чувство. Презрение, с которым Фридрих Великий относился к нашей литературе, задевает даже нас, внуков. Кроме старого Геллерта, ни один из них не удостоился его высочайшей милости. Разговор, состоявшийся между ним и Геллертом, замечателен.

Но если Фридрих Великий издевался над нами, не оказывая нам поддержки, то в тем большей мере поддерживал нас книгопродавец Николаи, что ни в малой степени не мешало нам издеваться над ним. Человек этот всю свою жизнь неустанно трудился для блага отечества, он не щадил ни трудов, ни денег, когда надеялся содействовать чему-нибудь хорошему, и все же никогда не было в Германии человека, осмеянного столь жестоко, столь непримиримо, столь уничтожающе, как именно этот человек. Хотя мы, потомки, знаем очень хорошо, что старый Николаи, друг просвещения, совсем не ошибался в основном, хотя нам известно, что уничтожили его насмешками главным образом наши враги, обскуранты, мы все же не можем серьезно отнестись к нему. Старый Николаи пытался сделать в Германии то, что сделали французские философы во Франции. Он хотел вытравить прошлое из сознания народа, — почтенная предварительная работа, без которой не может быть произведена ни одна радикальная революция. Но напрасные старания — такая работа была ему не по плечу. Старые развалины держались еще слишком крепко, и привидения вылетали из них, издеваясь над ним; тогда он приходил в ярость и вслепую начинал наносить удары, а зрители хохотали, когда летучие мыши, шипя, проносились мимо его ушей и запутывались в его напудренном парике. Случалось ему также иной раз принимать ветряные мельницы за великанов и воевать с ними. Еще хуже было, однако, когда он подчас принимал за ветряные мельницы настоящих великанов, например некоего Вольфганга Гете. Он написал сатиру на его «Вертера», в которой обнаружил грубейшее непонимание всех намерений автора. Однако в главном он все же оставался прав: если он и не понял, что, собственно, хотел сказать Гете своим «Вертером», то он очень хорошо

понял воздействие этого романа — расслабляющую мечтательность, бесплодную сентиментальность, порожденные им и находившиеся во враждебном противоречии со всяким разумным взглядом на мир, в котором мы так нуждались. Здесь Николай высказал совершенно ту же мысль, что и Лессинг, который в письме к приятелю дал «Вертеру» следующую оценку:

«Для того чтобы создание столь горячее не натворило больше зла, чем добра, не полагаете ли вы, что оно должно было бы заканчиваться небольшой холодной заключительной речью? Два-три намека на то, как в Вертере развился столь причудливый характер, на то, как другой юноша, со сходной натурой, мог бы оградить себя от этого. Полагаете ли вы, что римский или греческий юноша мог бы так и по этой причине лишиться себя жизни? Конечно, нет. Они умели совершенно иначе охранять себя от любовного безумия; во времена Сократа, такое ἐξ ἔρωτος κατῳχῆ, <sup>1</sup> которое побуждает τι τολμᾶν παρὰ φύσιν, <sup>2</sup> едва ли простили бы даже маленькой девочке. Создавать такие мелко-великие, презренно-достойные оригиналы было уделом лишь христианского воспитания, которое столь прекрасно умеет превратить физическую потребность в духовное совершенство. Итак, любезный Гете, еще одну главку в заключение, и чем циничнее, тем лучше!»

И друг Николай, согласно этому указанию, действительно написал измененного «Вертера». В его редакции герой не застрелился, но только замарался куриной кровью, ибо ею был заряжен пистолет вместо свинца. Вертер становится смешным, остается в живых, женится на Шарлотте — короче говоря, кончает еще трагичнее, чем в оригинале у Гете.

«Всеобщей немецкой библиотекой» назывался журнал, который основал Николай и где он и друзья его выступали против суеверий, иезуитов, придворных лакеев и т. п. Нельзя отрицать, что некоторые из ударов, направленных против суеверия, попадали, к несчастью, в поззию. Так, например, Николай восставал против зарождающегося пристрастия к старым немецким народным песням. Но по существу он опять-таки был прав: при всевозмож-

---

<sup>1</sup> Любовное увлечение (греч.).

<sup>2</sup> К поступку против естества (греч.).

ных достоинствах в этих песнях заключалось немало воспоминаний, совершенно несвоевременных: старые напевы средневековых пастушеских песен могли вновь заманить народную душу в религиозный хлев прошлого. Подобно Одиссею, он силился заткнуть уши своим спутникам, чтобы они не могли слышать пения сирен, не заботясь о том, что это сделает их глухими и к невинным песням соловья. Чтобы радикально очистить поле современности от всяких плевел, этот практик не стеснялся уничтожать цветы. Против этого самым яростным образом восстала партия цветов и соловьев и все, что к этой партии относится — красота, изящество, остроумие и шутка, — и бедный Николай пал.

В нынешней Германии обстоятельства переменились, и партия цветов и соловьев тесно связана с революцией. Нам принадлежит будущее, и уже занимается заря победы. Наступит день, когда ее лучезарный свет озарит все наше великое отечество, и тогда мы помянем также и мертвых; мы помянем, конечно, и тебя, старый Николай, бедный мученик разума! Мы перенесем твой прах в германский Пантеон, вокруг саркофага будет двигаться ликующее торжественное шествие в сопровождении оркестра музыкантов, среди духовых инструментов которых — упаси господи! — не будет свистка; мы возложим на твой гроб пристойнейший лавровый венок и изво всех сил постараемся при этом удержаться от смеха.

Желая дать понятие о философско-религиозном состоянии той эпохи, я должен упомянуть здесь также о тех мыслителях, которые выступали более или менее в сотрудничестве с Николаем и образовали как бы промежуточный слой между философами и художественной литературой. У них не было никакой определенной системы, была лишь определенная тенденция. По стилю и по своим конечным принципам они сродни английским моралистам. Они пишут не в строго научной форме, и нравственное самосознание есть единственный источник их познания. Их тенденция совершенно та же, с какой мы встречаемся у французских филантропов. В религии они рационалисты. В политике они космополиты. В морали они благородные, добродетельные люди, строгие к себе и снисходительные к другим. Что касается таланта, то в качестве самых выдающихся из них могут быть названы Мендель-

сон, Зульцер, Аббт, Мориц, Гарве, Энгель и Бистер. Мориц мне милее прочих. Он много сделал в опытной психологии. Он отличался прелестной наивностью, мало понятой его друзьями. Его автобиография — один из важнейших памятникков этой эпохи. Но наибольшее общественное значение, в сравнении с прочими, имеет все же Мендельсон. Он был реформатором немецких евреев, своих единоверцев, он испроверг авторитет талмудизма, он основал чистый мозаизм. Этот человек, которого современники называли немецким Сократом и которым столь благоговейно восхищались вследствие его душевного благородства и силы его ума, был сыном бедного синагогального служки в Дессау. Кроме этого прирожденного несчастья, провидение наградило его еще горбом, как бы для того, чтобы дагь черни паглядное поучение, что чело века надо оценивать не по его наружности, а по внутренним достоинствам. Или, быть может, провидение паделило его горбом именно из благой предосторожности, чтобы он мог относить несправедливости, испытываемые им со стороны черни, за счет недостатка, по поводу которого мудрец легко способен утешиться?

Мендельсон испроверг талмуд, как Лютер испроверг папство, и точно таким же образом, а именно: он отверг традицию, объявил библию источником религии и перевел ее важнейшую часть. Этим путем Мендельсон разрушил еврейский католицизм, точно так же как Лютер разрушил христианский. В самом деле, талмуд есть еврейский католицизм. Это готический храм, приукрашенный, правда, ребяческими завитушками, но поражающий нас своей беспредельной, уходящей в небеса громадой. Это иерархия религиозных законов, которые часто касаются ничтожнейших, забавнейших мелочей, но так остроумно подчинены и соподчинены друг другу, поддерживают и несут друг друга и действуют при этом с такой страшной последовательностью, что они образуют некое колоссальное целое, устрашающее в своем упорстве и несокрушимое.

За гибелью христианского католичества должна была последовать гибель еврейского — талмуда. Ибо талмуд уже потерял свое значение; он ведь служил лишь оплотом против Рима. Ему обязаны евреи тем, что они могли противостоять христианскому Риму столь же геройски, как некогда они противостояли Риму языческому. И они

не только противостояли, но и победили. Бедный раввин назаретский, над умирающей головой которого язычник-римлянин начертал злорадные слова «царь иудейский», этот увенчанный терниями, облаченный в издевательскую багряницу и осмеянный царь иудейский сделался в конце концов богом римлян, и они должны были преклониться перед ним! Подобно языческому Риму, был побежден и Рим христианский, и он стал даже данником. Если ты, дорогой читатель, в первых числах триместра отправишься на улицу Лафит, в дом № 15, ты увидишь, как перед высоким подъездом из тяжеловесной кареты выходит толстый человек. Он поднимается по лестнице наверх, в маленькую комнату, где сидит молодой блондин, который, однако, старше, чем кажется с виду, в барской, аристократической пренебрежительности которого заключено нечто столь устойчивое, столь положительное, столь абсолютное, как будто все деньги этого мира лежат в его кармане. И в самом деле, все деньги этого мира лежат в его кармане, и зовут его мосье Джеймс де Ротшильд, а толстяк — это монсеньор Гримбальди, посланец его святейшества папы, от имени которого он приносит проценты по римскому займу, дань Рима.

К чему же теперь талмуд?

Поэтому Моисей Мендельсон заслуживает великой хвалы за то, что он испроверг, по крайней мере в Германии, это еврейское католичество. Ибо все излишнее вредно. Отвергнув традицию, он все же стремился сохранить обрядовый закон Моисея как религиозную обязанность. Было ли это трусостью или благоразумием? Была ли то запоздалая болезненная любовь, помешавшая ему положить разрушительную руку на предметы, которые были священней всего для его предков и за которые пролилось так много мученической крови и мученических слез? Не думаю. Подобно царям материи, и цари духа должны быть неумолимы к семейным чувствам; и на престоле мысли нельзя предаваться нежной чувствительности. Поэтому я скорее полагаю, что Моисей Мендельсон видел в чистом мозаизме систему, способную служить деизму как бы последним оплотом. Ибо деизм был его глубочайшей верой и глубочайшим убеждением. Когда умер его друг Лессинг и последнего обвинили в спинозизме, то он защищал его с педантическим усердием, и этот гнев свел его в могилу.

Вторично назвал я здесь имя, которое не может прозвучать ни один немец без волнения в груди. Со времен Лютера Германия не произвела более значительного и более прекрасного человека, чем Готхольд-Эфраим Лессинг. Оба они — наша гордость и наша любовь. Во мраке настоящего мы обращаем взоры к их изваяниям с чувством надежды, и они отвечают нам манящими обещаниями. Да, придет еще третий муж, который завершит то, что начал Лютер, что продолжил Лессинг и в чем так нуждается немецкое отечество, — третий освободитель! Я вижу уже его золотой панцирь, блистающий из-под императорской порфиры, «как солнце в зареве утренней зари!»

Подобно Лютеру, действительная роль Лессинга состояла не только в определенных деяниях, но главным образом в том, что он взволновал немецкий народ до глубины души, создавая своей критикой и своей полемикой благодатное движение в умах. Он был живой критикой своего времени, и вся его жизнь была полемикой. Эта критика проявляла себя в широчайших областях мысли и чувства, в религии, в науке, в искусстве. Эта полемика одолевала всякого противника и становилась сильнее с каждой победой. Лессинг, как сам он признавался, нуждался в борьбе для собственного духовного роста. Он был совершенно подобен тому легендарному норманну, который наслодовал таланты, знания и силы противников, убитых им в поединке, и, таким образом, в конце концов оказался одаренным всеми возможными совершенствами и достоинствами. Понятно, что такой зазорный боец наделал немало шуму в Германии, в той тихой Германии, которая в те времена была еще более по-субботному тиха, чем в наши дни. Большинство было ошеломлено его литературной смелостью. Но именно она поддерживала его, ибо «Oser!»<sup>1</sup> есть тайна успеха в литературе, так же, как и в революции и в любви. Все трепетали пред Лессинговым мечом. Ничья голова не была пред ним в безопасности. Более того, случалось и так, что иной череп он рубил прямо из озорства, и при этом он бывал еще так зол, что поднимал этот череп с земли и показывал публике, что он внутри пуст. Что оказывалось недоступно его мечу, то он убивал стрелами своего остроумия. Друзья восхищались пестрым

---

<sup>1</sup> Дерзать! (*франц.*).



оперением этих стрел; враги чувствовали острие их в своем сердце. Остроумие Лессинга не походит на ту *spjouement*,<sup>1</sup> на то *gaieté*,<sup>2</sup> на те острые *saillies*,<sup>3</sup> которые известны у вас в стране. Его остроумие не было маленькой французской левреткой, гонящейся за своей тенью, — его остроумие было скорее большим немецким котом, который играет с мышью, прежде чем ее задушить.

Да, полемика была счастьем и отрадой нашего Лессинга, и поэтому он никогда не раздумывал долго над тем, насколько противник достоин его. Немало имен спас он своей полемикой от заслуженнейшего забвения. Многих малюсеньких писателишек он как бы обволоч остроумнейшей насмешкой, восхитительнейшим юмором, и теперь они хранятся на веки вечные в сочинениях Лессинга, как насекомые, попавшие в кусок янтаря. Убивая своих противников, он тем самым дарил им бессмертие. Кто из нас знал бы когда-нибудь что-либо о том Клотце, на которого Лессинг истратил так много насмешек и остроумия! Каменные глыбы, которые он метал в этого бедного археолога и которыми он сокрушил его, являются теперь непреходящим памятником Клотцу.

Замечательно, что этот остроумнейший в Германии человек был также и честнейшим ее человеком. Ничто не может сравниться с его любовью к истине. Никогда Лессинг не делал ни малейших уступок лжи, даже в тех случаях, когда при ее посредстве, как это делают рассудительные люди, мог бы доставить победу истине. Он мог сделать для истины все — только не лгать. «Кто готов, — сказал он однажды, — сообщать другим истину под прикрытием всяких личин и румян, тот желает быть ее сводником, но возлюбленным ее он не был никогда».

Прекрасные слова Бюффона: «Стиль — это сам человек!» — ни к кому не применимы болес, чем к Лессингу. Его слог совершенно таков, как его характер: он правдив, тверд, свободен от украшений, прекрасен и внушителен благодаря присущей ему внутренней силе. Его стиль совершенно подобен стилю римских построк: величайшая устойчивость при величайшей простоте; будто каменные плиты, покоятся периоды один на другом, и как там закон

<sup>1</sup> Игривость (*франц.*).

<sup>2</sup> Веселье (*франц.*).

<sup>3</sup> Выходки (*франц.*).

тяготения, так здесь логическая последовательность является невидимым цементом. Поэтому так мало в Лессинговой прозе тех вставных словечек и словесных уловок, которые мы употребляем в качестве связующего цемента в построении наших периодов. Еще гораздо реже находим мы здесь те кариатиды мысли, которые вы называли *la belle phrase*.<sup>1</sup>

Вы легко поймете, что такой человек, как Лессинг, никогда не мог быть счастлив. И если бы даже он не любил истины и не защищал ее самоотверженно везде, то он все же был бы несчастен. Ибо это был гений. «Все простится тебе, — сказал недавно один вздыхающий поэт, — тебе простятся твои богатства, простится высокое происхождение, простится красота и даже талант, но по отношению к гению люди неумолимы». Увы! Если даже не столкнется он со злопыхательством извне, то в себе самом гений обнаружит врага, который готовит ему гибель. Поэтому история великих людей есть всегда легенда мученичества; если они не принимали муки за величие человечества, то страдали за свое собственное величие, за великий размах своего существования, за свободу от филистерства, за пренебрежение к суетной пошлости, к улыбающейся посредственности, их окружающей, за пренебрежение, которое естественно приводит их к экстравагантностям, например к театру или даже к игорному дому, как это было с бедным Лессингом.

Однако злоречие не смогло упрекнуть его в чем-нибудь большем, и из биографии его мы узнаем только, что хорошенькие актрисы нравились ему больше, чем гамбургские пасторы, и что безмолвные карты лучше развлекали его, чем болтливые последователи Вольфа.

Сердце разрывается, когда читаешь в его биографии, как судьба отказала этому человеку во всех радостях и как она не дала ему даже отдохнуть от ежедневных боев в мирной семейной обстановке. Один только раз фортуна как будто хотела ему улыбнуться. Она дала ему любимую жену и ребенка, — но это счастье было подобно солнечному лучу, на мгновение позолотившему крыло пролетающей птицы; оно исчезло так же быстро: жена умерла от родов, а ребенок — едва родившись, и об этом ребенке

---

<sup>1</sup> Красивой фразой (*франц.*).

писал он одному из своих друзей жутко-остроумные слова:

«Радость моя была непродолжительна. И мне было так жаль терять его, этого сына! Ибо он был так умен, так умен! Не подумайте, что немногие часы моего отцовства сделали меня смешным папенькой. Я знаю, что говорю. Разве это не доказательство ума, что его пришлось втаскивать в этот мир железными клещами? Что он так быстро заметил всю его гнусность? Разве это не доказательство ума, что он воспользовался первой возможностью убраться отсюда?.. Я хотел хоть раз пожить не хуже других людей. Но не тут-то было».

Было у Лессинга несчастье, на которое он ни разу не пожаловался своим друзьям: это его ужасающее одиночество, его духовная изолированность. Некоторые из его современников любили его, никто его не понимал. Мендельсон, лучший друг Лессинга, пылко защищал его, когда его обвинили в спинозизме. Как пыл, так и защита были столь же смешны, сколь и ненужны. Мир праху твоему, старый Моисей. Твой Лессинг, правда, был на пути к этой ужасающей ошибке, к этому печальному заблуждению, а именно к спинозизму, но всевышний господь на небесах с помощью смерти вовремя успел спасти его от этого. Успокойся, твой Лессинг не был спинозистом, как утверждала клевета; он умер как добрый деист, подобно тебе, Николаи, Теллеру и «Всеобщей немецкой библиотеке»!

Лессинг был лишь тем пророком, который на основе второго завета возвестил третий. Я назвал его продолжателем Лютера, и, собственно, об этой его стороне предстоит мне говорить здесь. О его значении для немецкого искусства я скажу в дальнейшем. В этой области совершил он благотворительную реформу не только посредством своей критики, но также посредством своего примера, и эта сторона его деятельности обыкновенно более всего выдвигается и освещается. Мы, однако, рассматриваем его с другой точки зрения, и его философские и богословские бои для нас важнее его «Драматургии» и его драм. Последние, однако, подобно всем его произведениям, имеют общественное значение, и «Натан Мудрый» в основе есть не только хорошая комедия, но и философско-богословское сочинение в защиту чистого деизма. Искусство также было для

Лессинга трибуной, и когда его прогоняли с амвона или с кафедры, то он выбегал на сцену и оттуда говорил еще яснее и отчетливее и собирал вокруг себя еще более многочисленную публику.

Я говорю: Лессинг — продолжатель Лютера. После того как Лютер освободил нас от традиции и возвысил Библию до степени единственного источника христианства, возникло, как я уже сказал выше, косное служение слову и букве, и Библия воцарилась столь же тиранически, как некогда традиция. Освобождению от этой тиранической буквы Лессинг содействовал более, чем кто-либо другой. Как Лютер не был единственным, боровшимся против традиции, так и Лессинг боролся хотя и не в одиночестве, но мужественнее всех против буквы. Здесь громче всего раздается его боевой клич. Здесь радостнее всего потрясает он своим мечом, и меч сверкает и разит. Однако здесь также всего сильнее теснила Лессинга черная свора, и в таком трудном положении он воскликнул однажды:

«O sancta simplicitas! <sup>1</sup> Но я еще не там, где был доблестный человек, воскликнувший это, который ничего иного и не мог воскликнуть. (Гус воскликнул это на костре.) Сначала пусть только тот нас слышит, тот нас судит, кто способен и желает слышать и судить!

О, если б он мог это слышать, он, кого я хотел бы больше всего иметь своим судьей! Лютер, ты! Великий, непобедимый человек! Хуже всего поняли тебя те упрямые тупицы, которые с твоими туфлями в руках тащатся по проложенной тобою дороге и хотя кричат, однако полны равнодушия! Ты освободил нас от ига традиции; кто освободит нас от невыносимого ига буквы! Кто, наконец, принесет нам христианство, которое ты проповедовал бы ныне так, как проповедовал бы его сам Христос!»

Да, буква, говорил Лессинг, есть последняя оболочка христианства, и лишь по уничтожении этой оболочки из нее высвободится дух. Этот дух есть, однако, не что иное, как то, что хотели доказать последователи вольфовской философии, что чувствовали в душе своей филантропы, что Мендельсон нашел в мозаизме, что воспевали масоны,

---

<sup>1</sup> О святая простота! (лат.).

о чем пасивистывали поэты, что в ту пору проявлялось в Германии во всех формах: чистый деизм.

Лессинг умер в Брауншвейге в 1781 году, непонятый, презираемый и оклеветанный. В том же году появилась в Кенигсберге «Критика чистого разума» Иммануила Канта. С этой книгой, которая веледствие странного запоздания получила известность лишь в конце восьмидесятых годов, начинается духовная революция в Германии, представляющая своеобразную аналогию материальной революции во Франции, столь же важная в глазах глубокого мыслителя, как и та. Она развивается по тем же фазам, и между обеими царит замечательнейший параллелизм. По обеим сторонам Рейна наблюдаем мы тот же разрыв с прошлым; традиции отказывают в каком бы то ни было почтении; как здесь, во Франции, всякое право, так там, в Германии, всякая мысль должны доказать свои права, и как здесь рушится королевская власть, красугольный камень старого социального строя, так и там рушится деизм, красугольный камень старого режима мысли.

Об этой катастрофе, о 21 января деизма, мы скажем в следующей книге. Какое-то чувство неизъяснимого ужаса, какой-то таинственный шепот не позволяет нам сегодня писать дальше. Наша грудь полна ужасающего сострадания — к смерти готовится сам старый Иегова. Мы так хорошо знали его, с его колыбели в Египте, где он воспитывался среди божественных тельцов, крокодилов, священных луковниц, ибисов и кошек. Мы видели, как он распрощался с этими соучастниками своих детских игр и с обелисками и сфинксами родной пильской долины и как в Палестине стал он у бедного пастушеского народа маленьким богом-царем и обитал в собственном дворце-храме. Мы видели затем, как он соприкоснулся с ассирийско-вавилонской цивилизацией и отринул от себя свои слишком человеческие страсти, перестал изрыгать только гнев и месть, во всяком случае перестал немедленно обрушиваться громом по поводу всякой мелкой подлости. Мы видели, как он переселился в Рим, в великую столицу, где он отрекся от всех национальных предрасудков, провозгласил небесное равенство всех народов и с помощью столь прекрасных фраз образовал оппозицию против старого Юпитера и так долго интриговал, пока не

добился главенства и не подчинил себе с высоты Капитолия и град и мир — *ur̄bet et orbem*. Мы видели, как он все более и более одухотворялся, как он стонал в блаженной расслабленности, как он сделался любвеобильным отцом, всеобщим другом человечества, благодетелем вселенной, филантропом... Все это ничем не могло ему помочь.

Слышите звяканье колокольчика? Преклоните колена... Это несут святые дары умирающему богу.



## КНИГА ТРЕТЬЯ

Существует легенда об одном английском механике, который изобрел ряд остроумнейших машин и, наконец, пришел к мысли смастерить человека; в конце концов это ему удалось: создание рук его могло действовать и вести себя совсем как человек, в его кожаной груди было даже нечто вроде человеческого чувства, не слишком отличавшегося от обычных чувств англичанина, оно способно было выражать в членораздельных звуках свои ощущения, а скрежет внутренних колес, пружин и винтов, который был слышен при этом, даже сообщал этим звукам настоящий английский акцент; короче говоря, автомат был безукоризненным джентльменом, но для того чтобы быть настоящим человеком, ему недоставало только одного — души. Души, однако, не мог ему дать английский механик, и злополучное создание, осознавшее такое свое несовершенство, денно и ночью терзало своего создателя мольбами дать ему душу. Все настойчивее повторяемая мольба эта стала, наконец, настолько невыносимой для художника, что он обратился в бегство от своего произведения. Однако автомат не замедлил броситься за ним на курьерских; он следует за ним на материк, непрестанно гонится за ним по пятам и, когда подчас ему удается его постигнуть, визжит и гнусавит: «Give me a soul!»<sup>1</sup> Эти две фигуры мы встречаем теперь во всех странах, и лишь тот, кому известны их своеобразные отношения,

---

<sup>1</sup> Дай мне душу! (англ.).

может понять их необычайную торопливость и тревожную раздражительность. Но, зная эти своеобразные отношения, находишь в них опять-таки некий общий смысл, видишь, что одной части английского народа стало невтерпеж ее механическое существование и она требует души, другую же часть это требование повергает в ужас, и она устремляется то туда, то сюда, но ни та, ни другая не может больше оставаться дома.

Это страшная история. Ужасно, когда тела, нами созданные, требуют души. Но еще более страшно, ужасно, жутко, когда мы создаем душу и она требует от нас своего тела и преследует нас этим требованием. Мысль, порожденная нами, и есть такая душа, и она не оставляет нас в покое, пока мы не дадим ей тела, пока не доведем ее до чувственного явления. Мысль стремится стать действием, слово — плотью. И — удивительная вещь! — человеку, подобно библейскому богу, достаточно высказать мысль, и создается мир, возникает свет или возникает тьма, воды отделяются от суши, а иной раз появляются даже хищные звери. Мир есть отпечаток слова.

Так и знайте, гордые люди действия. Вы не что иное, как бессознательные чернорабочие на службе у людей мысли, которые не раз в смиреннейшей тиши точнейшим образом предсказывали все ваши деяния. Максимилиан Робеспьер был не чем иным, как рукой Жан-Жака Руссо, кровавой рукой, извлекающей из лона истории тело, душу которого создал Руссо. Тоскливая тревога, отравлявшая жизнь Жан-Жаку, происходила, быть может, оттого, что в глубине души он уже предчувствовал, какой акушер требуется его мыслям, чтобы они во плоти явились на свет.

Старый Фонтенель, быть может, был прав, сказав: «Если бы я держал зажатými в руке все мысли этого мира, то я бы поостерегся разжать ее». Что до меня, то я думаю иначе. Если бы я держал в горсти все мысли этого мира, то я, быть может, просил бы вас поскорее отрубить эту руку; я ни в коем случае не держал бы ее сжатой так долго. Я не рожден быть тюремщиком мыслей. Видит бог, я выпускаю их на свободу! Ничего не поделаешь, — пускай воплощаются в самые опасные явления, пусть безумной вакханалией несутся по всем странам, пусть своими тирсами ломают наши невиннейшие цветы,



пусть врываются в наши больницы и спогияют с кровати больной старый мир! Это, конечно, будет весьма при-скорбно моему сердцу, да я и сам пострадаю от этого! Ибо — увы! — я ведь тоже принадлежу к этому старому больному миру, и прав был поэт, сказавший: «Сколько ни издевайся над своими костылями, лучше от этого ходить не будешь». Я самый больной среди вас всех, и я тем более достоин сожаления, что знаю, что такое здоровье. А вы, зависти достойные, вы этого не знаете! Вы способны умереть, не заметив этого. Да, многие из вас давным-давно умерли и уверяют, что только теперь начипается их настоящая жизнь. И когда я возражаю против этого безумия, мною возмущаются, меня позорят, и — о ужас! — трупы набрасываются на меня с бранью, и еще больше, чем их поношения, невыносим для меня психодящий от них запах тлена... Прочь, призраки, я буду говорить о человеке, одно имя которого звучит как заклинание, — я буду говорить об Иммануиле Канте!

Говорят, ночные духи пугаются, увидев меч палача. Как же должны они пугаться, когда им показывают «Критику чистого разума» Канта! Эта книга есть меч, отрубивший в Германии голову деизму.

Сказать по совести, вы, французы, весьма кротки и умеренны в сравнении с нами, немцами. Самое большее, что вы могли сделать, это убить короля, да и тот успел потерять голову раньше, чем вы ее отрубили. И при этом вам пришлось столько барабанить, и кричать, и топтать ногами, что был потрясен весь шар земной. Максимилиану Робеспьеру оказывают, право, слишком много чести, сравнивая его с Иммануилом Кантом. Впрочем, у Максимилиана Робеспьера, великого мещанина с улицы Сен-Оноре, бывали приступы бешеной мании разрушения, когда дело касалось королевской власти, и достаточно страшны были судороги его царсубийственной эпилепсии; но едва речь заходила о высшем существе, он вновь стирал белую пену с губ и кровь с рук и облачался в свой праздничный голубой сюртук с зеркальными пуговицами, да еще прикалывал букет цветов к широкому отвороту.

Изложить историю жизни Иммануила Канта трудно. Ибо не было у него ни жизни, ни истории. Он жил механически-размеренной, почти абстрактной жизнью холостяка

в тихой, отдаленной улочке Кенигсберга — старинного городка на северо-восточной границе Германии. Не думаю, чтобы большие часы на тамошнем соборе бесстрастнее и равномернее исполняли свои ежедневные внешние обязанности, чем их земляк Иммануил Кант. Вставание, утренний кофе, писание, чтение лекций, обед, гуляние — все совершалось в определенный час, и соседи знали совершенно точно, что на часах — половина четвертого, когда Иммануил Кант в своем сером сюртуке, с камышовой тросточкой в руке выходил из дому и направлялся к маленькой липовой аллее, которая в память о нем до сих пор называется Философской дорожкой. Восемь раз проходил он ее ежедневно взад и вперед во всякое время года, а когда бывало пасмурно или серые тучи предвещали дождь, появлялся его слуга, старый Лампе, с тревожной заботливостью следовавший за ним, словно символ провидения, с длинным зонтом под мышкой.

Какой странный контраст между внешней жизнью этого человека и его разрушительной мыслью, сокрушающей мир! Поистине, если бы кенигсбергские обыватели предчувствовали все значение этой мысли, они относились бы к этому человеку с несравненно большим трепетом, чем к палачу — к палачу, убивающему только людей; но добрые люди видели в нем всего лишь профессора философии и, когда встречали его в определенный час, приветливо здоровались с ним и, быть может, проверяли по нему свои часы.

Но если Иммануил Кант, этот великий разрушитель в царстве мысли, далеко превзошел своим терроризмом Максимилиана Робеспьера, то кос в чем он имел с ним сходные черты, побуждающие к сравнению обоих мужей. Прежде всего мы встречаем в обоих ту же неумолимую, резкую, лишенную поэзии, трезвую честность. Затем в обоих встречаем мы тот же талант недоверия, с той только разницей, что один направляет его на мысль и называет критикой, между тем как другой направляет его на людей и именует республиканской добродетелью. И все же тип мещанина в высшей степени выражен в обоих: природа предназначила их к отвешиванию кофе и сахара, но судьба захотела, чтобы они взвешивали другие вещи, и одному бросила на весы короля, другому — бога...

И они взвесили точно!

«Критика чистого разума» — главное произведение Канта, и его должны мы преимущественно заняться. Ни одно из сочинений Канта не имеет большего значения. Книга эта появилась, как было уже упомянуто, в 1781 году, но лишь в 1789 стала общеизвестной. Вначале она совершенно не была замечена, о ней появились только две незначительные заметки, и лишь позднее, благодаря статьям Шютца, Шульца и Рейнгольда, внимание публики было обращено на эту великую книгу. Причина столь запоздalogo признания заключается, вероятнее всего, в необычной форме и скверном изложении. В отношении последнего Кант заслуживает большего порицания, чем какой-либо другой философ, особенно если мы примем во внимание более легкий стиль его предыдущих сочинений. В вышедшем недавно сборнике его небольших статей напечатаны его первые опыты, и здесь мы удивляемся хорошему, иногда весьма остроумному изложению. Уже продумывая свое великое творение, Кант при этом напевал про себя эти маленькие статьи. Он улыбается в них, как солдат, спокойно вооружающийся перед сражением, где он с уверенностью ждет победы. Среди этих небольших работ особенно замечательны «Всеобщая естественная история и теория неба», написанная еще в 1755 году, «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного», написанные десять лет спустя, а также «Грезы духовидца», проникнутые веселым настроением в стиле французских эссе. В остроумии такого мыслителя, как Кант, проявившемся в этих мелких статейках, есть нечто весьма своеобразное. Обвиняясь вокруг мысли, остроумие, невзирая на свою слабость, все же достигает значительной высоты. Без такой поддержки, конечно, не преуспело бы и самое пышное остроумие; подобно виноградной лозе, лишенной подпорки, оно вынуждено в таком случае печально ползти по земле и гнить вместе со своими драгоценнейшими плодами.

Почему, однако, стиль «Критики чистого разума» Канта такой серый, сухой, такой сухопный? Я думаю, потому, что, отвергнув математическую форму декарто-лейбнице-вольфианцев, он боялся, как бы не принизилось достоинство науки, если она выскажется в более легком, предупредительно-приветливом тоне. Поэтому он

облек ее в жесткую, абстрактную форму, равнодушно отвергающую всякую фамильярность со слоями низшего умственного состояния. Он хотел по-барски отмежеваться от представителей тогдашней популярной философии, стремившейся к самой обывательской ясности, и облек свои мысли в формы придворно-замороженного канцелярского языка. Здесь во всей полноте проявляется филистер. Но, может быть, для тщательно размеренного хода своих идей Кант нуждался в тщательно размеренном языке и не был в состоянии создать лучший. Только у гения есть для новой мысли и новое слово. А Иммануил Кант не был гением. Ощущая этот свой недостаток, Кант, подобно любезнейшему Максимилиану, тем недоверчивее относился к гению, и в своей «Критике способности суждения» он утверждал даже, что гению в науке делать нечего, — его деятельность относится к области искусства.

Тяжелым, накрахмаленным слогом своего главного произведения Кант причинил очень много вреда. Ибо неумные подражатели без толку переняли у него эту внешнюю черту, и у нас возник суеверный предрассудок, будто нельзя быть философом, если пишешь хорошо. Однако математическая форма не могла уже больше возродиться в философии после Канта. Этой форме он вынес безжалостный смертный приговор в «Критике чистого разума». Математическая форма в философии, сказал он, создает лишь карточные домики, равно как философская форма в математике порождает сплошное пустословие. Ибо в философии невозможны определения, как в математике, где определения не дискурсивны, но интуитивны, то есть могут быть доказаны созерцанием; то, что называют определениями в философии, дается лишь как проба, гипотетически, предварительно; собственно, правильное определение является лишь в конце как вывод.

В чем причина столь великого пристрастия философов к математической форме? Это пристрастие начинается уже с Пифагора, который обозначал начала вещей посредством чисел. Это была гениальная мысль. Число свободно от всего вещественного и конечного, и все же оно обозначает нечто определенное и его отношение к чему-то определенному, каковое отношение, будучи равным образом выражено в числе, принимает тот же характер развеществлен-

ного и бесконечного. В этом число сходно с идеями, имеющими тот же характер и то же взаимоотношение. Поскольку идеи проявляются в нашем духе и в природе, они могут быть очень хорошо выражены числами; но все же число остается всегда знаком идеи, а никак не самой идеей. Мастер еще сознает это различие, ученик же забывает о нем и передает своим ученикам лишь числовую иероглифику, голые шифры, живое значение которых никому уже не известно и которые кое-кто, однако, продолжает повторять с геллертерским самодовольством. То же относится и к прочим элементам математической формы. Духовное в своем вечном движении не терпит никакого фиксирования; как и в числе, оно столь же мало может быть фиксировано в линии, треугольнике, квадрате и круге. Мысль не может быть ни исчислена, ни измерена.

Так как задача моя заключается главным образом в том, чтобы облегчить изучение немецкой философии во Франции, то я всегда останавливаюсь преимущественно на тех внешних чертах, которые легко отпугивают иностранца, не предупрежденного о них. В частности, обращаю внимание литераторов, которые захотят обработать Канта для французских читателей, что они могут опустить ту часть его философии, назначение которой исчерпывается разоблачением абсурдов философии Вольфа. Эта полемика, проглядывающая повсюду, может только запугать французов, но не быть им полезной. Как я слышал, один немецкий ученый, г-н д-р Шен, занят в Париже французским изданием Канта. Я слишком хорошего мнения о его философских познаниях, чтобы считать нужным применить это указание к нему; наоборот, я ожидаю от него книги столь же полезной, сколь значительной.

«Критика чистого разума» есть, как я уже сказал, главное произведение Канта, и прочие его сочинения могут считаться в известной степени менее необходимыми или рассматриваться лишь как комментарии. Каково общественное значение этого главного сочинения, выяснится из дальнейшего.

Философы до Канта размышляли, правда, о происхождении наших познаний, причем, как мы уже указали, шли двумя различными путями, в зависимости от того, признавали ли они идеи *a priori* или идеи *a posteriori*; меньше задумывались они над самой способностью позна-

ния, над объемом нашей способности познания или над ее границами. Это и поставил себе задачей Кант; он подверг беспощадному исследованию нашу способность познания, он измерил всю глубину этой способности и установил ее границы. Здесь он, конечно, нашел, что мы совершенно ничего не можем знать об очень многих вещах, с которыми мы, по нашему прежнему убеждению, состояли в ближайшем знакомстве. Это было очень досадно. Но все же полезно было узнать, о каких вещах мы ничего не можем знать. Кто предупреждает нас о бесполезных путях, оказывает нам такую же услугу, как и тот, кто указывает нам правильный путь. Кант доказал нам, что о вещах, каковы они сами по себе и сами в себе, мы не знаем ничего, а знаем о них лишь кое-что, в той мере, в какой они отражаются в нашем уме. Здесь мы совершенно подобны тем узникам, о которых Платон в седьмой книге своего «Государства» рассказывает столь печальные вещи: эти несчастные, у которых прикованы ноги и шея, так что они не могут повернуть голову, сидят в темнице, открытой сверху, и сверху падает сюда темного света. Свет же этот идет от огня, горящего наверху, за их спиною, да еще отделенного от них высокой стеной. Вдоль этой стены ходят люди, посящие всякие статуи, деревянные и каменные, и разговаривают между собою. Бедные узники совершенно не могут видеть этих людей, которые ниже стены, а от проносимых статуй, которые выше стены, они могут видеть только тени, движущиеся по противоположной стене; и вот они считают эти тени действительными предметами и, введенные в заблуждение эхом своей темницы, думают, что разговоры, доносящиеся до них, ведут между собой эти тени.

Предшествующая философия, которая рыскала вокруг вещей, обнюхивая их, собирая признаки вещей и классифицируя их, исчезла с появлением Канта, и последний направил изучение обратно к человеческому уму, исследуя, что там происходит. Не без основания сравнивает он поэтому свою философию с методом Коперника. Раньше, когда полагали, что земля неподвижна, а солнце вращается вокруг нее, астрономические вычисления не особенно ладились, но Коперник заставил солнце остановиться, а землю обращаться вокруг него — и вот все пошло превосходно! Прежде разум, подобно солнцу, вращался

вокруг мира явлений и старался освещать их; но Кант оставил разум, солнце, и мир явлений вращается вокруг разума и освещается им по мере вхождения в сферу этого солнца.

Этих немногих слов, в которых я наметил задачу, стоявшую перед Кантом, достаточно для того, чтобы всякий понял, что ту часть его книги, где он трактует о так называемых феноменах и ноуменах, я считаю наиболее важной, средоточием его философии. Дело в том, что Кант различает явления вещей и самые вещи в себе. Так как о самих вещах мы можем знать нечто лишь в той мере, в какой они открываются нам в явлениях, и так как в силу этого вещи не показываются нам, какими они суть сами по себе и сами в себе, то Кант назвал вещи, какими они нам являются, феноменами, а вещи, как они суть в себе, — ноуменами. Знать что-либо мы можем лишь о вещах как феноменах, но ничего не можем знать о вещах как ноуменах. Последние чисто проблематичны, мы не можем сказать ни что они существуют, ни что они не существуют. Мало того: слово «ноумен» сопоставлено со словом «феномен» только для того, чтобы иметь возможность говорить о вещах в той мере, в какой они доступны нашему познанию, не затрагивая в нашем суждении вещей, нашему познанию недоступных.

Таким образом, Кант, в противоположность многим ученым, которых я не стану называть, не разделяет вещи на феномены и ноумены, на вещи, которые для нас существуют, и вещи, которые для нас не существуют. Это была бы комическая бессмыслица в философии. Он хотел только установить разграничивающее понятие.

Бог, по Канту, есть ноумен. Согласно его аргументации, трансцендентальное идеальное существо, которое мы до сих пор называли богом, есть не что иное, как простое измышление. Оно возникло из естественной иллюзии. Более того: Кант показывает, почему мы ничего об этом ноумене, боге, знать не можем и почему даже в будущем никакое доказательство его бытия невозможно. Дантовы слова: «Оставьте всякую надежду!» — пишем мы над этой частью «Критики чистого разума».

Полагаю, меня охотно освободят от необходимости популярно излагать эту часть, где идет речь о доказательствах спекулятивного разума в пользу бытия высшего

существа». Несмотря на то, что собственно опровержение этих доказательств занимает немного места и получает развитие лишь во второй половине книги, оно все же с величайшей предусмотрительностью вводится издалека и принадлежит к наиболее решающим и острым положениям книги. За этим следует «Критика всякой спекулятивной теологии», и здесь уничтожаются прочие призраки деистов. Должен оговориться, что, нападая на три основных рода доказательств существования бога, а именно — доказательство онтологическое, космологическое и физико-теологическое, Кант, по моему мнению, опровергает лишь два последние, но не первое. Не знаю, известны ли здесь эти обозначения, и потому привожу то место из «Критики чистого разума», где Кант формулирует это различие:

«Возможны лишь три рода доказательства бытия божьего из спекулятивного разума. Все пути, какие бы ни избирались для этой цели, либо начинаются с определенного опыта и посредством него познанной особенной природы нашего чувственного мира и отсюда поднимаются по законам причинности к высшей причине, находящейся вне мира; либо они полагают в основание лишь неопределенный опыт, то есть какое-либо бытие, либо, наконец, отвлекаются от всякого опыта и совершенно а priori заключают, исходя из чистых понятий относительно бытия высшей причины. Первое доказательство — физико-теологическое, второе — космологическое, третье — онтологическое. Больше доказательств нет, и больше их быть не может».

После многократного изучения главной книги Канта мне казалось, я понял, что полемика против этих трех существующих доказательств бытия божьего проглядывает повсюду, и я изложил бы ее подробнее, если бы меня не удерживало некое религиозное чувство. Достаточно мне увидеть, что кто-нибудь оспаривает бытие божье, как меня охватывает такое странное беспокойство, такая тоскливая жуть, какие я испытывал когда-то в лондонском Нью-Бедламе, когда, будучи окружен толпой безумцев, я потерял из виду моего провожатого. «Бог есть все, что существует», и всякое сомнение в нем есть сомнение в жизни, есть смерть.

Но сколь неуместными ни являются всякие дискуссии о бытии божьем, тем достохвальнее размышление о при-



роде бога. Такое размышление есть истинное богослужение, отрешающее нашу душу от преходящего и конечного и приводящее ее к сознанию первичной благодати и предвечной гармонии. Это сознание проникает трепетом чувствительную душу во время молитвы или при созерцании церковных символов; мыслитель же обретает это священное настроение в проявлении той возвышенной силы духа, которую мы называем разумом и высшая задача которой заключается в исследовании природы бога. Особенно религиозные люди отдаются этой задаче с раннего детства, таинственно тревожит она их уже с первых движений их разума. Автор этих строк радостно сознает в себе такую раннюю, первичную религиозность, никогда не покидавшую его. Бог всегда был началом и концом всех моих мыслей. Если я теперь спрашиваю: «Что такое бог? Каков его природа?» — то уже ребенком я спрашивал: «Каков бог? Каков он с виду?» И в ту пору я мог по целым дням смотреть на небо и к вечеру бывал очень огорчен, что ни разу не посчастливилось мне увидеть пресвятой лик божий и что видел я только серые, бессмысленные физиономии. Совсем путали меня астрономические познания, которыми в ту пору просвещения беспощадно пичкали даже младенцев, и я не мог удивиться тому, что все эти тысячи миллионов звезд — такие же громадные прекрасные земные шары, как и наш, и всем этим светозарным скопищем миров правит единый бог. Раз, помню, во сне привиделся мне в недосягаемой вышине бог. С лицом благочестивого старца, с маленькой еврейской бородкой, благодушно выглядывал он из небесного окошечка и во множестве сеял на землю зерна, которые, ниспадая с неба, разлетались по беспредельному пространству, разрастались до необъятных размеров, пока не превращались в лучезарные, цветущие населенные миры, каждый величиной с наш земной шар. Никогда я не мог забыть этот лик, не раз потом видел я во сне приветливого старца, рассыпающего из своего небесного окошечка посев миров; однажды я заметил даже, что он причмокивал губами, как наша служанка, когда она сыпала курам ячмень. Я видел только, как падающие зерна всегда превращаются в громадные светящиеся миры; но громадных кур, которые, быть может, разинув клювы, где-то ждут, чтобы их накормили этими рассеянными мирами, мне увидеть не пришлось.

Ты улыбаешься, любезный читатель, при мысли об этих громадных курах. Но это детское представление не слишком далеко от представлений самых зрелых деистов. Чтобы дать понятие о внемировом боге, Восток и Запад исчерпали себя в ребяческих гипотезах. Тщетно, однако, истощалась фантазия деистов по поводу бесконечности пространства и времени. Здесь во всей полноте проявляется бессилие, несостоятельность их мировоззрения, их представления о природе бога. Нас поэтому мало огорчает, что это представление сокрушено. Но им действительно принес огорчение Кант, отвергнув их доказательства в защиту божьего бытия.

Спасение онтологического доказательства не могло бы особенно помочь деизму, ибо это доказательство пригодно также для пантеизма. Для более ясного понимания замечу, что онтологическое доказательство есть то, которое выставил Декарт и которое гораздо раньше, в средние века, было выражено Ансельмом Кентерберийским в форме спокойной молитвы. Можно даже сказать, что св. Августина уже выставил онтологическое доказательство во второй книге «*De libero arbitrio*».<sup>1</sup>

Как указано выше, я воздерживаюсь от всякого популяризирующего обсуждения кантовских возражений против этих доказательств. Ограничусь заверением, что с той поры деизм скончался в царстве спекулятивного разума. Быть может, понадобится еще несколько столетий, прежде чем эта траурная весть станет общим достоянием, — что до нас, то мы давно уже облачились в траур. *De profundis*.<sup>2</sup>

Вы думаете, все конечно, можно расходиться по домам? Не тут-то было! Будет представлена еще одна пьеса. За трагедией следует фарс. До сих пор Иммануил Кант изображал неумолимого философа, он штурмовал небо, он перебил весь гарнизон, сам верховный владыка небес, не будучи доказан, плавает в своей крови; нет больше ни всеобъемлющего милосердия, ни отеческой любви, ни потустороннего воздаяния за посюстороннюю воздержанность, бессмертные души лежат при последнем издыхании — тут стоны, там хрипение — и старый Лампе в качестве

---

<sup>1</sup> «О свободной воле» (лат.).

<sup>2</sup> Из глубины (лат.). (См. комментарии).

удрученного зрителя стоит рядом, с зонтом под мышкой, и холодный пот и слезы струятся по его лицу. Тогда Иммануил Кант разжалобился и показал, что он не только великий философ, но и добрый человек; и он задумывается и полудобродушно-полуиронически говорит: «Старому Лампе нужен бог, иначе бедняк не будет счастлив, — а человек должен быть счастлив на земле — так говорит практический разум, — так уж и быть — ну, пусть практический разум дает поруку в бытии божьем». Под влиянием этого довода Кант различает теоретический разум и разум практический, и посредством последнего, словно волшебной палочкой, он вновь воскресил мертвое тело деизма, убитого теоретическим разумом.

А быть может, Кант предпринял это воскрешение не только из-за старого Лампе, но и из-за полиции? Или он в самом деле сделал это по убеждению? Уничтожая все доказательства бытия божьего, не хотел ли он тем самым показать нам, как неудобно ничего не знать о существовании бога? Он поступил здесь почти столь же мудро, как один мой приятель вестфалец, который разбил все фонари на Грондерштрассе в Геттингене и, стоя в темноте, держал перед нами длинную речь о практической необходимости фонарей, каковыс он разбил лишь с той теоретической целью, чтобы доказать нам, что мы без них ничего видеть не можем.

Я упомянул уже, что появление «Критики чистого разума» не вызвало ни малейшей сенсации. Лишь много лет спустя, когда некоторые проицательные философы выступили с комментариями к этой книге, она привлекла общественное внимание, и в 1789 году в Германии только и было речи, что о Кантовой философии, которая была окружена всякими толкованиями, хрестоматиями, объяснениями, отзывами, апологиями и т. д. Стоит только заглянуть в любой каталог философской литературы, и великое множество появившихся в эту пору сочинений о Канте в достаточной степени удостоверит размах умственного движения, имеющего источником этого несравненного человека. Один высказывал бурный энтузиазм, другой — горькую досаду, многие, разинув рты, выжидали, каков же будет исход этой духовной революции. Мы пережили восстания в духовном мире, точно так же как вы — в мире материальном, и при ниспровержении старого догматизма мы горячились не меньше, чем вы при взятии Бастилии.

Конечно, и у нас лишь два-три старых инвалида встали на защиту догматизма, то есть Вольфовой философии. Это была революция, и здесь не обошлось без ужасов. В рядах партии прошлого подлинные добрые христиане меньше всех возмущались этими ужасами. Более того: они желали еще больших ужасов, чтобы мера переполнилась и чтобы тем скорее, в качестве неизбежной реакции, пришла контр-революция. Были у нас и пессимисты в философии, как у вас — в политике. Некоторые из наших пессимистов в самоослеплении зашли так далеко, что им привиделось, будто Кант состоит в тайном с ними соглашении и опроверг принятые доселе доводы в пользу существования бога лишь для того, чтобы мир увидел, что путем разума никак невозможно прийти к познанию бога и что, таким образом, здесь следует держаться религии откровения.

Это великое умственное движение Кант вызвал не столько содержанием своих сочинений, сколько духом критики, господствовавшим в них и проникшим теперь во все науки. Все научные дисциплины были им охвачены. Даже поэзию не пощадило его влияние. Шиллер, например, был убежденнейшим кантианцем, и его взгляды на искусство проникнуты духом кантовской философии. Изящной словесности и искусствам очень повредила абстрактная сухость философии Канта. К счастью, она не стала вмешиваться в искусство кулинарии.

Немецкий народ не легко расшевелить; но раз его толкнули на известный путь, он с упорнейшей пастойчивостью будет следовать по этому пути до конца. Такими выказали мы себя в делах религиозных. Такими выказали мы себя также и в философии. Будем ли мы столь же последовательно продвигаться в политике?!

Германия была увлечена Кантом на путь философии, и философия стала национальным делом. Вдруг, словно по волшебному мановению, появилась из германской почвы прекрасная плеяда великих мыслителей. Если со временем германская философия обретет, подобно французской революции, своего Тьера и своего Минье, то история ее представит столь же занимательное чтение: с гордостью прочтет ее немец и с восхищением — француз.

Среди учеников Канта уже ранее выдвинулся Иоганн-Готлиб Фихте.

Почти отчаиваюсь я в возможности дать надлежащее представление о значении этого человека. Говоря о Канте, мы ограничились рассмотрением только его книги. Здесь предметом рассмотрения должен, кроме книги, явиться и человек; у этого человека мысль и воля составляют одно целое, и в таком величественном единении воздействуют они на современность. Нам предстоит поэтому обсуждать не только философию, но и характер, которым она обусловлена, и для понимания влияния обоих потребовалось бы изображение общего состояния того времени. Какая широчайшая задача! Нам, конечно, не поставят в вину, если мы предложим здесь лишь скудные сведения.

Уже самые мысли Фихте с большим трудом поддаются изложению. Здесь мы также наталкиваемся на своеобразные трудности. Они касаются не только содержания, но также формы и метода; со всем этим мы охотно ознакомим иностранца в первую очередь. Итак, прежде всего о методе Фихте. Первоначально он целиком был заимствован у Канта. Вскоре, однако, под воздействием природы предмета этот метод меняется. Дело в том, что на долю Канта выпала задача дать только критику, то есть нечто отрицательное, Фихте же должен был установить систему — стало быть, нечто положительное. Это отсутствие целостной системы давало иногда повод отказывать кантовской философии в звании «философии». По отношению к самому Иммануэлю Канту это было правильно, но никак не по отношению к кантианцам, построившим из положений Канта достаточное количество целостных систем. В ранних своих сочинениях Фихте остается, как я сказал, вполне верен кантовскому методу, так что когда — анонимно — появилась первая его работа, ее можно было принять за сочинение Канта. Однако когда Фихте впоследствии создаст систему, то он впадает в столь страстное и даже упрямое конструирование, что, сконструировав весь мир, он начинает затем столь же страстно и столь же упрямо демонстрировать свои конструкции сверху донизу. В этом конструировании и демонстрировании Фихте проявляет, так сказать, некую абстрактную страсть. Как в его системе, так и в изложении вскоре воцаряется субъективность. Напротив, Кант, развернув пред собою мысль, разделяет ее на тончайшие волокна, и его «Критика чистого разума» есть как бы анатомический театр духа.

Сам он при этом остается холодным, бесчувственным, как истинный хирург.

Каков метод, такова и форма сочинений Фихте. Она полна жизни, но исполнена и всех недостатков жизни: она беспокойна и способна вводить в заблуждение. Чтобы сохранить живость, Фихте пренебрегает обычной терминологией философов, которая представляется ему чем-то мертвым; а это тем менее ведет нас к пониманию. У него вообще свои причуды в вопросе о понимании. Пока Рейнгольд был одного с ним мнения, Фихте объявлял, что никто не понимает его лучше Рейнгольда. Но когда впоследствии Рейнгольд отошел от него, Фихте заявил, что тот никогда его не понимал. Разойдясь с Кантом, он высказал печатно, что Кант сам себя не понимает. Я затрагиваю здесь вообще комическую сторону наших философов. Они не перестают жаловаться, что их не понимают. Лежа на смертном одре, Гегель сказал: «Только один меня понял», но тотчас вслед за тем раздраженно прибавил: «Да и тот тоже меня не понимал».

Что касается содержания по существу, то значение философии Фихте невелико. Она не дала обществу никаких результатов. Учение Фихте представляет для нас некоторый интерес лишь постольку, поскольку оно является вообще одной из замечательнейших ступеней в развитии немецкой философии, поскольку оно обнаруживает бесплодность идеализма в его конечных выводах и поскольку оно служит необходимым переходом к современной натурфилософии. Ввиду того, что его учение имеет, следовательно, более историческое и научное, чем социальное значение, я изложу его лишь в самых кратких чертах.

Вопрос, который ставит себе Фихте, таков: какие есть у нас основания предполагать, что нашим представлениям о вещах соответствуют также вещи вне нас? И на этот вопрос он отвечает: все вещи имеют реальность лишь в нашем уме.

Как «Критика чистого разума» есть главное сочинение Канта, так «Наукоучение» — главное сочинение Фихте. Эта книга представляет как бы продолжение первой. «Наукоучение» также обращает дух к самому себе. Но Фихте конструирует там, где Кант анализирует. «Наукоучение» начинается с абстрактной формулы ( $Я = Я$ ),

оно создает мир из глубины духа, оно вновь воссоединяет разрозненные части и возвращается обратным путем абстракции, пока не достигает мира явлений. Тогда дух получает возможность объявить этот мир явлений необходимыми акциями познания.

Особую трудность у Фихте представляет то, что он полагает дух наблюдающим самого себя в то время, когда он действует. «Я» должно производить наблюдения за своими интеллектуальными действиями в то время, как оно выполняет их. Мысль подслушивает себя самое, в то время как она мыслит, становясь все теплее и теплее, пока, наконец, не будет совсем готова. Эта операция напоминает нам обезьяну, которая, сидя у очага, варит в медной кастрюле свой собственный хвост. Ибо, по мнению Фихте, истинное поварское искусство заключается не в том, чтобы только варить объективно, но в том, чтобы также субъективно осознавать процесс варки.

Необходимо отметить, что философии Фихте всегда приходилось много терпеть от сатиры. Я видел однажды карикатуру, где был представлен фихтеанский гусь. У него такая огромная печень, что он уже не знает, гусь он или печень. На животе у него надпись: «Я = Я». Жан-Поль жесточайшим образом высмеял философию Фихте в книге под заглавием «Clavis Fichtiana».<sup>1</sup> Что последовательно проведенный идеализм в конце концов отрицает даже реальность материи, показалось широким кругам читателей слишком далеко зашедшей шуткой. Немало издевались мы над фихтевским Я, создающим весь мир явлений только посредством чистого мышления. При этом очень пригодилось нашим насмешникам одно недоразумение, ставшее настолько распространенным, что я не могу обойти его молчанием. Толпа ведь полагала, что фихтевское Я есть Я Иоганна-Готлиба Фихте и что это индивидуальное Я отрицает все прочие существования. «Какое бесстыдство! — восклицали хорошие люди. — Этот человек не верит, что мы существуем, мы, которые гораздо толще его и в качестве бургомистров и судейских делопроизводителей даже приходимся ему начальством». Дамы спрашивали: «Верит ли он хотя бы в существование своей жены? Нет? И это спокойно терпит мадам Фихте?»

---

<sup>1</sup> «Ключ к Фихте» (лат.).

Но фихтевское Я совсем не есть индивидуальное Я, а возвысившееся до сознания всеобщее, мировое Я. Фихтевское мышление не есть мышление какого-то индивида, какого-то определенного человека, носящего имя Иоганн-Готлиб Фихте; это, напротив, всеобщее мышление, проявляющееся в отдельной личности. Как говорят: «темнеет», «рассветает» и т. д., так и Фихте должен бы говорить не «я мыслю», но «мыслится» и «всеобщее мировое мышление мыслит во мне».

Сравнивая французскую революцию с немецкой философией, я как-то, скорее в шутку, чем всерьез, сравнил Фихте с Наполеоном. Но между ними в самом деле есть черты значительного сходства. После разгрома, учиненного террором кантианцев, является Фихте, как появился Наполеон, после того как конвент, также при помощи чисто-разумной критики, разрушил все прошлое. Наполеон и Фихте представляют великое, неумолимое Я, у которого мысль и дело едины, и исполинские сооружения, создать которые сумели они оба, свидетельствуют об исполинской воле. Но в результате безграничности этой воли тут же должны вновь рухнуть эти сооружения, и «Наукоучение», так же как наполеоновская империя, распадается и исчезает так же быстро, как возникло.

Империя принадлежит теперь только истории, но движение, вызванное в мире императором, все еще не улеглось, и этим движением продолжает жить наша современность. То же и с философией Фихте. Она исчезла совершенно, но умы еще взволнованы мыслями, прозвучавшими благодаря Фихте, и невозможно исчислить размеры влияния его слова. Пусть весь трансцендентальный идеализм был заблуждением, — все же сочинения Фихте были проникнуты гордой независимостью, любовью к свободе, мужественным достоинством, оказывавшим благотворное влияние особенно на молодежь. Фихтевское Я совершенно согласовалось с его непреклонным, упорным, железным характером. Учение о таком всемогущем Я только и могло, вероятно, возникнуть из такого характера, и такой характер, в свою очередь, найдя основу в таком учении, должен был стать еще более непреклонным, еще более упорным, еще более железным.

Каким страшилищем должен был быть этот человек для всех лишенных убеждений скептиков, для легкомыслен-



ных эклектиков и для умеренных всех цветов! Вся его жизнь была неустанной борьбой. История его молодости есть вереница злоключений, как почти у всех наших выдающихся людей. Нищета сидит у их колыбели и выращивает их, и эта тощая кормилица остается верной спутницей их жизни.

Нет ничего трогательнее усилий Фихте с его гордой волей добиться положения в жизни домашним учительством. Но даже и этого жалкого заработка не может он найти на родине и вынужден перебраться в Варшаву. А там все та же история. Домашний учитель не по вкусу милостивой барыне, а то и немилостивой горничной. Его поклонны недостаточно изящны, они недостаточно французские, и его не считают достойным руководить воспитанием маленького польского дворянчика. Иоганна-Готлиба Фихте рассчитывают, как лакея; едва получив от своих недовольных господ жалкие гроши на обратный путь, он покидает Варшаву и с юношеским энтузиазмом едет в Кенигсберг знакомиться с Кантом. Встреча этих двух людей интересна во всех отношениях, и я, как мне думается, лучше всего изображу характер и образ жизни каждого, приводя здесь отрывок из дневника Фихте, воспроизведенный в его биографии, недавно изданной его сыном:

«24 июня я выехал в Кенигсберг с одним тамошним извозчиком и без особых приключений прибыл туда 1 июля. 4-го был у Канта, который, однако, принял меня без всякого радушия; я был на его лекции, и здесь мои ожидания также не оправдались. Его изложение вяло. Тем временем я вел этот дневник.

Давно уже хотелось мне по-настоящему свидеться с Кантом, но я не знал, как. Наконец я придумал написать «Критику всякого откровения» и передать ему вместо рекомендации. Я приступил около 13-го и с тех пор работал без прерыва. 18 августа я, наконец, переслал Канту готовую работу и 25-го отправился выслушать его суждение о ней. Он принял меня чрезвычайно ласково и, по видимому, был очень доволен моим исследованием. До более подробного философского разговора не дошло; в ответ на мои философские сомнения он указал мне на свою «Критику чистого разума» и на придворного проповедника Шульца, которого я не замедлю посетить. 26-го

я обедал у Канта в обществе профессора Зомера и встретил в лице Канта очерь приятного и умного собеседника; лишь теперь я обнаружил в нем черты, свойственные человеку высокого духа, который нашел отражение в его сочинениях.

27-го я закончил этот дневник, после того как сделал извлечения из лекций Канта об антропологии, данных мне на время г-ном фон Ш. Вместе с тем решаю впредь каждый вечер без перерыва перед сном продолжать дневник и носить в него все интересное, что мне встретится, особенно же характерные черты и замечания.

28-го вечером. Еще вчера я начал пересматривать мою «Критику» и попал на хорошие, глубокие мысли, к сожалению, однако, убедившие меня, что первая редакция по сути своей поверхностна. Сегодня я собирался продолжать мои новые изыскания, но был так увлечен игрой воображения, что целый день ничего не мог делать. В моем нынешнем положении в этом, увы, нет ничего удивительного! Я рассчитал, что с сегодняшнего дня я могу просуществовать здесь еще всего две недели. Конечно, мне уже приходилось бывать в таком стесненном положении, но то было на родине, а с годами и с возрастающим чувством собственного достоинства оно становится все тягостнее. Не принял никакого решения, не могу принять. Пастору Боровскому, к которому предложил мне пойти Кант, я не откроюсь; если уж придется открыться, то только самому Канту.

29-го я отправился к Боровскому и нашел, что это очень добрый, порядочный человек. Он предложил мне кондицию, но пока не наверняка и совсем не особенно меня радующую; при этом своей искренностью он заставил меня признаться, что я вынужден искать заработка. Он посоветовал мне обратиться к профессору В. Работать я не мог. На следующий день я действительно пошел к В., а потом к придворному проповеднику Шульцу. На содействие первого надежд мало; все же он говорил об учительских местах в частных домах в Курляндии, но только крайняя нужда заставит меня принять какое-либо из них! Затем отправился к придворному проповеднику, где был принят сперва его женой. Потом появился и он, но все еще погруженный в свои математические чертежи; когда же расслышал полнее мою фамилию, он благодаря реко-

мендации Канта стал приветливее. У него угловатое прусское лицо, но сама честность и доброта светятся в его чертах. Затем я познакомился здесь еще с г-ном Бройнлихом и с его воспитанником, графом Денхоф, с г-ном Бютнером, племянником проповедника, и молодым ученым из Юриберга г-ном Эргардом; это умница с ясной головой, но ему недостает манер и знания света.

1 сентября я принял твердое решение, которым хотел поделиться с Кантом; учительского места, как ни мало оно соблазняло бы меня, все нет, а неопределенность моего положения мешает мне здесь работать с ясной головой и иметь полезное общение с моими друзьями: итак, назад, на родину! Маленькая ссуда, необходимая для этого, будет мне, быть может, дана при посредничестве Канта. Но когда я собрался пойти к нему с моим предложением, мужество покинуло меня. Я решился написать. Затем я был приглашен к придворному проповеднику, где провел очень приятный вечер. 2-го я окончил письмо к Канту и отослал его».

Как ни замечательно это письмо, у меня не хватает решимости привести его здесь во французском переводе. Мне кажется, краска выступает на моих щеках, как будто приходится рассказывать при чужих людях о самых сокровенных неприятностях в родной семье. Вопреки моему тяготению к французской светскости, вопреки моему философскому космополитизму в груди моей все еще сидит старая Германия со всеми своими обывательскими чувствами. Одним словом, я не могу привести это письмо и сообщаю здесь только: Иммануил Кант был так беден, что, несмотря на душераздирающе-трогательный язык этого письма, не мог ссудить денег Иоганну-Готлибу Фихте. Но последний нимало не рассердился, как мы можем заключить из записи в дневнике, которую я приведу:

«3-го сентября я был приглашен к Канту. Он встретил меня со своей обычной откровенностью, но сказал, что еще не мог принять решения по поводу моей просьбы; раньше двух недель он ничего сделать не может. Какая милая прямота! Вообще он выразил по поводу моих предположений сомнения, показавшие, что он недостаточно знаком с нашим положением в Саксонии... За все эти дни я ничего не сделал; но я вновь примусь за работу, предоставив все остальное господу богу. 6-го я был приглашен

к Канту, который предложил мне продать при посредстве пастора Боровского мою рукопись «Критика всякого откровения» книгопродавцу Гартунгу. «Она хорошо написана», — сказал он, когда я заговорил о переработке. Правда ли это? Но ведь это говорит Кант! Между прочим он отклонил первую мою просьбу. 10-го я обедал у Канта. Ни слова о нашем деле; был также магистр Гензихен; шли лишь общепе, частью очень интересные разговоры; и Кант в обращении со мною не изменился... Сегодня, 13-го, я хотел работать и ничего не делаю. Тоска одолевает меня. Чем это кончится? Что будет со мной через неделю? Тут кончатся все мои деньги!»

После множества скитаний, после долгого пребывания в Швейцарии Фихте находит, наконец, место в Иене, и здесь начинается блестящий период его жизни. Иена и Веймар — два саксонских городка, разделенные очень небольшим расстоянием, в несколько часов ходьбы, были тогда средоточием пемецкой духовной жизни. В Веймаре был двор и поэзия, в Иене — университет и философия. Там видели мы величайших поэтов, здесь — величайших ученых Германии. В 1794 году Фихте начал свои лекции в Иене. Год этот знаменателен и объясняет как дух его тогдашних сочинений, так и невзгоды, жертвой которых он сделался с этих пор и которых, спустя четыре года, не выдержал. В 1798 году Фихте было предъявлено обвинение в атеизме, навлекшее на него жестокие преследования и приведшее к его отъезду из Иены. Это важнейшее в жизни Фихте событие имеет также и общественное значение, и мы не можем обойти его молчанием. Здесь также самое подходящее место для изложения воззрений Фихте на природу бога.

В «Философском журнале», который выходил в это время под редакцией Фихте, он напечатал статью под заглавием «Развитие понятия религии», присланную ему пекиим Форбергом, учителем в Зальфельде. К этой статье он присоединил еще объяснительную заметку под заглавием: «Об основании нашей веры в божественное управление миром».

Обе статьи были конфискованы правительством курфюрста саксонского под тем предлогом, будто в них содержится атеизм, и в то же время из Дрездена была отправлена веймарскому двору жалоба с предложением основа-

тельно наказать профессора Фихте. Веймарский двор никак не реагировал на это предложение; но так как Фихте в данном случае сделал крупнейшие промахи, так как он, в обход своего официального начальства, написал «Апелляцию к публике», то раздраженное веймарское правительство вынуждено было под внешним давлением охладить несдержанного в выражениях профессора мягким выговором. Фихте, однако, считая себя правым, не хотел спокойно снести этот выговор и покинул Йену. Судя по его тогдашним письмам, особенно задело его поведение двух человек, служебное положение которых придавало исключительный вес их голосу в его деле, и это были его преподобие старший советник консистории фон Гердер и его высокопревосходительство тайный советник фон Гете. Оба, однако, в достаточной степени заслуживают извинения. Трогательное впечатление производят в посмертных письмах Гердера указания на то, как приходилось бедному Гердеру возиться с кандидатами богословских наук, которые, прослушав университетский курс в Йене, являлись к нему в Веймар экзаменоваться на звание протестантского проповедника. О Христе, сыне божьем, он даже не решался их спрашивать; он был доволен уже признанием существования отца. Что касается Гете, то он рассказывает в своих воспоминаниях о вышеупомянутом событии следующим образом:

«После отъезда Рейнгольда из Йены, что, по справедливости, считалось великой утратой для университета, на его место, — это было смело и даже дерзко, — пригласили Фихте, который в своих сочинениях высказывался о важнейших вопросах морали и государственной жизни с глубиной, но, пожалуй, не совсем подходящим образом. Это был один из самых способных людей, когда-либо существовавших, и ничего нельзя сказать против его взглядов, рассматривая их с высшей точки зрения; но как мог бы он идти в ногу с миром, который он считал своим лично созданным достоянием?»

Так как ему не предоставили избранных им часов для публичных лекций по будням, то он перенес их на воскресные дни, но это встретило препятствия. Едва были, не без неудобства для высшей администрации, сглажены и улажены мелкие и крупные неприятности, происшедшие отсюда, как высказанные им о боге и божественных пред-

метах суждения, которые, конечно, лучше держать при себе, в глубоком молчании, навлекли на нас затруднительные требования извне.

Фихте позволил себе высказаться в своем философском журнале о боге и божественных предметах языком, который, казалось, противоречил выражениям, общепринятым для суждений о таких тайнах. От него потребовали объяснений; его защита не поправила дела, так как он проявил страстность, не подозревая, как здесь настроены в его пользу и как умеют в его пользу истолковывать его мысли, его слова; это, конечно, нельзя было ему объяснить прямо, как нельзя было объяснить, каким образом старались помочь ему выпутаться без лишнего шума. Обсуждения и возражения, предположения и утверждения, подкрепления и решения сменяли друг друга во множестве смутных разговоров в университете; говорилось, что Фихте должен готовиться к министерскому порицанию, к чему-то вроде публичного изгнания, — не меньше. Возмущенный этим, он счел себя вправе обратиться в министерство с резким посланием, в котором, исходя из неизбежности этой меры, гневно и вызывающе заявил, что он никогда не потерпит ничего подобного, что он предпочтет немедленно покинуть университет и в этом случае не будет одиноким, так как многие согласные с ним выдающиеся профессора также предполагают уйти вместе с ним.

Это сразу ослабило и даже парализовало общую к нему благожелательность: здесь не было выхода, не оставалось места для посредничества, и самое невинное, что можно было сделать, — это без проволочек уволить его. Лишь теперь, когда все было непоправимо, он узнал о направлении, которое предполагалось дать делу, и ему пришлось раскаиваться в своем поспешном шаге, так же как и мы о нем сожалели».

Разве не встает здесь перед нами во весь рост все сглаживающий, все затушевывающий министр Гете? По существу он укоряет Фихте за то, что последний откровенно высказывал свои мысли, и высказывал их не в предустановленных, маскирующих выражениях. Он порицает не мысль, а слово. Что деизм со времен Канта ниспровергнут в мире немецких мыслителей, было, как я уже сказал, всем известной тайной, о которой, однако, не полагалось кричать на площади. Гете был так же мало деистом, как

и Фихте, ибо он был пантеистом. Но именно с высоты пантеизма Гете мог своим зорким оком лучше всего разглядеть несостоятельность философии Фихте, и его снисходительные уста не могли удержаться от улыбки. Иудеям, каковыми в конечном счете являются все деисты, Фихте должен был представляться страшилищем; в глазах великого язычника он был только нелепостью. «Великий язычник» — таково прозвище, данное Гете в Германии. Но это прозвище подходит не вполне. Язычество Гете удивительно модернизировано. Его могучая языческая натура проявляется в отчетливом, зорком схватывании всех внешних черт, всех красок и образов; однако христианство в то же время одарило его более глубоким пониманием; несмотря на его упорное сопротивление, христианство посвятило его в тайны мира духов, он причастился крови Христовой и оттого стал понимать сокровеннейшие голоса природы, подобно Зигфриду, герою «Нибелунгов», вдруг понявшему язык птиц, после того как капля крови убитого дракона омочила его губы. Замечательно, как у Гете эта языческая его природа была проникнута нашей современной сентиментальностью, как в античном мраморе бился пульс нового времени и как он сочувствовал страданиям юного Вертера с такой же силой, как и восторгам древнегреческого бога. Таким образом, пантеизм Гете весьма отличается от языческого. Короче говоря: Гете был Спинозой поэзии. Все его стихотворения проникнуты тем же духом, который овеивает нас в сочинениях Спинозы. Не подлежит сомнению, что Гете был безусловным поклонником учения Спинозы. Во всяком случае он занимался им в продолжение всей жизни; он откровенно признается в этом как в начале своих воспоминаний, так и в последнем, недавно вышедшем их томе. Не помню, где я прочитал, что Гердер, возмущенный этими постоянными занятиями Спинозой, как-то воскликнул: «Хоть бы раз Гете взял в руки какую-нибудь другую латинскую книгу, кроме Спинозы!» Но это относится не к одному только Гете; множество его друзей, сделавшихся в дальнейшем более или менее известными поэтами, держались в ранние годы пантеизма, который практически процветал в немецкой поэзии, прежде чем воцарился у нас в качестве философской теории. Именно во времена Фихте, когда идеализм поднялся до своего высочайшего

расцвета в области философии, он был насильственно разрушен в поэзии, и здесь разразилась та знаменитая революция в искусстве, которая не закончена еще и по сей день и которая начинается с борьбы романтиков против староклассического режима, с шлегелевского мятежа.

В самом деле, наши первые романтики выступали, подчиняясь пантеистическому инстинкту, которого сами не понимали. Чувство, которое они принимали за тяготение к материнскому лону католической церкви, имело более глубокое происхождение, чем казалось им самим, и все их почтение и пристрастие к сказаниям средневековья, к его народным верованиям, к чертовщине, чародейству, колдовству, — все это было внезапно в них возникшее, но не понятное ими влечение назад, к пантеизму древних германцев, и в гнусно оклеветанном, злостно изуродованном облике они любили, собственно, лишь дохристианскую религию своих отцов. Здесь я должен напомнить книгу первую, где я показал, как христианство вобрало в себя элементы древнегерманской религии, как последние, будучи отвратительно изуродованы, сохранились в народных верованиях средних веков, причем старое поклонение природе рассматривалось сплошь как злое чародейство, старые боги — как мерзостные бесы, а их целомудреннейшие жрицы — как распутные ведьмы. С этой точки зрения можно смотреть на заблуждения наших первых романтиков несколько мягче, чем принято. Они стремились воскресить католическое существо средневековья, так как чувствовали, что там сохранилось еще множество святынь их далеких праотцев и великолепие их первобытной национальности; эти исковерканные и опозоренные реликвии влекли к себе их души с такой волшебной силой; и они ненавидели протестантизм и либерализм, стремившиеся уничтожить все это вместе со всем католическим прошлым.

Но я еще вернусь к этому. Здесь важно только отметить, что пантеизм уже ко времени Фихте проник в немецкое искусство, что даже католические романтики бессознательно следовали этому направлению и что оно нашло отчетливейшее выражение у Гете, и именно уже в «Вертере», где он томится по любовному отождествлению с природой. В «Фаусте» он хочет установить связь с природой непосредственно дерзновенно-мистическим путем: он



заклипают тайные силы земли при помощи колдовских заговоров «Адского ключа». Но чище и прелестнее проявляется этот пафосизм Гете в его маленьких песнях. Учение Спинозы вылетело из математической куколки и порхает вокруг нас в виде гетевской песни. Отсюда ярость наших ортодоксов и пистистов против песен Гете. Своими благочестивыми медвежьими лапами они неуклюже ловят этого мотылька, который неизменно ускользает от них. Он так нежно воздушен, так благоуханно-легкокрыл. Вы, французы, не можете иметь об этом никакого представления, если вы не знаете нашего языка. Эти песни Гете полны дразнящего изящества, совершенно невыразимого. Гармонические стихи обвивают твоё сердце, как нежная возлюбленная; слово обнимает тебя, в то время как мысль тебя целует.

Таким образом, в поведении Гете по отношению к Фихте мы решительно не усматриваем тех гадких мотивов, которые у некоторых современников получили ещё более гадкое название. Они не поняли различия в натуре этих двух человек. Наиболее снисходительные ложно истолковали пассивность Гете, когда впоследствии Фихте подвергся большим неприятностям и преследованиям. Они не приняли во внимание положения Гете. Этот великан был министром в карликовом немецком государстве. Он никогда не мог двигаться свободно. О сидящем на троне Юпитере Фидия в Олимпии говорили, что если бы он когда-нибудь внезапно встал, он проломил бы головой крышу храма. Таким же точно было положение Гете в Веймаре: если бы он когда-нибудь внезапно восстал из своего неподвижного покоя и выпрямился, то он пробил бы государственную крышу или, что ещё вероятнее, разбил бы себе об неё голову. И этому риску он должен был подвергнуть себя ради учения не только ложного, но и смехотворного? Немецкий Юпитер продолжал сидеть спокойно, спокойно принимая поклонение и воскурения.

Я слишком далеко отошел бы от моей темы, если бы занялся ещё более основательным оправданием поведения Гете в деле об обвинении Фихте с точки зрения тогдашних интересов искусства. В пользу Фихте говорит лишь то, что обвинение в конце концов было только предлогом, за которым скрывалась политическая травля. Ибо в атеизме можно обвинять богослова, так как он обязался

преподавать определенные доктрины. Философ же такого обязательства на себя не брал, не может взять, и мысль его свободна, как птица в воздухе. Быть может, я поступаю неправильно, когда, щадя отчасти свои собственные, отчасти чужие чувства, привожу здесь не все, чем обосновывалось и оправдывалось то обвинение. Укажу здесь на одно лишь из щекотливых мест статьи, поставленной философу в вину: «Живой и действенный нравственный порядок и есть сам бог; в ином боге мы не нуждаемся и не можем понять никакого иного. Нет никакого разумного основания для выхода из этого нравственного миропорядка и при посредстве умозаключения от обоснованного к основанию принимать еще особое существо как причину этого основания; здравый смысл, несомненно, такого заключения не делает и не знает такого особого существа; его делает только не понимающая себя самое философия...»

Как свойственно упрямым людям, в своей «Апелляции к публике» и в своем судебном выступлении Фихте высказался еще грубее и резче, употребив выражения, оскорбляющие самые глубокие наши чувства. Мы, верующие в истинного бога, раскрывающегося нашим чувствам в беспредельном протяжении и нашему уму в беспредельной мысли, мы, почитающие видимого бога в природе и слышащие его незримый голос в нашей собственной душе, — мы неприятно задеты резкими выражениями, в которых Фихте объявляет нашего бога сплошной химерой и даже пропизирует по этому поводу. В самом деле, неизвестно, что это такое — ирония или просто безумие, когда Фихте настолько отрешает господа бога от всяких воспринимаемых чувствами атрибутов, что даже отрицает его существование на том основании, что существование есть понятие чувственное и лишь в качестве чувственного возможно! Наукоучение, говорит он, не знает никакого иного существования, кроме чувственного, и, так как бытие может быть приписано только предметам чувственного опыта, то это понятие неприменимо к богу. Поэтому фихтевский бог не имеет бытия, он не существует и проявляется лишь в виде чистого действия, как порядок событий, как *ordo ordinans*,<sup>1</sup> как мировой закон.

---

<sup>1</sup> Упорядочивающий порядок (*лат.*).

Таким образом, идеализм так долго фильтровал божество через всевозможные отвлеченности, что в конце концов от него ничего не осталось. Теперь, как у вас вместо короля, так у нас вместо бога воцарился закон.

Но что может быть нелепее *loi athée* — закона, не имеющего бога, или *dieu-loi* — бога, который есть только закон?

Фихтевский идеализм принадлежит к величайшим заблуждениям, когда-либо измышленным умом человеческим. Он безбожнее и предосудительнее грубейшего материализма. То, что здесь, во Франции, называют атеизмом материалистов, есть, как я легко мог бы доказать, нечто душу возвышающее, нечто благочестивое в сравнении с конечными выводами фихтевского трансцендентального идеализма. Но я знаю одно: и тот и другой мне противны. Оба учения к тому же антипоэтичны. Французские материалисты писали столь же скверные стихи, как и немецкие трансцендентальные идеалисты. Но учение Фихте не было ни в коей мере политически опасным, и еще менее заслуживало оно преследования как политически опасное. Чтобы под влиянием этой ереси принять дурное направление, требовалась острота спекулятивного мышления, какая встречается лишь у немногих людей. Толпе с ее тысячеголовой тупостью это лжеучение было совершенно недоступно. Взгляды Фихте на бога следовало, стало быть, опровергать путем рациональным, а не полицейским. Подвергнуться обвинению в философском атеизме было даже в Германии чем-то столь необычайным, что Фихте сначала в самом деле не понимал, чего от него хотят. Совершенно правильно сказал он, что вопрос о том, атеистична ли определенная философия или нет, звучит для философа так же странно, как, скажем, для математика вопрос: зелен треугольник или красен?

Итак, обвинение имело свои скрытые причины, и Фихте вскоре их понял. Так как он был честнейшим человеком в мире, то мы можем с полным доверием отнестись к его письму Рейнгольду, где он высказывается об этих скрытых причинах, и так как это письмо от 22 мая 1799 года изображает всю тогдашнюю эпоху и может наглядно представить все бедствия, обрушившиеся на автора, мы приведем отрывок из него:

«Изнеможение и отвращение привели меня к известному уже тебе решению совершенно исчезнуть на несколько

лет. Согласно моему тогдашнему взгляду на дело, я был даже убежден, что такое решение есть дело долга, так как при теперешнем брожении я все равно не был бы выслушан и только усилил бы брожение, а через два-три года, когда первые страсти улеглись бы, я мог бы заговорить с тем большей настойчивостью. Теперь я думаю иначе. Я не должен молчать теперь; если я промолчу, то мне, вероятно, никогда больше не придется сказать свое слово. Уже после соглашения между Россией и Австрией стало для меня весьма вероятным, а после последних событий, особенно после отвратительного убийства послов (которое вызывает здесь восторги и о котором Ш. и Г. восклицают: «Так и надо, перебить надо этих собак!»), стало совершенно несомненным, что деспотизм будет теперь защищаться с энергией отчаяния, что в лице Павла и Питта он будет последователем, что в основе его плана лежит полное искоренение свободы мысли и что немцы не затруднят ему достижения этой цели.

Не верь, например, будто веймарский двор был убежден, что от моего присутствия уменьшится количество студентов в университете; он слишком хорошо знает, что дело обстоит как раз наоборот. Согласно общему плану, с особенной ревностью восприимчивому курфюршеством саксонским, он *должен был* удалить меня. Буршер в Лейпциге, посвященный в эту тайну, уже в конце прошлого года бился о крупный заклад, что к концу этого года я буду изгнанником. Фойгта давно настроил против меня Бургдорф. Дрезденский департамент наук объявил, что никто из тех, кто занимался новой философией, не получит профессуры, а того, кто ее уже получил, не следует продвигать вперед. В лейпцигской свободной школе признано опасным даже розенмюллеровское просвещение; недавно там вновь введен Лютеров катехизис, и преподаватели снова были коифирмованы по символическим книгам. Это пойдет дальше и будет распространяться... В итоге нет ничего несомненнее несомненного, а именно: если французы не добьются сильнейшего перевеса и не произведут в Германии, или хотя бы в значительной ее части, перемен, то через несколько лет в Германии ни один человек, о котором известно, что он хоть раз в жизни разрешил себе свободную мысль, не сможет найти убежище. Итак, для меня несомненное несомненного, что, даже обрета

какой-либо приют, я через год, много — через два, буду опять изгнан оттуда; между тем опасно быть изгнанным из многих мест; этому учит исторический пример Руссо.

Предположим, я умолк и не пишу более ни строчки, разве меня оставят на этом условии в покое? Не верю я этому, и если бы я даже мог на это рассчитывать со стороны дворов, то разве *духовенство* не науськает *чернь* забросать меня камнями, куда бы я ни подался, чтобы потом просить правительство удалить меня, как человека, сеющего смуту? Но в таком случае разве могу я молчать? Нет, право же не могу, ибо я имею основание верить, что если можно еще что-либо спасти из немецкого духа, то это может быть спасено моим словом, тогда как из-за моего молчания философия погибнет окончательно и слишком рано. От тех, от кого я не ожидаю, что они дадут мне жить, даже в случае моего молчания, я еще меньше могу ожидать, что они позволят мне говорить.

Но я сумею убедить их в безвредности моего учения. Милый Рейнгольд, как можешь ты так хорошо думать об этих людях? Чем понятнее я буду, чем невиннее окажусь, тем больше будут они меня чернить и тем больше будет вообще моя истинная вина. Я никогда не верил, что они преследуют мой предполагаемый *атеизм*; они преследуют в моем лице свободного мыслителя, который начинает становиться *понятным* (счастьем Канта было то, что он пугал темнотой), и ославленного *демократа*; как призрак, пугает их та *самостоятельность*, которую, как они смутно догадываются, пробуждает моя философия».

Замечу еще раз, что письмо это написано не вчера, а помечено 22 мая 1799 года. Политическое положение того времени имеет весьма прискорбное сходство с современным состоянием Германии, с той только разницей, что в те годы свободомыслие больше процветало среди ученых, поэтов и вообще литераторов, теперь же его гораздо меньше в их среде, но зато гораздо больше в широкой активной массе, среди ремесленников и рабочих. Между тем как во время первой революции простой народ оставался под гнетом немецкой свинцовой спячки и какая-то скотская неподвижность царила во всей Германии, наш литературный мир был охвачен самым истступленным брожением и бурлением. Всякий, даже самый одинокий писатель, проживавший в каком-нибудь отдаленном немецком

захолустье, принимал участие в этом движении; как бы бессознательным чутьем, ничего точно не зная о политических событиях, он ощущал их социальное значение и выражал его в своих сочинениях. Этот феномен напоминает мне большие морские раковины, которые мы ставим иногда в виде украшения на наших каминах и которые, в каком бы отдалении от моря они ни находились, вдруг начинают шуметь, когда приходит время прилива и волны бьют о берег. Когда здесь, в Париже, в великом человеческом океане, грянула революция, когда здесь забурлило и забушевало, то зашумели и взволновались по ту сторону Рейна немецкие сердца... Но они были так изолированы, они стояли среди бесчувственного фарфора, меж чайных чашек, кофейных приборов и китайских болванчиков, механически качавших головами, точно они знали, о чем идет речь. Ах, тяжело пришлось поплатиться нашим бедным предшественникам в Германии за это сочувствие революции. Грубейшие и подлейшие гнусности проделывали над ними юнкеры и попы. Некоторые бежали в Париж и здесь, в нищете и невзгодах, бесследно погибли. На днях я видел одного слепого земляка, поселившегося с того времени в Париже; я встретил его в Пале-Рояле, где он грелся немпожко на солнышке. Нельзя было без боли смотреть, как он бледен и худ и как он ощупью отыскивал вдоль стенок дорогу. Мне сказали, что это старый датский поэт Гейберг. Пришлось мне недавно видеть также чердак, где умер гражданин Георг Форстер. Но оставшихся в Германии поклонников свободы ждала еще более страшная участь, если бы Наполеон и его французы вскоре не победили нас. Наполеону, конечно, и не снилось, что он сам явился спасителем идеологии. Без него наши философы вместе с их идеями были бы уничтожены с помощью виселицы и плахи. Однако немецкие свобододолюбцы, слишком республикански настроенные, чтобы преклоняться перед Наполеоном, и слишком благородные, чтобы примкнуть к иноземным господам, погрузились с тех пор в глубокое молчание. Тоскливо бродили они с разбитыми сердцами, с сомкнутыми устами. Когда Наполеон пал, они улынулись, но скорбно, и промолчали; они остались почти совершенно непричастными патристическому энтузиазму, громогласно ликовавшему в Германии с высочайшего соизволения. Они знали то, что знали, и молчали. Так

как эти республиканцы ведут очень целомудренный, умеренный образ жизни, то обыкновенно они доживают до глубокой старости, и когда разразилась Июльская революция, многие из них были еще живы, и немало были мы удивлены, когда эти старые чудачки, которых мы привыкли видеть сгорбленными, всегда бродившими кругом в молчании чуть ли не идиотическом, вдруг подняли голову и приветливо заулыбались нам, молодежи, и стали пожимать нам руки и рассказывать забавные истории. Я слышал даже, как один из них запел; он пропел нам в кафе «Марсельезу», и тут мы запомнили мелодию и прекрасные слова и вскоре стали петь ее лучше самого старика; потому что он иногда посреди лучших строф начинал хохотать как дурак или плакать как дитя. Всегда хорошо, когда такие старые люди остаются в живых, чтобы учить молодежь песням. Мы, молодые, не забудем этих песен, и некоторые из нас когда-нибудь научат им своих внуков, пока еще не родившихся. Впрочем, многие из нас за это время истлеют либо дома в тюрьме, либо на каком-нибудь чердаке на чужбине.

Вернемся, однако, к философии! Я показал выше, как философия Фихте, построенная из тончайших абстракций, проявила, однако, железную стойкость в выводах, восходивших до дерзновеннейших вершин. Но одним ранним утром мы замсчасем в ней великую перемену. Она начинает ворковать и хныкать, становится мягкой и скромной. Идеалистический титан, вскарабкавшийся по лестнице мыслей на небо и смелой рукой пащупавший пустоту его покосы, превратился в нечто согбенно-христианское, бесконечно вздыхающее о любви. Таков второй период у Фихте, мало нас занимающий. Вся его система подверглась самым странным видоизменениям. В это время он написал книгу, недавно переведенную у вас, — «Назначение человека». К тому же времени относится другая, сходная с первой, — книга «Наставление к блаженной жизни».

Само собою разумеется, Фихте, человек упрямый, ни за что не хотел признаться в громадной перемене, происшедшей с ним. Он утверждал, что его философия все та же, только выражения изменены, улучшены; его, мол, иногда не понимали. Он утверждал также, что натурфилософия, получившая в это время распростаивание в Германии и вытеснившая идеализм, по существу есть целиком

его собственная система и что его ученик г-н Иозеф Шеллинг, который отрекся от него и ввел эту философию, только переделал термины и лишь расширил его старое учение всякими малоотрадными добавлениями.

Здесь мы приходим к повому фазису в развитии немецкой мысли. Мы назвали имя Иозефа Шеллинга и натурфилософию; так как первый здесь почти совершенно неизвестен и так как выражение «натурфилософия» тоже не общепонятно, то мне приходится разъяснить значение того и другого. Мы не можем, конечно, сделать это исчерпывающим образом на этих страницах; впоследствии мы посвятим этой задаче особую книгу. Мы предполагаем лишь предупредить здесь некоторые существенные ошибки и немного остановиться на общественном значении указанной философии.

Прежде всего надо напомнить, что Фихте не совсем был неправ, когда настаивал на том, что учение г-на Иозефа Шеллинга есть по существу его учение, только иначе сформулированное и расширенное. Совершенно так же, как г-н Иозеф Шеллинг, учил и Фихте: что есть одно лишь существо, Я, абсолют; он утверждал тождество идеального и реального. В своем «Наукоучении» Фихте, как я показал, стремился вывести посредством мыслительной конструкции реальное из идеального. Г-н же Иозеф Шеллинг поставил дело наоборот: он стремился вывести идеальное из реального. Чтобы выразиться еще яснее, — исходя из положения, что мысль и природа одно и то же, — Фихте путем умственной операции приходит к миру явлений, из мысли строит природу, из идеального — реальное; напротив, перед г-ном Шеллингом, когда он исходит из того же положения, мир явлений предстает в виде чистых идей, природа становится для него мыслью, реальное — идеальным. Таким образом, оба направления, фихтеанское и шеллингианское, в известной степени восполняют друг друга. Ибо, согласно вышеуказанному исходному положению, философия могла бы распасться на два раздела: в одном было бы показано, как природа из идеи воплощается в явлении; в другом — как природа без остатка растворяется в идеях. Поэтому философия могла бы разделиться на трансцендентальный идеализм и натурфилософию. И в самом деле, г-н Шеллинг признал оба направления и последнее развивал в своих «Идеях к философии



природы», а первое в «Системе трансцендентального идеализма».

Эти сочинения, из коих одно появилось в 1797, а другое в 1800 году, я упоминаю лишь потому, что оба взаимно дополняющих направления выражены уже в их заглавии, но не потому, чтобы в них содержалась законченная система. Нет, таковой не найдется ни в одной из книг г-на Шеллинга. У него нет, в отличие от Канта и Фихте, главной книги, которая могла бы рассматриваться как средоточие его философии. Было бы несправедливо судить о г-не Шеллинге по одной какой-либо книге, так же как нельзя подходить к нему со строго буквальной точки зрения. Лишь прочитав его книги в хронологическом порядке и проследив в них постепенное развитие его мысли, можно уловить основную идею. Мне даже представляется необходимым почаще различать, где у него кончается мысль и где начинается поэзия. Ибо г-н Шеллинг принадлежит к созданиям, более одаренным от природы склонностью к поэзии, чем способностью к ней; не в силах удовлетворить дочерей Парнаса, эти создания бегут в леса философии и здесь живут в бесплодном браке с абстрактными гамадриадами. Чувство их поэтично, но их орудие — слово — слабо; тщетно стремятся они к художественной форме, в которой могли бы выразить свои мысли и познания. Поэзия есть сила и слабость Шеллинга. Ею именно отличается он — выгодно и невыгодно — от Фихте. Фихте только философ, мощь его заключается в диалектике, и доказательность является сильной его стороной. А у г-на Шеллинга это как раз слабая сторона: он живет больше в непосредственном созерцании, ему неуютно на холодных вершинах логики, он охотно заглядывает в цветочные долины символики, и его философская сила сосредоточена в конструировании. Последнее, однако, есть умственная способность, столь же часто встречающаяся у посредственных поэтов, как и у лучших философов.

Из этого явствует, что в той части философии, которая представляет собой лишь трансцендентальный идеализм, г-н Шеллинг остался и мог остаться только подражателем Фихте, но в области философии природы, где ему и приходилось орудовать среди цветов и звезд, он должеи был нынче расцвести и воссиять. Поэтому не только он, но и его друзья и единомышленники предпочитали именно

этот путь, и проявленное ими при этом бурное рвение было как бы лишь реакцией стихоплетов на отвлеченность прежней абстрактной философии духа. Как выпущенные на свободу школьники, целый день протомившиеся в душных классах под гнетом вокабул и цифр, вырвались ученики г-на Шеллинга на лоно природы, в благоуханную, залитую солнцем реальность, шумно ликуя, кувыркаясь и неистовствуя всюю

Выражение «ученики г-на Шеллинга» также не следует принимать здесь в обычном смысле. Г-н Шеллинг сам говорил, что намерен был создать школу лишь по образцу древних поэтов, школу поэтов, где никто не связан определенной доктриной, определенным уставом, но где всякий повинуется духу и по-своему его проявляет. С таким же основанием он мог бы сказать, что основывает школу пророков, где вдохновленные свыше начинают пророчествовать по собственному паигию и произволу и на любом наречии. Так в самом деле и поступали ученики, вдохновленные учителем; ограниченнейшие головы начали пророчествовать, всякий на своем языке, и прозвонило великое столпотворение в философии.

Здесь на примере натурфилософии мы имеем возможность наблюдать, как самые возвышенные и прекрасные вещи могут быть обращены сплошь в комедию и шутовство, как банда трусливых пройдох и меланхолических паяцев способна скомпрометировать великую идею. Но, по совести говоря, натурфилософия неповинна в смешном положении, уготованном ей школой пророков или поэтической школой г-на Шеллинга. Ибо в основе своей идея этой философии есть не что иное, как идея Спинозы, пантеизм.

Учение Спинозы и натурфилософия, как ее обосновал в лучшую пору своей деятельности г-н Шеллинг, по существу представляют собой одно и то же. Отвергнув локковский материализм, доведя лейбницевский идеализм до крайности и найдя также его совершенно бесплодным, немцы, наконец, добрались до третьего сына Декарта, до Спинозы. Философия вновь закончила великий круговорот, и, можно сказать, тот самый, который она совершила уже две тысячи лет тому назад в Греции. Однако более близкое сравнение этих двух круговоротов обнаруживает существенную разницу. У греков были такие же смелые скеп-

тики, как у нас, элеаты с такою же определенностью отрицали реальность внешнего мира, как наши новейшие трансцендентальные идеалисты. Платон так же вновь нашел в мире явлений мир духовный, как и г-н Шеллинг. Но у нас есть преимущество перед греками, так же как перед школами, вышедшими из Декарта, и заключается оно в следующем.

Мы начали наш философский круговорот с исследования источников человеческого познания, с критики чистого разума, произведенной нашим Иммануилом Кантом.

Упомянув Канта, я могу присовокупить к прежним соображениям, что единственное допускаемое Кантом доказательство существования бога, а именно так называемое нравственное доказательство, с большим эффектом было опровергнуто г-ном Шеллингом. Однако я заметил уже выше, что это доказательство не отличалось особой силой и что Кант допустил его, быть может, по благодущию. Бог г-на Шеллинга есть божественная вселенная Спинозы. Таким он по крайней мере был в 1801 году, во втором томе «Вестника спекулятивной физики». Здесь бог есть абсолютное тождество природы и мышления, материи и духа, и абсолютное тождество не есть причина вселенной, но сама вселенная: она есть, следовательно, божественная вселенная. В последней нет никаких противоположений, никаких разделений. Абсолютная тождественность есть абсолютная цельность. Год спустя г-н Шеллинг еще больше развил своего бога, сделав это в сочинении «Бруно, или О божественной или естественной основе вещей». Заглавие это напоминает о благороднейшем мученике за наше учение, славной памяти Джордано Бруно из Нолы. Итальянцы утверждают, что г-н Шеллинг позаимствовал свои лучшие мысли у старого Бруно, и обвиняют его в плагиате. Они неправы, потому что в философии не существует плагиата. Наконец, в 1804 году бог г-на Шеллинга предстал совершенно готовым в сочинении под заглавием «Философия и религия». Здесь мы находим учение об абсолютном во всей его полноте. Здесь абсолют находит выражение в трех формулах. Первая — категорическая: абсолют не есть ни идеал, ни реальность (ни дух, ни материя), он есть тождество обоих. Вторая формула — гипотетическая: когда представлены субъект и объект, то абсолют есть равенство обоих по существу. Третья формула — раздели-

тельная: есть лишь единое бытие, но это единое может рассматриваться одновременно или попеременно, как совершенно идеальное или совершенно реальное. Первая формула — вполне отрицательная, вторая предполагает условие, еще более трудное для понимания, чем само обусловленное, третья же формула целиком принадлежит Спинозе: абсолютная субстанция познается либо как мышление, либо как протяжение. Таким образом, на пути философии г-н Шеллинг не мог продвинуться дальше Спинозы, поскольку абсолютное доступно пониманию лишь в форме этих двух атрибутов, мышления и протяжения. Но здесь г-н Шеллинг расстается с философским путем и стремится, посредством некоей мистической интуиции, достигнуть созерцания самого абсолюта; он стремится созерцать его в его средоточии, в его существе, где нет ничего идеального и где нет ничего реального — ни мысли, ни протяжения, ни субъекта, ни объекта, ни духа, ни материи, а есть... кто его знает что!

Здесь кончается у г-на Шеллинга философия и начинается поэзия, я хочу сказать — глупость. Но здесь-то он и встречает наиболее громкий отклик у толпы пустомель, которым как раз по душе отвергнуть спокойное мышление и как бы подражать вертящимся дервишам, которые, как рассказывает наш друг Жюль Давид, до тех пор кружатся на месте, пока для них не исчезнет как объективный, так и субъективный мир и оба они не сольются в некое белое ничто, не реальное и не идеальное, и пока они не узрят того, что незримо, и не услышат того, что неслышимо, и не начнут слышать краски и видеть звуки, и пока наглядно не предстанет перед ними абсолют.

Полагаю, что попыткой умственно созерцать абсолют закончена философская карьера г-на Шеллинга. Теперь выступает более крупный мыслитель, развивший натурфилософию до законченной системы, объясняющий из ее синтеза весь мир явлений, восполняющий великие идеи своих предшественников еще более великими идеями, проводящий эти идеи через все области науки и таким образом обосновывающий их научно. Это ученик г-на Шеллинга, но ученик, постепенно захвативший всю власть своего учителя в области философии, властолюбиво переросший его и, наконец, оттеснивший его во мрак неизвестности. Это великий Гегель, величайший философ, порожденный Гер-

манней после Лейбница. Он, бесспорно, неизмеримо выше Канта и Фихте. Он пронизателен, как первый, и могуч, как второй, и при этом обладает зияждительным душевным спокойствием, гармонией мыслей, какой мы не встречаем у Канта и Фихте, так как они больше подвластны революционному духу. Сравнить его с г-ном Иозефом Шеллингом совершенно невозможно, ибо Гегель был личностью с характером. И хотя он, подобно г-ну Шеллингу, оправдывал существующий государственный и церковный строй с помощью некоторых весьма сомнительных доказательств, однако это все же делалось в пользу такого государства, которое хотя бы в теории признает принцип прогресса, и в пользу такой церкви, которая видит свою жизненную стихию в принципе свободного исследования; и он не скрывал этого — он открыто признавал все свои намерения. Г-н Шеллинг, наоборот, извивается, как червяк, в передних практического и теоретического абсолютизма и выступает прислужником в иезуитском вертепе, где выковываются цепи для духа: и при этом он пытается внушить нам, будто он остался неизменно все тем же просветителем, каким был когда-то; он отрекается от своего отречения и к позору отступничества прибавляет еще трусость лжи!

Мы не должны скрывать это ни из пиетета, ни из благо-разумия; мы не станем умалчивать, что человек, некогда отважнее всех провозгласивший в Германии религию пантеизма, громче всех проповедовавший святость природы и восстановление человека в его божественных правах, что этот человек отрекся от своего собственного учения, покинул алтарь, им самим освященный, прокрался обратно в религиозное стойло прошлого, стал теперь правоверным католиком и проповедует внемирового личного бога, «имевшего глупость создать мир». Пусть верующие трезвонят в колокола и воспевают свои «Kyrie eleison»<sup>1</sup> по случаю такого обращения, — это совершенно не доказывает их правоты, это доказывает только, что человек склоняется к католичеству тогда, когда он устал и состарился, когда он утратил физические и духовные силы, когда он не может больше ни наслаждаться, ни мыслить. Так много свободных мыслителей обращено на смертном

---

<sup>1</sup> «Господи, помилуй» (греч.).

одре, — но не гордитесь этим! Истории этих обращений относятся разве к патологии и были бы плохим свидетельством в пользу вашего дела. В конце концов они доказывают только, что пока эти свободные мыслители разгуливали под открытым божьим небом и во всей полноте владели своим здравым рассудком и здоровыми чувствами, вы никак не могли обратить их.

Кажется, Баланш сказал, что существует закон природы, согласно которому начинатели неизбежно должны умереть, как только они осуществили свой труд начинания. Ах, милый Баланш, это лишь наполовину верно, и я скорее утверждал бы, что как только дело начинания осуществлено, начинатель умирает — или же становится отступником. И потому мы можем, пожалуй, несколько смягчить строгий приговор, вынесенный мыслящей Германней г-ну Шеллингу; мы можем, пожалуй, превратить тяготеющее над ним тяжелое, непропиаемое презрение в тихое сострадание и его отпадение от собственного учения объяснить лишь как проявление закона природы, по которому отдавший все свои силы выражению или проведению известной мысли падает в изнеможении, после того как выразит или проведет эту мысль, падает в объятия смерти или же в объятия своих прежних противников.

После такого объяснения мы, быть может, пойдем другие, еще более ярко выраженные явления нашего времени, столь удручающие нас. Мы, быть может, пойдем, почему люди, пожертвовавшие всем ради своих убеждений, боровшиеся и страдавшие за них, почему эти люди, победив наконец, отходят от своих убеждений и перебегают во враждебный лагерь! После такого объяснения я могу обратить внимание также на то, что не только г-на Иозефа Шеллинга, но и Фихте и Канта также можно в известной степени обвинить в отступничестве. Фихте умер еще достаточно своевременно, чтобы его отпадение от собственной философии не наделало слишком много шума. И Кант тоже не замедлил изменить «Критике чистого разума», написав «Критику практического разума». Начинатель умирает — или же становится отступником.

Не знаю отчего, но эта последняя мысль действует так меланхолически-смягчающе на мою душу, что я не в силах в этот миг высказать здесь все прочие горькие истины,

относящиеся к нынешнему г-ну Шеллингу. Вознесем лучше хвалу тому, былomu г-ну Шеллингу, память о котором цветет, не увядая, в летописях немецкой мысли, ибо белой Шеллинг является, подобно Канту и Фихте, представителем одной из великих фаз нашей философской революции, которые я сравнил на этих страницах с фазами политической революции во Франции. Действительно, если видеть в Канте конвент с его террором, а в Фихте наполеоновскую империю, то в г-не Шеллинге можно видеть последовавшую за ними реакцию Реставрации. Но на первых порах это была реставрация в лучшем смысле. Г-н Шеллинг вновь восстановил природу в ее законных правах, он стремился к примирению духа и природы, он хотел воссоединить их в предвечной мировой душе. Он восстановил великую натурфилософию, с которой мы встречаемся у греческих философов, которую Сократ лишь интродуцировал в человеческую душу и которая затем расплылась в идеальном. Он восстановил ту великую натурфилософию, которая, тайно зародившись в древней пантеистической религии германцев, во времена Парацельса обещала прекраснейший расцвет, но была подавлена введением картезианства. Увы! И в конце концов он восстановил вещи, позволяющие сравнить его с французской Реставрацией и в дурном смысле. Но здесь общественный разум не стал терпеть его дольше, он был позорно свергнут с престола мысли, Гегель, его мажордом, сорвал корону с его головы и постриг его, и развенчанный Шеллинг проживал с тех пор жалким монашком в Мюнхене, городе, поповский характер которого выражен уже в его названии и который по-латыни именуется *Monacho monachorum*.<sup>1</sup> Там видел я его бродящим в виде призрака, видел его большие бесцветные глаза и унылое лицо, лишенное выражения, — жалкое зрелище павшего великолепия. А Гегель короновался и, увы, слегка даже помазался в Берлине и с тех пор стал господствовать в немецкой философии.

Наша философская революция окончена. Гегель завершил ее великий цикл. С тех пор пред нами лишь развитие и разработка натурфилософской доктрины. Она проникла, как уже указано, во все науки и породила

---

<sup>1</sup> Мюнхен монахов.

здесь создания необыкновеннейшие и величайшие. При этом, как я также указал, должно было обнаружиться и много безотрадного. Эти явления столь разнообразны, что уже один перечень их потребовал бы целой книги. Здесь сосредоточена, собственно, интересная и красочная часть истории нашей философии. По моему убеждению, однако, французам лучше ничего не знать об этой ее части. Ибо такого рода сведения могли бы лишь внести еще большую путаницу во французские головы; некоторые положения натурфилософии, вырванные из общей связи, могли бы наделать у вас много зла. Одно мне ясно: будь вы четыре года тому назад знакомы с немецкой натурфилософией, вы никогда не смогли бы совершить Июльскую революцию. Для такого деяния необходимо было сосредоточение мыслей и сил, благородная односторонность, самоуверенное легкомыслие в той степени, какую допускает лишь ваша старая школа. Философские хитросплетения, весьма пригодные, конечно, для обоснования легитимизма и католического учения о воплощении, расхолодили бы ваш пыл, сковали бы ваше мужество. Поэтому всемирно-историческое значение имеет в моих глазах то, что ваш великий эклектик, взявшийся в ту пору познакомиться вас с немецкой философией, ровно ничего в ней не смыслил. Его провиденциальное невежество было благодетельно для Франции и для всего человечества.

Увы, принеся в различных областях знания, особенно в естествоведении, великолепные плоды, натурфилософия породила в других областях пагубнейшие плевелы. В то время как Окен, гениальнейший мыслитель и один из величайших граждан Германии, раскрывал новые миры идей и воодушевлял немецкую молодежь пылом исконных прав человечества, пылом свободы и равенства, — ах! — в это самое время Адам Мюллер читал лекции о стойловом откорме народов согласно принципам натурфилософии; в это самое время г-н Геррес проповедовал средневековый обскурантизм в соответствии с естественнонаучным взглядом: государство есть только дерево, которое в своем органическом расчленении неизбежно должно иметь ствол, ветви и листья, что так превосходно было осуществлено в корпорационной иерархии средневековья; в это самое время г-н Стеффенс провозгласил философский закон, согласно которому крестьянское сословие отличается



от дворянского тем, что крестьянин предназначен природой для труда без наслаждения, дворянин же наделен правом наслаждения без труда. Мало того, я слышал, что несколько месяцев тому назад один вестфальский дворянин, некий дуралей по фамилии, кажется, Гакстгаузен, издал сочинение, где обращается к королевско-прусскому правительству с ходатайством, чтобы оно считалось с последовательным параллелизмом, доказанным философией во всем мировом организме, и строже разделяло бы политические сословия, ибо, подобно тому как в природе существуют четыре стихии — огонь, воздух, вода и земля, так и в обществе имеются четыре аналогичных элемента, а именно: дворянство, духовенство, буржуазия и крестьяне.

Когда выяснилось, что из философии вырастают столь печальные глупости, расцветающие самым зловредным цветом, когда вообще пришлось заметить, что германская молодежь, погрузившись в метафизические отвлеченности, позабыла о непосредственных нуждах современности и сделалась неспособной к практической жизни, — то патриоты и друзья свободы, естественно, не могли не проникнуться справедливым негодованием против философии, и некоторые из них пошли так далеко, что совершенно осудили ее как праздные и бессельные словопрения.

Мы не будем столь неразумны, чтобы всерьез опровергать этих недовольных. Немецкая философия есть важное дело, касающееся всего рода человеческого, и лишь отдаленнейшие потомки будут в состоянии судить, достойны мы порицания или хвалы за то, что вырабатывали сперва нашу философию, а затем нашу революцию. Мне кажется, такой методический народ, как мы, должен был начать с реформации, лишь затем мог заняться философией и только по завершении ее получил возможность перейти к политической революции. Такая последовательность представляется мне совершенно разумной. Головы, использованные философией для размышления, вольно затем революции отрубать для любых целей. Философии же никак не пригодились бы головы, отрубленные революцией, если бы она произошла раньше. Но не тревожьтесь, немецкие республиканцы: немецкая революция не станет оттого мягче и милосерднее, что ей

предшествовала кантовская критика, фихтевский трансцендентальный идеализм и даже натурфилософия. Благодаря этим учениям получили развитие революционные силы, ожидающие только дня, когда они смогут прорваться и наполнить мир ужасом и изумлением. Тут обнаружатся кантианцы, которые также в мире явлений отвергнут всякий пистет и безжалостно взроют мечом и топором почву нашей европейской жизни, чтобы вырвать и последние корни прошлого. На арену выступают вооруженные фихтеанцы, которых, в их волевом фанатизме, не обуздать ни страхом, ни корыстью, ибо они живут в духе, они борются с материей, подобно первым христианам, которых также невозможно было одолеть ни физическими мучениями, ни физическими наслаждениями; да, такие трансцендентальные идеалисты в случае общественного переворота оказались бы даже непреклоннее первых христиан, так как те сносили земное мученичество, чтобы таким путем достигнуть небесного блаженства, тогда как трансцендентальный идеалист считает самое мучение пустой видимостью и недосыгаем за укреплениями собственной мысли. Но всего страшнее оказались бы натурфилософы, которые приняли бы действительное участие в немецкой революции и отождествили бы себя с самим делом разрушения. Ибо, если рука кантианца разит мощно и уверенно потому, что сердце его не тронут никаким традиционным пистетом, если фихтеанец отважно презирает всякую опасность потому, что она совершенно не существует для него в действительности, — то натурфилософ будет страшен тем, что он вступает в связь с первообразными силами природы, что он может заклинанием вызвать демонические силы древнегерманского пантеизма и что в нем пробуждается тот свойственный древним германцам боевой пыл, который повелевает сражаться не для того, чтобы уничтожить или победить, но исключительно для того, чтобы сражаться. Христианство — и в этом его величайшая заслуга — несколько ослабило эту грубую германскую воинственность, но искоренить ее не смогло, и если когда-либо сломится обуздывающий талисман, крест, то вновь вырвется наружу дикость древних бойцов, бессмысленное берсеркерское неистовство, о котором так много поют и рассказывают северогерманские певцы. Этот талисман ослабел, и настанет день, когда он обру-

шится самым жалким образом. Тогда из забытого мусора восстанут старые каменные боги, протрут глаза, засыпанные тысячевой пылью, и, наконец, поднимется на ноги Тор со своим исполинским молотом и разгромит готические соборы. Услышав этот гром и грохот, остерегайтесь, любезные соседи, остерегайтесь, французы, не вмешивайтесь в дела, творимые нами у себя дома, в Германии. Это может плохо кончиться для вас. Остерегайтесь раздувать огонь, остерегайтесь гасить его. Вы легко можете обжечь в пламени пальцы. Не смейтесь над моим советом, советом мечтателя, предостерегающего вас от кантианцев, фихтеанцев и натурфилософов. Не смейтесь над фантастом, ожидающим в мире явлений той самой революции, которая уже произошла в области духа. Мысль предшествует делу, как молния грому. А немецкий гром, конечно, тоже немец, он не особенно подвижен и приближается с некоторой медлительностью; но он грянет, и тогда, услышав грохот, какой никогда еще не гремел во всемирной истории, знайте: немецкий гром попал, наконец, в цель. При этом грохоте замертво попададут орлы с высоты, и львы в отдаленнейшей пустыне Африки подожмут хвосты и заползут в свои царственные логовища. В Германии будет разыграна пьеса, в сравнении с которой французская революция покажется лишь безобидной идиллией. Теперь, правда, еще довольно тихо, и если тот или иной выступает у нас с некоторой живостью, то не думайте, что именно они со временем окажутся настоящими актерами. Это только собачонки, которые бегают по пустой арене, лают и огрызаются друг на друга перед тем как пробьет час и выступит толпа гладиаторов, которым придется биться насмерть.

И этот час настанет. словно на ступенях амфитеатра, столбятся народы вокруг Германии, чтобы взирать на великие смертоубийственные игры. Советую вам, французы, держитесь при этом как можно тише, упаси господи, не вздумайте аплодировать. Мы легко могли бы плохо понять вас и по свойственной нам неучливости несколько грубовато призвать вас к спокойствию, — ибо если и прежде, в нашем рабски брюзгливом состоянии, нам случалось иногда справляться с вами, то это будет нам гораздо легче в дерзостном упоении свободой. Вам ведь хорошо известно, что можно свершить в таком состоянии, —

а вы уже вышли из него. Будьте осторожны! Я желаю вам добра и потому высказываю вам горькую истину. Освобожденная Германия для вас опаснее целого Священного союза со всеми хорватами и казаками. Ибо, во-первых, вас в Германии не любят, что скорее непонятно, ибо вы ведь так любезны и во время пребывания вашего в Германии так старались понравиться — по крайней мере лучшей и прекраснейшей половине немецкого народа. И если бы вас даже полюбила эта половина, то ведь это половина, которая не посит оружия и, стало быть, от ее дружественного расположения вам мало проку. Никогда не удавалось мне понять, что вам, собственно, ставят в вину. Раз только в геттингенской пивной один юный древнегерманец высказал мысль, что надобно отомстить французам за то, что они отрубили в Неаполе голову Конрадину Гогенштауфену. Вы, вероятно, давным-давно забыли об этом. Мы же не забываем ничего, как видите, — если нам когда-нибудь вздумается сцепиться с вами, у нас не будет недостатка в основательных поводах. Во всяком случае советую вам поэтому быть настороже. Пусть в Германии творится что угодно, пусть у власти станет там кронпринц прусский или д-р Вирт, будьте всегда наготове, оставайтесь спокоино на посту с оружием в руках. Я желаю вам добра и потому недавно чуть не испугался, узнав, что ваши министры предполагают разоружить Францию.

Так как, несмотря на вашу нынешнюю романтику, вы прирожденные классики, то вы знаете Олим. Среди нагих богов и богинь, предающихся там увеселениям за нектаром и амброзией, вы видите богиню, которая даже в окружении такого веселья и радости всегда одета в панцирь, носит шлем на голове и копье в руке.

Это богиня мудрости.



**РОМАТИЧЕСКАЯ  
ШКОЛА**





## ПРЕДИСЛОВИЕ

Значительную часть этих страниц, первоначально написанных по-французски и обращенных к французам, я уже представил некоторое время тому назад отечественной публике в немецком переводе под заглавием «К истории новой художественной литературы в Германии». В нынешнем, дополненном виде книга, полагаю, заслуживает названия «Романтическая школа», ибо, на мой взгляд, она может дать читателю самое верное представление об основных моментах литературного движения, вызванного этой школой.

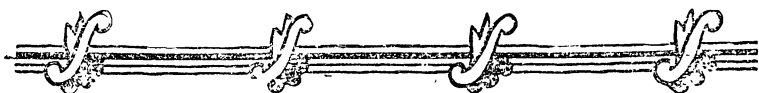
Я предполагал в сходной форме осветить и дальнейший период развития нашей литературы, но более неотложные дела и внешние обстоятельства не дали мне возможности перейти непосредственно к этой задаче. Вообще форма изложения и способ опубликования моих последних произведений всегда определялись условиями момента. Так, мне пришлось выпустить в свет мои сообщения «К истории религии и философии в Германии» в виде второй части «Салона», тогда как труд этот должен был, собственно, представлять собою общее введение в немецкую литературу. Об особых злоключениях, постигших меня при издании этой второй части «Салона», я уже сообщил ко всеобщему сведению в печати. Господин издатель, которого я обвинял в самовольном искажении моей книги, отвечал на это обвинение в той же газете; он объявил это искажение достолавным подвигом некоего учреждения, стоящего выше всякой критики.

Состраданию вечных богов поручаю я благо отечества и беззащитные мысли его писателей.

Написано в Париже осенью 1835 года.

*Генрих Гейне*





## КНИГА ПЕРВАЯ

Труд г-жи де Сталь «De l'Allemagne»<sup>1</sup> есть единственное обстоятельное сочинение, дающее французам картину умственной жизни Германии. Однако после появления этой книги прошло много времени, в течение которого в Германии возникла совершенно новая литература. Есть ли это всего лишь литература переходного времени? Достигла ли она уже своего расцвета? Или уже отцвела? Мнения об этом расходятся. Большинство полагает, что со смертью Гете в Германии начинается новая литературная эпоха; с ним ушла в могилу старая Германия, век аристократической литературы пришел к концу, начинается демократический век, или, как недавно выразился один французский журналист, «кончился дух личного, начался дух всеобщего».

Что касается меня, то я не решился бы с такой определенностью судить о предстоящей эволюции немецкого духа. Впрочем, уже много лет тому назад я предсказал конец «гетевского эстетического периода» — название, которым я впервые обозначил этот период. Мне было нетрудно пророчествовать! Слишком хорошо были мне известны пути и приемы недовольных, стремившихся покончить с эстетическим царствованием Гете; ведь кое-кому кажется даже, что я и сам замешан в тогдашних бунтах против Гете. И вот Гете умер, и странная боль охватывает мое сердце.

---

<sup>1</sup> «О Германии» (франц.).

Советую рассматривать эти страницы как продолжение «De l'Allemagne» г-жи де Сталь и отдавая должное поучительности этого труда, я все же должен напомнить об осторожности, необходимой при пользовании им, а также вынужден упрекнуть ее книгу в том, что она отражает взгляды определенного кружка. Г-жа де Сталь, блаженной памяти, превратила свою книгу в нечто вроде салона, в котором принимала немецких писателей, давая им возможность представиться французскому культурному обществу; но в сумятице различнейших голосов, крики которых несутся из этой книги, громче всех неизменно раздастся все же тоненький дискант г-на А.-В. Шлегеля. Там, где г-жа де Сталь остается собой, где с присутствием ей широтой чувств она высказывается непосредственно от всего своего пылающего сердца, во всем блеске фейерверков своего острого ума и сверкающей прихотливости, — там ее книга превосходна и полезна. Но когда она начинает поддаваться чужим нашептываниям, когда она прославляет школу, существо которой ей совершенно чуждо и непонятно, когда прославлением этой школы она содействует известным ультрамонтанским устремлениям, резко расходящимся со свойственной ей протестантской ясностью, — тогда книга ее становится жалкой и безвкусной. К этому присоединяется еще то, что она пристрастна не только бессознательно, но и сознательно, что похвалы в честь умственной жизни и идеализма Германии имеют в сущности целью задеть тогдашний реализм французов, материальное великоление императорской эпохи. В этом отношении ее книга «De l'Allemagne» подобна «Германии» Тацита, для которого его апология германцев тоже, быть может, была косвенной сатирой на соотечественников.

Упомянув выше о школе, которую прославляла г-жа де Сталь и устремлениям которой она содействовала, я имел в виду романтическую школу. Что в «Германии» она представляла собой нечто совершенно отличное от того, что понимают под этим названием во Франции, и что тенденции ее совершенно расходились с устремлениями французских романтиков, будет выяснено на дальнейших страницах.

Чем же была романтическая школа в Германии?

Не чем иным, как воскресшим средневековой поэзии, как она проявилась в песнях, созданиях живописи

и архитектуры, в искусстве и жизни. Но поэзия эта вышла из христианства, она была страстоцветом, выросшим из крови Христовой. Не знаю, носит ли во Франции подобное же название мелапхолический цветок, который мы назовем страстоцветом, и приписывает ли ему и здесь народное верование это мистическое происхождение. Это страшный, неприятно окрашенный цветок, в чашечке которого находили изображение орудий, служивших при распятии Христа, а именно молотка, клещей, гвоздей и т. п., цветок отнюдь не отталкивающего, но всего лишь призрачного вида; он даже возбуждает в нашей душе мучительное удовольствие, подобное судорожно-сладостным ощущениям, порождаемым самим страданием. В этом отношении цветок этот мог бы служить наиболее подходящим символом самого христианства, жуткая прелесть которого заключается именно в сладострастном упоении страданием.

Несмотря на то, что во Франции под названием христианства подразумевают только католичество, я должен особо предупредить, что говорю именно о нем. Я говорю о той религии, в основных догматах которой заключается осуждение всякой плоти и которая не только признает главенство духа над плотью, но стремится к ее умерщвлению ради возвеличения духа; я говорю о той религии, противоестественные устремления которой и внедрили в мир грех и лицемерие, так как именно осуждение плоти сделало невиннейшие чувственные удовольствия грехом, а то обстоятельство, что человек не может стать исключительно духом, не могло не породить лицемерия; я говорю о той религии, которая, провозгласив учение о пагубности всех земных благ, о собачьей покорности и ангельском терпении, сделалась испытаннейшей опорой деспотизма. Люди осознали теперь сущность этой религии, их нельзя уже успокоить ссылками на небо, они знают, что и материя не вся от дьявола, что и в ней есть нечто хорошее, и они требуют теперь права на наслаждения, которые даст земля, этот прекрасный божий сад, наше несотъемлемое наследственное достояние. Именно достигнутое нами теперь полное понимание всех следствий этого абсолютного спиритуализма дает нам уверенность, что христианско-католическому мировоззрению пришел конец. Ибо всякая эпоха есть сфинкс, пизвергающийся в бездну, как только разгадана его загадка.

Ни в коем случае, однако, не отрицаем мы здесь пользы, принесенной Европе христианско-католическим мировоззрением. Оно было необходимо как благодетельная реакция против ужасающего, всеобъемлющего материализма, расцветшего в Римской империи и грозившего изничтожить все духовное величие человека. Как малопрстойные мемуары прошлого века являются как бы *pièces justificatives*<sup>1</sup> французской революции, как после знакомства с откровенными признаниями французской знати со времен Регентства террор *Comité du salut public*<sup>2</sup> представляется нам необходимым лекарством, так признаешь и благотворность аскетического спиритуализма, когда прочитаешь хотя бы Петрония или Апулея — книги, на которые можно смотреть как на *pièces justificatives* христианства. Плоть так обнаглела в этом римском мире, что для обуздания ее, несомненно, требовалась христианская дисциплина. После пиршества Тримальхиона потребовалось такое лечение голодом, как христианство.

А может быть, подобно тому как старые развратники розгами возбуждают в своей обессиленной плоти способность к новым наслаждениям, дряхлеющий Рим подвергал себя монашеским бичеваниям с той целью, чтобы обрести утонченные наслаждения в боли и сладострастие в страданиях?

Пагубное сверхвозбуждение! Оно отняло последние силы у государственного тела Рима. Не от распада на два царства погиб Рим; как на Босфоре, так и на Тибре Рим был истощен все тем же иудейским спиритуализмом, и здесь, как и там, римская история превратилась в медленное умирание, в агонию, тянувшуюся столетия. Не хотела ли зарезанная Иудея, наделившая римлян своим спиритуализмом, отомстить победоносному врагу, как некогда умирающий кентавр, с таким коварством навязавший сыну Юпитера смертоносную одежду, отравленную его собственной кровью? И действительно, Рим, этот Геркулес среди народов, был столь неисцелимо отравлен иудейским ядом, что шлем и латы упали с его чахлах членов и его царственный боевой голос, обессилив, пони-

---

<sup>1</sup> Оправдательными документами (*франц.*).

<sup>2</sup> Комитета общественного спасения (*франц.*).

зились до молитвенного причитания попов и до певческих трелей кастратов.

Но то, что обессиливает старика, укрепляет юношу. Тот же самый спиритуализм оказался благотворным для пынущих здоровьем народов Севера; слишком полнокровные тела варваров подверглись христианскому одухотворению; началась европейская цивилизация. Такова достохвальная, святая сторона христианства. В этом отношении католическая церковь приобрела величайшее право на наше уважение и удивление. При посредстве великих, гениальных установлений она сумела укротить зверство северных варваров и обуздать грубую матерю.

Произведения средневекового искусства являются нам это обуздание материи духом, — в этом часто и заключается все их назначение. Не трудно распределить эпические поэмы того времени по степени этого обуздания.

О произведениях поэзии лирической и драматической здесь не может быть речи, ибо последних не существовало, а первые во все времена ходят друг на друга, как соловьиные песни каждой весной.

Несмотря на то, что средневековая эпическая поэзия разделялась на духовную и светскую, оба эти рода были по существу еще всецело христианскими; ибо, если духовная поэзия воспевала исключительно еврейский народ, считавшийся единственным священным народом, и его историю, единственно посившую название священной, героев Ветхого и Нового заветов, легенду — словом, воспевала церковь, то, с другой стороны, в светской поэзии отражалась вся тогдашняя жизнь, со всеми ее христианскими воззрениями и устремлениями. Цветом духовной поэзии немецкого средневековья надо, пожалуй, назвать поэму «Варлаам и Иосафат», где доктрина отречения, воздержания, самозабвения, презрения ко всей мирской пынности нашла наиболее последовательное выражение. Наилучшим после нее образцом духовной поэзии я склонен считать «Хвалебную песнь в честь святого Анно». Но последнее стихотворение является в значительной мере светским. Оно вообще отличается от первого, как византийская икона от старинного немецкого образа. Как и на византийских иконах, в «Варлааме и Иосафате» царит величайшая простота; ни намека на перспективные подробности, и тощие, вытянутые, статуеподобные фигуры

и идеально серьезные лица выступают, резко очерченные, как бы на тусклом золотом фоне; как на старинных немецких картинах, подробности в «Песне в честь святого Анно» занимают чуть не главное место, и, несмотря на грандиозность концепции, все же подробности разработаны столь мелочным образом, что не знаешь, чему изумляться, — замыслу ли исполнина или терпению карлика. Поэма Отфрида о Христе, которая обычно прославляется как главное создание духовной поэзии, далеко не столь замечательна, как указанные два произведения.

В светской поэзии, следуя намеченному разделению, мы встречаемся прежде всего с циклом сказаний о Нибелунгах и циклом «Книги богатырей»; здесь царит еще совершенно дохристианский образ мыслей и чувств, здесь грубая сила еще не смягчена перерождением в рыцарство, здесь, подобно каменным статуям, высятся еще суровые бойцы Севера, и кроткий свет и нравственное дыхание христианства еще не проникают за железные доспехи. Но постепенно день занимается в старогерманских лесах, старые дубы-идолы падают под ударами топора, и расчищается просека, где христианин бьется с язычником, — это видим мы в цикле сказаний о Карле Великом, где, собственно, отражены крестовые походы с их духовными целями. И вот из христиански спиритуализированной силы возникает своеобразнейшее явление христианства — рыцарство, в конце концов возвышенное до рыцарства духовного. С прославлением того, светского рыцарства мы встречаемся в цикле сказаний о короле Артуре, где царит сладчайшая галантность, утонченнейшая куртуазность и живейшая жажда боев и приключений. Из восхитительно целевых арабесок и фантастических цветочных завитушек этих поэм приветливо глядят на нас драгоценный Ивейн, превосходный Ланцелот-с-озера и отважный, учтивый, благородный, однако несколько скучноватый Вигалау. Рядом с этим циклом мы встречаем родственный и сплетенный с ним цикл сказаний о святом Граале, где прославляется духовное рыцарство, — и здесь являются пред нами три грандиознейшие поэмы средних веков: «Титурель», «Парцифаль» и «Лоэнгриш»; здесь мы как бы лицом к лицу сталкиваемся с романтической поэзией, мы глубоко заглядываем в ее большие страдальческие глаза, и она незаметно опутывает нас своими схоласти-

ческими сетями и увлекает в бредовые бездны средневековой мистики. В эту эпоху мы наблюдаем, наконец, и такие поэтические произведения, где нет безусловного притяжения христианского спиритуализма, где даже фрондируют против него, где поэт, сбросив оковы абстрактных христианских добродетелей, с упоением погружается в сладостный мир прославляемой чувственности, и далеко не к худшим принадлежит поэт, оставивший нам главное произведение этого направления — поэму «Тристан и Изольда». Я должен даже признать, что Готфрид Страсбургский, автор этой прекраснейшей из поэм средневековья, есть, быть может, и величайший его поэт, стоящий выше всего великолетия Вольфрама фон Эшенбаха, которым мы так восхищаемся в «Парцифале» и во фрагментах «Титуреля». Быть может, в наши дни позволительно безоговорочно воздать должное и прославить Готфрида. В те времена книга его, конечно, считалась безбожной, а сходные поэтические произведения, к которым принадлежал уже «Ланцелот», — опасными. Да и действительно происходили серьезные дела. Дорого пришлось заплатить Франческе да Полента и ее прекрасному другу за то, что они однажды вместе читали такую книгу; большая опасность заключалась, впрочем, в том, что они внезапно перестали ее читать!

Во всех этих средневековых произведениях поэзия носит определенный отпечаток, отличающий ее от поэзии греков и римлян. Исходя из этого различия, мы называем первую романтической поэзией, а вторую — классической. Однако названия эти неточны, и до сих пор они вели к досаднейшей путанице, еще усугублявшейся в тех случаях, когда античную поэзию вместо классической называли также пластической. Здесь коренился особый источник недоразумений. Дело в том, что художники всегда должны придавать пластическую обработку своему материалу; независимо от того, христианский это материал или языческий, они должны изображать его в отчетливых очертаниях, словом: пластический стиль работы должен главенствовать в современном романтическом, так же как и в античном искусстве. И действительно, разве фигуры в «Божественной комедии» Данте или на картинах Рафаэля не так же пластичны, как у Вергилия или на стенах Геркуланума? Разница заключается в том, что пла-

стические образы в античном искусстве совершенно тождественны изображаемому, идее, которую стремится выразить художник; так, например, странствия Одиссея не означают ничего, кроме странствий человека, бывшего сыном Лаэрта и супругом Пенелопы и звавшегося Одиссеем; точно так же Вакх, которого мы видим в Лувре, есть не кто иной, как прелестный сын Семелы, с дерзновенной скорбью в глазах и с божественной чувственностью мягко округленных губ. Иное в романтическом искусстве. Здесь странствия рыцаря имеют еще эзотерическое значение; они, быть может, воплощают жизненные скитания вообще; побежденный дракон — это грех; миндальное дерево, издали столь живительно благоухающее навстречу герою, это троица: бог-отец, бог-сын и бог — святой дух, сливающиеся в то же время в единство, подобно тому как скорлупа, волоконец и ядро представляют собой единый миндаль. Когда Гомер изображает доспехи героя, то это именно только хорошие доспехи, стоящие столько-то волов; но когда средневековый монах описывает в поэме одежды богородицы, то можно быть уверенным, что эти одежды он представляет себе как различные добродетели, что особый смысл скрыт в этих священных покровах непорочной девственности Марии, которая к тому же, раз ее сын есть миндалина, совершенно последовательно воспевается как цвет миндаля. Таков, следовательно, характер средневековой поэзии, именуемой нами романтической.

Классическая поэзия ставила своей задачей изображение только конечного, а образы ее могли быть тождественными идее художника. Задачей романтического искусства было изобразить или хотя бы выразить намеками бесконечное, а также множество чисто спиритуалистических отношений, и оно прибегло к системе традиционных символов, или, точнее, к иносказанию по примеру самого Христа, который старался уяснить свои спиритуалистические идеи посредством разнообразных прекрасных притч. Отсюда мистическое, загадочное, чудесное, чрезмерное в созданиях средневекового искусства; со страшным напряжением силится фантазия представить чисто духовное в конкретных образах и измышляет самые ужасающие нелепости; она громоздит Пеллон на Оссу, «Парцифалья» на «Титуреля», чтобы достигнуть небес.



У народов, поэзия которых также стремилась изобразить бесконечное, в результате чего появлялись чудовищные порождения фантазии, как, например, у скандинавов и индусов, мы встречаемся с произведениями, которые равным образом считаем романтическими и обычно романтическими и называем.

О средневековой музыке мы можем сказать немного. У нас для этого нет достаточного числа памятников. Лишь позднее, в XVI столетии, возникли великие создания католической церковной музыки, в своем роде чрезвычайно ценные, ибо они наиболее чисто выражают христианский спиритуализм. Искусство, воспринимаемое слухом, по своей природе спиритуалистическое, могло более или менее процветать в лоне христианства. Менее благоприятна была эта религия для искусств изобразительных. Так как и они должны были представлять победу духа над материей и в то же время пользоваться этой самой материей как средством для изображения, то им приходилось как бы разрешать противоположную задачу. Отсюда эти отталкивающие сюжеты в скульптуре и живописи: муки страстотерпцев, распятия, святые на смертном одре, разрушение плоти. Сам изображаемый предмет был мученичеством для скульптуры, и вид этих уродливых изваяний, где христианское воздержание и преодоление плоти должны находить выражение в молитвенно склоненных головах, длинных, тонких руках, тощих ногах и робких, беспомощных одеяниях, наполняет меня невыразимым состраданием к художникам этого времени. Правда, живописцы были в несколько лучшем положении, так как материал, которым они пользовались для изображения, — краска, в ее неуловимости, в пестрых переливах ее теней, не так упорно сопротивлялась спиритуализму, как материал, обрабатываемый скульпторами; тем не менее и им, живописцам, приходилось покрывать самыми отталкивающими фигурами страдальцев свои холсты, изнывавшие от этого. Подчас, при ознакомлении с собранием таких картин, где сплошь изображены кровавые сцены, бичевания и казни, начинаешь казаться, что старые мастера писали эти вещи для картинной галереи какого-нибудь палача.

Но гений человека способен преодолеть даже противоположное — многим художникам удалось своей кистью

в прекрасной и возвышенной форме разрешить противостественную задачу, и итальянцы в особенности сумели, отчасти в ущерб спиритуализму, отдать должное красоте и вознестись до той идеальности, которая достигает высшего расцвета в столь многочисленных изображениях мадонны. Католическое духовенство вообще делало всегда некоторые уступки сенсуализму, когда дело касалось мадонны. Этому образу непорочной красоты, притом просветленному материнской любовью и страданием, предоставлялось преимущественное право быть прославляемым поэтами и живописцами и являться в уборе всех чувственных прелестей. Ибо этот образ был магнитом, способным привлечь толпу в лоно христианской церкви. Мадонна Мария была как бы прелестной *dame du comptoir*<sup>1</sup> католической церкви, привлекающей и удерживающей своей небесной улыбкой клиентов, в особенности варваров Севера.

Средневековая архитектура была отмечена тем же характером, что и другие искусства, да и все жизненные проявления вообще удивительнейшим образом гармонировали в это время друг с другом. Здесь, в архитектуре, находит выражение та же тенденция к иносказанию, что и в поэзии. Входя теперь в какой-нибудь старинный собор, мы едва ли воспринимаем эзотерический смысл его каменной символики. Непосредственно наше чувство проникнуто лишь общим впечатлением. Мы ощущаем здесь подъем духа и прищипление плоти. Внутренность собора представляет собой полый крест, и мы находимся внутри самого орудия мучительства; цветные стекла испещряют нас красными и зелеными пятнами, точно каплями крови и гноя; зауспокойные песнопения рыдают вокруг нас; под ногами у нас могильные плиты и тлен; вместе с исполненными колоннами дух возносится ввысь, мучительно отрываясь от тела, падающего на землю, подобно бессильной оболочке. Когда смотришь на эти готические соборы с внешней стороны, на эти громадные сооружения, такие воздушные, такие легкие, изящные, прозрачные, будто вырезанные из бумаги, будто какие-то брабантские кружева из мрамора, — тогда еще сильнее ощущаешь всю мощь этого времени, сумевшего даже кам-

---

<sup>1</sup> Продавщицей (*франц.*).

нем овладеть настолько, что он является нам почти в прозрачном одухотворении, так что и этот весьма твердый материал становится выразителем христианского спиритуализма.

Но искусство есть только зеркало жизни, и, померкнув в жизни, католичество отзвучало и выцвело также в искусстве. В период Реформации постепенно стала исчезать в Европе католическая поэзия, и мы видим, как, заступая ее место, вновь оживает давно умершая греческая поэзия. Это, конечно, была лишь искусственная весна, создание садовника, а не солнца, и деревья и цветы сидели в тесных кадках, и стеклянное небо охраняло их от холода и северного ветра.

Не всякое событие во всемирной истории есть непосредственный результат другого; скорее, все события связаны взаимной обусловленностью. Любовь к Греции и стремление подражать ей распространились у нас отнюдь не исключительно благодаря греческим ученым, переселившимся к нам после падения Византии; одновременно с этим уже зашевелился дух протеста как в области искусства, так и в жизни. Лев Х, пышный Медичи, был таким же ревностным протестантом, как и Лютер; и, как в Виттенберге протестовали латинской прозой, так в Риме языком протеста были камень, краска и *ottave rime*.<sup>1</sup> Разве могучие мраморные изваяния Микеланджело, смеющиеся лица пимф Джулио Романо и упоенное жизнью веселье в стихах маэстро Лодовико не являются протестующей противоположностью старчески угрюмому, изможденному католичеству? Итальянские художники полемизировали с поповством, пожалуй, гораздо успешнее, чем саксонские теологи. Цветущее тело на картинах Тициана — ведь это сплошное протестапство. Бедрa его Венеры — это тезисы, гораздо более убедительные, чем те, которые были прибиты немецким монахом на дверях виттенбергской церкви. Казалось, люди почувствовали себя вдруг освобожденными от тысячелетних оков; в особеннoсти свободно вздохнули художники, когда как бы рассеялся душнвший их христианский кошмар; с энтузиазмом ринулись они в море греческой жизнерадостности, из пены которого вновь подымались пред ними бо-

---

<sup>1</sup> Октавы (*итал.*).

гни красоты; живописцы вновь рисовали благовоющую радость Олимпа; со старым увлечением скульпторы вновь высекали из мраморных глыб героев древности; поэты вновь воспевали дом Атрея и Лая; пачался период ново-классической поэзии.

Подобно тому как современная жизнь приняла наиболее завершенную форму во Франции при Людовике XIV, так и неоклассическая поэзия получила именно здесь полную законченность, пожалуй даже самобытную оригинальность. Благодаря политическому влиянию великого короля эта неоклассическая поэзия распространилась по остальной Европе; в Италии, в которой она уже издавна чувствовала себя дома, она получила французскую окраску; с Анжуйской династией прибыли в Испанию и герои французской трагедии; они перебрались в Англию с мадам Генриеттой, и мы, немцы, само собой разумеется, также воздвигли наши неуклюжие храмы во славу напудренного версальского Олимпа. Знаменитейшим верховным жрецом их был Готшед, пресловутый великий парик с косицей, так превосходно изображенный нашим дорогим Гете в его воспоминаниях.

Лессинг был литературным Арминием, освободившим наш театр от этого господства иноземцев. Он раскрыл нам все ничтожество, смехотворность, безвкусицу этих подражаний французской драме, которая, в свою очередь, как будто и сама была подражанием греческой. Однако не только его критика, но и его собственные художественные произведения сделали Лессинга основателем новой, самобытной немецкой литературы. Ко всем направлениям духа, ко всем сторонам жизни приглядывался этот человек воодушевленно и бескорыстно. Искусством, богословием, археологией, поэзией, театральной критикой, историей — всем занимался он с равным пылом и во имя той же цели. Во всех его произведениях живет все та же великая социальная идея, тот же прогресс гуманности, та же религия разума, Иоанном Предтечей которой он был и Мессием которой мы всё еще ожидаем. Эту религию он проповедовал всегда, но часто, увы, в полном одиночестве и в пустыне. Не было у него к тому же и искусства превращать камень в хлеб; большую часть своей жизни он провел в нужде и мытарствах; это проклятие, лежащее бременем почти на всех великих умах Германии, будет, быть может, снято

лишь политическим освобождением. Политика захватывала Лессинга больше, чем предполагали, — свойство, которого мы совершенно не находим у его современников; лишь теперь нам ясно, что он имел в виду, изображая деспотию мелких князьков в «Эмилии Галотти». В свое время он считался только поборником свободы совести и борцом против клерикальной нетерпимости, ибо его богословские сочинения встречали уже большее понимание. Фрагменты «О воспитании рода человеческого», переведенные на французский язык Эженом Родригом, могут, пожалуй, дать французам представление о широте ума Лессинга. Наибольшее влияние на искусство оказали два его критических труда: «Гамбургская драматургия» и «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии». Он написал замечательные пьесы: «Эмилия Галотти», «Мишна фон Барнхельм» и «Натаи Мудрый».

Готхольд-Эфраим Лессинг родился в Каменце в Лауцице 22 января 1729 года и умер в Брауншвейге 15 февраля 1781 года. Это был цельный человек, который, испровергая своей полемикой старое, в то же время сам творил новое и лучшее. «Он был подобен, — говорит один немецкий писатель, — тем публичным евреям, которые во время сооружения второго храма, часто тревожимые врагами, одной рукою боролись с ними, а другою продолжали строить храм». Здесь не место долгие говорить о Лессинге; но не могу не заметить, что во всей истории литературы это писатель, которого я более всех люблю. Упомяну еще об одном писателе, который действовал в том же духе и с тою же целью и может быть назван ближайшим преемником Лессинга; здесь, правда, не место и для его оценки, да и вообще он занимает в истории литературы совершенно обособленное положение, и отношение этого писателя к его времени и современникам все еще не может быть установлено с полной определенностью. Это Иоганн-Готфрид Гердер, родившийся в 1744 году в Морунгене, в Восточной Пруссии, и умерший в Веймаре, в Саксонии, в 1803 году.

История литературы — это большой морт, где всякий отыскивает покойников, которых любит или с которыми состоит в родстве. Когда среди великого множества ничтожных трупов я вижу здесь Лессинга или Гердера с их величавыми человеческими лицами, мое сердце бьется

сильнее. Как могу я пройти мимо, не коснувшись легким поцелуем ваших бледных губ!

Несмотря, однако, на то, что Лессинг мощным напором разрушил подражание французскому лжеэллинизму, сам он все же именно своим указанием на подлинные художественные создания эллинской древности дал некоторым образом толчок новому виду нелепых подражаний. Своими выступлениями против религиозного суеверия он даже содействовал той трезвенной мании просветительства, которая получила широкое распространение в Берлине и имела главного своего выразителя в покойном Николаи, а свой арсенал — во «Всеобщей немецкой библиотеке». Ничтожнейшая посредственность стала тут заявлять о себе еще отвратительнее, чем когда-либо, и все нелепое и пустое надулось, как лягушка в басне.

Чрезвычайно ошибочным было бы мнение, будто Гете, уже появившийся в то время, сразу же получил всеобщее признание. Его «Гец фон Берлихинген» и «Вертер» были приняты с восторгом, но такой же прием встречали сочинения зауряднейших кропотелей, и Гете была отведена в храме литературы лишь небольшая ниша. Только «Гец» и «Вертер», как я сказал, были приняты публикой с восторгом, но скорее из-за сюжета, чем из-за их художественных достоинств, оценить которые не сумел почти никто. «Гец» был драматизированным рыцарским романом, какие пользовались успехом в те времена. В «Вертере» видели только обработку действительного происшествия, а именно истории молодого Ерузалема, юноши, покончившего с собой из-за любви, что в тогдашнем глубоком затишии наделало много шума; проливая слезы, читали его трогательные письма; проникательно замечали, что манера, с которою Вертер был удален из дворянского общества, усилила его отвращение к жизни; вопрос о самоубийстве усугубил толки по поводу книги; несколькими дуракам явилась мысль заодно пустить и себе пулю в голову. Книга своим сюжетом произвела впечатление взрыва. Но романы Августа Лафонтена читались с такою же охотой, и так как он писал безостановочно, то прославился больше, чем Вольфганг Гете. Великим поэтом того времени был Виланд, соперничать с которым в поэзии мог разве лишь берлинский одописец г-н Рамлер. Виланда чтители благоговейно, более, чем когда-либо Гете.

В театральной области царил Ифланд со своими слезливо-мещанскими драмами и Коцебу со своими пошло-остроумными фарсами.

Против этой-то литературы и поднялась в последние годы прошлого столетия в Германии школа, которую мы называли романтической и в качестве руководителей которой представились нам г-да Август-Вильгельм и Фридрих Шлегели. Иена, где временами проживали оба брата совместно со многими единомышленниками, была средоточием, откуда распространялась новая эстетическая доктрина. Я говорю «доктрина», потому что школа эта начала с оценки художественных произведений прошлого и с рецепта изготовления художественных произведений будущего. В обоих этих направлениях шлегелевская школа может похвалиться большими заслугами в области эстетической критики. При оценке уже существующих художественных произведений либо раскрывались их недостатки и погрешности, либо освещались их достоинства и красоты. В полемике, в этом выяснении недостатков и погрешностей в искусстве, г-да Шлегели были целиком подражателями старика Лессинга, они завладели его большим боевым мечом, с тою лишь разницей, что рука г-на Августа-Вильгельма Шлегеля была слишком изнеженно бессильна, а глаз его брата Фридриха слишком мистически затуманен, чтобы один мог разить столь же мощно, а другой столь же метко, как Лессинг. Но в положительной критике художественных произведений, наглядно выявляющей их красоты, где важна тонкость чутья, схватывающая их своеобразие и это своеобразие разъясняющая, — здесь г-да Шлегели решительно выше старика Лессинга. Но что мне сказать об их рецептах изготовления совершенных произведений искусства? Тут г-да Шлегели обнаружили бессилие, которое, пожалуй, встречается и у Лессинга. Насколько Лессинг силен в отрицании, настолько же он слаб в утверждении, редко умея установить основной принцип и еще реже — принцип правильный. Ему недостает твердой почвы определенной философской школы, недостает философской системы. У г-д Шлегелей это проявляется в еще более безнадёжной степени. Болтают разное о влиянии фихтевского идеализма и Шеллинговой натурфилософии на романтическую школу, которую даже целиком пытаются вывести из них.

Но я пахожу здесь разве лишь влияние некоторых обрывков мыслей Фихте и Шеллинга, а никак не влияние какой-либо философии. Однако г-н Шеллинг, преподававший тогда философию в Иене, конечно оказал большое личное влияние на романтическую школу; ведь он, что неизвестно во Франции, в некоторой степени также поэт и, говорят, еще колеблется, не опубликовать ли ему все свое философское учение в поэтическом и даже в стихотворном виде. Такие колебания характеризуют этого человека.

Если, однако, г-да Шлегели, давая поэтам своей школы заказ на создание шедевров, не могли для этого предложить никакой определенной теории, то они восполняли этот пробел, восхваляя в качестве образца и делая доступными своим ученикам лучшие произведения искусства прошлого. Это были главным образом произведения христианско-католического искусства средних веков. Перевод Шекспира, который стоит на рубеже этого искусства, с протестантской ясностью улыбается уже нашей новой эпохе; этот перевод имел исключительно полемические цели, обсуждение которых слишком отвлекло бы нас в сторону. К тому же этот перевод был предпринят г-ном А.-В. Шлегелем в годы, когда увлечение не загнало еще всех назад, в глубь средневековья. Впоследствии, когда это произошло, был переведен Кальдерон, которого вознесли много выше Шекспира; ведь у него поэзия средневековья оказалась выраженной в наиболее чистом виде, и как раз в двух основных ее элементах — в рыцарстве и монашестве. Благочестивые комедии кастильского священника-поэта, поэтические цветы которого окроплены святой водой и окурены ладаном, сделались теперь предметом подражания со всей их церковной торжественностью, со всей их жреческой пышностью, со всеми sacramentalными юродствами; и вот в Германии начался расцвет этих крикливо-набожных, глуповато-глубокомысленных драм, где мистически влюблялись, как в «Поклонении кресту», или сражались во славу богородицы, как в «Стойком припце», и Захария Вернер зашел в этом деле так далеко, как только можно, не подвергаясь опасности угодить по приказу начальства в сумасшедший дом.

Поэзия наша дряхла, говорили г-да Шлегели; наша муза — старуха с прялкой, наш Амур не светлокудрый



мальчуган, а морщинистый, седой карлик, наши чувства исчахли, фантазия высохла: нам необходимо освежиться, необходимо вновь отыскать насыщающие родники папвной, простодушной поэзии средневековья; отсюда брызжет нам навстречу напиток молодости. И сухая, трезвая публика не потребовала повторения этих слов; особенно злосчастные обладатели пересохших глоток, сидевшие в браденбургских песках, вздумали вновь расцвести и помолодеть, и они ринулись к этим чудодейственным источникам, и пили, и хлебали, и глотали с беспредельной жадностью. Но с ними случилось то же, что со старой камеристкой, о которой рассказывают следующее: она заметила, что у ее хозяйки есть чудотворный эликсир, возвращающий молодость; в отсутствие дамы она взяла с ее туалетного стола флакон с этим напитком, но вместо того чтобы принять несколько капель, она сделала такой основательный глоток, что от чрезмерной волшебной силы омолаживающего напитка не только просто помолодела, но превратилась в маленького ребенка. Поистине, как раз то же самое произошло с нашим превосходным г-ном Тиком, одним из лучших поэтов школы; он так наглотался народных книг и стихотворений средневековья, что почти впал в детство и дошел до той лепечущей наивности, которой с такими усилиями восхищалась г-жа де Сталь. Она сама признается, что ей кажется курьезным, когда действующее лицо открывает драму монологом, который начинается словами: «Я достопочтенный Бонифаций, и я пришел сказать вам» и т. д.

Г-н Людвиг Тик в романе «Странствия Штернвальда» и в изданных им «Сердечных излияниях монаха, любителя изящного», написанных неким Вакепродером, рекомендовал грубые, наивные начатки искусства в качестве образцов также и мастерам изобразительного искусства. Он советовал подражать благочестивости и детскому простодушию этих произведений, проявляющимся в технической бессомощности. Рафаэль был совершенно отвергнут, его учителя Перуджинно едва признавали. Последнего ценили несколько выше, так как у него находили остатки тех красот, которым благоговейно изумлялись в бессмертных творениях фра Джованни-Анджелико да Физзоле. Чтобы составить себе понятие о вкусе тогдашних энтузиастов искусства, надо побывать в Лувре, где висят еще лучшие

картины мастеров, окруженных в ту пору безусловным преклоением; а чтобы составить себе понятие о великом множестве поэтов, подражавших во всевозможных стихотворных размерах произведениям средневековой поэзии, надо побывать в сумасшедшем доме в Шарантоне

На мой взгляд, впрочем, и эти картины в первом зале Лувра все еще слишком изящны, чтобы по ним можно было составить понятие о художественном вкусе той поры. Надо вообразить себе эти старопитальянские картины в старонемецком переводе. Ибо произведения старинных немецких художников считались еще гораздо более наивными и простодушными и, следовательно, еще более достойными подражания, чем старопитальянские. Потому что немцам, — как тогда говорили, — их Gemüt (слово, не имеющее соответствия во французском языке) дает возможность понять христианство глубже других народов, и Фридрих Шлегель со своим другом г-ном Иозефом Герресом рыскали в старых городах по Рейну, охотясь за остатками старинных немецких картин и статуй, ставших, наряду со священными реликвиями, предметом слепого поклонения.

Я только что сравнил немецкий Парнас того времени с Шарантоном. Уверен, однако, что и здесь я был еще слишком мягок. Французское безумие далеко еще не столь безумно, как немецкое, ибо в последнем, как сказал бы Платон, есть система. С беспримерным педантизмом, с ужасающей добросовестностью, с основательностью, о которой поверхностный французский умалишенный не может иметь представления, свершалось это немецкое безумие.

Политическое положение Германии особенно благоприятствовало этому христианско-старонемецкому направлению. «Нужда научает молиться», — говорит пословица, — и в самом деле, никогда нужда в Германии не была сильнее, и потому никогда народ не был более восприимчив к молитве, религии, христианству. Нет народа, более приверженного своим государям, чем немецкий, и немцев невыносимейшим образом удручало не столько печальное положение страны вследствие войны и чужеземного господства, сколько горестное зрелище их побежденных государей, пресмыкавшихся у ног Наполеона; весь народ напоминал тех старых верных слуг в барских

домах, которых унижения, выпавшие на долю их господ, удручают еще сильнее, чем самих господ, и которые втайне проливают горчайшие слезы по поводу, например, распродажи хозяйского серебра и даже — как это достаточно трогательно изображается в старинных драмах — потихоньку тратят свои жалкие сбережения для того, чтобы на барском столе горели не мещанские салыные, а дворянские восковые свечи. Всеобщее уныние находило утешение в религии, и так зародилось pietistское упование на волю божью, от которой только и оставалось ждать спасения. И в самом деле, от Наполеона не мог спасти решительно никто, кроме самого господина бога. На земное воинство рассчитывать уже было нечего, — оставалось с надеждой возводить очи к небесам.

Мы самым спокойным образом снесли бы и Наполеона. Но наши государи, лелея надежду, что бог избавит их от него, все же допускали и такую мысль, что объединенные силы их народов могли бы быть очень полезны в этом деле; с этой целью старались пробудить в немцах чувство единства, и даже высочайшие особы заговорили теперь о германском народном духе, об общем германском отечестве, об объединении христианско-германских племен, о единстве Германии. Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем все, что нам приказывают наши государи. Под этим патриотизмом, однако, не надо понимать чувство, носящее то же имя здесь, во Франции. Патриотизм француза заключается в том, что сердце его согревается, от этого нагревания расширяется, раскрывается, так что своей любовью оно охватывает уже не только ближайших родичей, но всю Францию, всю цивилизованную страну; патриотизм немца заключается, наоборот, в том, что сердце его сужается, что оно стягивается, как кожа на морозе, что он начинает ненавидеть все чужеземное и уже не хочет быть ни гражданином мира, ни европейцем, а только ограбленным немцем. Тут и узрели мы идеальную грубость, приведенную в систему оппозиция против мировоззрения, представляющего собою высочайшее и святейшее из всего, что было порождено Германией, а именно, против той гуманности, против того всеобщего братства людей, против того космополитизма, поборниками которого всегда были наши

великие умы — Лессинг, Гердер, Шиллер, Гете, Жан-Поль, все образованные люди Германии.

Что воследовало затем в Германии, известно вам слишком хорошо. Когда господь бог, снег и казаки уничтожили лучшие войска Наполеона, то мы, немцы, получили высочайший приказ освободиться от чужеземного ига, — и мы воспылали мужественным гневом против нашего долготерпения и рабства и воодушевились под влиянием прекрасных мелодий и плохих стихов кернеровских песен, — и мы завоевали свободу; ибо мы делаем все, что приказывают нам наши государи.

В эпоху, когда подготавлилась эта борьба, школу, враждебно настроенную против всего французского и прославлявшую все национальное в искусстве и жизни, ждал самый пышный расцвет. Романтическая школа шла в ту пору рука об руку со стремлениями правительства и тайных обществ, и г-н А.-В. Шлегель конспирировал против Расина в тех же целях, что и министр Штейн против Наполеона. Школа плыла по течению времени, и по тому именно течению, которое возвращалось к своему истоку. Когда, наконец, немецкий патриотизм и немецкая национальность одержали полную победу, восторжествовала окончательно и народно-германско-христианско-романтическая школа, «новонемецкое религиозно-патриотическое искусство». Пал Наполеон, великий классик, столь же классический, как Александр и Цезарь, и г-да Август-Вильгельм и Фридрих Шлегели, маленькие романтики, столь же романтические, как «Мальчик с пальчик» и «Кот в сапогах», победоносно подняли голову.

Но и здесь не замедлила наступить реакция, неизменно следующая за всякими крайностями. Как спиритуалистическое христианство было реакцией против грубого господства римско-имперского материализма; как в пробужденной любви к жизнерадостному греческому искусству и науке следует видеть реакцию против христианского спиритуализма, выродившегося в самое идиотическое умерщвление плоти, как пробуждение средневековой романтики равным образом может считаться реакцией против рассудочного подражания античному, классическому искусству, — так и теперь начинается реакция против возрождения того феодально-католического мировоззрения, того рыцарства и поповства, которое пропо-

ведовалось словом и кистью, и притом в чрезвычайно странных условиях. Дело в том, что, высоко прославляя и окружая восхищением старых художников средневековья в качестве образцов для подражания, их совершенства объясняли исключительно тем, что эти люди были проникнуты верой в предмет своего изображения, что в своей безыскусственной простоте они могли дать больше, чем позднейшие неверующие мастера, значительно опередившие их в технике, — что вера сотворила в них чудо; и в самом деле, чем иным можно было объяснить прелести какого-нибудь фра Анджелико да Физзоле или поэму брата Отфрида? И вот художники, серьезно относившиеся к искусству и стремившиеся воссоздать божественную неуклюжесть этих чудо-картин и священное косноязычие этих чудо-поэм, — словом, всю неизъяснимую мистику старинных творений, — решили отправиться к той же Гипсикрене, в которой старые мастера черпали свое мистическое вдохновение; они отправлялись паломниками в Рим, где наместник Христа должен был вновь подкреплять молоком своей ослицы чахоточное немецкое искусство; одним словом, они уходили в лоно единоспасающей римско-католической апостольской церкви. Для многих приверженцев романтической школы не потребовалось и формального перехода, они были, как, например, г-н Геррес и г-н Клеменс Брентау, католиками по рождению и только отреклись от своего прежнего свободомыслия. Другие, однако, родились и были воспитаны в лоне протестантской церкви; таковы были, например, Фридрих Шлегель, г-н Людвиг Тик, Новалис, Вернер, Шюц, Каровè, Адам Мюллер и др., и их переход в католичество требовал публичного акта. Я назвал здесь только писателей; число художников, толпами отрекавшихся от евангелического вероисповедания и разума, было гораздо больше.

Видя, как эти молодые люди образовали нечто вроде очереди перед римской церковью, протискиваясь ко входу в старую темницу мысли, откуда отцы их освободились с таким усилием, в Германии с великой тревогой покачивали головой. Но когда стало очевидным, что здесь орудует пропаганда попов и дворянчиков, состоящих в заговоре против религиозной и политической свободы Европы, что это иезуиты сладкими звуками романтики

столь губительно заманивают немецкую молодежь — подобно тому, как некогда легендарный крысолов заманивал гамельских детей, — среди поборников свободы духа и протестантизма в Германии вспыхнуло великое негодование и пламенный гнев.

Я назвал рядом свободу духа и протестантизм; хотя я в Германии принадлежу к протестантской церкви, я надеюсь, что меня не обвинят в партийном пристрастии к ней. Право же, я без всякой партийности назвал рядом свободу духа и протестантизм; и в самом деле, между ними есть в Германии дружественная связь. Они во всяком случае родственны, и притом как мать и дочь. Несмотря на то, что протестантской церкви ставят в упрек злополучную узость многих ее воззрений, необходимо все же, к бессмертной ее славе, признать, что, разрешив свободное исследование в христианском вероучении и освободив умы от ига авторитета, она дала возможность свободному исследованию вообще пустить корни в Германии и науке — развиваться самостоятельно. Немецкая философия, несмотря на то что она теперь ставит себя рядом с протестантской церковью и даже выше ее, является все же лишь ее дочерью; это всегда обязывает ее относиться к матери с бережной почтительностью, и семейные интересы побудили их заключить союз, когда обем стал угрожать общий их враг — иезуитство. Все сторонники свободы мысли и протестантской церкви, как скептики, так и ортодоксы, разом восстали против воскресителей католичества; и, само собой разумеется, либералы, которых занимали, собственно, не интересы философии или протестантской церкви, но интересы политической свободы, также примкнули к этой оппозиции. Но в Германии до сих пор либералы были одновременно школьными философами и богословами, и, заняты ли они вопросами чисто политическими, философскими или богословскими, они всегда отстаивают все ту же идею свободы. Это легче всего проследить на человеке, подрывавшем основы романтической школы уже при возникновении ее, а затем более всех содействовавшем ее испровержению. Человек этот — Иоганн-Георх Фоссе.

Он совершенно неизвестен во Франции, а между тем мало кому немецкий народ больше обязан своим развитием, чем ему. После Лессинга он, быть может,

величайший гражданин в немецкой литературе. Во всяком случае это был большой человек, заслуживающий не только простого упоминания.

Его биография — это почти что общая биография всех немецких писателей старой школы. Он родился в 1751 году в Мекленбурге от бедных родителей, учился на теологическом факультете, потом бросил, когда познакомился с поэзией и греками, углубился в то и другое, давал уроки, чтобы не умереть с голоду, сделался учителем в Оттерндорфе, в Гадельнском округе, переводил древних классиков и, прожив всю жизнь бедным, скромным тружеником, умер на семьдесят пятом году жизни. Среди поэтов старой школы он пользовался большим почетом; но новые романтические поэты не уставали пощипывать его лавры и постоянно издевались над старомодным честным Фоссом, который на наивном, иногда даже простонародном нижне-немецком языке воспевал мелкообывательскую жизнь в низовьях Эльбы и героями своих поэм избирал не средневековых рыцарей и мадонн, а скромного протестантского пастора и его добродетельное семейство; он был так здоров, так буржуазно прост и так естествен, между тем как они, эти новейшие трубадуры, были так сомнамбулически-болезненны, так рыцарски-аристократичны и так гениально-нестественны. Каким невыносимым должен был казаться он восторженному творцу распутно-романтической «Люцинды», Фридриху Шлегелю, этот трезвенный Фосс со своей целомудренной Луизой и старым, достопочтенным пастором из Грюнау! Г-н Август Шлегель, никогда не увлекавшийся распутством и католичеством так искренно, как его брат, уже гораздо лучше умел ладить со старым Фоссом, и между ними, собственно, существовало только соперничество в области перевода, принесшее, впрочем, большую пользу немецкому языку. Еще до возникновения новой школы Фосс перевел Гомера, затем с неслыханным прилежанием взялся за перевод также и других поэтов языческой древности, между тем как А.-В. Шлегель переводил христианских поэтов романтико-католического времени. Оба труда определяются скрыто полемическими целями: Фосс стремился своими переводами внедрить классическую поэзию и классические воззрения, в то время как г-н А.-В. Шлегель старался посредством хороших переводов сделать доступ-

ными читателям христианско-романтических поэтов, с целью подражания и просвещения. Более того, антагонизм проявлялся даже в формах языка обоих переводчиков. В то время как г-н Шлегель, шлифуя свои слова, делал их все слащавее и мапернсе, Фосс в своих переводах становился все жестче и грубее; позднейшие переводы его благодаря нарочитым шероховатостям почти неудобопроизносимы, и если на блестяще затертом гладком палисандровом паркете шлегелевских стихов легко было поскользнуться, то столь же легко спотыкался читатель о стихотворные мраморные глыбы старика Фосса. Наконец, Фосс из соперничества взялся и за Шекспира, которого г-н Шлегель так превосходно перевел в первом периоде своей деятельности; но тут пришлось очень плохо старому Фоссу и еще хуже его издателю: перевод оказался совершенно неудачным. Там, где г-н Шлегель переводит, быть может, слишком мягко, где стихи его подчас похожи на взбитые сливки, так что, поднося их ко рту, не знаешь, есть ли их или пить, там Фосс тверд как камень, и, произнося его стихи, опасаясь сломать себе челюсть. Но более всего отличала Фосса та сила, с которою он преодолевал все трудности; а он боролся не только с немецким языком, но и с иезуитски-аристократическим чудовищем, высунившимся в ту пору свою отвратительную голову из сумрачной чащи немецкой литературы, и Фосс нанес ему основательную рану.

Г-н Вольфганг Менцель, немецкий литератор, известный в качестве одного из ожесточеннейших противников Фосса, называет его нижнесаксонским мужиком. Вопреки оскорбительному намерению, это название весьма метко. Фосс и в самом деле нижнесаксонский мужик, каким был и Лютер; не было в нем ничего рыцарского, ничего куртуазного, ничего грациозного; он целиком принадлежал к тому грубо-кряжистому, мужественному племени, среди которого пришлось внедрять христианство огнем и мечом и которое лишь после трех поражений в боях покорилось новой вере; однако оно все еще сохраняет в своих нравах и обычаях значительную долю североязыческого упорства и в своих боях, материальных и духовных, является столь же храбрым и непреклонным, как его старые боги. Прямо скажу: когда я рассматриваю Иоганна-Гебриха Фосса в его полемике и во всем его существе, то я как



будто вижу пред собой самого старого одноглазого Одина, который, покинув свой замок Асгард, сделался учителем в Оттерндорфе, в Гадельнском округе, и обучает там белокурых голштинцев латинским склонениям и христианскому катехизису, а в часы досуга переводит на немецкий язык греческих поэтов, и занимает у Тора молот для сколачивания немецких стихов, и под конец, раздраженный утомительной работой, подымает этот молот и обрушивает его на голову бедного Фрица Штольберга.

Это была замечательная история. Граф Фридрих фон Штольберг был поэтом старой школы, весьма прославленным в Германии, быть может не столько благодаря своим поэтическим дарованиям, сколько благодаря графскому титулу, значившему в те времена в немецкой литературе гораздо больше, чем теперь. Но Фриц Штольберг был человеком либеральным, с благородным сердцем, и он был другом тех молодых бюргеров, которые основали в Геттингене поэтическую школу. Советую французским литераторам познакомиться с предисловием к стихотворениям Гельти, где Иоганн-Генрих Фосс изобразил идиллию совместного существования поэтов, образовавших союз, к которому принадлежали он и Фриц Штольберг. В конце концов из всего молодого поэтического кружка в живых остались только они двое. И вот, когда Фриц Штольберг торжественно перешел в католичество, отрекая от разума и любви к свободе и превратился в поборника обскурантизма, соблазняя своим высоким примером многих слабых духом, — тогда Иоганн-Генрих Фосс, семидесятилетний старик, публично выступил против своего друга юности, бывшего в столь же преклонном возрасте, и написал книжку под заглавием: «Как Фриц Штольберг сделался рабом». Он проанализировал здесь всю его жизнь и показал, как аристократическая природа, настороженно затаившись, скрывалась всегда в побратавшемся с ним графе; как она все явственнее обнаруживалась после событий французской революции; как Штольберг тайно примкнул к так называемой «Дворянской цепи», вознамерившейся противодействовать французским освободительным началам; как эти дворяне вступили в союз с иезуитами; как предполагалось посредством восстановления католичества содействовать и дворянским интересам; как вообще добивались возрождения хри-

стианско-католического феодального средневековья и уничтожения протестантской свободы мысли и буржуазной гражданственности. Немецкая демократия и немецкая аристократия, с такой юношеской непосредственностью братавшиеся до времен революции, когда одна ни на что еще не надеялась, а вторая ничего не опасалась, стояли теперь друг против друга и, превратившись в двух стариков, бились насмерть.

Часть немецких читателей, не уразумевшая значения и жестокой необходимости этой борьбы, осуждала бедного Фосса за безжалостное разоблачение домашних дел, мелких житейских происшествий, которые, однако, в своей совокупности представляли убедительное целое. И здесь тоже, конечно, нашлись так называемые возвышенные души, которые со всей величавостью разглагольствовали о жалком копании в мелочах и обличали бедного Фосса в страсти к сплетням. Другие — мещане, встревоженные, как бы когда-нибудь не была отдернута завеса с их собственного убожества, вопили о нарушении почтенной литературной традиции, строго возбраняющей всякие личные намеки, всякие разоблачения частной жизни. Когда же вскоре затем Фриц Штольберг умер (считали, что умер он от огорчения), а после его кончины появилась даже «Книжка любви», где он в святошески-христианском всепрощающем, подлинно иезуитском тоне говорил о бедном ослепленном друге, — тогда хлынули слезы немецкого сострадания, ручьем заплакали немецкий Михель, против бедного Фосса накопились много мягкосердечной ярости; главную долю ругательств получил он от тех самых людей, за духовное и светское спасение которых он боролся.

Вообще в Германии можно рассчитывать на сострадание и на слезные железы толпы, когда тебе в полемике хорошо намнут бока. Немцы похожи тогда на старых баб, которые ни за что не упустят случая поглазеть на казнь, протиスキваются вперед, в ряды самых любопытных зрителей, а при виде осужденного и его страданий горько рыдают и даже защищают его. Но эти плакальщицы, так жалостно причитающие при литературных экзекуциях, были бы чрезвычайно огорчены, если бы осужденный, порки которого они как раз ожидали, вдруг был бы помилован и им пришлось бы, ничего не повидав, тащиться домой. В таких

случаях их возросшая ярость обращается на того, кто обманул их ожидания.

Тем не менее выступление Фосса произвело на публику огромное впечатление и разрушило обуявшую общество тягу к средневековью. Poleмика привела Германию в возбуждение, значительная часть публики объявила себя безусловной сторонницей Фосса, еще более значительная, однако, стояла лишь за его дело. Посыпались статьи и возражения, и последние дни старика в немалой степени были отравлены этой склокой. Ему пришлось иметь дело с самыми скверными противниками—с попами, нападавшими на него под всяческими масками. Не только тайные католики, но и пиеисты, квиетисты, лютеранские мистики, словом все супернатуралистические секты протестантской церкви, в своей среде разделяемые столь различными воззрениями, объединились все же в равно бешеной ненависти против Иоганна-Генриха Фосса, против рационалиста. Последним названием обозначают в Германии людей, признающих права разума и в религии, в противоположность супернатуралистам, в большей или меньшей степени отказавшимся от познания посредством разума. Последние в своей ненависти к бедным рационалистам похожи на умалишенных в сумасшедшем доме, которые, будучи безумными совершенно по-разному, все же сносно уживаются друг с другом, но с жесточайшим озлоблением относятся к тому человеку, которого считают своим общим врагом и который есть не кто иной, как психиатр, старающийся вернуть им рассудок.

Если, таким образом, разоблачение католических прописок подорвало положение романтической школы в общественном мнении, то одновременно над ней было произнесено уничтожающее осуждение в ее собственном храме, и произнесено устами одного из богов, ею самую там воздвигнутых. Не кто иной, как сам Вольфганг Гете, сошел с пьедестала и изрек обвинительный приговор Шлегелям, тем самым верховным жрецам, которые кадили ему столь усердно. Этот голос разогнал все навязанные: призраки средневековья разлетелись; совы вновь попрятались в сумрачных развалинах замков; воронье вновь унеслось на свои старые колокольни; Фридрих Шлегель перебрался в Вену, где ежедневно бывал у обедни

и ел жареных каплунов по-вепски; г-н Август-Вильгельм Шлегель удалился в пагоду Браммы.

Откровенно говоря, Гете играл в то время весьма двусмысленную роль и никак не заслуживает безусловного одобрения. Что правда, то правда, г-да Шлегели никогда по отношению к нему не были честны; быть может, лишь потому, что в их полемике против старой школы им необходимо было выставить в качестве образца также и живого поэта, а более подходящего, чем Гете, они не нашли, они, к тому же в расчете на его литературную поддержку, воздвигли ему алтарь, и воскуряли фимиам, и заставляли народ преклонять пред ним колена. Он, вдобавок, был таким близким их соседом. Из Иены в Веймар ведет аллея прекрасных деревьев, на которых растут сливы, очень вкусные, особенно когда в летнюю жару вас томит жажда; и по этой дороге очень часто ходили Шлегели и не раз беседовали в Веймаре с господином тайным советником фон Гете, который всегда был большим дипломатом и спокойно слушал Шлегелей, одобрительно улыбался, иногда приглашал их к своему столу, случалось, что оказывал им и другие любезности, и т. д. Они подбирались и к Шиллеру, но тот был человек прямой и не пожелал иметь с ними дела. Переписка между ним и Гете, появившаяся три года назад, бросает свет на отношение обоих поэтов к Шлегелям. Гете свысока посмеивается над ними, Шиллер возмущен их наглой жаждой скандала, их манерой привлекать внимание посредством скандала и называет их «балбесами».

Сколько бы, однако, ни важничал Гете, тем не менее значительнейшей долей своей известности он обязан Шлегелям. Они начали и поощряли в дальнейшем изучение его произведений. Оскорбительная надменность, с которой он в конце концов отмахнулся от них, сильно отдала неблагодарностью. Быть может, однако, проницательного Гете раздражало то, что Шлегели хотели лишь воспользоваться им как средством для своих целей; быть может, эти цели грозили скомпрометировать его, министра протестантского государства, быть может даже в нем проснулся древний гнев языческого бога при виде темных католических происков: в противоположность Фоссу, который напоминал мрачного одноглазого Одина, Гете своим внешним обликом и воззрениями был подобен Юпи-

теру. Тому, правда, пришлось хорошенько ударить молотом Тора; этому достаточно было недовольно тряхнуть головой и умащенными амброзией кудрями — и Шлегели содрогнулись и уползли. Печатный документ этого порицания со стороны Гете появился во втором выпуске его журнала «Искусство и античность» под заглавием «О христианско-патриотическом новонемецком искусстве». Этой статьей Гете произвел как бы свое 18 брюмера в немецкой литературе; ибо, сурово изгнав из храма Шлегелей, привлеки лично к себе многих из их ревностнейших приверженцев, при общем одобрении публики, которой давно сопротивляла шлегелевская директория, он установил свое самодержавие в немецкой литературе. С этого часа не было больше речи о г-дах Шлегелях; лишь изредка вспоминали о них, как вспоминают еще теперь иногда о Барра или Гоёе; кончились разговоры о романтизме и классической поэзии, речь шла о Гете — и только о Гете. Правда, за эти годы выступили на сцену некоторые поэты, силой и воображением немногим ему уступавшие, но они куртуазно признали его своим главой, окружили его поклонением, целовали ему руку, преклоняли пред ним колена; эти парнасские гранды отличались, однако, от толпы тем, что имели право и в присутствии Гете оставаться в лавровых венках. Иногда они фрондировали против него, но исполнялись негодованием, когда кто-либо не столь значный тоже осмеливался ругнуть Гете. Как бы ни были злы аристократы на своего суверена, они все же возмущаются, когда чернь тоже восстает против него. А аристократы духа в Германии в продолжение последних двух десятилетий имели весьма веские основания быть недовольными Гете. Как сам я в то время с достаточной горечью открыто высказал, Гете уподобился Людовику XI, который прииожал высшее дворянство и возвышал tiers état.<sup>1</sup>

Это было несносно — Гете боялся всякого самостоятельного, оригинального писателя и славил и восхвалял всякую ничтожную мелкоту; он зашел в этом так далеко, что в конце концов похвала Гете стала считаться патентом на посредственность.

В дальнейшем я еще поговорю о новых поэтах, выступивших в период гетевской империи. Это молодой лес,

---

<sup>1</sup> Третье сословие (франц.).

стволы которого обнаруживают свою высоту лишь теперь, с тех пор как рухнул столетний дуб, так размашисто покрывавший и осенявший их своими ветвями.

Как я сказал, не было недостатка в оппозиции, ожесточенно восстававшей против этого могучего дерева, против Гете. Люди противоположнейших воззрений объединялись в этой оппозиции. Староверы, ортодоксы были раздражены тем, что в стволе этого лесного великана не было дупла с образком святого, что даже языческие дриады нагишом резвились среди его ветвей в колдовских игрищах, и эти люди охотно подрубили бы, подобно св. Бонифацию, священной секирой этот старый волшебный дуб; поборники новой религии, приверженцы либерализма, наоборот, были раздражены тем, что это дерево нельзя обратить в дерево свободы и уж никак невозможно употребить на баррикаду. И действительно, дерево было слишком высоко, невозможно было посадить на его макушку красную шапку и плясать под ним карманьолу. Но широкая масса чтит это дерево именно потому, что оно было так самобытно прекрасно, что так упоительно наполняло оно весь мир своим благоуханием, что с таким великолепием простирались его ветви до самого неба, так что звезды казались лишь золотыми плодами исполинского чудесного дерева.

Оппозиция против Гете начинается, собственно, с появления так называемых поддельных «Годов страстий», под заглавием «Годы странствий Вильгельма Мейстера», изданных Готфридом Бассе в Кведлинбурге в 1821 году, то есть вскоре после падения Шлегелей. Под этим именно заглавием Гете анонсировал выход в свет продолжения «Годов учения Вильгельма Мейстера», и, по странному стечению обстоятельств, продолжение это появилось одновременно с этим литературным двойником, где не только перенята была манера Гете, но в качестве действующего лица выступал герой гетевского романа. Это подражание свидетельствовало не столько о великом уме, сколько о великой ловкости, и любопытство публики было еще искусственно усилено тем, что автор на некоторое время сумел сохранить свое имя в тайне и все старания дознаться, кто он, были напрасны. Наконец выяснилось, что сочинителем является доселе неизвестный деревенский пастор, по фамилии Пусткухен, что по-французски значит

omelette soufflée<sup>1</sup> — имя, определяющее и все его существо. Эта книга представляла собою не что иное, как старое шпетистское кислое тесто, эстетически раздувшееся. Здесь Гете предъявлялись обвинения в том, что его произведениям чужды моральные цели; что он способен создавать не благородные образы, но лишь вульгарные фигуры; что, наоборот, Шиллер изображает идеально-благороднейшие характеры и потому он как поэт выше Гете.

Последнее, а именно то, что Шиллер выше Гете, и было главным предметом спора, вызванного этой книгой. Всех обуряла мания сравнивать создания обоих поэтов, и мнения разделились. Сторонники Шиллера выдвигали нравственную привлекательность таких образов, как Макс Пикколомини, Текла, маркиз Поза и прочие герои шиллеровского театра, объявляя, напротив, таких героинь Гете, как Филина, Гретхен, Клерхен и подобные прелестные создания, безнравственными особами. Сторонники Гете с улыбкой замечали, что в этих женщинах, равно как в героях Гете, едва ли можно видеть воплощение морали, но что укрепление нравственности, которого требуют от произведений Гете, ни в коем случае не является целью искусства, ибо искусство не имеет никаких целей, подобно самому мирозданию, в которое лишь человеческая мысль вкладывает понятия «цель и средства»; искусство, подобно вселенной, существует ради самого себя, и как вселенная остается вечно неизменной, хотя в суждениях о ней воззрения людей беспрестанно меняются, так и искусство должно оставаться независимым от преходящих взглядов людей; поэтому искусство должно оставаться особенно независимым от морали, которая всегда меняется на земле, меняется всякий раз, когда возникает новая религия и вытесняет старую. В самом деле, поскольку всякий раз по прошествии ряда столетий неизменно возникает новая религия и вследствие ее внедрения в нравы устанавливается новая мораль, постольку каждая эпоха должна была бы объявить сретически-безнравственными художественные произведения прошлого, если бы они оценивались по масштабу морали данного времени. Действительно, как приходилось уже нам видеть, добрые хри-

---

<sup>1</sup> Дутая яичница (франц.).

стиане, осуждающие плоть как нечто дьявольское, всегда возмущались видом изваянной греческих богов; целомудренные монахи подвязывали античной Венере передничек, даже в наше время прикрывают смехотворным фиговым листочком наготу статуй; один благочестивый квакер пожертвовал все свое состояние на то, чтобы скупать и сжигать прекраснейшие мифологические картины Джулио Романо — поистине, он заслуживает быть вознесенным за это на небо и подвергаться там ежедневному сечению розгами! Если бы возникла религия, полагающая бога исключительно в материи и потому обожествляющая только плоть, то, перейдя в нравы, она породила бы мораль, одобрения которой удаивались бы лишь те художественные произведения, в которых возвеличивается плоть, и, наоборот, создания христианского искусства, изображающие лишь ничтожество плоти, должны были подвергнуться осуждению как безнравственные. Да, художественные произведения, считающиеся в одной стране нравственными, рассматриваются как безнравственные в другой стране, где в нравах укоренилась другая религия; так, например, наши изобразительные искусства вызывают отвращение в правоверном мусульманине, и, наоборот, некоторые искусства, считающиеся совершенно невинными в восточном гареме, ужасают христианина. Так как нравы индусов не видят в промысле баядерки ничего позорящего, то драма «Васантасена», героиня которой — продажная жрица любви, совершенно не считается безнравственной в Индии; а между тем, если бы эту пьесу осмелились поставить в «Théâtre français», весь партер закричал бы о безнравственности, тот самый партер, который ежедневно с удовольствием смотрит запутанные пьесы, где героинями выступают молодые вдовы, в финале весело выходящие замуж, вместо того чтобы, согласно требованию индусской морали, быть сожженными вместе со своими умершими мужьями.

Исходя из такого взгляда, гетеанцы рассматривают искусство как независимый второй мир, который они ставят так высоко, что вся деятельность людей, их мораль, их религия в своей смене и неустойчивости проходят под ним. Я не могу, однако, безусловно принять этот взгляд; он привел гетеанцев к тому, что они, провозгласив самое искусство самым высоким началом, отвергают требования того



первого, действительного мира, которому все-таки принадлежит первенство.

Шиллер стал на сторону этого первого мира с гораздо большей определенностью, чем Гете, и в этом отношении мы должны воздать ему хвалу. Дух времени со всей живостью захватил Фридриха Шиллера, он боролся с ним, он был им побежден, он понес за ним в бою, он нес его знамя, и знамя это было то самое, под которым с таким воодушевлением сражались и по ту сторону Рейна и за которое мы по-прежнему готовы проливать нашу лучшую кровь. Шиллер писал во имя великих идей революции, он разрушал бастилии мысли, он участвовал в сооружении храма свободы — того величественного храма, который, как единая братская община, должен охватить все народы; он был космополит. Он начал с той ненависти к прошлому, какую мы видим в «Разбойниках», где он похож на маленького титана, который, убежав из школы и хлебнув водки, бьет стекла у Юпитера; он кончил той любовью к будущему, которая, подобно целому лесу цветов, распускается уже в «Дон-Карлосе», и сам он — маркиз Поза, одновременно пророк и солдат, всегда готовый сразиться за то, что сам проповедует, и прячущий под непанским плащом самое прекрасное сердце, какое когда-либо любило и страдало в Германии.

Поэт, этот творец в малом, подобен госноду богу и в том, что своих героев он творит по образу своему и подобно. Если поэтом Карл Моор и маркиз Поза — это сам Шиллер, то Гете подобен своему Вертеру, своему Вильгельму Мейстеру и своему Фаусту, по которым можно изучать фазы его духовного развития. Если Шиллер целиком уходит в историю, восхищен общественными завоеваниями человечества и воспеваает всемирную историю, то Гете погружается больше в индивидуальные чувства, или в искусство, или в природу. В конце концов естественная история должна была сделаться главным предметом занятий пантеиста Гете, и результаты своих изысканий он представил не только в поэтических произведениях, но и в научных трудах. Его индифферентизм был также результатом его пантеистического мировоззрения.

Увы, это верно, — мы должны сознаться, что пантеизм нередко делал людей индифферентными. Они полагали: если все есть бог, то безразлично, чем заниматься, — об-

лаками или античными геммами, народными песнями или костями обезьян, людьми или комедиантами. Но в том-то и ошибка: не все есть бог, а бог есть все; бог не в равной степени проявляется во всех вещах; напротив, он в различной степени проявляется в различных вещах, и каждая из них стремится подняться на более высокую ступень божественности, и это есть великий закон прогресса в природе. Открытие этого закона, с наибольшей глубиной выраженного сен-симонистами, делает теперь пантеизм мировоззрением, ведущим никак не к индифферентизму, но к самоотверженнейшему стремлению вперед. Нет, бог не проявляется во всех вещах в равной степени, как полагал Вольфганг Гете, которого это и сделало совершенным индифферентистом, занятым не высшими интересами человечества, а только художественными игрушками, анатомией, теорией красок, ботаникой и наблюдениями над облаками: бог проявляется в вещах в большей или в меньшей степени, он живет в этом непрестанном проявлении, бог есть в движении, в действии, во времени, его священное дыхание проносится по страницам истории; она и есть подлинная книга божия; и это ощущал и предчувствовал Фридрих Шиллер, и он стал «пророком, обращенным к прошлому», и написал «Отпадение Нидерландов», «Тридцатилетнюю войну», «Орлеанскую деву» и «Геллия».

Правда, и Гете воспел несколько великих историй освобождения, но он воспел их как художник. Так как он досадливо отвергал опостылевший ему христианский энтузиазм, а философского энтузиазма нашего времени не понимал или не хотел понять — из опасения, как бы это не вывело его из его душевного спокойствия, — то он вообще трактовал энтузиазм чисто исторически, как нечто данное, как сюжет, подлежащий обработке; дух под его руками становился материей, и он облекал его в прекрасную, привлекательную форму. Так стал он величайшим художником в нашей литературе, и все написанное им сделалось совершенным художественным созданием.

Пример учителя увлек последователей, и таким образом в Германии возник литературный период, некогда мною названный «эстетическим периодом», причем я показал его вредное влияние на политическое развитие немецкого народа. Нисколько, однако, не отрицал я при этом самостоятельной ценности шедевров Гете. Они украшают наше

дорогое отечество, как прекрасные статуи украшают сад, и все же это статуи. В них можно влюбиться, но они бесплодны: создания Гете не порождают действия, как создания Шиллера. Дело есть дитя слова, а прекрасные слова Гете бездетны. Это проклятие лежит на всем, что порождено только искусством. Статуя, изваянная Пигмалионом, была красавицей, сам художник влюбился в нее, она ожила под его поцелуями, но, насколько нам известно, у нее никогда не было детей. Кажется, г-н Шарль Нодье высказал об этом предмете нечто в таком роде, и это пришло мне в голову вчера, когда я, бродя по нижним залам Лувра, рассматривал древние статуи богов. Там они стояли, со своими немymi белыми глазами, с тайной меланхолией в мраморной улыбке, быть может в смутном воспоминании о Египте, стране мертвецов, откуда они родом, или в страдальческом тяготении к жизни, из которой они ныне вытеснены другими божествами, или в тоске о своем мертвом бессмертии: они как будто ждали слова, которое вновь вернуло бы их к жизни, которое высвободило бы их из их холодной, околелой неподвижности. Странно! — эти античные фигуры напомнили мне поэтические создания Гете, столь же законченные, столь же великолепные, столь же спокойные и как бы с тою же тоской чувствующие, что их неподвижность и холодность лежит между ними и нынешней оживленной и горячей жизнью, что они не могут страдать и ликовать вместе с нами, что они не люди, а несчастливые сочетания божества и камня.

Эти немногие замечания объясняют раздражение различных партий, выступивших в Германии против Гете. Правовверные были возмущены великим язычником, как принято называть Гете в Германии; они боялись его влияния на народ, которому он внушал свое мировоззрение через свою улыбочивую поэзию, через самые неприятельные из своих песенок; они видели в нем опаснейшего врага креста, который, по его же словам, был ему противен так же, как клопы, чеснок и табачный дым; приблизительно то же самое говорится в эпиграмме, которую Гете осмелился напечатать в самой Германии, где повсюду царит священный союз этой дряни — чеснока, табака и креста. Разумеется, вовсе не это было для нас, сторонников движения, неприемлемым в Гете. Как уже упомянуто, мы порицали бесплодность его слова, эстетизм, по его вине

водворившийся в Германии, воспитавший молодежь в духе квиетизма, столь пагубного для политического возрождения нашей родины. Индифферентный пантеист сделался поэтому предметом нападок с противоположных сторон; выражаясь по-французски, против него заключили союз крайняя правая и крайняя левая; и в то время как черный поп колотил его распятием, неистовый санкюлот лез на него с пикой. Г-н Вольфганг Менцель, потративший на борьбу с Гете груды остроумия, достойного лучшего применения, не выступал в своей полемике столь односторонне ни как христианский спиритуалист, ни как недовольный патриот: в одной части своих нападок он опирался скорее на последние изречения Фридриха Шлегеля, после своего падения изливавшего из глубин своего католического собора скорбь о Гете, «поэзия которого лишена средоточия». Г-н Менцель пошел еще дальше и доказывал, что Гете не гений, а лишь талант, превозносил в противоположность ему Шпллера и т. д. Происходило это незадолго до Июльской революции, г-н Менцель был в ту пору величайшим почитателем средних веков в отношении как произведений искусства, так и учреждений; с неутомимой яростью поносил он Иоганна-Генриха Фосса, с неслыханным воодушевлением прославлял г-на Иозефа Герреса: поэтому его ненависть к Гете была неподдельна, и он нападал на него по убеждению, стало быть не для того, чтобы, как многие думали, приобрести таким способом известность. Хотя сам я в то время был противником Гете, мне не нравилась резкость, с которой г-н Менцель критиковал его, и я сожалел об этом отсутствии пиетета. Я говорил: Гете все же король нашей литературы; если и поднимаешь на него критический пож, то необходимо делать это с надлежащей учтивостью, подобно палачу, которому предстояло отрубить голову Карлу I и который, прежде чем приступить к исполнению обязанностей, преклонил пред королем колена и просил у него высочайшего прощения.

К противникам Гете принадлежали и достославный советник Мюльнер и единственный оставшийся у него верный друг, г-н профессор Шютц, сын старого Шютца. Кое-кто еще из носивших менее славные имена, например некий г-н Шпаун, долго просидевший в тюрьме за политический проступок, также принадлежал к явным про-

тивникам Гете. Между нами говоря, это было очень пестрое общество. Что они ставили ему в вину, я указал с достаточной ясностью; труднее разгадать те особые побуждения, под влиянием которых каждый отдельный участник решил выступить с открытым выражением своих антигетевских убеждений. Лишь относительно одного лица мне с совершенной точностью известен этот мотив, и так как лицо это — я, то признаюсь теперь откровенно: это была зависть. В похвалу себе должен, однако, напомнить еще раз, что никогда не падал я на поэта в Гете, но только на человека. Я никогда не порицал его произведений. Я никогда не способен был видеть в них недостатки, подобно тем критикам, которые при помощи своих тонко отшлифованных оптических стекол и на луне открыли пятна; что за дальновзорные люди! То, что они принимали за пятна, — это цветущие леса, серебристые потоки, величавые горы, смеющиеся долины.

Нет ничего глупее недооценки Гете в пользу Шиллера, к которому совсем не относился искренно, всегда прославляя его для того, чтобы принизить Гете. Разве в самом деле было неизвестно, что изготовить эти высоко прославленные, высоко идеальные образы, эти священные изваяния добродетели и правственности, созданные Шиллером, гораздо легче, чем те греховные, мелко житейские, порочные существа, которых Гете выводит в своих произведениях? Разве не известно было, что посредственные живописцы в большинстве случаев мажут на холсте святых угодников в натуральную величину, но требуется уже большой мастер, для того чтобы с жизненной правдивостью и техническим совершенством изобразить такого испанского нищего мальчишку, ищущего вшей, нидерландского мужика, которого рвет или которому выдергивают зуб, или уродливых старух, каких мы видим на превосходных маленьких голландских картинках? Великое и страшное гораздо легче изображать в искусстве, чем мелкое и забавное. Египетские чародеи могли воспроизвести вслед за Моисеем многие его кунштюки, а именно, змей, кровь, даже жаб, но когда он сотворил с виду гораздо более легкие чудеса, например мошек, то они признали свое бессилие, не смогли сделать малюпких мошек и сказали: «Это — перст божий». Обличайте сколько угодно грубости в «Фаусте» — в сценах на Брокене или

в погребке Ауэрбаха, — обличайте непристойности в «Мейстере», — ничего такого вы все же создать не сумеете. Это — перст Гете. Но вы и не собираетесь создавать что-либо подобное, и я слышу, как вы с отвращением заявляете: «Мы не волшебники, мы добрые христиане». Что вы не волшебники, это мне известно.

Величайшая заслуга Гете заключается именно в совершенстве всего, что он изображает. Здесь нет частей более сильных, в то время как другие — слабы, здесь нет того, что одна сторона выписана до конца, а другая едва намечена, здесь нет неудач, нет обычного литературного балласта, нет пристрастия к разрозненным подробностям. Всякое действующее лицо его романов и драм, когда бы оно ни выступало, он разрабатывает так, как будто это главный герой. То же самое у Гомера, то же у Шекспира. В созданиях всех великих поэтов в сущности нет второстепенных персонажей, каждое действующее лицо есть на своем месте главный герой. Такие поэты подобны самодержавным государям, которые не признают в людях никакой самостоятельной ценности, но по собственному усмотрению жалуют их высшим достоинством. Когда французский посланник в разговоре с русским императором Павлом однажды заметил, что одна значительная особа в его стране интересуется каким-то предметом, то император строго прервал его примечательными словами: «В этом государстве нет значительного человека, кроме того, с кем я разговариваю, и лишь на то время, пока я с ним разговариваю». Самодержавный поэт, также получивший свою власть милостью божьей, таким же образом рассматривает как важнейшее в царстве его вымысла лицо всякого, кто в данный момент выступает у него с речью, кто попал под его перо, — и из такого художественного деспотизма возникает эта чудесная законченность самых незначительных фигур в произведениях Гомера, Шекспира и Гете.

Если я с некоторой резкостью говорил о противниках Гете, то я мог бы еще гораздо резче отозваться о его защитниках. Большинство их наговорило в своем пылу еще больших глупостей. На границе смешного стоит в этом отношении некий г-н Эккерман, не лишенный, впрочем, ума. В борьбе против Пусткухена добыл свои критические шпоры Карл Иммерман, ныне наш крупнейший

драматург, выпустивший по этому поводу превосходную книжку. Особенно отличились при этом случае берлинцы. Виднейшим бойцом за Гете всегда был Фарнхаген фон Энзе, писатель, носящий в сердце мысли, обширные, как мир, и выражающий их в словах, драгоценных и изящных, как резные камни. Суждениям этого высокого ума Гете всегда придавал очень большое значение. Полезно, быть может, отметить здесь, что г-н Вильгельм фон Гумбольдт еще раньше написал превосходную книгу о Гете. За последние десять лет каждая лейпцигская ярмарка приносила несколько сочинений о Гете. Исследования г-на Шубарта о Гете принадлежат к достопримечательностям высокой критики. Все, что сказано на страницах разных журналов о Гете г-ном Герингом, пишущим под именем Вилибальд Алексис, столь же веско, сколь пронзительно. Г-н Циммерман, профессор в Гамбурге, высказал в своих устных лекциях ряд весьма удачных суждений о Гете, изложенных и в его «Драматургических страницах», правда скупо, но тем более глубокомысленно. В различных немецких университетах читались курсы о Гете, из всех произведений которого публика занималась главным образом «Фаустом». Многократно писали к нему продолжения и комментарии, и он сделался светской библией немцев.

Я не был бы немцем, если бы при упоминании о «Фаусте» не высказал некоторых пояснительных мыслей об этом предмете. Ибо от величайшего мыслителя до наиметнейшего маркера, от философа до — по нисходящей — доктора философии всякий испытывает свое остроумие на этой книге. Но, поистине, она так же всеобъемлюща, как библия, и, подобно последней, охватывает небо и землю вместе с человеком и его истолкованиями. И здесь снова главной причиной такой популярности «Фауста» является сюжет; а то, что Гете выискал этот сюжет в народных сказаниях, свидетельствует именно о его бессознательном глубокомыслии, о его гении, всегда умевшем брать самое непосредственное и нужное. Я вправе предположить знакомство с содержанием «Фауста», ибо книга эта сделалась в последние годы знаменитой и во Франции. Но я не знаю, известно ли здесь и само старинное народное сказание, продается ли и здесь на ярмарках серая, скверно напечатанная на оберточной бумаге и украшенная лубоч-

пыми картинками книжка, где обстоятельно рассказано, как великий чародей Иоганнес Фаустус, ученый доктор, изучив все науки, в конце концов выбросил все свои книги и заключил с чертом договор, по которому он может наслаждаться всеми плотскими утехами на земле, но при этом предает адской погибели свою душу. В средние века народ, видя где-либо большую умственную мощь, всегда приписывал ее союзу с дьяволом, и Альберт Великий, Раймунд Луллий, Теофраст Парацельс, Агриппа Неттесгеймский и в Англии Роджер Бэкон слыли чародеями, черпюкнижничками и заклинателями дьявола. Но гораздо более необычайные вещи распевают и рассказывают о докторе Фаустусе, потребовавшем от дьявола не только познания вещей, но и реальнейших наслаждений, и это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание и жил во времена, когда начали восставать против строгого авторитета церкви и исследовать вещи самостоятельно, — так что с Фаустом заканчивается средневековая эпоха веры и начинается современная научно-критическая эпоха. Чрезвычайно показательно, в самом деле, что как раз в то время, когда, по народному убеждению, жил Фауст, начинается Реформация и что именно ему приписывается изобретение искусства, принесшего знанию победу над верой, а именно изобретение книгопечатания, искусства, лишившего нас, однако, католической душевной безмятежности и повергнувшего нас в сомнения и революции, — другой на моем месте сказал бы — искусства, отдавшего нас в конце концов во власть дьявола. Но нет, знание, познание вещей посредством разума, наука дает нам, наконец, те наслаждения, которых так долго обманом лишала нас религия, католическое христианство; мы начинаем сознать, что люди призваны не к одному небесному, но и к земному равенству; политическое братство, проповедуемое нам философией, благодетельнее для нас, чем чисто духовное братство, каким одарило нас христианство; и знание становится словом, и слово становится делом; и мы можем еще при жизни обрести блаженство на этой земле, — а если потом, после смерти, мы обретем вдобавок еще и небесное блаженство, столь определенно обещанное нам христианством, то это совсем прекрасно.

Давно уже немецкий народ глубокомысленно почувствовал это, ибо немецкий народ сам есть этот ученый



доктор Фауст, этот спиритуалист, духом уразумевший, наконец, недостаточность духа, требующий материальных наслаждений и возвращающий плоти ее права, — однако не сбросив еще оков символики католической поэзии, где бог есть представитель духа, а дьявол представитель плоти, — уже в одном оправдании плоти люди видели отречение от бога, союз с дьяволом.

Но пройдет еще время, прежде чем осуществится в немецком народе то, о чем он с таким глубокомыслием пророчествовал в этой поэме, а именно — прежде чем путем духа осознает он узурпацию духа и потребует прав для плоти. Тогда это будет революция, великая дочь Реформации.

Менее, чем «Фауст», известен здесь, во Франции, «Западно-восточный диван» Гете, более поздняя книга, которой еще не знала г-жа де Сталь и на которой мы должны остановиться особо. В цветущих песнях и чеканных изречениях выражены здесь мысль и чувство Востока; и все исполнено благоухания и жара, подобно гарему влюбленных одалисок с черными подведенными газельными глазами и чувственно-белыми руками. Читателя охватывает содрогание сладострастия, испытанное счастливым Гаспаром Дебюро, когда он в Константинополе, стоя на верхней ступеньке лестницы и глядя *de haut en bas*,<sup>1</sup> видел то, что повелителю правоверных видно, только когда он смотрит *de bas en haut*.<sup>2</sup> Иногда читателю представляется, что он беспечно растянулся на персидском ковре и курит длинный кальян с желтым туркестанским табаком, а черная рабыня навевает на него прохладу пестрым опахалом из павлиньих перьев, и прелестный мальчик подносит чашку настоящего кофе мокка: захватывающее упоение жизнью перелил здесь Гете в стихи, столь легкие, столь восхитительные, столь эфирно-воздушные, что изумляешься, как возможно было создать нечто подобное на немецком языке. К этому он присоединяет превосходнейшие пояснения в прозе о правах и быте Востока, о патриархальной жизни арабов; и здесь Гете всегда безмятежно улыбкив, беззаботен, как дитя, и исполнен мудрости, как старец. Эта проза прозрачна, как зеленое море в безветрии

---

<sup>1</sup> Сверху вниз (*франц.*).

<sup>2</sup> Снизу вверх (*франц.*).

летнего полудня, когда взгляд проникает далеко в глубь морскую, где видны затопившие города с их бывшим великолепием; иногда, впрочем, и эта проза так волшебна, так полна тайны, как небо, когда спустился вечерний сумрак; и великие мысли Гете выступают, чистые и золотые, как звезды. Невыразимо очарование этой книги — это селям, посылаемый Западом Востоку, и причудливые цветы рассыпаны здесь: чувственно-красные розы, гортензии, подобные обнаженной белой девичьей груди, смешная львиная пасть, пурпурная наперстянка, похожая на длинные пальцы, странно извитые крокусы, а посреди них — осторожно притаившиеся, тихие немецкие фиалки. Но этот селям означает, что Западу опостылел его тощий ледяной спиритуализм и ему хочется подкрепиться здоровым плотским миром Востока. Выразив в «Фаусте» свое недовольство абстрактно-духовным и свое тяготение к реальным наслаждениям, Гете, написав «Западно-восточный диван», тем самым как бы вместе с самим духом бросился в объятия сенсуализму.

В высшей степени показательно поэтому, что книга эта появилась вскоре после «Фауста». Это был последний фазис пути Гете, и пример его оказал большое влияние на литературу. Нани лирики принялись теперь воспевать Восток. Достойно упоминания, быть может, и то, что Гете, так радостно воспевавший Персию и Аравию, высказывал определеннейшее нерасположение к Индии. Его отталкивало причудливое, смутное, неясное в этой стране, и, быть может, эта неприязнь возникла оттого, что в санскритологии Шлегелей и господ их друзей он чуял католическую заднюю мысль. Дело в том, что для этих господ Индостан был колыбелью католического миропорядка; там они видели образец своей иерархии, там находили свою троицу, свое вочеловечение, свое покаяние, свое искупление, свое истязание плоти и все прочие свои излюбленные коньки. Нерасположение Гете к Индии немало раздражало этих людей, поэтому-то г-н Август-Вильгельм Шлегель с холодной злостью назвал его «язычником, обратившимся в ислам».

Среди книг о Гете, появившихся в этом году, почетнейшего упоминания заслуживает посмертное сочинение Иоганна Фалька: «Гете, изображенный по близким личным отношениям». Кроме обстоятельной статьи о «Фаусте»

(пельзя же без этого!), автор сообщает любопытнейшие сведения о Гете, изображая его со всех житейских сторон с совершенной верностью и совершенным беспристрастием, со всеми его достоинствами и недостатками. Здесь мы видим Гете в его отношениях к матери, чья личность так удивительно отразилась в сыне; мы видим его в качестве естествоиспытателя, видим, как он наблюдает гусеницу, которая становится куколкой, чтобы затем вылупиться в виде бабочки; мы видим его в беседе с великим Гердером, сердито его обличающим в индифферентизме, мешающем Гете обращать внимание на развитие из куколки самого человечества; мы видим, как, весело импровизируя, восседает он среди белокурых фрейлин при дворе великого герцога Веймарского, подобно Аполлону среди овец царя Адмета; мы видим затем, как он с падежностью далай-ламы отказывается признать Коцебу и как последний, чтобы приизвить его, устраивает публичное чествование Шиллера; но повсюду мы видим его умным, прекрасным, любезным — чарующе-привлекательный образ, подобный вечным богам.

В Гете действительно во всей полноте ощущалось то совпадение личности с дарованием, какого требуют от необыкновенных людей. Его внешний облик был столь же значителен, как слово, жившее в его творениях; и образ его был гармоничен, ясен, радостен, благородно соразмерен, и на нем можно было изучать греческое искусство, как по греческой статуе. Припижающее христианское смирение никогда не сгибало этого тела, исполненного достоинства; черты этого лица никогда не искажались христианским самопостязанием; эти глаза не косили с робостью христианского покаяния, не молитвословили, не возводились ханжески к небесам, не бегали из стороны в сторону: нет, они были спокойны, как взор божества. Это ведь вообще отличительный признак богов — то, что взгляд их тверд и глаза их не бегают тревожно по сторонам. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра принимают облик Наля на свадьбе Дамаянти, то она узнает своего возлюбленного по миганию его глаз, ибо, как я напомнил, глаза богов всегда неподвижны. Это свойство имели и глаза Наполеона. Поэтому я убежден, что он был богом. Взгляд Гете оставался в старости таким же божественным, каким он был в юности. Время

смогло, правда, покрыть голову Гете снегом, но не пригнуть ее. Он нес ее все так же гордо и прямо и когда говорил, то всегда становился выше, и когда простирал руку, то казалось, будто он пальцами указывает звездам на небе путь, по которому им должно следовать. Говорят, в линии его рта была заметна холодная черточка эгоизма; но и эта черта свойственна вечным богам и особенно отцу богов, великому Юпитеру, с которым я сравнил выше Гете. Когда я был у него в Веймаре, то, стоя пред ним, я, право, невольно посматривал по сторонам, не увижу ли подле него орла с молниями в клюве. Я едва было не заговорил с ним по-гречески; но, заметив, что он понимает по-немецки, я рассказал ему на немецком языке, что сливы на дороге между Иеной и Веймаром очень вкусны. Так часто в долгие зимние ночи я раздумывал о том, сколько возвышенного и глубокомысленного я сказал бы Гете, если бы мне довелось когда-нибудь его увидеть. А когда я, наконец, увидел его, я сказал ему, что саксонские сливы очень вкусны. И Гете улыбнулся. Он улыбнулся теми самыми губами, которыми некогда целовал прекрасную Леду, Европу, Данаю, Семелу и столь многих иных принцесс, а то и просто нимф...

Les dieux s'en vont. <sup>1</sup> Гете умер. Он скончался 22 марта прошлого года — знаменательного года, в течение которого наша земля лишилась своих крупнейших знаменитостей. Как будто смерть в этом году сделалась внезапно аристократичной, как будто решила она отметить выдающихся людей этой земли, разом отправив их в могилу. Быть может, она вздумала учредить пэрство в царстве теней, и, если так, то ее *fournée* <sup>2</sup> подобрано очень хорошо. Или, наоборот, смерть старалась в минувшем году благоприятствовать демократии, хороня вместе с знаменитостями и их авторитет и таким образом содействуя установлению умственного равенства? Почтенье или дерзость то, что смерть в минувшем году щадила королей? По рассеянности она уже занесла было косу над королем испанским, но вовремя одумалась и оставила его в живых. В минувшем году не умер ни один король. Les dieux s'en vont, — но королей мы сохраняем.

---

<sup>1</sup> Боги уходят (*франц.*).

<sup>2</sup> Меню (буквально — наполненная печь) (*франц.*).



## КНИГА ВТОРАЯ

### I

Добросовестность, которую я сделал для себя законом, заставляет меня упомянуть здесь о слышанных мною от многих французов упреках в том, что я отозвался о Шлегелях, особенно о г-не Августе-Вильгельме Шлегеле, в слишком резких выражениях. Полагаю, однако, что если бы здесь были лучше знакомы с историей немецкой литературы, эти упреки не имели бы места. Многие французы знают г-на Августа-Вильгельма Шлегеля исключительно по книге г-жи де Сталь, его благородной покровительницы. Большинству знакомо только его имя. Это имя звучит в их памяти как нечто почтительно-знаменитое, как что-то вроде имени Озириса, о котором они тоже знают только одно: что существовал такой забавный бог, почитаемый в Египте. О том, какое иное сходство объединяет г-на Августа-Вильгельма Шлегеля и Озириса, известно им менее всего.

Так как я некогда принадлежал к университетским ученикам Шлегеля-старшего, то, вероятно, меня считают обязанным к некоторой снисходительности по отношению к нему. Но был ли снисходителен г-н Август-Вильгельм Шлегель к старому Бюргеру, своему литературному отцу? Нет, и он поступал согласно общепринятому обычаю. Ибо в литературе, как в лесах североамериканских дикарей, сыновья убивают отцов, как только те становятся стары и слабы.

Уже в первой книге я отметил, что Фридрих Шлегель был значительнее, чем г-н Август-Вильгельм; и в самом

деле, последний питался только идеями своего брата, владел лишь искусством развивать их. Фридрих Шлегель был глубокомысленным человеком. Он постиг все величие прошлого и чувствовал все страдания настоящего. Но он не понимал святости этих страданий, их необходимости для будущего спасения мира. Он видел, что солнце заходит, и скорбно глядел на место этого захода, сокрушаясь о ночном мраке, приближение которого он видел; но он не замечал, что на противоположной стороне уже занимается новая заря. Ф. Шлегель назвал однажды историка «пророком наизнанку». Это выражение — лучшее название для него самого. Современность была ему ненавистна, будущее пугало его, и лишь в прошлое, любимое им, проникали его пророческие очи ясновидца.

Бедный Фридрих Шлегель; в муках нашего времени он видел не муки рождения нового, а агонию смерти, и в смертельном ужасе бежал он в шаткие развалины католической церкви. Во всяком случае, это было самое подходящее убежище для его настроения. Он много проявил в жизни веселой дерзости, но он смотрел на нее как на нечто греховное, как на грех, требующий позднейшего покаяния и искупления, — и автор «Люцинда» неизбежно должен был стать католиком.

«Люцинда» — роман; кроме стихотворений и драмы «Аларкос», написанной по испанскому образцу, — это единственное оригинальное произведение, оставшееся после Фридриха Шлегеля. В свое время не было недостатка в почитателях этого романа. Г-н Шлейермахер, ныне высокопреподобный, выступил тогда с восторженными письмами о «Люцинде». Немало было также критиков, которые восхваляли этот роман как образцовое создание и со всей определенностью предсказывали, что он когда-нибудь будет считаться лучшей книгой во всей немецкой литературе. Следовало бы, чтобы начальство засадило этих людей в тюрьму, подобно тому, как в России держат в остроге пророков, предрекающих общественные несчастья, до тех пор, пока их предсказание не сбудется. Нет, боги охраняли нашу литературу от этого несчастья. Роман Шлегеля, вследствие его непристойного ничтожества, был вскоре отвергнут всеми и теперь совершенно забыт. Люцинда — имя героини этого романа; это чувственно-остроумная женщина, или, точнее, смесь чувственности и остроумия.

Ее недостаток в том и заключается, что она не жепщина, но безотрадное соединение двух абстракций — остроумия и чувственности. Да простит мать божья автору, что он написал эту книгу; но музы никогда этого ему не простят.

Такой же роман, под названием «Флорентин», приписывают покойному Шлегелю по ошибке. Книга эта, говорят, произведение его супруги, дочери знаменитого Моисея Мендельсона, которую он отбил у ее первого мужа и которая вместе с ним перешла в лоно католической церкви.

Я верю, что Фридрих Шлегель перешел в католичество по убеждению. По отношению ко многим его друзьям у меня нет этой веры. В этой области очень трудно установить истину. Религия и лицемерие — близнецы, настолько сходные друг с другом, что часто их невозможно различить. Та же паружность, одежда, язык. Только последняя из сестер несколько мягче растягивает слова и чаще твердит словечко «любовь». Я говорю о Германии; во Франции одна из сестер умерла, а другая до сих пор ходит в глубочайшем трауре.

После появления книги г-жи де Сталь «De l'Allemagne» Фридрих Шлегель подарил публике еще два больших труда, быть может лучшие из его произведений, во всяком случае заслуживающие самого хвалебного упоминания. Это «Мудрость и язык индусов» и «Лекции по истории литературы». Первая книга не только ввела, но и утвердила у нас изучение санскрита. Шлегель сделался для Германии тем же, чем был Уильям Джонс для Англии. Талантливейшим образом изучил он санскрит, и немногие отрывки, приводимые в его книге, переведены мастерски. Благодаря своей глубокой способности созерцания он во всей полноте понял значение эпического размера индусов — слоки, струящейся так же широко, как Ганг, священная, ясная река. В противоположность ему, каким ничтожным оказался г-н А.-В. Шлегель, когда перевел несколько отрывков с санскрита гекзаметром и при этом не мог достаточно нахвалиться тем, что в его перевод не проскользнул ни один трохей и что им воспроизведено немало метрических кунштюков александрийцев. Книга Фридриха Шлегеля об Индии, разумеется, переведена на французский язык, и я могу избавить себя от дальнейших славословий. Упрека заслуживает только задняя мысль

книги: она написана в интересах католицизма. Эти люди нашли в индийских поэмах не только мистерии, но еще и всю католическую иерархию и ее борьбу со светской властью. В «Махабхарате» и «Рамаяне» они усмотрели как бы слонов средневековья. И в самом деле, если в последней король Висвамित्रа враждует с жрецом Васиштой, то вражда эта затрагивает те же интересы, из-за которых у нас боролись император с папой, хотя предмет раздора здесь, в Европе, называется инвеститурой, а там, в Индии, — короной Сабалой.

Тот же упрек относится к лекциям Шлегеля о литературе. Фридрих Шлегель рассматривает здесь всю литературу с высокой точки зрения, но эта высокая точка зрения все же всегда находится на вышке католической колокольни. И во всем, что говорит Шлегель, слышится этот католический трезвон; иногда слышно даже карканье воронья, летающего вокруг колокольни. Мне всегда кажется, что от этой книги несет молебственным ладаном и что из лучших мест ее выглядывают мысли с выбритой тонзурой. Несмотря на такие недостатки, я не знаю в этой области лучшей книги. Только собрав воедино работы Гердера по этому вопросу, можно было бы, пожалуй, получить лучший обзор литературы всех народов. Ибо Гердер не восседал, подобно литературному великому инквизитору, судьей над различными народами, осуждая или оправдывая их, смотря по степени их религиозности. Нет, Гердер рассматривал все человечество как великую арфу в руках великого мастера, каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой испанской арфы, и он постигал универсальную гармонию ее различных звуков.

Фридрих Шлегель умер летом 1829 года, как говорят — вследствие гастрономической неумеренности. Ему было пятьдесят семь лет. Его смерть вызвала один из отвратительнейших литературных скандалов. Его друзья, поповская партия, штаб-квартирой которых был Мюнхен, пришли в ярость по поводу откровенности, с которой либеральная печать говорила об этой смерти; поэтому они проклинали, поносили и ругали немецких либералов. Однако ни о ком из них они не могли сказать, что он «соблазнил жену в доме своего друга и долго еще потом жил подачками оскорбленного супруга».



Теперь, раз уж этого требуют, я должен сказать о старшем брате, г-не А.-В. Шлегеле. Если бы я вздумал говорить о нем в Германии, то на меня взглянули бы там с изумлением.

Кто теперь еще в Париже говорит о жирафе?

Г-н А.-В. Шлегель родился в Ганновере 5 сентября 1767 года. Я это знаю не от него. Я никогда не был так нелюбезен, чтобы спрашивать у него о его возрасте. Если не ошибаюсь, я нашел эту дату в «Словаре немецких писательниц» Шпидлера. Таким образом, г-ну А.-В. Шлегелю теперь шестьдесят четыре года. Г-н Александр фон Гумбольдт и другие естествоиспытатели утверждают, что он старше. Шампольон был того же мнения. Если говорить о его литературных заслугах, то я должен прежде всего вновь воздать ему хвалу как переводчику. В этой области он, бесспорно, имеет чрезвычайные заслуги. Особенно мастерским, не знающим соперников, должно назвать его немецкий перевод Шекспира. Быть может, за исключением г-на Гриса и графа Платена, г-н А.-В. Шлегель вообще величайший версификатор Германии. Во всех других областях он относится ко второму, а то, пожалуй, и к третьему разряду. В эстетической критике ему не хватает, как я уже сказал, философской основы, и здесь гораздо выше его другие современники, особенно Зольгер. В изучении древнегерманского языка бесконечно выше его стоит г-н Якоб Гримм, освободивший нас посредством своей «Германской грамматики» от той поверхностности, с которой толковались, по примеру Шлегелей, памятники древнегерманского языка. Быть может, г-н Шлегель мог бы пойти далеко в изучении немецких древностей, если бы не переметнулся к санскриту. Но все древнегерманское вышло из моды, санскритом же можно было снова привлечь к себе внимание. И здесь он остался в известной степени дилтантом; что касается мыслей, то тут инициатива принадлежит его брату Фридриху, а все научное, подлинное в его санскритских работах принадлежит, как всякому известно, г-ну Лассену, его ученому сотруднику. Подлинным санскритологом среди немцев является г-н Франц Бопп (Берлин), он первый в своей области. В исторической науке г-н Шлегель также пытался однажды присосаться к славе Нибура, на которого он напал; но достаточно сравнить его с этим великим исследователем,

или с Иоганном фон Мюллером, или с Гереном, или со Шлоссером и подобными им историками, как остается только пожать плечами. Каково же значение его как поэта? Это трудно определить.

Скрипач Соломонс, обучавший английского короля Георга III, сказал однажды своему высочайшему ученику: «Скрипачи разделяются на три разряда: к первому разряду принадлежат те, которые совсем не умеют играть; ко второму принадлежат те, которые играют очень плохо, и, наконец, к третьему разряду принадлежат те, которые играют хорошо. Ваше величество уже поднялись до второго разряда».

К какому же разряду принадлежит г-н А.-В. Шлегель — к первому или ко второму? Одни говорят, что он совсем не поэт, другие говорят, что он очень плохой поэт. Насколько мне известно, он не Паганини.

Славою своей г-н А.-В. Шлегель, собственно, обязан лишь неслыханной смелости, с которой он нападал на существующие литературные авторитеты. Он срывал лавровые венки со старых париков и при этом рассыпал много пудры. Его слава — внебрачная дочь скандала.

Как я уже упоминал не раз, критика, которую г-н Шлегель обращал на существующие авторитеты, совершенно не опиралась на философию. Придя в себя от изумления, в которое повергает нас всякая дерзость, мы до конца раскрываем всю внутреннюю пустоту так называемой шлегелевской критики. Так, например, желая принизить поэта Бюргера, он сравнивает его баллады со староанглийскими балладами, собранными Перси, и показывает, насколько последние проще, наивнее, стариннее и, следовательно, поэтичнее. Шлегель в достаточной степени понял дух прошлого, особенно средневековья, и поэтому ему удастся найти этот дух также и в художественных памятниках прошлого и показать их красоты с этой точки зрения. Но все, что относится к современности, остается ему непонятным; в лучшем случае ему удастся отметить что-нибудь в наружности, в некоторых внешних чертах современности, и это обыкновенно бывают наименее прекрасные черты. Не понимая духа, оживляющего ее, он видит во всей нашей современной жизни лишь прозаическую гримасу. Вообще только великий поэт и может понять поэзию своего собственного времени; поэзия прош-

лого открывается нам гораздо легче, познание ее легче передать другим. Поэтому г-ну Шлегелю удалось прославить перед толпой поэтические произведения, в которых погребено прошлое, за счет произведений, в которых живет и дышит наша современность. Но смерть не поэтической жизни. Старые английские баллады, собранные Перси, передают дух своего времени, а стихотворения Бюргера передают дух нашего. Этого духа г-н Шлегель не понял. Иначе в безудержности, с которой этот дух иногда прорывается в стихотворениях Бюргера, он ни в каком случае не услышал бы грубого окрика неотесанного школьного учителя, а скорее страдальческий вопль титана, которого ганноверские аристократы и школьные педанты замучили до смерти. Ибо такова была судьба автора «Леноры» и судьба столь многих других гениальных людей, которые бедствовали, голодали и умерли, влача жалкое существование бедных геттингенских доцентов. Как мог знатный, охраняемый знатными покровителями, подновленный, баронизированный, обвешанный орденовыми лентами кавалер Август-Вильгельм фон Шлегель понять стихи, в которых Бюргер громко восклицает, что честный человек должен скорее умереть с голоду, чем кланяться милости у сильных мира сего!

Имя Бюргер по-немецки <sup>1</sup> равнозначно слову *citoyen*.<sup>2</sup>

Славу г-на Шлегеля еще больше повысило впечатление, произведенное им впоследствии во Франции, когда он начал нападать и на французские литературные авторитеты. С гордой радостью видели мы, как наш боевой земляк доказывает французам, что вся их классическая литература ничего не стоит, что Мольер—балаганщик, а не поэт, что Расин тоже никуда не годится и что, наоборот, в нас, немцах, надо видеть настоящих царей Парнаса. Его припев был всегда один: что французы—самый прозаический народ на свете и что во Франции вовсе нет поэзии. Он утверждал это в эпоху, когда на его глазах еще продолжали во плоти выступать многие корифеи конвента, великой трагедии титанов, когда Наполеон ежедневно импровизировал по хорошей эпосе, когда Париж кишел героями, королями и богами... Однако г-н Шлегель ничего этого не видел; когда он был здесь,

<sup>1</sup> Одно из значений слова *der Bürger* — гражданин.

<sup>2</sup> Гражданин (франц.).

он постоянно смотрел только на собственное отражение в зеркале, а потому и понятно, что он во Франции не увидел никакой поэзии.

Но г-н Шлегель, как я уже сказал, всегда был способен понять только дух поэзии прошлого, а отнюдь не настоящего. Все, что есть в жизни современного, представляется ему прозаическим, и поэзия Франции, родины современного общества, осталась для него недоступной. Первым из тех, кого он неспособен был понять, должен был оказаться Расин. Ибо этот великий поэт стоит, как глашатай нового времени, рядом с великим королем, с которого начинается современность. Расин был первым современным поэтом, как Людовик XIV—первым современным королем. В Корнеле еще дышит средневековье. В нем и во Фронде кричит еще, издыхая, старое рыцарство. Поэтому его иногда называют романтиком. Но в Расине окончательно угасло мировоззрение средних веков, в нем рождаются только новые чувства, он рупор нового общества; в груди его благоухали первые фиалки нашей современной жизни; здесь могли бы мы увидеть даже первые почки тех лавров, которые так могуче распустились лишь позже, в наше время. Кто знает, сколько подвигов выросло из нежных стихов Расина! Французские герои, покоящиеся в могилах у пирамид, под Маренго, под Аустерлицем, под Москвой и под Ватерлоо, все они некогда слышали стихи Расина, и их император слышал эти стихи из уст Тальма. Кто знает, сколько центнеров славы Вандомской колонны приходится на долю Расина! Кто более великий поэт — Еврипид или Расин, я не знаю. Но я знаю, что последний был живым источником любви и чувства чести, напоившим, восхитившим и вдохновившим своим напитком целый народ. Чего больше требовать от поэта? Все мы люди, мы сходим в могилу и оставляем на земле наше слово, и, если оно исполнило свое предназначение, то оно возвращается в лоно господне, в убежище поэтических слов, на родину всех гармоний.

Если бы г-н Шлегель ограничился утверждением, что миссия расиновского слова исполнена и что ушедшее вперед время требует совершенно новых поэтов, то его нападки имели бы известное основание; но они были безосновательны, когда он стремился доказать недостатки Расина, сравнивая его с древними поэтами. Он не только

не почувствовал ничего в бесконечной прелести, в милой шутке, в подлинном изяществе, кроющихся в том, что Расин одел своих новых французских героев в античные наряды и увлекательность современной страсти соединил с занимательностью остроумного маскарада. Г-н Шлегель оказался даже достаточно туп, чтобы принять это переодевание за чистую монету, чтобы судить о греках Версали по грекам Афин, сравнивать «Федру» Расина с «Федрой» Еврипида! Эта манера измерять современность меркой прошлого так укоренилась в г-не Шлегеле, что новых поэтов он постоянно хлестал по спицам лаврами какого-нибудь старого поэта, и, чтобы, в свою очередь, привизить таким же образом самого Еврипида, он не мог найти ничего лучшего, как сравнивать его с его предшественником Софоклом или даже с Эсхилом.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы я вздумал рассказывать здесь, как Шлегель, следуя этой манере, пытался принизить и Еврипида, совершая против него величайшую несправедливость, как некогда сделал это Аристофан. В этом отношении Аристофан стоял на точке зрения, обнаруживающей величайшее сходство с точкой зрения романтической школы; в основании его полемики лежат сходные чувства и тенденции, и если г-на Тика называли романтическим Аристофаном, то по справедливости можно назвать пародиста Еврипида и Сократа классическим Тиком. Как г-н Тик и братья Шлегели, несмотря на свое собственное неверие, все же скорбели о гибели католичества; как они желали восстановить эту религию в массах; как они посредством насмешки и клеветы боролись в этих целях с протестантскими рационалистами, с просветителями подлинными еще более, чем с поддельными; как они питали самое злобное отвращение к людям, проводившим в жизнь и в литературу самую благородную гражданственность; как они издевались над этой гражданственностью, изображая ее в виде обывательского филистерства, и, наоборот, неустанно воспевали и прославляли могучую героическую жизнь феодального средневековья, — точно так же и Аристофан, сам посмеивавшийся над богами, все же ненавидел философов, готовивших гибель всему Олимпу: он ненавидел рационалиста Сократа, проповедовавшего более высокую мораль; он ненавидел поэтов, уже находивших выражение для новой

жизни, настолько же отличавшейся от прежней эпохи греческих богов, героев и царей, насколько наша современность отличается от феодального средневековья; он ненавидел Еврипида, который не был уже упоен греческим средневековьем, как Эхил и Софокл, и приближался к мещанской трагедии. Я сомневаюсь, чтобы г-н Шлегель признавал истинные мотивы, по которым он так принизил Еврипида в сравнении с Эхилом и Софоклом. Думаю, что им руководило бессознательное чувство: в старом трагике он почувствовал новую, демократическую и протестантскую стихию, которая была уже так ненавистна рыцарскому и олимпийски-католическому Аристофану.

Быть может, однако, я оказываю г-ну А.-В. Шлегелю незаслуженную честь, подозревая его в определенных симпатиях и антипатиях. Возможно, что у него не было ни тех, ни других. В молодости он был эллинистом и лишь позднее стал романтиком. Он сделался корифеем новой школы, от него и его брата она получила свое название, и сам он, быть может меньше, чем кто-либо, придавал серьезное значение шлегелевской школе. Он поддерживал ее своими талантами, он целиком погрузился в изучение ее, она радовала его до тех пор, пока все шло хорошо, но когда для школы настал плохой конец, то он вновь перенес свои труды в другую область.

Однако, хотя школа пала, все же усилия г-на Шлегеля принесли добрые плоды для нашей литературы. Главное, он показал, что можно излагать научные вещи изящным языком. Раньше лишь немногие немецкие ученые осмеливались написать научную книгу ясным и привлекательным слогом. Писали на путаном, сухом немецком языке, от которого отдавало сальными свечами и табаком. Г-н Шлегель принадлежал к немногим немцам, не курящим табаку, — добродетель, которой он обязан обществу г-жи де Сталь. Он вообще обязан этой даме внешним лоском, которым он с такой выгодой мог блистать в Германии. В этом отношении смерть почтенной г-жи де Сталь была большой потерей для немецкого ученого, находившего в ее салоне столько возможностей знакомиться с новейшими модами и, состоя в ее свите, наблюдать высший свет всех европейских столиц и усвоить себе изысканнейшие светские нравы. Эти образовательные отношения до такой степени сделались для него приятной жизненной потреб-

ностью, что он после смерти своей благородной покровительницы был склонен предложить себя и знаменитой Каталани в спутники в ее путешествиях.

Как я уже сказал, распространение изящества было главной заслугой г-на Шлегеля, и благодаря ему и жизнь немецких поэтов больше приобщилась к цивилизации. Уже Гете дал поучительнейший пример того, что можно быть немецким поэтом и, однако, сохранять внешнюю пристойность. В прежние времена немецкие поэты относились с пренебрежением ко всем условным формам, и название «немецкий поэт» или даже «поэтический гений» было самой отрицательной характеристикой. Немецкий поэт в те времена был человеком, который ходил в истрепанном, попошенном сюртуке, сочинял на случай крестин и свадеб стихотворения по талеру за штуку, и отсутствие хорошего общества, не принимавшего его в свою среду, возмещал основательной выпивкой по вечерам, порой даже валялся пьяный в уличной канаве, нежно лобызаемый чувствительными лучами луны. На старости лет эти люди впадали в еще более беспросветную нищету, но это была нищета без забот или пицета, единственная забота которой заключалась в том, где бы за наименьшее количество денег получить наибольшее количество водки.

Таким представлял и я себе немецкого поэта. Поэтому как приятно я был изумлен, когда в 1819 году, будучи очень молодым человеком и студентом Боннского университета, имел там честь увидеть лицом к лицу поэтического гения, г-на стихотворца А.-В. Шлегеля. Если не считать Наполеона, это был первый великий человек, которого я тогда увидел, и я никогда не забуду этого величественного зрелища. До сих пор я ощущаю священный трепет, пронизавший мою душу, когда я стоял перед его кафедрой и слушал его лекцию. Я носил тогда сюртук грубого белого сукна, красную шапку, длинные белокурые волосы и ходил без перчаток. А на г-не А.-В. Шлегеле были лайковые перчатки, и он был одет по последней парижской моде; он еще насквозь благоухал высшим обществом и *eau de mille fleurs*; <sup>1</sup> он был олицетворенное изящество и элегантность, и когда он говорил об английском канцлере, то прибавлял «мой друг», и подле него

---

<sup>1</sup> Цветочной водой (*франц.*).

стоял его слуга в баронской плегелевской ливрее и поправлял восковые свечи в серебряных подсвечниках, стоявшие рядом со стаканом подсахаренной воды перед чудодеем на кафедре. Слуга в ливрее! Восковые свечи! Серебряные подсвечники! «Мой друг английский канцлер!» Лайковые перчатки! Сахарная вода! Какие неслыханные вещи в аудитории немецкого профессора! Этот блеск немало ослеплял нас, молодых людей, особенно меня, и я написал в ту пору три оды, обращенные к г-ну Шлегелю, из которых каждая начиналась словами: «О ты, который» и т. д. Но лишь в поэзии осмеливался я говорить столь знатному человеку «ты». Его внешность и в самом деле придавала ему известное благородство. На его маленькой головке блестели еще немногие серебряные волосы, а тельце его было так тонко, так измождено, так прозрачно, что он казался воплощением духа и, можно сказать, являлся символом спиритуализма.

Несмотря на все это, он в те годы женился, и женился он, глава романтиков, на дочери церковного советника Паулюса в Гейдельберге, главы немецких рационалистов. Это был символический брак: романтика как бы сочеталась здесь с рационализмом; но брак оказался бесплодным. Наоборот, разрыв между романтикой и рационализмом стал оттого еще больше, и уже на другое утро после свадебной ночи рационализм сбежал к себе домой и не хотел больше иметь ничего общего с романтикой. Ибо рационализм, будучи всегда рассудительным, не хотел только символического брака и, поняв все деревянное ничтожество романтического искусства, сбежал от него. Знаю, что говорю здесь темно, и поэтому хочу высказаться со всей возможной ясностью.

Тифон, злой Тифон ненавидел Озириса (который, как вам известно, есть египетский бог) и, одолев его, разорвал на куски. Изида, бедная Изида, супруга Озириса, с великим трудом разыскала эти куски, соединила их, и ей удалось вновь целиком восстановить разорванного супруга. Целиком? Ах, нет, недоставало главного куска, которого не могла найти бедная богиня, бедная Изида! Ей пришлось поэтому удовлетвориться дополнением из дерева; но дерево есть только дерево, бедная Изида! Отсюда возник в Египте скандальный миф, а в Гейдельберге — мистический скандал.



С тех пор г-н Шлегель исчез, и о нем совершенно забыли. Раздраженный таким забвением, он, наконец, после многолетнего отсутствия, вновь появился в Берлине, бывшей столице своего литературного блеска, и снова прочитал там несколько лекций по эстетике. Но за это время он ничему новому не научился и обращался теперь к публике, которая получила уже от Гегеля философию искусства, науку эстетики. Слушатели смеялись и пожимали плечами. Он оказался в положении старой актрисы, которая после двадцатилетнего отсутствия вновь выступает на поприще своих былых успехов и не понимает, почему люди смеются, вместо того чтобы аплодировать. Шлегель успел ужасающе измениться и в течение четырех недель потешал Берлин демонстрацией своих комических сторон. Он сделался старым тщеславным фатом, над которым всюду смеются. Об этом рассказывают самые невероятные вещи.

Здесь, в Париже, я имел неудовольствие лично встретиться вновь с г-ном А.-В. Шлегелем. Поистине, об этой перемене я не имел никакого представления, пока не убедился в ней своими собственными глазами. Это было год тому назад, вскоре после моего приезда в столицу. Я как раз отправился смотреть дом, где жил Мольер, ибо я почитаю великих поэтов и с религиозным благоговением отыскиваю повсюду следы их земного пребывания. Это мой культ. По пути, недалеко от этого священного дома, предстало предо мной существо, в неясных чертах которого сквозило некоторое сходство с бывшим А.-В. Шлегелем. Мне казалось, что я вижу перед собой его дух. Но это было только его тело. Дух мертв, а тело еще блуждает призраком по земле и за это время порядочно-таки ожирело; тонкие, спиритуалистические ножки опять обросли мясом; было заметно даже брюшко, повыше которого висело множество орденских ленточек. На некогда столь изящной седоволосой головке сидел золотисто-желтый парик. Он был одет по последней моде того года, когда умерла г-жа де Сталь. При этом он улыбался со стариковской слащавостью, как пожилая дама, держащая кусочек сахара во рту, и двигался с юношеской грацией, словно кокетливое дитя. С ним и в самом деле произошло странное омоложение; он как бы пережил шуточное второе издание своей юности; он как бы вновь

расцвел, и румянец его щек внушал мне даже подозрение, что это не румяна, а здоровая проницаемость природы.

Мне показалось в этот миг, будто я вижу покойника Мольера в окне и будто он с улыбкой указывает мне на эту меланхолически забавную фигуру. Вся смехотворность ее вдруг раскрылась предо мной с такой ясностью; я понял всю глубину и полноту шутки, воплощенной в ней; я понял весь комедийный характер этого баснословно комического персонажа, к сожалению не прошедшего великого драматурга-комика, чтобы использовать должным образом эту фигуру для сцены. Мольер — единственный, кто мог бы вывести такую фигуру на сцену «Théâtre français», только у него был необходимый для этого талант; и это уже с давних пор чувствовал г-н А.-В. Шлегель, и он ненавидел Мольера по той причине, по которой Наполеон ненавидел Тацита. Как Наполеон Бонапарт, французский цезарь, чувствовал, что республиканский историк не изобразил бы его в розовых красках, так г-н А.-В. Шлегель, немецкий Озирис, давно предчувствовал, что он не ускользнул бы от Мольера, от великого комика, если бы тот жил в наше время. И Наполеон говорил о Таците, что тот оклеветал Тиберию, а г-н А.-В. Шлегель говорил о Мольере, что тот был вовсе не поэт, а просто шут.

Г-н А.-В. Шлегель вскоре после того покинул Париж, предварительно украшенный его величеством Луи-Филиппом I, королем французов, орденом Почетного легиона. «Moniteur» до сих пор медлит с достожданным извещением об этом событии; но Талия, муза комедии, поспешила занести его в свою смеющуюся записную книжку.

## II

После Шлегелей одним из деятельнейших писателей романтической школы был г-н Людвиг Тик. С ее именем на устах он боролся и писал стихи. Он был поэтом — имя, которого не заслуживал ни один из обоих Шлегелей. Он был настоящим сыном Феба-Аполлона, и, как и его вечно юный отец, выступал не только с лирой, но и с луком и с колчаном, полным сладковзвучнейших стрел. Он был упоен лирическим восторгом и критической жестокостью, как

дельфийский бог. Безжалостно оборвав, подобно ему, какого-нибудь литературного Марсия, он вновь весело хватался окровавленными перстами за золотые струны своей лиры и пел радостную любовную песнь.

Поэтическая полемика, которую г-н Тик вел в драматической форме с противниками школы, принадлежит к самым незаурядным явлениям нашей литературы. Это сатирические драмы, которые обыкновенно сравнивают с комедиями Аристофана. Но они столь же непохожи на эти комедии, как трагедии Софокла непохожи на шекспировские. Ибо если античные комедии во всей полноте сохранили единство строения, строгость развития и утонченно выработанный метрический язык античной трагедии, пародией на которую они могли считаться, то драматические сатиры г-на Тика так же причудливы, так же по-английски неправильны и так же метрически произвольны, как и трагедии Шекспира. Была ли эта форма изобретением г-на Тика? Нет, она уже существовала в народе, именно в народе Италии. Знающие по-итальянски могут составить себе довольно точное представление о драмах Тика, если к пестрым, причудливым, венециански-фантастическим сказкам-комедиям Гоцци прибавят еще немножко немецкого лунного света. Даже большинство персонажей заимствовано г-ном Тиком у этого веселого сына лагун. По его примеру многие немецкие поэты тоже усвоили эту форму, и у нас появились комедии, характером действия которых не вызывается причудливым характером или забавной интригой, но которые как бы непосредственно переносят нас в комический мир—в мир, где животные говорят и действуют как люди и где вместо естественного порядка вещей выступают случайность и произвол. То же находим мы и у Аристофана, только последний избрал эту форму, чтобы раскрыть перед нами глубины своего мировоззрения, как он это делает, например, в «Птицах», где изображено в забавнейшей пародии безумное поведение людей, их склонность строить великолепные замки на пустом месте, их дерзкий мятеж против вечных богов, их радость и восторг по поводу мнимых побед. Тем и велик Аристофан, что велико его мировоззрение, что оно было выше и даже трагичнее мировоззрения трагиков, что его комедии были поистине «шутливыми трагедиями»; ибо, например, Пайстетерос в конце

пьесы изображен не в своем смешном ничтожестве, как изобразил бы его современный поэт, но, наоборот, он завладевает Базилеей, прекрасной, чудесной, могущественной Базилеей, он возносится с этой божественной супругой в свой воздушный город; боги принуждены подчиниться его воле, глупость празднует свой брак с властью, и пьеса заканчивается ликующими гимнами Гименею. Может ли для разумного человека быть что-нибудь более ужасающе трагичное, чем эта дурацкая победа и дурацкое торжество? Так далеко, однако, не заходили наши немецкие Аристофаны; они воздерживались от всякого высшего мировоззрения; о двух важнейших сторонах жизни человека, о политике и о религии, они с величайшей скромностью хранили молчание. Только темы, положенной Аристофаном в основание его «Лягушек», они позволили себе коснуться: главным предметом своей драматической сатиры они избрали самый театр, и недостатки нашей сцены они высмеивали с большим или меньшим юмором.

Надо, однако, принять во внимание также отсутствие политической свободы в Германии. Наши остроумцы, вынужденные воздерживаться от всяких намеков по отношению к действительным государям, ищут возмещения за это ограничение в королях театра и принцах кулис. Мы, не имевшие почти никаких газет с политической публицистикой, были тем более богаты множеством эстетических журналов, не содержавших ничего, кроме пустых сказок и театральных рецензий; так что всякому, видевшему наши журналы, должно было прийти в голову, что весь немецкий народ сплошь состоит из болтающих кормилиц и театральных рецензентов. Но это было бы все же несправедливо. В сколь малой степени удовлетворяло нас такое жалкое бумагомарание, выяснилось после Июльской революции, когда стало казаться, что и в нашем дорогом отечестве может быть высказано свободное слово. Внезапно появился ряд газет, рецензировавших хорошую и дурную игру действительных королей; кое-кто из них, забывший свою роль, был освистан в собственной столице. Наши литературные Шехерезады, имевшие обыкновение усыплять своими маленькими новеллами публику, этого грубого султана, должны были теперь умолкнуть, и актеры с изумлением увидели, что партер пуст, как бы они божественно ни играли, и что даже кресло страшного мест-

ного рецензента очень часто остается незапятным. В прежние времена добрые герои подмостков всегда жаловались, что они, и только они, служат официальным предметом обесуждения и что даже их домашние добродетели разоблачаются в газетах. Как же они перепугались, когда стало выясняться, что, пожалуй, о них вовсе не будет речи!

В самом деле, если бы в Германии разразилась революция, то пришел бы конец театру и театральной критике и перепуганные беллетристы, актеры и театральные рецензенты с полным основанием опасались бы, что «искусство может погибнуть». Но мудрым могуществом франкфуртского Союзного сейма был счастливо отвержен от нашего отечества этот ужас; надо надеяться, никакая революция не разразится более в Германии; мы ограждены от гильотины и от всех ужасов свободы печати; уничтожены даже палаты депутатов, конкуренция которых так вредила субсидируемым театрам, — и искусство спасено. Для искусства делается теперь в Германии все возможное, особенно в Пруссии. Музеи сверкают красочной пестротой, оркестры гремят, танцовщицы выделывают свои очаровательнейшие антраша, тысяча и одна новелла забавляют публику, и вновь расцвела театральная критика.

Юстин рассказывает в своей «Истории»: «Усмирив мятеж лидийцев, Кир обуздал беспокойный свободлюбивый дух их только тем, что повелел им заниматься искусством и прочими развлечениями. С тех пор о бунтах в Лидии не было и речи, но тем более прославились лидийские трактирщики, сводники и артисты».

Теперь у нас в Германии спокойно, театральная критика и новелла вновь стали главным делом; и так как г-н Тик — мастер в обоих этих областях, то все друзья искусства воздают ему должную дань восхищения. Он и в самом деле лучший новеллист в Германии. Однако его повествовательские произведения неодинаковы и неравноценны. Так же как у живописцев, у г-на Тика можно различить много манер. Его первая манера еще целиком принадлежит прежней школе. Он писал тогда лишь по почину и заказу книгопродавца, и это был не кто иной, как сам покойный Николай, непримиримейший чемпион просвещения и гуманности, великий враг суеверия, мистики и романтики. Николай был плохой писатель, прозаический парик, и он часто ставил себя в очень смеш-

пос положение тем, что повсюду вышухивал иезуитов. Но мы, пришедшие позднее, мы должны признать, что старый Николай был весьма почтенный человек, честно стремившийся к благу немецкого народа и из священной любви к истине не боявшийся даже худшего из видов мученичества — быть посмешищем. Как рассказывали мне в Берлине, г-н Тик жил раньше в доме этого почтенного человека, он жил этажом выше Николая, и новое время уже с шумом шагало над головой старого времени.

Произведения, написанные Тиком в его первой манере, главным образом рассказы и большие, длинные романы, среди которых лучший — «Вильям Ловелль», очень незначительны и даже чужды поэзии. Как будто эта поэтически богатая натура скупилась в молодости и сохраняла все свои духовные богатства для будущего времени. Или, быть может, г-н Тик сам не знал богатств, таившихся в его собственной груди, и лишь Шлегелям удалось открыть их своей волшебной палочкой? Едва г-н Тик вошел в соприкосновение с Шлегелями, раскрылись все сокровища его души, его воображения и его остроумия. Засверкали алмазы, посыпались чистейшие жемчуга, и здесь прежде всего заблестал альмандин — легендарный драгоценный камень, о котором в то время так много говорили и пели романтические поэты. Эта богатая душа была, собственно, той сокровищницей, из которой Шлегели оплачивали военные издержки своих литературных походов. Г-ну Тикку пришлось одновременно писать для школы вышеупомянутые сатирические комедии и изготовлять по новейшим эстетическим рецептам множество поэтических произведений всех родов. Такова вторая манера г-на Людвига Тика. Наилучшими его драматическими произведениями этой манеры являются: «Император Октавиан», «Святая Генофефа» и «Фортунат» — три драмы, написанные по народным книжкам, носящим те же заглавия. Эти старые сказания, до сих пор хранимые немецким народом, поэт облачил здесь в новые драгоценные одежды. Но, сказать по совести, мне они милее в старой, наивной, простодушной форме. Как ни прекрасна «Генофефа» Тика, мне гораздо милее старая, очень плохо напечатанная в Кельне на Рейне народная книжка, с ее несовременными гравюрами на дереве, которые, однако, так трогательно изображают, как бедная голая ифальцграфиня,

целомудренно прикрытая только своими длинными волосами, питает маленькое дитя у сосцов сострадательной лани.

Гораздо ценнее этих драм новеллы, написанные г-ном Тиком в его второй манере. Они также в большинстве случаев созданы по образцу старинных народных сказаний. Самые лучшие из них: «Белокурый Экберт» и «Руненберг». Таинственная задушевность царит в этих произведениях, своеобразное согласие с природой, особенно с миром растений и камней. Читатель чувствует себя здесь, как в заколдованном лесу; он слышит мелодическое журчание подземных родников; ему кажется, что временами в шелесте деревьев он различает свое имя; временами широколистые выющиеся растения опутывают его ноги; чужеземные чудесные цветы вперяют в него свои пестрые томные глаза; невидимые губы целуют его щеки с игривой нежностью; высокие грибы, подобно золотым колокольчикам, звеня, поднимаются у корней деревьев; большие безмолвные птицы раскачиваются на ветвях и кивают своими умными длинными клювами; все дышит, все прислушивается, все полно жуткого ожидания... И вот вдруг раздастся звук мягкого лесного рожка, на белом иноходце проносится красавица с развевающимися перьями на шапочке, с соколом на руке. И прекрасная эта девица так прекрасна, так белокура, так синеглаза, так приветлива, и к тому же так серьезна, так правдива, и при этом так иронична, так невинна и опять же так страстно томна, как фантазия нашего восхитительного Людвига Тика. Да, его фантазия — прелестная девица из рыцарского романа, охотящаяся в волшебном лесу за сказочным зверем, быть может даже за редкостным единорогом, которого дано поймать лишь чистой девственнице.

Страшная перемена происходит, однако, теперь с г-ном Тиком, и она проявляется в его третьей манере. После долгого молчания вслед за падением Шлегелей он вновь выступил, и в таком роде, какого меньше всего от него можно было ожидать. Былой энтузиаст, бросившийся некогда с фанатическим пылом в лоно католической церкви, яростно борющийся против просветительства и протестантизма, дышавший только средневековьем, только феодальным средневековьем, любивший искусство только в наивных излияниях сердца, — выступил теперь в роли

пзобразителя современной бюргерской жизни и противника восторженности, — как художник, требующий в искусстве ясности и сознательности, — словом, как разумный человек. Таким представляется он нам в ряде новейших новелл, из коих некоторые стали известны во Франции. В них заметно изучение Гете, да и вообще г-н Тик в своей третьей манере является истинным учеником Гете. Та же артистическая ясность, жизнерадостность, спокойствие и ирония. Если раньше шлегелевской школе не удавалось привлечь Гете к себе, то теперь мы видим, как эта школа, в лице Людвига Тика, перешла к Гете. Это напоминает одно магометанское предание. Пророк сказал горе: «Гора, приди ко мне». Но гора не пришла, и что же? — произошло еще большее чудо: пророк пошел к горе.

Г-н Тик родился в Берлине 31 мая 1773 года. Много лет тому назад он поселился в Дрездене, где посвятил себя главным образом театру, и он, неустанно издевавшийся в своих прежних произведениях над гофратом, как олицетворением всего смешного, сделался теперь сам королевским саксонским гофратом. Господь бог, пожалуй, еще больший насмешник, чем г-н Тик.

Странное разногласие возникло ныне между рассудком и воображением этого писателя. Рассудок Тика — почтенный, трезвый обыватель, преклоняющийся перед полезностью и отворачивающийся от восторженности; но воображение Тика — по-прежнему все та же рыцарская красавица с развевающимися перьями на шапочке и соколом на руке. Они живут в забавном браке, и иногда даже грустно становится, когда видишь, как бедная женщина, невзирая на свое высокое происхождение, вынуждена помогать своему сухому мещанину мужу по хозяйству или даже в его сырной лавке. Но иной раз ночью, когда господин супруг спокойно храпит, надвинув фланелевый колпак на голову, благородная дама поднимается с принудительного брачного ложа, садится на своего бледного коня и вновь весело отправляется на охоту, как некогда в романтическом волшебном лесу.

Не могу умолчать, что в последних повеллах Тика рассудок сделался еще суше и что его фантазия все больше и больше теряет свою романтическую природу, в холодные ночи с благодушным зевком остается на брачном ложе и почти с нежностью прижимается к тощему супругу.



Однако г-н Тик все же остается большим поэтом. Ибо он способен создавать образы и из его сердца льются слова, трогательные наши собственные сердца. Но робость, нечто неопределенное, неуверенное, известная слабость не появились теперь, а были присущи ему всегда. Этот недостаток решительности и силы слишком явно сказывался во всем, что он делал и писал. Во всяком случае, во всем, что он писал, не проявлялось никакой самостоятельности. В первой своей манере он просто ничто; его вторая манера изобличает в нем лишь верного оруженосца Шлегелей; в третьей манере он является подражателем Гете. Его критические статьи о театре, собранные им под заглавием «Драматургические страницы», — самое оригинальное из всех его произведений. Но это именно критические статьи о театре.

Чтобы до конца обрисовать Гамлета как слабого человека, Шекспир тоже выставляет его в диалоге с актерами хорошим театральным критиком.

Наукам г-н Тик никогда не отдавался серьезно. Он изучал новые языки и старые памятники нашей отечественной поэзии. Изучение классической древности, говорят, было ему, как истинному романтику, всегда чуждо. Никогда не занимался он философией; она ему как будто даже была противна. На полях науки г-н Тик срывал только цветы и тонкие прутья, чтобы первыми угощать носы своих друзей, а последними спицы своих противников. Научному полеводству он никогда не предавался. Его сочинения — букеты цветов и связки прутьев; нигде ни одного снопа колосьев.

Кроме Гете, г-н Тик больше всего подражал Сервантесу. Юмористическая ирония (я мог бы также сказать — прощальный юмор) этих двух поэтов нового времени также распространяет свое благоухание в новеллах третьей манеры г-на Тика. Ирония и юмор в такой степени слились здесь воедино, что кажутся одним и тем же. Об этой юмористической иронии много толкуют у нас, гетевская художественная школа восхваляет ее, как особую прелесть своего учителя, и она играет теперь большую роль в немецкой литературе. Но она только символ нашей политической угнетенности, и как Сервантес в эпоху инквизиции вынужден был искать убежища в юмористической иронии, для того чтобы выразить свои мысли,

скрывая уязвимые стороны от служителей священной инквизиции, так и Гете имел обыкновение выражать в тоне юмористической иронии то, что он, в качестве министра и придворного, не осмеливался высказать прямо. Гете никогда не скрывал правды, и в тех случаях, когда не мог показать ее во всей наготе, он облачал ее в юмор и иронию. Писатели, томящиеся под цензурным и всяким иным духовным гнетом и никогда не могущие отречься от своих заветных взглядов, особенно вынуждены прибегать к прощически-юмористической форме. Это единственный исход, еще остающийся для их чести, и в таком юмористически-прощеском наряде эта честность проявляется еще трогательнее. Это вновь вызывает в моей памяти чудака, принца датского. Гамлет — честнейшее существо на свете. Его притворство служит лишь заменой внешних приличий. Он чудачит, потому что чудачество все же меньше оскорбляет придворный этикет, чем решительное, прямое объяснение. Во всех своих юмористически-иронических шутках он намеренно показывает всегда, что он только притворяется; во всем, что он делает и говорит, его настоящее мнение ясно всякому, кто умеет видеть, и даже королю, которому Гамлет хоть и не может открыто высказать правду (потому что он слишком слаб для этого), но от которого он, однако, отнюдь не хочет скрывать ее. Гамлет насквозь честен, только честнейший человек мог сказать: «Все мы обманщики»; и, притворяясь сумасшедшим, он тоже не хочет нас обманывать и в глубине души сам уверен, что действительно сошел с ума.

Я должен в дополнение с похвалой упомянуть еще о двух работах г-на Тика, которыми он особенно спискал благодарность немецких читателей. Это его перевод ряда английских драм дошекспировской эпохи и перевод «Дон-Кихота». Последний ему особенно удался, никто не умел так хорошо понять нелепое величие хитроумного и дальго ламанчского и так хорошо передать его, как наш превосходный Тик.

Забавно, что именно из романтической школы вышел лучший перевод книги, где потешнее всего высмеяна ее собственная нелепость. Ибо эта школа страдала ведь тем же безумием, которое вдохновило и благородного ламанчского рыцаря на все его дурачества; и она стремилась восстановить средневековое рыцарство, и она стре-

милась вновь призвать к жизни умершее прошлое. Или, быть может, Мигель де Сервантес Сааведра в своей шутовской эпопее хотел высмеять и других рыцарей, а именно всех людей, которые когда-либо боролись и страдали за идею? Не хотел ли он, в самом деле, в образе своего долговязого, тощего рыцаря дать пародию на идеальное воодушевление вообще, а в его толстом оруженосце — на реалистический рассудок? Так или иначе, последний играет более комическую роль; ибо положительному рассудку со всеми его поучительными поговорками, унаследованными от предков, все-таки приходится тащиться на своем спокойном осле вслед за воодушевлением; несмотря на свою рассудительность, ему и его ослу приходится делить все невзгоды, так часто выпадающие на долю благородного рыцаря; мало того, идеальное воодушевление столь могуче увлекательно, что положительному рассудку невольно приходится постоянно следовать за ним вместе со своими ослами.

Или глубокомысленный испанец хотел еще глубже осмеять человеческую природу? Быть может, в образе Дон-Кихота он аллегорически изобразил наш дух, а в образе Санчо Пансы — наше тело, и вся поэма в таком случае является не чем иным, как великой мистерией, где вопрос о духе и материи обсуждается во всей его ужасающей правде? Одно ясно для меня в этой книге — что бедному материалисту Санчо приходится много выстрадать ради спиритуалистических донкихотств, что он из-за благороднейших намерений своего господина очень часто терпит самые неблагоприятные колотушки и что он всегда рассудительнее своего высоко заносащегося господина; ибо он знает, что колотушки очень неприятны, а колбаски в оля-потриде очень вкусны. Поистине, тело часто гораздо пронизательнее духа и человек часто гораздо правильнее мыслит спиной и желудком, чем головой.

### III

Среди безумств романтической школы в Германии особого упоминания заслуживают неустанные восхваления и превознесения Якоба Беме. Это имя было как бы лозунгом этих людей. Произнося имя Якоба Беме, они

строили самые глубокомысленные миры. Всерьез это было или в шутку?

Этот Якоб Беме был сапожником, увидевшим свет в 1575 году в Верлице, в Оберлаузице и оставившим целую грудку теософических сочинений. Они написаны по-немецки, что делало их тем доступнее нашим романтикам. Был ли этот необычайный сапожник таким замечательным философом, как утверждали многие немецкие мистики, не берусь решать определенно, так как я его не читал; однако я убежден, что он не шил сапог так хорошо, как г-н Заковский. Сапожники вообще играют роль в нашей литературе, и Ганса Сакса, сапожника, родившегося в 1454 году в Нюрнберге и прожившего там всю жизнь, романтическая школа прославила как одного из наших лучших поэтов. Его я читал и должен сознаться, что сомневаюсь, писал ли когда-либо г-н Заковский такие хорошие стихи, как наш старый милый Ганс Сакс.

О влиянии г-на Шеллинга на романтическую школу я уже упомянул. Так как ниже мне придется особо говорить о нем, то здесь я могу не вдаваться в подробности. Во всяком случае этот человек заслуживает нашего величайшего внимания. Ибо в начале своей деятельности он произвел великую революцию в мире немецкой мысли, а в последнее время он так переменялся, что люди не знающие впадают в величайшую ошибку, смешивая прежнего Шеллинга с нынешним. Прежний Шеллинг был смелый протестант, выступавший против фихтевского идеализма. Этот идеализм был странной системой, которая должна казаться французам особенно чуждой. Ибо в то время как во Франции развивалась философия, как бы облекавшая дух плотью, признававшая дух только одной из модификаций материи,—одним словом, когда здесь получил господство материализм, в Германии возвысилась философия, которая, как раз наоборот, рассматривала лишь дух как нечто действительное, объявляя всякую материю только одной из модификаций духа и даже отрицающая самое существование материи. Казалось, что дух по ту сторону Рейна старается отомстить за те оскорбления, которым он подвергался по эту его сторону. Когда дух начал отрицать здесь, во Франции, он как бы эмигрировал в Германию и там стал отрицать материю. В этом отношении Фихте можно было рассматривать как герцога

Брауншвейгского от спиритуализма, и его идеалистическая философия была бы не чем иным, как манифестом против французского материализма. Но эта философия, действительно представляющая вершину спиритуализма, была так же мало долговечна, как грубый материализм французов, и именно г-н Шеллинг как раз и выступил с учением, что материя, или, как он называл ее, природа, существует не только в нашем духе, но и в действительности, что наше представление о вещах тождественно самим вещам. Это и есть учение Шеллинга о тождественности, или, как его также называют, натурфилософия.

Это произошло в начале столетия. В те годы г-н Шеллинг был великим человеком, но затем на философской арене появился Гегель; г-н Шеллинг, в последнее время почти ничего не писавший, остался в тени, мало того — он был предан забвению и сохранил лишь историко-литературное значение. Гегелевская философия сделалась господствующей; Гегель стал властелином в царстве умов, и бедный Шеллинг, павший, медиатизированный философ, тоскливо бродил среди прочих медиатизированных господ в Мюнхене. Тут встретил я его однажды и чуть не пролил слезу при виде этого жалкого зрелища. И то, что он говорил, было еще более жалко, — это была завистливая брань по адресу Гегеля, запявшего его место. Как сапожник говорит о другом сапожнике, обвиняя его в том, что тот украл у него кожу и шил из нее сапоги, так, случайно встретив г-на Шеллинга, я слышал, как он говорил о Гегеле — о Гегеле, который «взял его идеи». «Это мои идеи он взял», и снова «мои идеи» — таков был постоянный припев этого бедного человека. Поистине, если некогда сапожник Якоб Беме говорил как философ, то философ Шеллинг говорит теперь как сапожник.

Нет ничего смешнее предъявления прав собственности на идеи. Конечно, Гегель воспользовался очень многими шеллинговскими идеями для своей философии; но г-н Шеллинг никогда не знал бы, что с ними делать, с этими идеями. Он всегда только философствовал, но никогда не мог создать философию. И, кроме того, можно определенно утверждать, что г-н Шеллинг больше заимствовал у Спинозы, чем Гегель у него. Когда впоследствии Спиноза будет высвобожден из своей окочневшей старокартезианской, математической формы и сделается доступным

широким кругам читателей, тогда, быть может, выяснится, что он больше, чем кто-либо другой, вправе жаловаться на кражу своих идей. Все наши новейшие философы, быть может, не отдавая себе в том отчета, смотрят сквозь очки, отшлифованные Барухом Спинозой.

Злоба и зависть привели даже ангелов к падению, и — увы, это слишком несомненно — досада при виде все возрастающего значения Гегеля привела бедного г-на Шеллинга туда, где мы его теперь видим, а именно в сети католической пропаганды, штаб-квартира которой находится в Мюнхене. Г-н Шеллинг предал философию ради католической религии. Все свидетельствует единогласно об этом, и давно уже можно было предвидеть, что этим кончится. Из уст разных власть имущих лиц в Мюнхене я так часто слышал слова о необходимости связать веру со знанием. Эта фраза была невинна, как цветок, но за нею таилась змея. Теперь я знаю, чего вы добивались. Г-н Шеллинг должен теперь служить тому, чтобы всеми силами своего духа оправдывать католическую религию, и все то, чему он теперь учит под названием философии, есть не что иное, как оправдание католицизма. При этом спекулировали еще на той выгоде, что такое прославленное имя заманит жаждущую премудрости немецкую молодежь в Мюнхен и что тем легче будет опутать ее иезуитской ложью в философском обличье. Благоговейно преклоняется эта молодежь перед человеком, которого считает верховным жрецом истины, и без подозрения принимает из его рук отравленное причастие.

Среди учеников г-на Шеллинга с особой похвалой называют в Германии г-на Стеффенса, ставшего теперь профессором философии в Берлине. Он жил в Иене, когда там действовали Шлегели, и имя его часто встречается в летописях романтической школы. Впоследствии он написал также несколько повелл, в которых много острого ума и мало поэзии. Значительнее его научные труды, в особенности его «Антропология». Она полна оригинальных идей. В этом отношении он признан меньше, чем заслуживает. Другие сумели обработать его идеи и выдать их перед публикой за свои. Г-н Стеффенс мог бы с большим правом, чем его учитель, жаловаться, что у него похитили его идеи. Но среди его идей была одна, которую никто себе не присвоил, и это его главная идея,

возвышенная идея, а именно: «Генрик Стеффенс, родившийся 2 мая 1773 года в Ставангере близ Тронхейма, в Норвегии,—величайший человек своего столетия».

В последние годы этот человек попал в руки пиетистов, и нынешняя его философия есть не что иное, как слезливая подогретая водичка пиетизма.

Умом того же склада обладает г-н Иозеф Геррес, о котором я уже упоминал не раз и который также принадлежит к школе Шеллинга. Он известен в Германии под названием «четвертый союзник». Ибо так назвал его один французский журналист в 1814 году, когда он, по поручению Священного союза, проповедовал ненависть против Франции. Подобным комплиментом человек этот живет по сей день. Но в самом деле, никто не умел так сильно, как он, разжигать посредством национальных воспоминаний ненависть немцев к французам; и журнал, который он издавал для этой цели, «Рейнский Меркурий», полон таких заклинательных формул, которые могли бы, в случае повой войны, произвести еще некоторое действие. С тех пор г-н Геррес был почти забыт. Государям он больше не был нужен, и они отпустили его на все четыре стороны. А так как он стал по этому поводу ворчать, то его даже подвергли преследованиям. С ним вышло как с испанцами на острове Куба, когда они, воюя с индейцами, выучили своих больших собак набрасываться на голых дикарей и рвать их в клочья; однако когда кончилась война и собаки, которым пришлось по вкусу человеческое мясо, стали по временам хватать за икры своих хозяев, то последние были вынуждены силой избавиться от своих кровавых псов. Когда г-ну Герресу, преследуемому государями, некого было больше кусать, он бросился в объятия иезуитов, им он и служит вплоть до нынешнего часа, представляя собою главную опору католической пропаганды в Мюнхене. Здесь я видел его несколько лет тому назад на вершине его унижения. Перед аудиторией, состоявшей главным образом из католических семинаристов, он читал лекции по всеобщей истории и добрался уже до грехопадения. Что за ужасный конец постигает врагов Франции! «Четвертый союзник» осужден теперь на то, чтобы целыми годами изо дня в день рассказывать католическим семинаристам, этой

école polytechnique<sup>1</sup> обскурантизма, историю грехопадения! В лекциях этого человека, как и в его книгах, царила величайшая сумятица понятий и слов, и не без основания его часто сравнивали с Вавилонской башней. Он и в самом деле похож на громадную башню, где тысячи мыслей кишат и перекликаются, и бродят и препираются, причем одна не понимает другой. Но иногда шум в его голове как будто смолкал на мгновение, и тогда он говорил долго, протяжно и скучно, и с его недовольных губ срывались монотонные слова, как мутные капли дождя из свинцового желоба.

Когда же подчас вновь просыпалось в нем старое демагогическое бешенство, представлявшее отвратительный контраст его монашески-набожным, смиренным словам; когда он с кровожадной яростью метался взад и вперед, взвизгивая в избытке христианской любви, — тогда казалось, что видишь перед собой гиену в тонзуре.

Г-н Геррес родился в Кобленце 25 января 1776 года.

От прочих частных его жизни, как и жизни большинства его товарищей, я прошу меня избавить. Быть может, говоря о его друзьях, обоих Шлегелях, я переступил границы, в которых можно говорить о жизни этих людей.

Ах, как тоскливо становится, когда присмотришься поближе не только к этим диоскурам, но вообще к звездам нашей литературы! Но звезды, быть может, только потому и представляются нам такими прекрасными и чистыми, что мы видим их издали, не зная их частной жизни. Наверное и там, на небе, тоже есть звезды, которые лгут и кланчат; звезды, которые лицемерят; звезды, которые вынуждены делать всевозможные гнусности; звезды, которые, целуясь, предают друг друга; звезды, которые льстят своим врагам и, что еще печальнее, даже своим друзьям, так же как мы здесь, внизу. Кометы, которые мы видим иногда проносящимися, подобно небесным менадам, с распущенными гривами лучей, — это, быть может, распутные звезды, которые в конце концов покаянно и смиренно заползают в какой-нибудь темный уголок неба и ненавидят солнце.

Говоря о немецких философах, я должен исправить одно заблуждение, очень распространенное по отношению

---

<sup>1</sup> Политехнической школы (франц.).



к немецкой философии здесь, во Франции. С тех пор именно как некоторые французы, занявшиеся философией Шеллинга и Гегеля, изложили результаты своих занятий на французском языке и даже применяясь к французскому пониманию, — с тех пор стали раздаваться жалобы друзей ясного мышления и свободы, что из Германии ввозятся сумасброднейшие фантазии и софизмы, которые путают умы и умело облачают всякую ложь и всякий деспотизм видимостью истины и справедливости. Одним словом, эти благородные люди, защищая интересы либерализма, жалуется на тлетворное влияние немецкой философии во Франции. Но бедная немецкая философия терпит понапрасну. Ибо, во-первых, то, что до сих пор поставлялось французам под этим наименованием, особенно г-ном Виктором Кузеном, совсем не немецкая философия; г-н Виктор Кузен преподнес очень много остроумной галimatъи, но совсем не немецкую философию. Во-вторых, подлинной немецкой философией надо назвать ту, которая вышла непосредственно из «Критики чистого разума» Канта и, нося печать этого происхождения, мало заботилась о политических и религиозных отношениях, а заботилась прежде всего о первоосновах всякого познания.

Верно, что метафизические системы большинства немецких философов слишком походили на паутину, но что в этом было дурного? Ведь все-таки иезуитизм не мог воспользоваться этой паутиной для своих сетей лжи, и так же мало мог вить из нее деспотизм свои веревки, для того чтобы вязать умы. Только со времени Шеллинга немецкая философия потеряла этот свой утонченный, но безобидный характер. С тех пор наши философы критиковали уже не первоосновы познания и бытия вообще; они перестали витать в идеалистических абстракциях, но искали обоснований для оправдания существующего, они сделались оправданиями того, что есть. В то время как наши прежние философы жили в пещере и в лишениях и, ютясь в жалких чердачных каморках, измышляли там свои системы, наши теперешние философы облечены в блестящие ливреи власти, они стали государственными философами и занялись изобретением философских оправданий всех интересов государства, на службе у которого состояли. Так, например, Гегель, профес-

сор в протестантском Берлине, включил в свою систему всю евангелически-протестантскую догматику, а г-н Шеллинг, профессор в католическом Мюнхене, оправдывает в своих лекциях самые экстравагантные утверждения римской католическо-апостольской церкви.

Да, подобно тому как некогда александрийские философы тратили всю остроту своего ума на то, чтобы охранить падающую религию Юпитера от полной гибели, так и наши философы предпринимают нечто подобное для спасения религии Христа. Нам нет дела до того, есть ли у этих философов бескорыстные цели; но если мы видим их в союзе с партией попов, материальные интересы которых связаны с сохранением католичества, то мы называем их иезуитами. Пусть они, однако, не воображают, что мы принимаем их за прежних иезуитов. Те были велики и могучи, полны мудрости и воли. О жалкие карлики, вообразившие, что они справятся с трудностями, перед которыми отступили даже те черные великаны! Никогда человеческий дух не придумывал более великих комбинаций, чем те, которыми старые иезуиты пытались спасти католичество. Но это им не удалось, потому что их вдохновляло только сохранение католичества, а не самое католичество. Последнее само по себе их, собственно, вовсе не заботило; поэтому они подчас профанировали самый принцип католицизма, лишь бы только доставить ему господство; они заключали соглашения и с язычеством и с сильными мира сего, угождали их страстям, становились убийцами и торговцами, а где было пужно, там делались даже атеистами. Но напрасно давали их духовники дружеские отпущения грехов и их казуисты любезничали со всеми пороками и преступлениями. Напрасно соперничали они с мирянами в искусстве и в науке, для того чтобы пользоваться тем и другим, как средством. Их бессилие становится здесь совершенно очевидным. Они завидовали всем великим ученым и художникам, но не могли ни открыть, ни создать ничего чрезвычайного. Они сочиняли благоговейные гимны и строили соборы, но от их поэзии не веет свободным духом, она дышит лишь трепетным послушанием перед начальством ордена; и даже в их сооружениях видна лишь трусливая скованность, каменное приспособленчество, величие по приказу. Справедливо сказал

однажды Барро: «Иезуиты не могли поднять землю на небо, они спустили небо на землю». Бесплодными были все их труды и дела. Из лжи не может расцвести жизнь, и бог не может быть спасен посредством дьявола.

Г-н Шеллинг родился 27 января 1775 года в Вюртемберге.

#### IV

Об отношениях г-на Шеллинга к романтической школе я могу сообщить лишь немного. Его влияние было по преимуществу личного свойства. Затем, с тех пор как благодаря ему получила значение натурфилософия, поэты стали гораздо глубже воспринимать природу. Одни погрузились в природу всеми своими человеческими чувствами, другие нашли некоторые чародейские формулы, чтобы проникнуть в нее, разглядеть ее и заставить природу заговорить по-человечески. Первые были подлинными мистиками и во многих отношениях походили на индийских подвижников, которые хотят раствориться в природе и в конце концов начинают ощущать себя частицей природной жизни. Другие были скорее заклинателями — они по собственному желанию вызывали даже враждебных духов природы; они походили на арабского волшебника, который по своей воле может оживлять каждый камень и превращать в камень всякую жизнь. Среди первых надо прежде всего назвать Новалиса, среди вторых — Гофмана. Новалису виделись повсюду лишь чудеса, и прелестные чудеса; он подслушивал голоса растений, ему раскрывалась тайна каждой юной розы, в конце концов он отождествлял себя со всей природой, и, когда пришла осень и опали листья, он умер. Гофман, напротив, всюду видел одни только привидения, они кивали ему из каждого китайского чайника, из каждого берлинского парика; это был чародей, превращавший людей в диких зверей, а последних даже в советников прусского королевского двора; он способен был вызывать мертвецов из могил, но сама жизнь отталкивала его от себя, как мрачное привидение. Он чувствовал это, он чувствовал, что сам становится призраком; вся природа сделалась для него теперь кривым зеркалом, где он видел лишь свою собственную, тысячекратно исковерканную

мертвую личину, и его сочинения представляют собой не что иное, как потрясающий крик ужаса в двадцати томах.

Гофман не принадлежит к романтической школе. Он не состоял ни в какой связи со Шлегелями и еще меньше с их тенденциями. Я упомянул о нем лишь в противоположность Новалису, который является подлинным поэтом этой школы. Новалис меньше известен здесь, чем Гофман, представленный французским читателям Леве-Веймарсом в столь превосходном наряде и оттого получивший во Франции большую известность. У нас, в Германии, Гофман теперь совсем не en vogue,<sup>1</sup> но раньше он был в большой славе. В свое время его много читали, однако лишь люди с нервами слишком сильными или слишком слабыми, чтобы поддаваться воздействию мягких аккордов. Действительно одаренные и поэтические натуры и слышать о нем не хотели. Им был гораздо милее Новалис. Однако, по совести говоря, Гофман как поэт был гораздо выше Новалиса. Ибо последний со своими идеальными образами постоянно витает в голубом тумане, тогда как Гофман со своими причудливыми карикатурами всегда и неизменно держится земной реальности. Но как гигант Антей оставался непобедимым, пока касался ногами матери-земли, и потерял силу, как только Геркулес поднял его на воздух, так и поэт бывает силен и могуч лишь до тех пор, пока не покидает почвы действительности, и становится бессильным, как только начинает парить в голубом тумане.

Великое сходство между обоими поэтами заключается в том, что их поэзия была, собственно, болезнью. Вот почему высказывалась мысль, что обсуждать их произведения дело не критика, а врача. Розовый налет на стихотворениях Новалиса не краска здоровья, а румянец чахотки, и багровое пламя в «Фантастических рассказах» Гофмана — это не пламя гения, а огонь лихорадки.

Но имеем ли мы право на такие замечания, мы, которые также не слишком одарены здоровьем? Особенно в наши дни, когда литература похожа на большой лазарет? Или, быть может, поэзия есть болезнь человека, как жемчуг есть, собственно, болезненный нарост, которым страдает бедный слизняк?

---

<sup>1</sup> В моде (франц.).

Новалис родился 2 мая 1772 года. Его настоящее имя Гарденберг. Он любил юную даму, болевшую чахоткой и умершую от этого недуга. От всего, что он писал, веет этой печальной историей, вся жизнь его представляла собой одно мечтательное умирание, и он умер от чахотки в 1801 году, раньше чем завершил двадцать девятый год своей жизни и свой роман. В нынешнем виде этот роман есть лишь отрывок большой аллегорической поэмы, которая, подобно «Божественной комедии» Данте, должна была прославить все земные и небесные предметы. Генрих фон Офтердинген, знаменитый поэт, — герой этого романа. Мы видим его юношей в Эйзенахе, милом городке, расположенном у подножия того старого Вартбурга, где уже свершились как величайшее, так и глупейшее дело, а именно: где Лютер перевел свою библию и где несколько тупоумных немецких националистов сожгли «Жацдармский кодекс» г-на Кампца. В этом самом Вартбурге происходило некогда состязание певцов, где среди прочих поэтов выступил и Генрих фон Офтердинген и вступил с Клингсором Венгерским в опасный поэтический поединок, запечатленный в сборнике Манессе. Голова побежденного должна была упасть под мечом палача, а судьей был ландграф Тюрингенский. Символически высится здесь Вартбург, поприще его позднейшей славы, над колыбелью героя, и начало романа Новалиса изображает его, как мы сказали, в отцовском доме в Эйзенахе. «Родители лежат уже и спят, стенные часы тикают однообразно, за хлопающими ставнями завывает ветер, время от времени комната освещается мерцанием луны.

Юноша беспокойно метался на кровати, вспоминая пришельца и его рассказы. „Не сокровища, — говорил он сам с собой, — пробудили во мне столь невыразимое стремление, мне чужда всякая корысть, но я жажду увидеть голубой цветок. Неизменно он владеет моими мыслями, и ни о чем другом я не могу думать и мечтать. Так никогда еще не было у меня на душе: мне кажется, что все предыдущее было сновидением, или же сон перенес меня в другой мир, ибо в том мире, где я жил до сих пор, кто стал бы беспокоиться о цветах; и о такой необычайной страсти к цветку я никогда там не слышал“».

Такими словами начинается «Генрих фон Офтердинген», и повсюду в этом романе светит и благоухает голубой

цветок. Странно и многозначительно, что даже самые фантастические лица в этой книге кажутся нам такими знакомыми, словно мы уже в прежние времена были с ними близки. Оживают старые воспоминания, даже черты лица Софии кажутся нам знакомыми, и в памяти встает та самая буковая аллея, где мы с ней гуляли и мило болтали. Но все это лежит позади нас в смутном тумане, как наполовину забытый сон.

Муза Новалиса была стройная бледная девушка, с серьезными голубыми глазами, золотистыми гиацинтовыми локонами, улыбающимися устами и маленькой красной родинкой на левой стороне подбородка. Я ведь представляю себе музу поэзии Новалиса в виде той самой девушки, которая впервые познакомила меня с Новалисом, когда я увидел в ее нежных руках красный сафьяновый, с золотым обрезом томик, содержавший «Офтердингена». Она всегда ходила в голубом платье, и звали ее София. Жила она на расстоянии нескольких станций от Геттингена у своей сестры, госпожи почтмейстерши, веселой, полной краснощекой женщины с высокой грудью; увенчанная зубцами накрахмаленных кружев, госпожа почтмейстерша имела вид крепости, но крепость эта была неприступна, она была Гибралтаром добродетели. Это была деятельная, хозяйственно-практичная женщина, однако единственным ее удовольствием было чтение романов Гофмана. В Гофмане нашла она человека, умевшего потрясать и приводить в приятное волнение ее грубоватую натуру. Наоборот, на ее бледную, нежную сестру уже один вид книги Гофмана производил неприятное впечатление, и если она нечаянно касалась такой книжки, то при этом вся содрогалась. Она была нежна, как мимоза, и слова ее были так благоуханны, так благозвучны, и когда они слагались воедино, то получались стихи. Я записал многое из того, что она говорила, и это — своеобразные стихи, совершенно в духе Новалиса, только еще более духовные, еще более замирающие. Особенно дорого мне одно из этих стихотворений, прочитанное ею мне, когда я прощался с нею, уезжая в Италию. В осеннем саду, где кончилась иллюминация, слышится разговор между последним фонариком, последней розой и диким лебедем. И вот надвигается утренний туман, последний фонарик погас, с розы опали лепестки,

а лебедь расправляет свои белые крылья и улетает на юг.

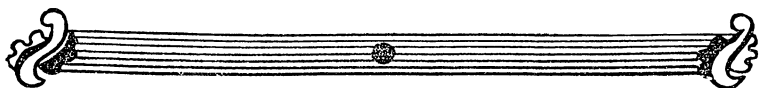
Дело в том, что в ганноверском крае много диких лебедей, которые осенью улетают на теплый юг, а летом возвращаются к нам. Вероятно, они проводят зиму в Африке, ибо в груди убитого лебеда мы однажды нашли стрелу, которую профессор Блюменбах признал африканскою. Бедная птица со стрелой в груди вернулась все же в свое северное гнездо, чтобы умереть здесь. Но не один лебедь со стрелой в груди, вероятно, не в силах был окончить свой перелет и, беспомощный, остался в раскаленной песчаной пустыне или сидит теперь с ослабевшими крыльями на какой-нибудь египетской пирамиде, устремив тоскливый взор к северу, к прохладному летнему гнезду в стране ганноверской.

Когда поздней осенью 1828 года я вернулся (тоже со жгучей стрелой в груди) с юга, мой путь привел меня в окрестности Геттингена, и я остановился у моей толстой приятельницы, содержательницы почтовой станции, чтобы переменить лошадей. Давным-давно я не видал ее, и добродушная женщина очень переменялась с виду. Грудь ее все еще напоминала крепость, но снесенную; бастионы были разрушены, главные башни обратились в свисающие развалины, не видно было часовых у входа, и сердце, цитадель, было разбито. Как сообщил мне почтальон Пипер, она потеряла даже вкус к романам Гофмана, но тем основательней пила теперь перед сном водку. Оно и гораздо проще, ибо водка всегда есть в доме, а за романами Гофмана надо было посылать в библиотеку Дейерлиха в Геттингене, куда езды четыре часа. Почтальон Пипер был коренастый человек, и притом столь кислого вида, словно он напился уксусу и его от этого всего перекосило. Когда я спросил этого человека о сестре госпожи почтмейстерши, он ответил: «Мадемуазель София скоро умрет, и уже теперь она ангел». Каким совершенством должно было быть существо, о котором даже кислый Пипер говорил: она ангел! И он говорил это, разгоняя обутыми в высокие сапоги ногами кудахтавшую и метавшуюся вокруг курину стаю. Здание почтовой станции, некогда белое и веселое, тоже изменилось вместе со своей хозяйкой: оно болезненно пожелтело, в стенах залегли глубокие морщины. Во дворе валялись поломанные повозки, на

шесте возле навозной кучи сушился насквозь промокший багрово-красный плащ почтальона. Мадемуазель София стояла у окна верхнего этажа и читала. Когда я поднялся к ней, я опять нашел в ее руках книгу в красном сафьяновом переплете с золотым обрезом, и это опять был «Офтердинген» Новалиса. Она все продолжала читать эту книгу, и дочиталась до чахотки, и похожа была на светящуюся тень. Но теперь она была озарена духовной красотой, вид которой мучительно взволновал меня. Я взял ее бледные худенькие руки, заглянул глубоко в ее голубые глаза и спросил, наконец: «Мадемуазель София, как вы себя чувствуете?» — «Хорошо, — ответила она, — а скоро будет еще лучше!» — И она показала в окно на новое кладбище, невысокий холм неподалеку от дома. На этом голом холме возвышался единственный тощий, засохший тополь, на котором висело всего только несколько листочков, и все это шелестело под осенним ветром не как живое дерево, а как призрак дерева.

Под этим тополем лежит теперь мадемуазель София, а оставленная мне на память книга в красном сафьяновом переплете с золотым обрезом, «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, лежит передо мной на письменном столе, и я заглядывал в нее, когда писал эту главу.





## КНИГА ТРЕТЬЯ

### I

Знаете ли вы Китай, родину крылатых драконов и фарфоровых чайников? Вся страна — сплошной музей редкостей, окруженный невероятно длинной стеной и охраняемый сотнями тысяч татарских часовых. Но птицы и мысли европейских ученых перелетают через нее, и, посмотревшись там досыта и вернувшись домой, они рассказывают нам занятнейшие вещи о необычайной стране и необычайном народе. Природа, с яркой причудливостью своих явлений, с фантастическими гигантскими цветами, карликовыми деревьями, вырезными горами, вычурно сладострастными плодами, нелепо разряженными птицами, так же фантастически карикатурна, как и тамошний человек, с его заостренной головой и косичкой, с его поклонами, длинными погтями, старческой рассудительностью и детски-односложным языком. Человек и природа не могут там смотреть друг на друга без внутреннего смеха. Но они не смеются громко, потому что оба слишком культурно-вежливы, и для того чтобы подавить смех, они презабавно корчат важные рожи. Там нет ни теней, ни персекутивы. На пестро размалеванных домах во множестве громоздятся одна над другою крыши, похожие на раскрытый зонтик и обвешанные металлическими колокольчиками, так что даже ветер, проносясь мимо, становится смешным от этого ребяческого перезвона.

В таком доме с колокольцами жила некогда принцесса, ножки которой были еще меньше, чем у прочих китайцев, маленькие раскосые глазки ее моргали еще сладостно-мечта-

тельнее, чем глаза прочих дам Поднебесной империи, а в маленьком хихикающем сердечке гнездились самые безумные прихоти. Ее высшим наслаждением было разрывать драгоценные шелковые и парчовые ткани. Ткань трещала и скрипела под ее цепкими пальцами, а она при этом вскрикивала от восторга. Когда, наконец, она истратила все свое состояние на эту прихоть, когда она изорвала в клочья все свое имущество, то, по совету большинства мандаринов, ее заперли в круглую башню как неизлечимо безумную.

Эта китайская прищесса, олицетворенный каприз, одновременно является олицетворением музы одного немецкого поэта, мимо которого нельзя пройти в истории романтической поэзии. Это — муза Клеменса Брентано, так безумно хохочущая из глубины его поэзии. Здесь она раздирает на куски самые сверкающие атласные шлейфы, самые блестящие золотые позументы, и ее страсть к разрушению очаровательна, и ее ликующе-цветущее безумие наполняет нашу душу жутким восторгом и сладостным ужасом. Но вот уже пятнадцать лет г-н Брентано живет удалившись от света, запертый и даже замурованный в своем католицизме. Уже не осталось ничего драгоценного, что бы он мог порвать. Говорят, он раздирал сердца, любившие его, и все его друзья жалуются на его капризы и оскорбления. Сильнее всего он обратил свою страсть к разрушению против самого себя, против своего поэтического дара. Особого внимания заслуживает комедия этого поэта «Понсе де Леон». Нет ничего более разрывающего, чем эта пьеса, как по мысли, так и по языку. Но все эти доскутки живут и кружатся в пестром упоении. Точно видишь перед собой маскарад слов и мыслей. Все толпится здесь в сладчайшей сумятице, связанное воедино лишь общим безумием. Подобно арлекинам, по всей драме проносятся дикие каламбуры, колотя по сторонам своими гладкими дубинками. Иногда выступаст серьезное слово, но занкается при этом, как докторе ди Болонья. Вот вяло выползает какая-нибудь фраза, точно белый пьеро, со слишком широкими болтающимися рукавами и слишком большими пуговицами на балахоне. Вот прыгают коротконогие горбатые острофы вроде полишинелей. Слова любви, подобно игривым коломбинам, порхают вокруг с тоскою в сердце. И все это пляшет, и прыгает,

и кружится, и кричит, заглушаемое звуками труб, в вакхической жажде разрушения.

Большая трагедия того же поэта, «Основание Праги», тоже весьма замечательна. Там есть сцены, от которых веет таинственной жутью древних преданий. Здесь шумят темные богемские леса, здесь бродят еще гневные славянские боги, здесь еще заливаются языческие соловьи; но вершины деревьев уже озарены мягким рассветом христианства. Г-н Брентано написал также несколько хороших рассказов, среди которых особенно хороша «История храброго Касперля и прекрасной Наннерль». Когда прекрасная Наннерль была еще ребенком и пошла со своей бабушкой в дом к палачу, чтобы добыть у него, как делает простонародье в Германии, верные лекарства, то вдруг в большом шкафу, перед которым как раз стояла прекрасная Наннерль, что-то зашевелилось, и ребенок в ужасе вскричал: «Мышь, мышь!» Но палач испугался еще больше, и стал мрачнее смерти, и сказал бабушке: «Милая моя! В этом шкафу висит мой меч для казни, и он шевелится сам всякий раз, когда к нему приближается кто-нибудь, кто когда-либо будет им обезглавлен. Мой меч жаждет крови этого ребенка. Позвольте мне слегка поцарапать им шею девочки. Тогда меч удовлетворится капелькой крови и обойдется без дальнейших требований». Но бабушка не послушалась этого разумного совета и, вероятно, горько сожалела об этом впоследствии, когда прекрасной Наннерль действительно отрубили голову этим самым мечом.

Г-ну Клеменсу Брентано теперь, должно быть, около пятидесяти лет, и он живет во Франкфурте отшельником, как член-корреспондент католической пропаганды. Его имя в последнее время почти совершенно забыто и вспоминается изредка лишь тогда, когда идет речь о народных песнях, изданных им вместе с его покойным другом Ахимом фон Арнимом. Под заглавием «Волшебный рог мальчика» они издали вдвоем собрание песен, частью услышанных у народа, частью взятых из летучих листков и редких старопечатных книг. У меня не хватает слов, чтобы воздать этой книге должную хвалу. В ней заключены самые чарующие цветы немецкого духа, и кто хотел бы ознакомиться с немецким народом с его привлекательной стороны, должен прочитать эти народные песни.

И сейчас книга эта лежит передо мной, и мне кажется, что я вдыхаю благоухание немецких лип. Ведь липа играет главную роль в этих песнях; в ее тени по вечерам милуются влюбленные, она их любимое дерево, быть может потому, что лист липы имеет форму человеческого сердца. Это замечание сделал однажды немецкий поэт, которого я люблю больше всех других, а именно я сам. На заглавном листе этой книги изображен мальчик, трубящий в рог; и когда немец на чужбине долго смотрит на эту картинку, ему начинает казаться, что он слышит хорошо знакомые звуки, и сердце его при этом, может быть, объято тоской по родине, как было с тем швейцарским ландскнехтом, который, стоя часовым на страсбургском крепостном валу, услышал издали пастушеский рожок, бросил свою пику, переплыл через Рейн, но вскоре затем был схвачен и расстрелян как дезертир.

В «Волшебном роге мальчика» есть эта трогательная песня:

В Страсбурге, на валу,  
Тоска мне сжала грудь:  
С той стороны звучал рожок пастуший;  
Пустился вплавь — да не достиг я суши —  
Прости, забудь!

И в тот же час ночной  
Привел меня конвой,  
И вот пред командиром я полка:  
В волнах реки, как рыбка, я попал  
В сеть рыбака.

Паутро, в ранний час,  
Поставлен я перед полком.  
Увы, тяжка моя вина,  
И плата горькая сполна  
Мне суждена.

В последний раз  
Я вижу, братцы, нынче вас.  
Тому виною песня пастушка,  
Родной папав альпийского рожка —  
Моя тоска...<sup>1</sup>

Какое прелестное стихотворение! Эти народные песни полны странного очарования. Наши поэты стараются воспроизвести своим искусством эти естественные созда-

<sup>1</sup> Перев. Е. Дунаевского.

ния, подобно тому как изготавливаются искусственные минеральные воды. Но если посредством химического анализа можно определить их составные части, то ведь в них нет главного — неразложимой, соединяющей силы природы. Слышно, как в этих песнях бьется сердце немецкого народа. Здесь раскрывается вся его сумрачная веселость, весь его дурашливый разум. Здесь грохочет немецкий гнев, здесь посвистывает немецкая насмешка, здесь одаряет поцелуями немецкая любовь. Здесь как жемчуг сверкает неподдельное немецкое вино и искренняя немецкая слеза. Последняя подчас даже лучше первого: в ней содержится много железа и много соли. Какое простодушие в верности! В неверности — какая честность! Какой честный малый этот бедняга Швартенгальс, хоть он и разбойник с большой дороги! Послушайте флегматически-трогательную историю, которую он сам о себе рассказывает:

Зашел дорогою в корчму,  
Хозяйка мне: «А кто ты?» —  
«Я просто бедный Швартенгальс,  
Мне есть и пить охота».

Пустили в горницу меня  
И выпить предлагали;  
Хотел поднять я свой стакан —  
И выронил в печали.

Потом за стол сажают есть,  
Как будто толстосума;  
Но пусто было в кошельке,  
Платить я и не думал.

А ночью надо было спать —  
Открыли дверь сарая;  
Уж видно, бедный Швартенгальс,  
Твоя судьба такая.

Ложился я и так и сяк,  
Вертелся то и дело:  
Колол меня чертополох,  
Репей впивался в тело.

Под утро заморозок был,  
И я поднялся с зорькой,  
И посмеялся над собой  
И над судьбиной горькой.

Я прицепил тогда свой меч  
К ременной перевязи  
И, так как не было коня,  
Пешком пошел по грязи.

Гляжу — купеческий сынок  
Шагает в чистом поле,  
И тут он мне свою мощну  
Оставил поповоле.<sup>1</sup>

Этот бедный Швартенгальс — самый что ни на есть немецкий характер, какой я когда-либо знал. Какое спокойствие, какое сознание силы царит в этом стихотворении! Но и с нашей Гретель надо вам познакомиться. Это правдивая девушка, и я очень ее люблю. Ганс сказал Гретель:

«Ну, Гретлейн, приоденся  
И путь со мной деди.  
Убрали хлеб в деревне,  
В подвал вино свезли».

А она, довольная, отвечает:

«Ах, Гензель, милый Гензель,  
Останемся вдвоем,  
Мы в будни за работой,  
А в праздник — за вином».

Он взял ее за ручку,  
За белую ручку взял,  
Повел ее туда, где  
Итейный дом стоял.

«Хозяюшка, подайте  
Холодного вина,  
Мы платья этой Гретлейн  
Проньем у вас сполна».

Тут стала плакать Гретлейн,  
Тоска ее взяла,  
Прозрачная слезинка  
По щечкам потекла.

«Ах, Гензель, милый Гензель,  
Не то ты говорил,  
Когда меня с собою  
Из дома уводил».

---

<sup>1</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

Он взял ее за ручку,  
За белую ручку взял,  
Повел туда, где садик  
В цветах благоухал...

«О чем ты плачешь, Гретлейн,  
О чем ты слезы льешь,  
Что вольно живешь, жалесшь  
Пль честь назад зовешь?»

«Что вольно живу, не жалею  
И чести назад не зову:  
Мне жалко этих платьев,  
Уж их я не наживу». <sup>1</sup>

Это не гетевская Гретхен, и ее раскаяние не сюжет для Ари Шеффера. Тут нет немецкого лунного сияния. Столь же мало сентиментальности там, где юный поклонник ночью требует от милой, чтобы она впустила его, но она прогоняет его, говоря:

Вернись-ка той дорогой,  
Вернись на ту полянку,  
Откуда явился ты;  
Там камень есть большой,  
Ты выспишься, там сухо,  
Не наберешься пуха. <sup>2</sup>

Но лунным светом, лунным светом залито все, и, переполняя душу, сияет он в песне:

Мне птичкою бы стать,  
На крылышках к тебе  
Взлететь, вспорхнуть,  
Но крыльев нет, и мне  
Заказан путь.

В разлуке мы с тобой,  
Но я во сне с тобой,  
Всю ночь с тобой;  
А встану ото сна, —  
И я одна.

Ты, что ни час, во сне,  
В мечтах приходишь мне,  
Все вновь и вновь,  
Даришь сто тысяч раз  
Свою любовь. <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

<sup>2</sup> Перев. Е. Дунаевского.

<sup>3</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

На восхищенный вопрос о том, кто сочинил эти песни, они сами, пожалу́й, отвечают в заключении:

Кто песенку сочинил, угадай!  
Три гуся ее занесли в этот край,—  
Два серых гуся и белый.

Обыкновенно такие песни сочинял бездомный люд: бродяги, солдаты, странствующие ученики или подмастерья. В большинстве случаев это были именно бродячие подмастерья. Часто в моих пешеходных странствиях я водил знакомство с этими людьми и замечал, как они иногда, под влиянием какого-нибудь необычайного события, импровизировали отрывки народных песен или насвистывали на свободе. Их подслушивали птички, сидевшие на ветвях деревьев, и если потом проходил мимо другой парнишка с посохом и ранцем, они насвистывали ему на ухо эту песенку, он допевал недостающие стихи, и вот песня готова. Слова падают с неба прямо на губы таким паренькам, и им стоит только их произнести, как слова эти оказываются еще поэтичнее, чем все прекрасные поэтические фразы, которые мы так мучительно измышляем в глубинах нашего сердца. Характер этих немецких подмастерьев живет и дышит в таких народных песнях. Это замечательный человеческий тип. Без гроша в кармане обходят они всю Германию, беззаботные, веселые и свободные. Мне приходилось замечать, что они обыкновенно отправлялись в такое странствие втроем. В этой тройке один всегда бывал резонером; он юмористически рассуждал обо всем, что проходило перед его глазами, о всякой пестрой птице, пролетающей в воздухе, о всяком всаднике, проезжавшем мимо; а когда им случалось зайти в убогую местность с нищенскими лачугами и ободранной беднотой, то он пронически замечал: «Господь бог сотворил свет за шесть дней, оно и видно: все сработано наспех». Второй спутник лишь изредка вставляет несколько яростных замечаний, он не может произнести слова без проклятий; бешено ругает он всех хозяев, у которых работал, и постоянный припев его — это как он жалеет, что не оставил на память хозяйке в Гальберштаде, еженощно потчевавшей его капустой и брюквой, добрую порцию колотушек. Но при слове «Гальберштадт» третий парень вздыхает от всего сердца; он моложе



всех, он впервые совершает путешествие и все еще думает о темно-карих глазах своей милой, всегда идет понуриив голову и не говорит ни слова.

«Волшебный рог мальчика» представляет собой столь замечательный памятник нашей литературы и оказал такое значительное влияние на лириков романтической школы, в особенности на нашего превосходного г-на Уланда, что я не могу умолчать о нем. Эта книга и «Песнь о Нибелунгах» играли первенствующую роль в ту эпоху. О последней также необходимо упомянуть здесь особо. В течение долгого времени у нас ни о чем не было речи, кроме как о «Нибелунгах», и филологи-классики немало сердились, когда кто-нибудь сравнивал эту эпопею с «Илиадой» или когда возникал даже спор о том, какая из двух поэм лучше. А публика принимала такой вид, как мальчик, у которого серьезно спрашивают: «Что тебе больше нравится: лошадка или пряник?» Во всяком случае эта «Песнь о Нибелунгах» исполнена громадной, могучей силы. Француз с трудом может составить себе представление о ней, а особенно о языке, которым она написана. Этот язык высечен из камня, и стихи подобны рифмованным глыбам. Здесь и там из расщелин выглядывают красные цветы, точно капли крови, или длинный плющ спадает вниз, как зеленые слезы. Об испанских страстях, сталкивающихся в этой поэме, вы, маленькие добродетельные людишки, еще меньше можете иметь понятие. Представьте себе светлую летнюю ночь; звезды, бледные, как серебро, но большие, как солнце, показались в небесной синеве, и все готические соборы Европы сошлись на свидание на необъятно громадной равнине; и вот явились, спокойно выступая, Страсбургский собор, Кельнский собор, Флорентинская колокольня, Руанский собор и т. д., и все они благопристойно ухаживают за красавицей Notre Dame de Paris.<sup>1</sup> Правда, их походка несколько неуклюжа, некоторые из них очень неповоротливы, их влюбленное ковылянье подчас вызывает смех. Но смех этот непродолжителен; он прекращается, как только вы видите, в какую ярость они пришли, как они душат в схватке друг друга, как Notre Dame de Paris в отчаянии вздымает свои каменные руки к небу и вдруг

---

<sup>1</sup> Собором Парижской богородицы (франц.).

хватает меч и сносит голову самому высокому собору. Но нет, вы и тогда не могли бы составить себе никакого представления о главных персонажах «Песни о Нибелунгах». Нет такой высокой башни, нет такого твердого камня, как злой Гаген и мстительная Кримгильда.

Но кто же автор этой песни? Поэт, написавший «Песнь о Нибелунгах», столь же мало известен, как авторы народных песен. Странно, как редко бывает известно имя создателя прекрасных книг, стихотворений, зданий и прочих памятников искусства! Как звали зодчего, в мысли которого возник Кельнский собор? Кто написал там запрестольный образ, на котором так благостно запечатлены прекрасная богоматерь и три святых волхва? Кто автор книги Иова, утешавшей такое множество страждущих человеческих поколений? Слишком легко забывают люди имена своих благодетелей; имена добрых, благородных, заботившихся о благе своих сограждан людей мы редко встречаем в устах народов, и их грубая память хранит только имена их притеснителей да свирепых героев войны. Дерево человечества забывает о тихом садовнике, который пестовал его в стужу, поил в засуху и оберегал от вредителей; но оно верпо храпит имена, безжалостно врезанные в его кору острой сталью, и передаст их позднейшим поколениям, тем лишь умножая их славу.

## II

Ввиду их совместной работы над изданием «Волшебного рога мальчика» имена Брентано и Арнима обыкновенно называют вместе, и так как я говорил о первом, то тем меньше могу умолчать о втором, потому что он заслуживает нашего внимания в гораздо большей степени. Людвиг-Ахим фон Арним — большой поэт и был одним из самых своеобразных умов романтической школы. Любителям фантастики этот поэт пришелся бы больше по вкусу, чем любой другой немецкий писатель. В этой области он превосходит Гофмана, так же как Новалиса. Он умел еще глубже последнего вживаться в природу и вызывал еще более жуткие привидения, чем Гофман. Да, при взгляде на самого Гофмана мне подчас казалось, что его сочинил Арним. В народе этого писателя совершен-

по не знают, и он пользовался известностью только у литераторов. Последние, очень высоко оценивая его, не воздали ему, однако, должной хвалы в печати. Мало того, некоторые писатели высказывались о нем даже с пренебрежением, и это были как раз те, которые подражали его манере. К ним можно было применить слово, сказанное Стивенсом о Вольтере, когда последний, воспользовавшись Отелло для своего Оросмана, презрительно отзывался о Шекспире; он сказал: «Эти люди похожи на воров, которые, обокрав дом, поджигают его». Почему г-н Тик никогда не говорил об Арниме как должно, — он, который умел сказать так много умного о всякой незначительной стряпне? Г-да Шлегели равным образом игнорировали Арнима. Лишь после смерти удостоился он чего-то вроде некролога от одного из представителей школы.

Мне кажется, слава Арнима не могла быть особенно велика, потому что он все еще оставался слишком протестантом для своих друзей, для католической партии, тогда как протестантская партия со своей стороны считала его тайным католиком. Но почему отвернулся от него народ—народ, которому его романы и новеллы были доступны во всех библиотеках? О Гофмане тоже почти совсем не говорили в наших литературных газетах и эстетических листках; высокая критика хранила по отношению к нему барское молчание, и, однако, все его читали. Почему же немецкий народ пренебрег писателем, фантазия которого охватывала целый мир, задушевность которого полна самой жуткой глубины и чей изобразительный дар не мог быть превзойден? Чего-то недоставало этому поэту, и это «что-то» есть как раз то, чего ищет народ в книгах: жизнь. Народ трсбует от писателей, чтобы они вживались в его повседневные страсти, чтобы они либо приятно возбуждали чувства в его собственной груди, либо оскорбляли их; народ хочет, чтобы его волновали. Но этой потребности не мог удовлетворить Арним. Он был не поэтом жизни, а поэтом смерти. Во всем, что он писал, царит лишь прозрачное движение, образы порывисто сталкиваются, они шевелят губами, как будто говорят, но слова их лишь видны, а не слышны. Эти образы прыгают, борются, становятся на голову, таинственно приближаются к нам и тихо шепчут нам на ухо: «Мы мертвы». Такое зрелище

было бы слишком ужасно и тягостно, не будь у Арнима той грации, которая разлита в каждом его произведении, подобно улыбке ребенка, но ребенка мертвого. Арним умеет изображать любовь, иногда и чувственность, но даже здесь мы неспособны проявить сочувствие; мы видим прекрасные тела, волнующиеся груди, стройные бедра, но все это окутано холодным влажным саваном. Иногда Арним остроумен и вызывает наш смех; но всё же мы смеемся так, как будто смерть щекочет нас своей косой. Обычно же он серьезен, и притом серьезен, как мертвый немец. Живой немец уже в достаточной степени серьезное существо, а что же сказать о мертвом немце? Француз не имеет никакого понятия о том, как серьезны мы после смерти; наши лица вытягиваются еще более, и, глядя на нас, даже черви, поедающие нас, впадают в меланхолию. Французы воображают, будто Гофман ужас до чего серьезен и мрачен; но это детская игра в сравнении с Арнимом. Когда Гофман вызывает своих мертвецов и они встают из могил и пляшут вокруг него, тогда сам он содрогается от ужаса, сам пляшет среди них и корчит при этом самые безумные обезьяньи гримасы. Но когда Арним вызывает своих мертвецов, то кажется, что это полководец производит смотр, и он так спокойно сидит на своем высоком белом призрачном коне и пропускает мимо все страшные полки, а они испуганно смотрят на него снизу вверх и как будто боятся его. Он же приветливо кивает им головой.

Людвиг-Ахим фон Арним родился в 1784 году в Бранденбургской марке и умер зимой 1830 года. Он писал драматические произведения, романы и повеллы. Драмы его исполнены задушевной поэтичности, в особенности пьеса под заглавием «Тетсрев». Первая сцена достойна пера даже величайшего поэта. Как верно, как правдиво изображена здесь безысходнейшая скука! Один из трех побочных сыновей умершего ландграфа сидит в одиночестве в громадной осиротелой зале замка, зевая разговаривает сам с собой и жалуется, что его ноги под столом растут все больше и больше и что утренний ветер так холодно свищет сквозь его зубы. Медленно выползает его брат, добродушный Франц; он в платье покойного отца, слишком широком для него, и он со скорбью вспоминает, как обычно в этот час ему приходилось помогать отцу одеваться, как тот бросал ему хлебную корку, которую

не мог разгрызть своими старыми зубами, как иногда в досаде давал ему пинка; это последнее воспоминание, трогает доброго Франца до слез, и он плачет, что вот отец умер и не может больше дать ему пинка!

Романы Арнима называются: «Стражи короны» и «Графиня Долорес». Первый роман также начинается великолепно. Действие происходит в сторожевой башне города Вайблингена, в уютной комнатке сторожа и его почтенной толстой жены, которая, однако, не так толста, как толкуют внизу, в городе. Это клевета, в самом деле, вся эта болтовня о том, будто она так растолстела в своей башне, что не может больше спускаться по узкой винтовой лестнице и после смерти своего первого мужа, старого сторожа, была вынуждена выйти за нового. Немало огорчалась бедная женщина по поводу такой злобной клеветы; она ведь только потому не могла спускаться по лестнице, что страдала головокружениями.

Начало второго романа Арнима, «Графиня Долорес», также превосходно: автор воспекает здесь поэзию бедности, именно дворянской бедности, которую он, сам живший тогда в величайшей нужде, часто избирал сюжетом. Каким мастером является здесь Арним в изображении разрушения! Мне кажется, у меня все еще стоит перед глазами пустынный замок юной графини Долорес, имеющий тем более пустынный вид, что старый граф строил его в жизнерадостном итальянском вкусе, но не достроил. Теперь это развалина новейших времен, и в замковом парке все заброшено; подстриженные буквые аллеи одичали; деревья мешают друг другу расти; лавры и олеандры болезненно стелются по земле; прекрасные большие цветы опутаны противным бурьяном; статуи богов попадали с пьедесталов, и несколько озорных лицих ребятишек, усевшись на корточки вокруг бедной Венеры, лежащей в высокой траве, хлещут ее крапивой по мраморному заду. Вернувшись после долгого отсутствия в замок, старый граф поражен странным поведением своих домашних, особенно жены; за столом происходят разные необычайные вещи, и все это потому, что бедная женщина умерла от горя и давно мертва вместе со своей прислугой. В конце концов, однако, граф как будто сам начинает ощущать, что находится в обществе привидений, и, никого не предупреждая, потихоньку уезжает.

Из повелл Арнима самой замечательной представляется мне «Изабелла Египетская». Перед нами проходит скитальческая жизнь цыган, которых здесь, во Франции, называют *bohémiens*<sup>1</sup> или *égyptiens*.<sup>2</sup> В новелле живет и дышит этот странный сказочный народ, с его смуглыми лицами, приветливыми пророческими глазами и с его скорбной тайной. Под причудливой, игривой веселостью скрыта великая мистическая печаль. Согласно преданию, прелестно рассказанному в этой новелле, цыгане осуждены на многолетние скитания по миру в наказание за суровую неприветливость, с которой их предки некогда оттолкнули божью мать с ребенком, когда она во время бегства в Египет попросила у них ночлега. По этой причине люди считают себя вправе обращаться с ними жестоко. Так как в средние века не было еще последовательной Шеллинговой философии, то поэзии пришлось тогда взять на себя оправдание самых достойных и свирепых законов. Но ни к кому эти законы не были более варварски суровы, чем к бедным цыганам. В некоторых странах они разрешали повесить без суда и следствия каждого цыгана, заподозренного в краже. Так и был невинно казнен их вождь Михаил, по прозванию «Герцог Египетский». Этим мрачным событием начинается повелла Арнима. Ночью цыгане снимают своего мертвого герцога с виселицы, возлагают на его плечи княжескую порфиру, увенчивают голову серебряной короной и погружают его в Шельду, в твердом убеждении, что милосердная река принесет его домой, в возлюбленный Египет. Бедная цыганская принцесса Изабелла, его дочь, ничего не знает об этом печальном происшествии; она живет в одиночестве в обветшалом доме на Шельде и ночью слышит, как странно плещет что-то в воде, и вдруг видит, как всплыл ее бледный отец в пурпурном саване, и месяц бросает свой болезненный свет на серебряную корону. Сердце милой девушки чуть не разрывается от невыразимой скорби, тщетно пытается она удержать мертвого отца; он спокойно плывет дальше, в Египет, на свою волшебную родину, где ждут его прибытия, чтобы сообразно его сану похоронить его в одной из больших пирамид. Трогательна трагедия,

---

<sup>1</sup> Богемцами (*франц.*).

<sup>2</sup> Египтянами (*франц.*).

которою бедное дитя чтит умершего отца; она расстиласт свое белое покрывало на камне в поле, ставит на нем кушанья и напитки и торжественно вкушает их. Глубоко трогательно все, что талантливый Арним рассказывает о цыганах, к которым он выказал уже свое сострадание в других местах, например в послесловии к «Волшебному рогу», где он утверждает, что мы обязаны цыганам очень многим хорошим и благодетельным, в частности большинством наших лекарств. Между тем мы неблагодарно изгнали и преследовали их. Несмотря на всю свою любовь, они, жалуется Арним, не смогли завоевать себе у нас родины. Он сравнивает их в этом отношении с маленькими гномами, о которых рассказывает предание, что они доставляли все, чего желали их большие, могучие враги для пиршества, но однажды были жестоко побиты и изгнаны из страны за несколько горошин, как-то в нужде сорванных в поле. Грустное это было зрелище, когда бедные маленькие человечки ночью перебирались по мосту, подобно овечьему стаду, и каждый должен был положить по монетке, пока не наполнилась целая бочка.

Перевод новеллы «Изабелла Египетская» не только дал бы французам представление о произведениях Арнима, но и показал бы, что все страшные, мрачные и жуткие рассказы о привидениях, которые они с таким трудом выжимали из себя в последнее время, представляются лишь розовыми утренними грезами оперной танцовщицы в сравнении с созданиями Арнима. Во всей французской литературе ужасов не сконцентрировано столько жуткого, сколько в одной карете, которая у Арнима держит путь из Браке в Брюссель и в которой сидят следующие четыре персонажа:

1. Старая цыганка, она же ведьма. Она похожа на восхитительнейший из семи смертных грехов и блистает самыми пестрыми парядами, вся в золотом шитье и шелках.

2. Мертвец в медвежьей шкуре, вышедший из могилы, чтобы заработать несколько дукатов, и нанявшийся в услужение на семь лет. Это жирный труп в плаще из белой медвежьей шкуры, от которой и получил свое прозвание. Однако он всегда мерзнет.

3. Голем, то есть глиняная фигура, которая изображает красавицу и ведет себя как красавица. На лбу,

закрытом черными локонами, начертано сврейскими буквами слово «истина»; если стереть его, то вся фигура вновь безжизненно распадется и превратится в глину.

4. Фельдмаршал Корнелий Непот, не состоящий ни в каком родстве со знаменитым историком того же имени; мало того, он не может даже похвалиться гражданским происхождением, так как он по рождению, собственно, корень альрауна, который французы называют мандрагорой. Этот корень произрастает под виселицей, там, где пролились самые двусмысленные слезы повешенного. Он издал ужасающий крик, когда прекрасная Изабелла вырвала его там в полночь из земли. С виду он похож на карлика, только у него нет ни глаз, ни рта, ни ушей. Милая девушка воткнула в его лицо два черных можжевельных зернышка и алый цветок шиповника, от чего возникли глаза и рот. Затем она обсыпала голову человечка горсточкой проса, от чего выросли волосы, правда, немного всклокоченные; она баюкала уродца на своих белых руках, когда он пищал, как ребенок; своими прекрасными розовыми губками она зацеловала его рот-шиповник так, что он искривился; своими поцелуями она почти что высосала его можжевеловые глазки, и противный гном до того избаловался от всего этого, что в конце концов захотел стать фельдмаршалом и нарядиться в блестящий фельдмаршальский мундир и требовал, чтобы его непременно именовали господином фельдмаршалом.

Не правда ли, четыре весьма выдающиеся особы? Вы можете обойти весь морг, кладбище, Cour des miracles <sup>1</sup> и все чумные дворы средневековья—и все же не соберете такого превосходного общества, как то, которое ехало вместе в одной карете из Браке в Брюссель. Вам, французам, следовало бы, наконец, понять, что страшное и ужасное — не ваша специальность и что Франция — неподходящая почва для привидений подобного рода. Когда вы заклинаниями вызываете привидения, мы только смеемся. Да, мы, немцы, в которых самые веселые ваши остроумия не вызывают улыбки, тем искреннее смеемся при ваших страшных рассказах о привидениях. Ибо ваши привидения — это всегда !французы. Французское привидение — какое противоречие в этих словах!

---

<sup>1</sup> Двор чудес (франц.). (См. комментарии.)



В слове «привидение» заключено так много одинокого, неприветливого, немецкого, молчаливого, а в слове «французский» — наоборот, так много общительного, любезного, французского, болтливое! Как мог бы француз быть привидением, и вообще как могли бы в Париже существовать привидения! В Париже, в этом театральном фойе европейского общества! Между двенадцатью и часом ночи, время, покоя веков отведенное для появления привидений, парижские улицы еще живут самой шумной жизнью, в Опере еще звучит громогласный финал, из «Théâtre des Variétés» и «Théâtre-Gymnase» изливаются оживленные толпы; и все это кишит, приплясывает, смеется, озорничает на бульварах и отправляется потом на вечеринку. Каким несчастным чувствовало бы себя бедное загробное привидение в этом веселом человеческом потоке! И как мог бы француз, даже мертвый, сохранить серьезность, необходимую для появления из могилы, когда его со всех сторон окружает пестрое народное ликование! Хоть сам я и немец, но если бы после смерти мне пришлось здесь, в Париже, бродить привидением, я, разумеется, неспособен был бы сохранить мое замогильное достоинство, если бы где-нибудь на перекрестке мне встретилась одна из тех богинь легкомыслия, которые так восхитительно умеют хохотать вам в лицо. Если бы в Париже в самом деле были привидения, то я убежден, что, при общительности французов, они бы даже в виде привидений собирались в кружки, устраивали бы балы привидений; они основали бы кафе мертвецов, издавали бы газету мертвецов, парижское обозрение мертвецов, и вскоре появились бы вечеринки мертвецов, où l'on fera de la musique.<sup>1</sup> Я убежден, что здесь, в Париже, привидения развлекались бы больше, чем у нас развлекаются живые. Что касается меня, то если бы я знал, что можно продолжать существование в качестве привидения в Париже, то я перестал бы бояться смерти. Я бы только постарался, чтобы в конце концов меня похоронили на Пер-Лашез и чтобы я мог являться в Париже между двенадцатью и часом ночи. Что за чудесный час! Немецкие земляки, если вы когда-нибудь после моей смерти придете в Париж и встретите меня здесь ночью в виде привидения, не пугайтесь: я выхожу

---

<sup>1</sup> Где бы музицировали (франц.).

из могилы не на немецкий жутко-злополучный манер, я делаю это скорее для своего удовольствия.

Так как обыкновенно — это я читал во всех историях о привидениях — они бродят в местах, где зарыты деньги, то я предусмотрительно закопаю несколько су где-нибудь на бульварах. До сих пор, правда, мне приходилось в Париже прикапывать деньги, но я никогда не хоронил их в земле.

О бедные французские писатели! Вам следовало бы, наконец, понять, что ваши романы тайн и ужасов и рассказы о привидениях решительно неуместны в стране, где либо совсем нет привидений, либо они так же общительно-веселы, как мы, живые люди. Вы кажетесь мне детьми, которые надевают на лицо маску, чтобы пугать друг друга. Это серьезная, мрачная маска, но сквозь отверстия для глаз светятся веселые детские глазки. Мы, немцы, наоборот, носим иногда приветливую юношескую маску, а в глазах притаилась дряхлая смерть. Вы изящный, любезный, разумный и живой народ, и лишь прекрасное, благородное и человеческое входит в представления вашего искусства. Это понимали уже ваши старые писатели, и вы, новые, тоже в конце концов придете к этому убеждению. Бросьте же все жуткое и призрачное. Предоставьте нам, немцам, все ужасы безумия, лихорадочного бреда и чертовщины. Германия более подходящая страна для старых ведьм, мертвых медвежьих шкур, големов обоего пола и особенно для таких фельдмаршалов, как маленький Корнелий Непот. Лишь по ту сторону Рейна могут процветать подобные привидения, но никак не во Франции. Когда я ехал сюда, мои привидения сопровождали меня вплоть до французской границы. Здесь они печально простились со мной. Ибо вид трехцветного знамени разгоняет призраки всякого рода. О, мне хотелось бы стать на верхушку Страсбургского собора с трехцветным знаменем в руке, простирающимся до Франкфурта! Верю, что если бы я распростер священное знамя над моим дорогим отечеством и произнес надлежащие слова заклинания, то старые ведьмы улетели бы на своих метлах, холодные медвежьи шкуры вновь полезли бы в свои могилы, големы вновь превратились бы в глину, фельдмаршал Корнелий Непот вернулся бы туда, откуда он появился, и всякому наваждению пришел бы конец.

### III

Историю литературы так же трудно писать, как и естественную историю. Как здесь, так и там уделяется внимание особо выдающимся явлениям. Но как в маленькой рюмке воды заключается целый мир необычайных маленьких зверюшек, которые так же свидетельствуют о могуществе божьем, как и величайшие бестии, так самый маленький альманах муз подчас содержит в себе громадное множество мелких стихоплетов, которые представляются внимательному исследователю не менее интересными, чем величайшие слоны литературы. Воистину велик господь!

Современные историки литературы действительно представляют историю литературы в виде благоустроенного зверинца и показывают нам в отдельных клетках различные породы поэтов: эпических млекопитающих, лирических воздухоплавающих, драматических водоплавающих; показывают прозаических амфибий, сочиняющих как морские, так и сухопутные романы, юмористических моллюсков и т. д. Напротив, другие излагают историю литературы прагматически, начиная с первичных чувств человечества, как они развивались в различные эпохи и, наконец, воплотились в форме искусства; они начинают *ab ovo*,<sup>1</sup> как историк, предваряющий повествование о троянской войне рассказом о яйце Леды. И они поступают так же глупо, как он. Ибо я убежден, что если бы яйцо Леды употребить на яичницу, то все же Гектор и Ахилл встретились бы у Скейских ворот и рыцарски схватились бы друг с другом. Великие события и великие книги возникают не из мелочей, они неизбежны, они находятся в зависимости от круговоротов солнца, луны и звезд, быть может возникают вследствие их влияния на землю. Факты суть только следствия идей... Но почему в известные времена известные идеи приобретают столь могущественное значение, что они чудеснейшим образом преобразуют всю жизнь людей, их мечты и их помыслы, их размышления и их писания? Быть может, настало время написать литературную астрологию и объяснить появление определенных идей или определенных книг, в которых эти идеи раскрываются, положением звезд.

<sup>1</sup> С самого начала (буквально: от яйца) (*лат.*).

Или, быть может, расцвет известных идей соответствует лишь потребностям людей в данный момент? Или они ищут всегда только те идеи, которые могут оправдать их преходящие желания? В самом деле, люди, по глубочайшему существу своему, сплошь доктринеры; они всегда умеют найти доктрину, оправдывающую все их самоограничения или пожелания. В тяжелые, скудные дни, когда радость сделалась более или менее недостижимой, они исповедуют догмат воздержания и утверждают, что земной впоноград зелен; но когда времена становятся благополучнее и люди получают возможность протянуть руку к прекрасным плодам этого мира, тогда на свет появляется веселая доктрина, требующая от жизни всей ее сладости и полного, неотъемлемого права на наслаждение.

Близится ли конец христианского поста и занялась ли уже розовая заря века радости? Какую будущность создаст доктрина радости?

В груди писателей каждого народа уже запечатлен образ его будущего, и критик, которому удалось бы анатомировать одного из новейших поэтов достаточно острым ножом, мог бы легко, как по внутренностям жертвенного животного, пророчески предсказать, какой облик в дальнейшем примет Германия. С великим удовольствием я, в качестве некоего литературного Калхаса, критически заклад бы с этой целью нескольких наших юных поэтов, если бы не боялся, что увижу в их внутренностях много такого, о чем не посмею здесь говорить. Дело в том, что нашу новейшую немецкую литературу невозможно обсуждать, не вдаваясь в дебри политики. Во Франции, где представители художественной литературы стараются отойти от современного политического движения даже больше, чем это уместно, быть может удастся судить о современных художниках, оставляя при этом в стороне современность. Но по ту сторону Рейна писатели страстно увлекаются политическим движением, в отдалении от которого они держались так долго. Вы, французы, в течение последних пятидесяти лет постоянно были на ногах и поэтому устали; мы, немцы, наоборот, сидели до сих пор у письменного стола и комментировали старых классиков и хотели бы слегка поразмяться.

Те же самые, указанные мною выше причины мешают мне отдать должное писателю, о котором г-жа де Сталь

сделала лишь несколько беглых замечаний, но на которого с тех пор обращено особое внимание французских читателей благодаря остроумным статьям Филарета Шаля. Я говорю о Жан-Поло-Фридрихе Рихтере. Его называли единственным. Превосходное определение, которое я вполне могу оценить лишь теперь, после тщетного размышления о том, какое место в истории литературы следовало бы ему отвести. Он выступил почти одновременно с романтической школой, ни в малейшей степени не принимая в ней участия; столь же мало общался он впоследствии с художественной школой Гете. Он стоит совершенно обособленно среди своего времени именно потому, что он, в противоположность обшим этим школам, целиком отдался своему времени и сердце его было пренеполнено им. Его сердце и его сочинения составляли одно целое. Это свойство, эту цельность мы находим также у писателей нынешней «Молодой Германии», которые тоже не хотят различать между жизнью и писательством, которые никогда не отделяют политики от науки, искусства от религии и которые одновременно являются художниками, трибунами и апостолами.

Да, я повторяю слово «апостолы», потому что не знаю более подходящего слова. Новая вера одушевляет их страстностью, о которой писатели предыдущего периода не имели никакого представления. Это вера в прогресс, вера, пронзающая из знания. Мы измерили страны, взвесили силы природы, исчислили средства промышленности — и вот мы нашли, что эта земля достаточно велика; что каждому она предоставляет достаточно места, чтобы построить хижину своего счастья; что эта земля может всех нас пристойно прокормить, если мы все будем работать и никто не вздумает жить на счет другого; и что мы не имеем необходимости указывать самому многочисленному и самому бедному классу на небеса. Правда, этих знающих и верующих еще не так много. Но настало время, когда народы будут исчисляться не по числу голов, а по числу сердец. И разве великое сердце одного Генриха Лаубе не стоит гораздо больше, чем целый зверинец Раупахов и комедиантов?

Я назвал имя Генриха Лаубе, ибо как мог бы я говорить о «Молодой Германии», не упомянув о великом, пламенном сердце, сверкающем в ней ярче других. Генрих

Лаубе, один из писателей, выступивших после Июльской революции, имеет для Германии социальное значение, которое еще не может быть вполне измерено. Он обладает всеми достоинствами, какие мы находим у писателей предыдущего периода, и соединяет с ними апостольский пыл «Молодой Германии». При этом его мощная страстность смягчена и просветлена высоким художественным чутьем. Он воодушевлен прекрасным столько же, сколько и добрым; у него тонкий слух и острый глаз для благородной формы, и пошлые натуры противны ему даже тогда, когда полезны родине в качестве бойцов за благие убеждения. Этот художественный вкус, свойственный ему, предохранил его также от великого заблуждения той патристической черни, которая все еще не перестает хулить и поносить нашего великого учителя Гете.

В этом отношении величайшей похвалы заслуживает также другой писатель новейшего времени, г-н Карл Гуцков. Если я упомянул о нем лишь после Лаубе, то это отнюдь не потому, чтобы я считал его менее даровитым, и еще меньше потому, чтобы его устремления были мне не так близки; нет, и за Карлом Гуцковым я должен признать прекраснейшие качества творческой силы и художественного понимания, и его произведения также радуют меня надлежащим проникновением в смысл нашего времени и его требований; однако во всем, что пишет Лаубе, господствует всеобъемлющее спокойствие, гордое величие, тихая уверенность, лично меня трогające глубже, чем живописная, красочная, пестрая и остро-пикантная подвижность духа Гуцкова.

Г-ну Карлу Гуцкову, душа которого исполнена поэзии, пришлось своевременно, как и Лаубе, решительнейшим образом отмежеваться от фанатиков, поносивших нашего великого учителя. То же самое относится к г-дам Л. Винбаргу и Густаву Шлезнеру, двум новейшим весьма выдающимся писателям, мимо которых я не могу пройти здесь, поскольку речь идет о «Молодой Германии». Они действительно заслуживают быть названными среди ее корифеев, и имена их пользуются доброй славой на их родине. Здесь не место подробно останавливаться на их дарованиях и деятельности, я и так слишком отдалился от моей темы; скажу только еще несколько слов о Жап-Поле.

Я упомянул уже, что Жан-Поль-Фридрих Рихтер по основному своему направлению был предшественником «Молодой Германии». Последняя, однако, под давлением практических требований жизни, сумела уберечься от странной запутанности, причудливого изложения и неудобоваримого стиля сочинений Жап-Поля. Ясная, благоустроенная французская голова никогда не сможет составить себе никакого понятия об этом стиле. Периоды Жап-Поля состоят из маленьких комнатушек, иногда настолько тесных, что когда там сталкивается одна идея с другой, то обе разбивают себе головы; потолок здесь покрыт крючками, на которых Жан-Поль развешивает всевозможные мысли, а по стенам устроены потайные ящички, куда он прячет чувства. Ни один немецкий писатель не является обладателем столькох мыслей и чувств, как он, но он никогда не дает им дозреть, и со всем богатством своего духа и своей сердечности не столько доставляет нам удовольствие, сколько нас изумляет. Мысли и чувства, которые разрослись бы в целые исполинские деревья, если бы он дал им возможность пустить корни и распространиться со всеми своими ветвями, цветами и листьями, он вырывает, едва они стали маленьким растеньицем, а часто даже еще в зародыше, и целые заросли духа подает он нам, таким образом, в простой миске, в качестве салата. Это необыкновенное, неудобоваримое блюдо; ибо не всякий желудок способен переварить в таком количестве молодые дубы, кедры, пальмы и бананы. Жан-Поль — великий поэт и философ, но нельзя быть более антихудожественным, чем он в своем творчестве и мышлении. Он создал в своих романах истинно поэтические образы, но все эти порождения влачат за собой нелепую длинную пуповину и путаются и давятся в ее петлях. Вместо мыслей он, собственно, предлагает нам самый процесс своего мышления, мы видим материальную деятельность его мозга; он предлагает нам, так сказать, скорее мозг, чем мысли. По всем направлениям скачут при этом его остроты, блохи его разгоряченного ума. Это самый веселый и в то же время самый сентиментальный писатель. Да, сентиментальность всякий раз одолевает его, и смех его внезапно превращается в плач. Иногда он надевает маску грубого нищего, но потом вдруг, подобно принцу инкогнито, каких мы видим на сцене, расстегивает

грубый балахон, и мы обнаруживаем сверкающую звезду.

В этом Жан-Поль вполне сходен с великим ирландцем, с которым его часто сравнивали. Автор «Тристрама Шенди», впадая в самые грубые тривиальности, тоже умеет вдруг возвышенными переходами напомнить о своем царственном достоинстве, о своем равенстве по рождению с Шекспиром. Подобно Лоренсу Стерну, и Жан-Поль в своих сочинениях предоставил в наше распоряжение свою собственную личность, он тоже раскрылся нам в своей человеческой наготе, но с известной неловкой застенчивостью, особенно в половом отношении. Лоренс Стерн предстает перед публикой нагишом — он совершенно раздет; у Жан-Поля, наоборот, всего-навсего дырявые штаны. Несомнительно полагают некоторые критики, что у Жан-Поля было больше истинного чувства, чем у Стерна, потому что последний, как только предмет, трактуемый им, достигает трагической вершины, внезапно перескакивает на самый шуточный, самый смеющийся тон, тогда как Жан-Поль, едва шутка стала чуть-чуть посерьезней, понемногу начинает скулить и спокойно дает своим слезным железам освободиться от влаги. Нет, чувства Стерна были, быть может, еще глубже, чем чувства Жан-Поля, ибо он поэт более великий. Как я уже сказал, он равен Вильяму Шекспиру, и его, Лоренса Стерна, также воспитали музы на Парнасе. Но, по женскому обычаю, они своими ласками рано испортили его. Он был баловнем бледной богини трагедии. Однажды в припадке жестокой нежности она стала целовать его юное сердце так сильно, так страстно, так любовно, что оно начало истекать кровью и вдруг постигло все страдания этого мира и исполнилось бесконечною жалостью. Бедное юное сердце поэта! Но младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шуток, быстро подбежала к ним и, схватив опечаленного мальчика на руки, постаралась развеселить его смехом и пеннем, и дала ему вместо игрушки комическую маску и шутовские бубенцы, и ласково поцеловала его в губы, и запечатлела на них все свое легкомыслие, всю свою озорную веселость, все свое шаловливое остроумие.

И с тех пор сердце и губы Стерна впали в странное противоречие: когда сердце его бывает трагически взвол-



новано и он хочет выразить свои самые глубокие, истекающие кровью задушевные чувства, с его уст, к его собственному изумлению, со смехом слетают самые забавные слова.

#### IV

В средние века в народе существовало поверье, что когда собираются построить здание, то необходимо зарезать что-нибудь живое и на крови его заложить первый камень: тогда здание будет стоять твердо и нерушимо. Произошло ли это поверье из древнеязыческого суеверия, что благосклонность богов приобретает кровавыми жертвами, или оно было извращением христианского учения об искуплении, породившем представления о чудесной силе крови, об освящении кровью, об этой вере в кровь, — все равно: оно господствовало, и в песнях и преданиях живут страшные рассказы о том, как резали детей или животных, для того чтобы их кровью укреплять великие сооружения. В наши дни человечество стало умнее; мы не верим больше в волшебную силу крови, будь то кровь дворянина или бога, — толпа верит только в деньги. Заключается ли нынешняя религия в превращении бога в деньги или в превращении денег в бога? Так или иначе, люди верят только в деньги; только чеканному металлу, серебряным и золотым святым дарам приписывают они волшебную силу; деньги — начало и венец всех их деяний, и если им предстоит воздвигнуть здание, то они более всего заботятся о том, чтобы под фундамент было положено несколько золотых, ящичек с разными монетами.

Да, подобно тому как в средние века все — начиная от отдельных сооружений и кончая государственным и церковным зданием в целом — покоилось на вере в кровь, так все наши нынешние учреждения покоятся на вере в деньги, в настоящие деньги. Там господствовало суеверие, здесь — эгоизм голого чистогана. Первое было разрушено разумом, второе будет разрушено чувством. Основы человеческого общества станут со временем лучше, и все великие сердца Европы заняты мучительными поисками этого нового, лучшего фундамента.

Быть может, некоторых немецких поэтов романтической школы, честных в своих исканиях, впервые при-

нудило бежать от современной действительности и стремиться к возрождению средневековья недовольство нынешней религией денег, отвращение к эгоизму, чей чудовищный оскал всюду их преследовал. Это относится, вероятно, прежде всего к тем, которые не принадлежали собственно к школе. В последнюю входили писатели, разобранные мною во второй книге каждый в отдельности, после того как в первой я сказал о романтической школе вообще. Лишь то историческое значение, которое они имеют, а не их ценность по существу, заставило меня говорить впервые и подробно об этих участниках школы, действовавших совместно. Меня поймут поэтому, если о Захарии Вернере, бароне де ла Мотт-Фуке и г-не Людвиге Уланде я говорю позднее и более кратко. С точки зрения их значения эти три писателя, наоборот, заслуживали бы гораздо более подробного обсуждения и оценки. Ибо Захария Вернер был единственным драматургом школы, пьесы которого исполнялись в театре и вызывали рукоплескания партера. Г-н барон де ла Мотт-Фуке был единственным эпическим поэтом школы, романы которого нравились всем читателям. И г-н Людвиг Уланд — единственный лирик школы, песни которого проникли в сердца широких масс и до сих пор еще живут в устах людей.

В этом отношении указанные три поэта выше г-на Людвиг Тика, о котором я отозвался как об одном из лучших писателей школы. Дело в том, что г-н Тик, хотя театр — его конек и хотя он с детства до нынешнего дня занимался актерским миром и всеми его мелочами, все же никогда не умел волновать людей со сценических подмостков, как это удавалось Захарии Вернеру. Г-ну Тику всегда приходилось иметь свой домашний партер, которому он самолично декламировал свои произведения и на рукоплескания которого мог рассчитывать с уверенностью. В то время как г-на де ла Мотт-Фуке с одинаковым удовольствием читали все — от герцогини до прачки — и он был солнцем всех библиотек для чтения, г-н Тик был только астральной лампой эстетических чаепитий, участники которых при свете его поэзии с совершенным спокойствием попивали чай под чтение его повелл. Сила этой поэзии выступала тем ярче, чем больше она контрастировала с водянистым чаем, и в Берлине, где принято пить

самый жидкий чай, г-н Тик должен был казаться одним из самых сильных поэтов. Между тем как песни нашего превосходного Уланда раздавались в лесах и долинах, между тем как до сих пор их еще орут неистовые студенты и шепчут нежные девушки, ни одна песня г-на Тика не проникла в нашу душу, ни одна песня г-на Людвига Тика не сохранилась в наших ушах, и широкая публика не знает ни одной песни этого великого лирика.

Захария Вернер родился в Кенигсберге, в Пруссии, 18 ноября 1768 года. Его связь со Шлегелями была не личной близостью, но лишь сочувствием на расстоянии. Он издали понял, чего они добиваются, и сделал все возможное, чтобы творить в их духе. В возрождении средневековья его могла вдохновить, однако, лишь одна сторона, а именно иерархически-католическая; феодальная сторона не так волновала его душу. На этот счет его земляк Т.-А. Гофман дает в «Серапионовых братьях» любопытное объяснение. Он рассказывает здесь, что мать Вернера была душевнобольная и во время беременности вообразила, что она богородица и должна родить спасителя. Дух Вернера носил всю жизнь родимое пятно этого религиозного безумия. Во всех его произведениях мы находим самый чудовищный религиозный бред. Только «Двадцать четвертое февраля» свободно от него и принадлежит к самым ценным созданиям нашей драматической литературы. На сцене оно вызвало больше восторга, чем все прочие пьесы Вернера. Другие его драматические произведения меньше нравились толпе, потому что у поэта, при всей его своеобразной мощи, недоставало знакомства с условиями театра.

Биограф Гофмана, господин уголовный советник Гитциг, описал также жизнь Вернера. Добросовестный труд, столь же интересный для психолога, как и для историка литературы. Как мне недавно рассказывали, Вернер также жил некоторое время здесь, в Париже, где особым расположением его пользовались перипатетические философы, гулявшие тогда по вечерам в блестящих нарядах по галереям Пале-Рояля. Они постоянно бегали за ним и дразнили его и высмеивали его комическую одежду и его еще более комические манеры. То было доброе старое время! Увы, так же, как Пале-Рояль, изменился впоследствии и Захария Вернер: угас последний огонь

желаний в душе омраченного человека, в Весе он вступил в орден лигорианцев и в соборе св. Стефана читал проповеди о ничтожестве всего земного. Он открыл, что все на земле есть суета сует. Пояс Венеры, утверждал он теперь, есть лишь отвратительная змея, а величавая Юнона носит под белым одеянием пару замшевых, не совсем чистых ямщицких штанов. Патер Захария теперь бичевал себя, постился и неистовствовал, обличая нашу закоренелую страсть к мирским наслаждениям. «Да будет проклята плоть!» — кричал он так громко и с таким резким восточнопрусским акцентом, что статуи святых содрогались в соборе и венские гризетки премило улыбались. Кроме этой важной новости, он постоянно сообщал во всеуслышание, что он великий грешник.

При ближайшем рассмотрении мы видим, что этот человек всегда оставался последовательным, с тою лишь разницей, что в былые времена он только воспевал то, что осуществил впоследствии. Герои большинства его драм — это уже монашески отрекающиеся от мира влюбленные, аскетические сладострастники, открывшие в воздержании утонченное блаженство, истязанием плоти спиритуализирующие свою жажду наслаждения, ищущие в глубинах религиозной мистики самых жутких упоений, святые распутники.

Незадолго до смерти в Вернере вновь пробудилось тяготение к драматическому творчеству, и он написал еще одну трагедию, под заглавием «Мать Маккавеев». Здесь, однако, дело было не в том, чтобы расцветить романтическими шутками мирскую серьезность жизни; для священного сюжета он избрал и церковный торжественный тон; ритмы, торжественно размеренные, подобно колокольному перезвону, движутся медленно, как крестный ход в страстную пятницу; все в целом — это палестинская легенда в форме греческой трагедии. Пьеса имела ничтожный успех у людей здесь, внизу, на земле; пришла ли она больше по вкусу ангелам на небесах — этого я не знаю.

Однако патер Захария умер вскоре после этого, в начале 1823 года, после пятидесятичетырехлетнего скитания по этой грешной земле.

Оставим покойника почивать в мире и обратимся ко второму поэту романтического триумvirата. Это пре-восходный писатель, барон Фридрих де ла Мотт-Фуке,

родившийся в Бранденбургской марке в 1777 году и получивший университетскую кафедру в Галле в 1833 году. Прежде он состоял майором на королевской прусской военной службе и принадлежит к тем героям песен или к тем певцам героев, лира и меч которых громче всего звучали во время так называемой освободительной войны. Его лавры подлинны. Это настоящий поэт, и ореол поэзии осеняет его голову. Немногие писатели пользовались столь всеобщим признанием, как некогда наш превосходный Фуке. Теперь он имеет читателей только в лице абонентов библиотек для чтения. Но публика эта все же достаточно многочисленна, и г-н Фуке может похвалиться тем, что он единственный представитель романтической школы, сочинения которого пришли по вкусу также низшим классам. В то время как на эстетических «чашках чая» в Берлине принято было морщиться при упоминании об опустившемся рыцаре, я в одном маленьком городке в Гарце встретился с прехорошенькой девушкой, которая с восхитительным воодушевлением говорила о Фуке и, краснея, признавалась, что охотно отдала бы год жизни за возможность хотя бы один раз поцеловать автора «Ундины». А у этой девушки был самый прелестный рот, какой мне приходилось видеть.

Но что за чудесная поэма эта «Ундина»! Сама поэма есть поцелуй: гений поэзии поцеловал спящую весну, и весна, улыбаясь, раскрыла глаза, и все розы заблагоухали, и все соловьи запели, и благоухание роз и пение соловьев наш милейший Фуке облек в слова и назвал все это «Ундиной».

Не знаю, переведена ли эта повесть на французский язык. Это история о прекрасной водяной фее, лишенной души, получившей душу лишь благодаря тому, что она влюбилась в рыцаря... Но, увы, вместе с этой душой ей достались и наши человеческие страдания. Ее рыцарственный супруг изменил ей, и она зацеловала его насмерть. Ибо смерть в этой книге тоже только поцелуй.

В этой Ундине можно видеть музу поэзии Фуке. Хотя красота ее беспредельна, хотя она страдает точно так же, как мы, и земные скорби точно так же удручают ее, она все же не принадлежит к человеческой породе. Между тем наше время отталкивает от себя всякие воздушные и водяные создания, даже самые прекрасные, оно требует

подлинно жизненных образов, и меньше всего требует оно русалок, влюбленных в высокородных рыцарей. В этом все дело. Ретроградное направление, неустанные восхваления родовой знати, непрерывное возвеличение старого феодализма, вечная возня с рыцарством в конце концов опротивели немецкой публике из среды образованного бюргерства, и она отвернулась от несвоевременного певца. В самом деле, это постоянное воспевание рыцарских доспехов, боевых коней, владелиц замков, достопочтенных цеховых мастеров, карликов, оруженосцев, замковых часовен, любви, веры — и как там еще называется вся эта средневековая ветошь — в конце концов стало нам в тягость; и когда остроумный идальго Фридрих де ла Мотт-Фуке еще глубже погрузился в свои рыцарские книги и в грезах о прошлом утратил понимание современности, то даже его лучшие друзья, качая головой, отвернулись от него.

Сочинения, написанные им в эту позднейшую эпоху, псевдобочитаемы. Недостатки его прежних произведений доведены здесь до крайности. Его рыцарские образы состоят исключительно из железа и чувств; у них нет ни плоти, ни разума. Его женские портреты — это только картинки, или, вернее, только куклы, золотые кудри которых изящно ниспадают на миловидные личики-цветочки. Подобно сочинениям Вальтер Скотта, рыцарские романы Фуке напоминают тканые обои, которые мы называем гобеленами и которые пышностью рисунка и роскошью красок больше восхищают наш глаз, чем нашу душу. Рыцарские торжества, пастушеские игры, поединки, старинные одежды, столь мило перемешанные, — все это занимательно, но лишено сколько-нибудь глубокого смысла и представляет собой одну лишь пеструю поверхность. У подражателей Фуке, как и у подражателей Вальтер Скотта, эта манера изображать вместо внутренней природы человека и предметов только их внешность и наряд получила еще более плачевное развитие. Этот плоский стиль и легкие приемы изображения свирепствуют теперь в Германии, равно как в Англии и во Франции. И даже тогда, когда произведение посвящено не прославлению рыцарских времен, а нашей современности, — это все еще та же прежняя манера, вместо существа явлений схватывающая только случайные черты. Вместо

знания человека наши новые романисты обнаруживают лишь знание одежды, руководствуясь, быть может, пословицей: «Платье делает человека». Совсем не так было у старых романистов, особенно у англичан. Ричардсон дает нам анатомию чувства. Голдсмит прагматически рассматривает душевные побуждения своих героев. Автор «Тристрама Шенди» изображает сокровеннейшие глубины души; он открывает в душе просвет, дает заглянуть в ее бездны, в ее рай и в грязные уголки и вновь опускает завесу. Мы смотрели на этот удивительный театр из зрительного зала, освещение и перспектива произвели на нас соответственное действие, и так как мы, казалось, видели бесконечное, то и чувства наши расширились до бесконечности, стали поэтическими. Наоборот, Филдинг сразу ведет нас за кулисы: он показывает нам фальшивые рюмяна на всех чувствах, грубейшие пружины нежнейших поступков, показывает канифоль, которая в дальнейшем сверкает молнией воодушевления, литавры с мирно покоящейся на них палочкой, которая в дальнейшем своими ударами вызовет к жизни могучее грохотание страсти; одним словом, он показывает нам весь тот внутренний механизм, ту великую ложь, благодаря которой люди кажутся нам не тем, что они есть в действительности, и из-за которой исчезает всякая радостная реальность жизни. Но не к чему брать в пример англичан, когда наш Гете в своем «Вильгельме Мейстере» представил нам лучший образец романа.

Имя романам Фуке — легион; он один из самых плодотворных писателей. Особенно хвалебного упоминания заслуживают «Волшебное кольцо» и «Тиодольф Исландец». В его стихотворных драмах, не предназначенных для сцены, скрываются большие красоты. Особенно смелым произведением является «Сигурд-Драконоубийца», где отражено древнескандинавское героическое предание и характерный для него мир великанов и волшебства. Главный герой драмы Сигурд — исполинский образ. Он могуч, как норвежские скалы, и неукротим, как море, бушующее вокруг них. У него отваги хватит на сотню львов, а ума — на пару ослов.

Г-н Фуке писал также песни. Они — сама прелесть. Они так легки, так пестры, так переливчаты, так весело порхают: это очаровательные лирические колибри.

Но истинный поэт песен — г-н Людвиг Уланд, родившийся в Тюбингене в 1787 году и проживающий ныне в Штутгарте в качестве адвоката. Этот писатель написал том стихов, две трагедии и два сочинения: о Вальтере фон дер Фогельвейде и о французских трубадурах. Это небольшие исторические исследования, свидетельствующие о прилежном изучении средних веков. Трагедии называются «Людвиг Баварский» и «Герцог Эрнст Швабский». Первой я не читал; она, как говорили мне, и не считается лучшей. Вторая же заключает высокие красоты и радуется благородством чувств и достоинством помышлений. В ней вест сладостное дыхание поэзии, которого никогда не находишь в пьесах, встречающих теперь на нашей сцене такое одобрение. Немецкая верность — тема этой драмы, и здесь, могучая, как дуб, противостоит она всем бурям; едва заметная, вдали расцветает немецкая любовь, но ее фиалковое благоухание так трогательно, что оно тем сильнее проникает в наше сердце. В этой драме, или, вернее, в этой песне, есть места, принадлежащие к прекраснейшим жемчужинам нашей литературы. Но театральная публика, тем не менее, отпелась к пьесе равнодушно или, скорее, отрицательно. Не стану слишком порицать за это добрых людей из партера. У них есть определенные потребности, и они ждут, чтобы поэт удовлетворил их. Создания поэта должны соответствовать не влечениям его собственного сердца, но желаниям публики. Последняя совершенно похожа на голодного бедуина в пустыне, который, найдя мешок, думал, что это горох, поспешил раскрыть его, но, увы, там оказался только жемчуг. Публика с наслаждением поглощает сухие горошины г-на Раупаха и скверные бобы мадам Бирх-Пфейфер; жемчуг Уланда кажется ей несъедобным.

Так как французы, по всей вероятности, не имеют понятия о том, кто такие мадам Бирх-Пфейфер и г-н Раупах, то я должен здесь сообщить, что это — божественная пара, существующая вместе, подобно брату и сестре, Аполлону и Диане, и что в храмах нашего драматического искусства их чтят более других. Да, г-на Раупаха в той же мере можно сравнить с Аполлоном, как мадам Бирх-Пфейфер с Дианой. Что касается их действительного положения, то последняя служит в Вене



в качестве артистки австрийского императорского театра, а первый — в Берлине в качестве поэта при прусском королевском театре. Названная дама написала уже множество драм, в которых сама выступаст. Не могу не упомянуть по этому случаю об одном явлении, которое покажется французам почти невероятным: значительная часть наших актеров в то же время драматурги и сами пишут для себя свои пьесы. Говорят, это бедствие вызвано одним неосторожным заявлением г-на Людвига Тика. В одной из своих критических статей он заметил, что актеры всегда лучше играют в плохих пьесах, чем в хороших; опираясь на эту аксиому, толпы актеров схватились за перья и написали великое множество трагедий и комедий, так что иногда нам трудно решить, сочинил ли тщеславный комедиант свою пьесу преднамеренно скверно, чтобы хорошо играть в ней, или, наоборот, он играл скверно в такой самодельной пьесе для того, чтобы уверить нас, что пьеса хороша. Актер и поэт, до сих пор состоявшие в известной коллегияльной связи (приблизительно как палач и его жертва), вступили теперь в открытую вражду. Актеры старались совершенно вытеснить поэтов из театра под предлогом, что те ничего не понимают в требованиях подмостков, не понимают ничего в сильных эффектах и театральных трюках, которые актеры практически изучили и умеют применять в своих пьесах. Актеры, или, как они охотнее называют себя, артисты, выступали поэтому преимущественно в своих собственных произведениях или по крайней мере в произведениях, написанных кем-либо из их братии, то есть таким же артистом. И действительно, эти пьесы вполне соответствовали их потребностям; здесь находили они свои излюбленные костюмы, свою поэзию, одетую в трико телесного цвета, свои уходы под аплодисменты, свои традиционные гримасы, свои мишурные выражения, всю свойственную им напыщенность богемы: язык, на котором говорят только на сцене, цветы, растущие только на этой лживой почве, плоды, вызревающие только в свете рампы, природу, над которой проносятся дыхание не господина бога, но суфлера, приступы бешенства, сотрясающие кулисы, нежную печаль под рокочущие переливы флейты, парумяненную певичность, одобренную пороком, казенные чувства, соразмерные с месячным окладом, фанфары туша и т. д.

Таким образом, актеры в Германии эмансипировались как от поэтов, так и от самой поэзии. Только посредственности разрешают они еще выступать в их области. Но строго следят они при этом, чтобы в плаще посредственности не проник к ним ни один истинный поэт. Через сколько испытаний пришлось пройти г-ну Раупаху, прежде чем ему удалось стать твердой ногой на театральных подмостках! И теперь еще они зорко наблюдают за ним, и когда случается ему написать пьесу не окончательно плохую, то он вынужден из страха перед остракизмом комедиантов тут же поскорей изготовить дюжицу образчиков самой жалкой стряпни. Вас удивляет слово «дюжица»? С моей стороны тут нет никакого преувеличения. Этот человек способен в самом деле ежегодно писать по дюжине драм, и его производительность вызывает изумление. Но «здесь нет никакого колдовства», — говорит Янтъен Амстердамский, знаменитый фокусник, когда мы удивляемся его фокусам: «Никакого колдовства, а одна только ловкость рук».

Преуспеяние г-на Раупаха на немецкой сцене имеет, впрочем, еще одну особую причину. Этот писатель, немец по рождению, прожил много лет в России, там он закончил свое образование, и в поэзию его посвятила муза москвитов. Эта муза, красавица в соболях с восхитительно вздернутым носиком, поднесла нашему поэту полную водочную чару вдохновения, повесила на его плечи колчан с киргизскими стрелами остроумия и дала ему в руки трагический кнут. Как потряс он нас, когда впервые ударил им по нашим сердцам! Странность всего его облика немало должна была пзумить нас. Этот человек, конечно, не пришелся нам по вкусу в культурной Германии; но его сарматское неистовство, его неуклюжая подвижность, какая-то ворчливая решительность во всех его поступках ошеломили публику. Свособразное зрелище во всяком случае представлял собой г-н Раупах, который мчался на своем славянском Пегассе, маленьком резвом копылке, по степям поэзии, подложив, согласно настоящему башкирскому обычаю, свои драматические сюжеты под седло, где они и дозревали. Это встретило одобрение в Берлине, где, как вам известно, радушно принимаются все русское; г-ну Раупаху удалось здесь утвердиться, он сумел договориться с актерами, и с некоторого времени, как я уже сказал, в храме драматического искусства Аполлон

Раупах, рядом с Дианой Бирх-Пфейфер, почитаем как божество. Тридцать талеров получает он за каждый акт, написанный им, и пишет сплошь шестиактные пьесы, именуя первый акт прологом. Всевозможные сюжеты подкладывал он уже под седло своего Пегаса и, сидя на них, доводил до полной готовности. Ни один герой не может считать себя гарантированным от этой трагической участи. Даже Зигфрида, убийцу дракона, ему удалось подложить под свое седло. Муза немецкой истории в отчаянии. Подобно Ниобее, в мрачной скорби взирает она на своих благородных детей, так чудовищно обработанных Раупахом-Аполлоном. О Юпитер! Он осмелился даже поднять руку на Гогенштауфенов, наших старых излюбленных швабских императоров! Мало того, что г-н Фридрих Раумер исторически заклал их, теперь их освежал для сцены г-н Раупах. Деревянные фигуры Раумера он покрывает сапожной кожей своей поэзии, своей русской юфтью, и самый вид таких карикатур и их зловоние в конце концов отравляют нам воспоминание о прекраснейших и благороднейших императорах немецкого отечества. И полиция не препятствует такому кощунству? Чего доброго, она сама принимает в этом участие. Новые восходящие династии не любят воспоминаний в народе о старых императорских родах, место которых им хотелось бы занять. Не Иммерману, не Граббе и даже не Ихтрицу, а именно г-ну Раупаху берлинская театральная дирекция закажет Барбаросу. Но строго запрещено г-ну Раупаху засовывать под седло кого-нибудь из Гогенцоллернов, и вздумай он когда-нибудь сделать это, его немедленно отправят вместо Геликона в кутузку.

Ассоциация идей по контрасту виной тому, что, решив говорить о г-не Уланде, я внезапно перешел на г-на Раупаха и мадам Бирх-Пфейфер; но хотя эта божественная пара — и притом наша театральная Диана еще значительно меньше, чем наш театральный Аполлон, — и не принадлежит к подлинной литературе, я все же должен был сказать о них, поскольку они представляют нынешний мир подмостков. Во всяком случае я считал своим долгом перед нашими подлинными поэтами хотя бы в немногих словах рассказать в этой книге о том, что представляют собой те люди, которые узурпировали у нас господство над сценой.

Одно затруднение смущает меня в это мгновение. Я не могу обойти молчанием собрание стихотворений г-на Людвига Уланда, а между тем мое теперешнее настроение отнюдь не благоприятствует беседе о них. Молчание могло бы показаться здесь трусостью или вероломством, а честная откровенность могла бы быть истолкована как недостаток любви к ближнему. Действительно, та степень восторга, которой я сейчас располагаю, едва ли удовлетворит близких и дальних родственников Уландовой музы и прихлебателей его славы. Но я прошу вас принять во внимание место и время, когда пишутся эти строки. Двадцать лет тому назад, когда я был мальчиком, — да, тогда было дело другое, — с каким необузданным восторгом мог бы я тогда славить Уланда! Я ощущал в то время его прелесть, пожалуй, сильнее, чем теперь; он был мне ближе по чувствам и помыслам. Но с тех пор произошло столько событий! То, что мне представлялось таким великолепным, весь этот мир кургузности и католичества, эти рыцари, рубящие и колющие друг друга на аристократических турнирах, эти кроткие пажы и целомудренные знатные дамы, эти северные витязи и миннезингеры, эти монахи и монахини, эти прародительские склепы с их таинственной жутью, эти бледные чувства, говорящие о самоотречении под звон колоколов, это вечное тоскливое нытье, — как все это опротивело мне с тех пор! Да, не то было прежде. Как часто сидел я на развалинах старого замка в Дюссельдорфе на Рейне и декламировал лучшую из песен Уланда:

Шел пастушок весенним днем  
У королевского дворца,  
Принцесса глянула — огнем  
Зарделись их сердца.

«О, если б мне в весенний зной  
К тебе спуститься с высоты!  
Как овцы блещут белизной,  
Алеют как цветы!»

А он: «О да, побудь со мной,  
Направь ко мне свой легкий шаг!  
Как руки блещут белизной,  
Алеют щеки как!»

И с болью в сердце по утрам  
Он появлялся у окна,  
И ввысь глядел, и видел: там  
Ждала его она.

«Принцессе милой шлю привет!» —  
Взывал он, строен и высок,  
И голос сладостный в ответ:  
«Спасибо, пастушок!»

Смешла вновь весна веспу,  
Цветы алеют по лугам,  
Пастух является к окну,  
Но нет принцессы там.

«Принцессе милой шлю привет!» —  
Кричит он, чуя горький рок,  
И голос призрачный в ответ:  
«Прощай, мой пастушок!»<sup>1</sup>

Когда я сживал, бывало, на развалинах старого замка и декламировал эту песню, мне чудилось, что русалки, живущие в водах Рейна, который там протекает, передразнивают мои слова и из воли раздаются стоны и воздыхания, полные комического пафоса:

И голос призрачный в ответ:  
«Прощай, мой пастушок!»

Но я не смущался такими проказами русалок даже тогда, когда они иронически хихикали в ответ на лучшие места из стихотворений Уланда. Это хихиканье я относил в ту пору к себе, особенно под вечер, когда спускался мрак, и я декламировал, несколько повысив голос, чтобы тем победить таинственный ужас, внушаемый мне развалинами замка. Дело в том, что существует предание, будто там по ночам бродит дама без головы. Иногда мне чудился шелест ее длинного шелкового шлейфа, и сердце мое билось... Таково было место и время моего увлечения «Стихотворениями» Людвигу Уланда.

И снова в моих руках эта книга, но двадцать лет пропелось с тех пор; за это время я много, очень много видел и слышал и уже не верю в людей без головы, и старая чертовщина уже не производит впечатления на мою душу.

---

<sup>1</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

Дом, где я сижу теперь и читаю, находится на бульваре Монмартр; а там кипит самый бурный прибор современности, орут самые неистовые голоса нового времени; смех, брань, бой барабанов; боевым шагом проходит национальная гвардия; и все говорят по-французски. Разве это место для чтения Уланда? Трижды вновь продекламировал я конец приведенного стихотворения, но совсем не ощущаю уже больше той несказанной тоски, которая овладевала мной, когда умерла королевская дочь и прекрасный пастушок так жалобно взывал к ней: «Принцессе милой шлю привет!»

И голос призрачный в ответ:  
«Прощай, мой пастушок!»

Быть может, я несколько охладел к такого рода стихам с тех пор еще и потому, что по опыту узнал: есть любовь гораздо более мучительная, чем та, в которой никогда не осуществляется обладание любимым существом или же оно унесено смертью. В самом деле, гораздо мучительнее, когда любимое существо дни и ночи лежит в наших объятиях, но постоянным противоречием и глупейшими капризами отравляет эти дни и ночи, так что мы вынуждены оторвать от нашего сердца то, что оно более всего любит, самолично усадить проклятую любимую женщину в ночтовую карету и отправить ее...

«Принцесса милая, прощай!»

Да, мучительнее утраты, вызываемой смертью, утрата, вызываемая жизнью, — например, когда возлюбленная по безумному легкомыслию отворачивается от нас, когда ей во что бы то ни стало хочется пойти на бал, куда ни один порядочный человек не может сопровождать ее, и когда она в сумасбродно крикливом наряде и с вызывающей прической протягивает руку первому попавшемуся проходивцу и поворачивается к нам спиной...

«Прощай, мой пастушок!»

Быть может, и г-ну Уланду пришлось не лучше, чем нам. Его настроение тоже, вероятно, с тех пор несколько изменилось. Вот уж двадцать лет, как он, за немощными исключениями, не выступал с новыми стихами. Я не верю,

чтобы эта прекрасная поэтическая душа была так скупо одарена от природы и имела одну лишь весну. Нет, я объясняю себе молчание Уланда скорее противоречием, возникшим между склонностями его музыки и требованиями его политического положения. Элегический поэт, воспевавший в таких прекрасных балладах и романсах феодально-католическое прошлое, Оссиан средневековья, выступая в вюртембергском собрании сословий, сделался с тех пор ревностным представителем прав народа, смелым поборником гражданского равенства и свободы духа. Неподдельность и искренность этих демократических и протестантских убеждений г-н Уланд доказал тем, что принес им великие личные жертвы; если некогда он стяжал поэтические лавры, то теперь завоевал и дубовый венок гражданской доблести. Но именно потому, что он так честно относится к новому времени, он не мог с прежним воодушевлением петь старые песни о старых временах; и так как Пегас его был всего лишь рыцарским конем, который охотно скакал назад, в прошлое, но становился на дыбы, как только его пробовали направить вперед, в современность, то честный Уланд с улыбкой спешился, спокойно приказал расседлать и отвести норовистую лошадь в конюшню. Там она и стоит до сего дня и, подобно своему коллеге, коню Баяру, имет всевозможные достоинства и лишь один-единственный недостаток: она издохла.

От наблюдателей, более прозорливых, чем я, не укрылось, что высокий рыцарский конь со своими пестрыми попонами, украшенными гербами, и горделивыми султанами никогда по-настоящему не подходил штатскому наезднику, у которого на ногах вместо сапог с золотыми шпорами были лишь туфли и шелковые чулки, а на голове вместо шлема — шапочка тюбингенского доктора прав. По их уверениям, они открыли, что никогда и не было полной гармонии между г-пом Людвигом Уландом и его темой; что наивные, устрашающие и могучие тона средневековья он, собственно, не передает с идеализирующей правдивостью, но скорее растворяет в болезненно-сенсориальной меланхолии; что он как бы размягчил мощные звуки героического сказания и народной песни в своей задушевности, чтобы приноровить их к вкусам современной публики. И в самом деле, при внимательном

взгляде на женщины Уландовой поэзии мы видим, что это лишь прекрасные тени, воплощения лунного света, с молоком в жилах, со сладкими слезинками в очах — сладкими, то есть без соли. Когда сравниваешь Уландовых рыцарей с рыцарями старинных песен, то кажется, что они состоят из жестяных лат, в которые облечены цветы, а не мясо и кости. Оттого-то рыцари Уланда много благоуханнее для чувствительных носов, чем старые бойцы, которые ходили в толстенных железных штанах, много жрали и еще больше пили.

Но это не должно звучать как упрек. Г-н Уланд совсем не собирался представить нам немецкую старицу в точной копии; он, быть может, хотел лишь позабавить нас ее отблеском, и он доброжелательно отразил ее на туманной поверхности своего духа. Это, пожалуй, и сообщает его стихам особую прелесть и привлекает к ним любовь многих мягкосердечных и добрых людей. Образы прошлого оказывают свое волшебное действие, даже когда являются в виде туманных призраков. Борцы, ставшие на сторону нового времени, и те сохраняют постоянное тайное тяготение к преданиям старины; удивительно волнуют нас эти призрачные голоса даже в самом слабом их отзвуке. И легко понять, что баллады и романсы нашего прекрасного Уланда встречают наилучший прием не только у патриотов 1813 года, у набожных юнцов и любвеобильных девиц, но и у многих людей, жизненно более сильных и мыслящих по-новому.

Я присоединил к слову «патриоты» дату 1813 для того, чтобы отличить их от пынешних преданных друзей родины, уже не питающихся воспоминаниями о так называемой освободительной войне. Те, прежние патриоты должны с наслаждением упиваться музой Уланда, потому что большинство его стихотворений насквозь проникнуто духом их времени, того времени, когда сами они были переполнены чувствами молодости и гордых упований. Это пристрастие к стихам Уланда они передали своим последователям, и было время, когда патриотом считался всякий юнец из гимнастического кружка, если он приобрел себе томик стихов Уланда. Он находил здесь песни, лучше которых не смогли бы создать даже Макс фон Шенкендорф и Эрнст-Мориц Арндт. И в самом деле,



какого внука победоносного Арминия и светлокудрой  
Туснельды не удовлетворит такое стихотворение Уланда:

Дальше, дальше и вперед,  
Так *Россия* нас зовет:  
Вперед!  
Слышит Пруссия «вперед!»  
И другим передает:  
Вперед!  
В мощи, Австрия, воспрянь!  
За свободу с нами стань,  
Вперед!  
Ты, саксонский древний край,  
Поднимись и выступи!  
Вперед!  
Вы, баварцы, с нами в строй!  
Швабы, франки, к Рейну, в бой,  
Вперед!  
Нидерландцы, близок враг!  
Крепче меч и выше стяг!  
Вперед!  
И Швейцария за нас!  
Лотарингия, Эльзас!  
Вперед!  
К нам, Британия, прижми!  
Руку братьям протяжи!  
Вперед!  
Дальше, дальше и вперед!  
Близок радостный исход!  
Вперед!  
Зов раздался: «Выступить!»  
Дальше, доблестная рать!  
Вперед! <sup>1</sup>

Повторяю, поколение 1813 года находит в стихах г-на Уланда дух своего времени в драгоценнейшей сохранныости, и не только дух политический, но и моральный и эстетический. Г-н Уланд представляет целую эпоху, и представляет ее теперь почти единолично, так как прочие ее представители забыты и действительно нашли общее выражение в этом писателе. Тон, господствующий в песнях, балладах и романах Уланда, был тоном всех его романтических современников, и некоторые из них дали кое-что если не лучшее, то столь же хорошее. Здесь уместно воздать должное еще кое-кому из поэтов романтической школы, по материалу и манере являющим, как было упомянуто, решительное сходство с г-ном Улан-

<sup>1</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

дом, не уступая ему в поэтической значительности и отличаясь разве что меньшим мастерством формы. Действительно, какой превосходный поэт барон Эйхендорф! Песни, вплетенные им в его роман «Предчувствие и действительность», невозможно отличить от уландовских, и даже от лучших из них. Разница, пожалуй, лишь в более свежей лесной зелени и более кристальной правдивости стихов Эйхендорфа. Г-н Юстинус Кернер, почти совершенно неизвестный, также заслуживает здесь хвалебного упоминания; и он писал прекраснейшие песни в той же интонации и той же манере; он земляк г-на Уланда. То же надо сказать о г-не Густаве Швабе, поэте более известном, также уроженце швабской земли, до сих пор всякий год улаждающем нас очаровательными, благоуханными песнями. Особое дарование проявляет он в балладе, и в этой форме он превосходно воссоздал местные сказания. Равным образом должен здесь быть упомянут Вильгельм Мюллер, в расцвете радостной юности унесенный от нас смертью. В воспроизведении немецкой народной песни он совершенно созвучен с г-ном Уландом; мне кажется даже, что он в этой области иногда бывает удачливее и превосходит Уланда естественностью. Он глубже понял дух старинных песенных форм и оттого не прибегал к внешним подражаниям им; поэтому мы встречаем у него более свободное применение переходов и разумный отказ от всяких устаревших оборотов и выражений. Не могу также не напомнить здесь о забытом и неизвестном ныне покойном Ветцеле; он также был сродни по духу нашему прекрасному Уланду, которого в некоторых песнях, известных мне, он превосходит нежностью и томной глубиной. Эти песни, наполовину цветы, наполовину бабочки, увяли, потеряв аромат и краски в одном из первых выпусков «Урании» Брокгауза. Что г-н Клеменс Brentano большинство своих песен писал в том же уландовском тоне и духе, понятно само собой; оба они черпали из одного источника, из народной песни, и оба предлагают нам один и тот же напиток, с тою лишь разницей, что чаша, то есть форма, у Уланда более округлая. Адальберта фон Шамиссо мне, собственно, не приходится здесь касаться; хотя в качестве современника романтической школы он принимал участие в этом движении, сердце этого писателя так чудесно помолодело

за последнее время, что он перешел к совершенно новым тональностям, проявил себя как один из самых своеобразных и значительных современных поэтов и гораздо больше принадлежит молодой, чем старой Германии. Но в песнях его ранней поры живет то же дыхание, каким веет на нас от стихов Уланда: тот же звук, те же краски, тот же аромат, та же печаль, те же слезы... Слезы Шамиссо, быть может, трогательнее, потому что они, подобно роднику, бьющему из скалы, вырываются из гораздо более сильного сердца.

Стихотворения, написанные г-ном Уландом в южных метрических формах, точно так же глубоко родственны сонетам, ассонансам и октавам его товарищей по романтической школе, и их невозможно отличить ни по форме, ни по тону. Но, как было уже указано, большинство современников Уланда забыто вместе с их стихами, которые теперь лишь с трудом можно разыскать в старых сборниках, как «Лес поэтов», «Странствие певцов», в некоторых дамских альманахах и альманахах муз, издававшихся г-дами Фуке и Тиком, в старых журналах, особенно в «Утешительном одиночестве» Ахима фон Арпима и в «Волшебной палочке», выходившей под редакцией Генриха Штраубе и Рудольфа Христиани, в тогдашних газетах и бог знает где еще!

Г-н Уланд не отец школы, как Шиллер и Гете или какой-либо другой писатель, который благодаря своей индивидуальности умел задавать особый тон, нашедший определенный отзвук в поэзии современников. Г-н Уланд не отец, но лишь дитя школы, передавшей ему тон, равным образом не ею созданный, но с усилием выжатый ею из прежних поэтических произведений. Но в возмещение этого недостатка оригинальности и новизны поэзия г-на Уланда полна достижений столь же превосходных, сколь редких. Он гордость счастливой швабской земли, и все собратья его по немецкому языку радуются этой благородной поэтической душе. Через него подведен итог творчеству большинства его лирических товарищей по романтической школе, которую читатели любят и чтят теперь в лице одного-единственного человека. И, быть может, мы любим и чтим его теперь тем глубже, что собираемся расстаться с ним навеки.

Ах, не из легкомысленной прихоти, но подчиняясь закону необходимости пришла Германия в движение...

Благочестивая, миролюбивая Германия!.. Со скорбным взором, устремленным в прошлое, оставшееся позади, она еще раз с глубоким чувством склоняется над оставленной позади стариной, глядящей на нас со смертельной тоской из стихотворений Уланда, и целует ее на прощание. И еще один поцелуй, — так и быть, даже еще слеза! Но не будем застывать в бездейственной растроганности...

Дальше, дальше, все вперед,  
Так нас *Франция* зовет!  
Вперед!

## VI

«Посетив по прошествии многих лет гробницу, где покоились останки Карла, император Оттон III, в сопровождении двух епископов и графа фон Лаумеля (рассказавшего обо всем этом), вошел в склеп. Труп не лежал, как прочие мертвецы, но сидел прямо, как живой, на стуле. На голове была золотая корона, скипетр он держал в руках, покрытых перчатками, но ногти проросли сквозь кожу. Свод склепа был очень прочно сложен из мрамора и извести. Для того чтобы проникнуть туда, пришлось проломать отверстие; едва вошли внутрь, почувствовали острый запах. Все преклонили колена и оказали усопшему почести. Император Оттон надел на него белое облачение, обрезал ногти и приказал исправить все повреждения. Из членов ни один не сгнил, только недоставало кусочка на кончике носа; Оттон приказал сделать его из золота. Наконец, он взял изо рта Карла один зуб, повелел опять замуровать склеп и вышел. Той же ночью, говорят, явился ему во сне Карл и возвестил, что Оттон не доживет до старости и не оставит наследника».

Так рассказывают нам «Немецкие сказания». Но это не единственный пример подобного рода. Ваш король Франциск таким же образом приказал раскрыть гробницу знаменитого Роланда, чтобы лично удостовериться, был ли этот герой так исполински высок, как говорят поэты. Произошло это незадолго до сражения при Павии. Себастьян Португальский перед отъездом в Африку раскрыл могилы своих предков и созерцал мертвых королей.

Странное, жуткое любопытство, часто побуждающее людей заглядывать в могилы прошлого! Это происходит в необыкновенные периоды, после завершения какой-нибудь эпохи или незадолго до катастрофы. Мы пережили в наши дни подобное явление: великий монарх — французский народ — внезапно испытал желание раскрыть могилы прошлого и рассмотреть при свете дня давно похороненные, забытые времена. Не было недостатка в ученых могильщиках, которые не замедлили явиться с лопатами и ломами, чтобы разрыть старый мусор и взломать гробницы. Все ощутили острый запах готических пряностей, приятно щекотавший носы, пресыщенные розовым маслом. Французские писатели благоговейно преклонили колена перед представшим их взору средневековым. Один возложил на него новое одеяние, другой остриг ему ногти, третий приделал ему новый нос; наконец, явилось и несколько поэтов, которые вырвали у средневековья зубы, — совсем так, как император Оттон.

Явился ли во сне дух средневековья этим зубодерам и предсказал ли всему романтическому господству ранний конец, не знаю. Я вообще упоминаю об этом явлении во французской литературе лишь для того, чтобы твердо заявить, что ни прямо, ни косвенно не имею в виду борьбу с ним, обсуждая в этой книге в несколько резких выражениях подобное же явление, имевшее место в Германии. Писатели, вызвавшие из могилы средние века в Германии, задавались, как явствует из этих страниц, другими целями, и действие, которое они могли произвести на толпу, было опасно для свободы и благоденствия моего отечества. У французских писателей были только художественные интересы, и французская публика стремилась лишь удовлетворить свое внезапно пробудившееся любопытство. Большинство заглядывало в могилы прошлого лишь с целью выискать себе там интересный костюм для карнавала. В самом деле, мода на готику была во Франции только модой, служившей лишь для того, чтобы усилить наслаждение настоящим. Кто-то на средневековый лад отпускает на голове длинные волосы и в ответ на самое беглое замечание парикмахера, что это ему не к лицу, приказывает коротко обстричь их вместе со связанными с ними средневековыми идеями. Ах, в Германии все по-иному! Может быть, именно потому, что средневековье не оконча-

тельно умерло и истлело там, как у вас. Немецкое средневековье не истлело в гробу, наоборот, его воскрешает иногда злое привидение, и средь бела дня оно вступает в нашу среду и высасывает из нашей груди алую кровь жизни...

Ах, разве вы не видите, как печальна и бледна Германия? Особенно немецкая молодежь, еще недавно ликовавшая с таким воодушевлением! Разве вы не видите, как окровавлены уста всеильного вампира, избравшего своим местопребыванием Франкфурт и с такой жуткой медлительностью и скукой сосущего там сердце немецкого народа?

То, что я сказал о средних веках вообще, особо применимо в отношении религии. Лояльность требует от меня самым четким образом отграничить партию, которую здесь называют католической, от жалких субъектов, посящих это имя в Германии. Только о последних говорил я на этих страницах, и, сознаюсь, в выражениях, все еще кажущихся мне слишком мягкими. Это враги моего отечества, пресмыкающаяся сволочь, лицемерная, лживая и непреодолимо трусливая. Они шипят в Берлине, они шипят в Мюнхене; гуляя по бульвару Монмартр, ты вдруг чувствуешь укус в пятку. Но мы раздавим ей голову, этой старой змее! Это партия лжи, это подручные деспотизма, реставраторы всякого убожества, всех ужасов и всего безумия прошлого. Насколько бесконечно выше их та партия, которую здесь называют католической и вожди которой принадлежат к талантливейшим писателям Франции! Если их и нельзя назвать нашими соратниками, то мы все же боремся за одни и те же интересы, а именно — за интересы человечества. В любви к нему мы единодушны; мы отличаемся лишь во взгляде на то, что пужно человечеству; они думают, что человечество пуждается лишь в духовном утешении, мы же, наоборот, считаем, что ему нужно скорее материальное счастье. Если эта католическая партия во Франции, не уразумев сама своего собственного значения, заявляет себя партией прошлого, восстановительницей веры, то нам приходится, вопреки ее собственным заявлениям, защищать ее. Восемнадцатое столетие так основательно раздавило католицизм во Франции, что от него не осталось почти никакого живого следа, и тот, кто собирается

восстановить во Франции католицизм, проповедует как бы совершенно новую религию. Под Францией я понимаю Париж, а не провинцию, ибо как думает провинция — совершенно так же безразлично, как то, что думают наши ноги: голова есть средоточие наших мыслей. Мне говорили, что провинциальные французы хорошие католики; не могу ни утверждать, ни отрицать этого; люди, с которыми я встречался в провинции, все похожи на верстовые столбы: на лбах этих людей обозначено большее или меньшее их отдаление от столицы. Тамошние женщины ищут, быть может, утешения в христианстве по той причине, что не могут жить в Париже. В самом Париже христианство прекратило свое существование с революцией и уже раньше потеряло здесь всякое реальное значение. Оно притаилось, это христианство, в отдаленном уголке церкви, насторожилось, словно паук, и время от времени стремительно выскакивает, когда можно схватить дитя в колыбели или старца в гробу. Да, только два раза в жизни француз попадал во власть католического священника — при появлении на свет и при разлуке с ним; в течение остального промежутка времени он сохранял рассудок и издевался над святой водой и помазанием. Но разве это можно назвать господством католицизма? Именно потому, что оно совершенно угасло во Франции, ему удавалось при Людовике XVIII и Карле X прелестью повизны привлечь к себе даже некоторые бескорыстные умы. Католичество было тогда чем-то таким неслыхашим, чем-то свежим, чем-то изумительным! Религией, господствовавшей тогда во Франции, была классическая мифология, и эту прекрасную религию с таким успехом проповедовали французскому народу его писатели, поэты и художники, что в конце прошлого столетия как действия, так и мысли французов носили совершенно языческий наряд. Во время революции классическая религия распалась во всем своем мощном великолесье; это не было александрийское обезьянничанье — Париж был естественным продолжением Афин и Рима. Во время империи вновь угас этот античный дух, греческие боги продолжали царить еще только на сцене и римские доблести владели только полем битвы; возникла новая вера, и она выражалась в одном священном имени: Наполеон! Эта вера все еще господствует в массах. Поэтому неправ тот, кто

говорит, что французский народ не религиозен, потому что он больше не верит в Христа и его святых. Скорее надо сказать: нерелигиозность французов заключается в том, что, вместо того чтобы верить в бессмертных богов, они верят теперь в одного человека. Надо сказать: нерелигиозность французов заключается в том, что они больше не верят в Юпитера, не верят в Диану, не верят в Минерву, не верят в Венеру. Последний пункт сомнителен, насколько мне известно: по отношению к грациям французенки все еще остаются правоверными.

Надеюсь, что эти замечания не будут поняты ошибочно. Их назначение именно в том, чтобы предохранить читателя этой книги от одного досадного заблуждения.





## ПРИНЦКА

Я был бы в отчаянии, если бы немногие замечания (книга 2-я, глава III), вырвавшиеся у меня по адресу великого эклектика, были превратно поняты. Право, я очень далек от намерения умалить роль г-на Виктора Кузена. Чины и звания этого знаменитого философа даже обязывают меня к хвале и прославлению. Он принадлежит к тому живому пантеону Франции, который мы называем нэрством, и его остроумные останки покоятся на бархатных скамьях Люксембургского дворца. При этом он любвеобилен, но не любит никаких банальностей, которые способен любить всякий француз, — например, Наполеона; он не любит даже Вольтера, которого, конечно, уже несколько труднее полюбить... Нет, сердце г-на Кузена подвергает себя труднейшему испытанию: он любит Пруссию. Я был бы злодеем, если бы предполагал умалить такого мужа, я был бы чудовищем неблагодарности... ибо ведь я и сам пруссак. Кто будет нас любить, когда перестанет биться великое сердце Виктора Кузена?

Право, мне приходится насильственно подавлять в себе все личные чувства, которые могли бы привести меня к чрезмерному энтузиазму. Я не хотел бы также быть заподозренным в сервиллизме, ибо благодаря своему положению и красноречию г-н Кузен чрезвычайно влиятелен в государстве. Это соображение могло бы даже подвигнуть меня столь же свободно высказаться о его недостатках, как и о его достоинствах. Отнесется ли он сам к этому с неодобрением? Разумеется, нет! Я знаю, что

нельзя лучше почтить высокий ум, чем освещая его недостатками так же добросовестно, как и его добродетели. Когда воспевашь Геркулеса, то необходимо упомянуть, как он однажды сбросил с себя львиную шкуру и уселся за прялку; ведь и после этого он все же остается Геркулесом! Сообщая подобные вещи о г-не Кузене, мы должны еще, в виде тонкой похвалы, присовокупить: если г-н Кузен иной раз и сидел, болтая, за прялкой, то он никогда не снимал с себя львиной шкуры.

Развивая наше сравнение с Геркулесом, мы должны упомянуть еще об одном лестном отличии, а именно: народ приписывал сыну Алкмены те деяния, которые были совершены различными его современниками; деяния же г-на Кузена так грандиозны, так изумительны, что народ никогда не мог понять, как один человек мог совершить нечто подобное, и возникла легенда, что произведения, появившиеся под именем этого господина, принадлежат многим его современникам.

То же самое произойдет когда-нибудь с Наполеоном; уже теперь мы не можем понять, как один герой мог совершить столько чудесных подвигов. Точно так же как теперь уже о великом Викторе Кузене говорят, что он умел эксплуатировать чужие дарования и публиковать их труды в качестве своих, — так некогда будут утверждать о бедном Наполеоне, что не он сам, а бог знает кто — быть может, даже г-н Себастиани — выиграл сражения при Маренго, Аустерлице и Иене.

Великие люди оказывают влияние не только своими деяниями, но и своей личной жизнью. В этом отношении г-н Кузен заслуживает безусловной похвалы. Здесь он предстает в своем безукоризненнейшем великолении. Собственным примером он содействовал разрушению предрассудка, который, быть может, до сих пор препятствовал большинству его соотечественников серьезно отдаться изучению философии, важнейшему из устремлений человека. Здесь господствовало мнение, будто изучение философии делает человека непригодным для практической жизни, что метафизические спекуляции отбивают вкус к спекуляциям в области промышленности и что, если хочешь стать большим философом, необходимо, отказавшись от всякого сановного блеска и почестей, жить в простодушной бедности и в отдалении от всяких

интриг. Это предубеждение, которое заставляло столь многих французов держаться вдали от области отвлеченного, счастливо разрушил г-н Кузен, и своим собственным примером он показал, что можно сделаться бессмертным философом и одновременно пожизненным pair de France.<sup>1</sup>

Правда, некоторые вольтерьянцы объясняют этот феномен простым обстоятельством: что из этих двух достоинств г-на Кузена несомненно только последнее. Возможно ли более бездушное, более нехристианское объяснение? Только вольтерьянец способен на такую фривольность!

Но какому великому человеку удавалось когда-либо избегнуть насмешек своих современников? Разве афиняне обошли великого Александра своими аттическими эпитафиями? Разве римляне не распевали издевательских песен о Цезаре? И разве берлинцы не сочиняли пасквилей на Фридриха Великого? Г-на Кузена постигает та же участь, которая постигла уже Александра, Цезаря и Фридриха и которая ожидает еще многих великих мужей в Париже. Чем крупнее человек, тем легче попадают в него стрелы насмешек. В карликов попадать гораздо труднее.

Но масса, народ, не любит насмешек. Народ, так же как гений, как любовь, как лес, как море, от природы серьезен, он не склонен к ядовитому салонному остроумию, и великие явления он объясняет глубокомысленно, мистически. Все его истолкования носят поэтический, чудесный, легендарный характер. Так, например, изумительную игру Паганини на скрипке народ старается объяснить тем, что этот музыкант убил из ревности свою возлюбленную, просидел за это много лет в тюрьме, где единственным его развлечением была скрипка, и, упражняясь на ней день и ночь, наконец достиг высшего мастерства на этом инструменте. Философскую виртуозность г-на Кузена народ старается объяснить подобным же образом и рассказывает, что однажды немецкие правительства, усмотрев в нашем великом эклектике героя свободы, засадили его в тюрьму, где единственной книгой, полученной им для чтения, была «Критика чистого разума» Канта, что от скуки он неустанно изучал ее и

---

<sup>1</sup> Паром Франции (*франц.*).

таким образом достиг той виртуозности в немецкой философии, которая снискала ему впоследствии в Париже столько аплодисментов, когда он публично исполнял из нее труднейшие пассажи.

Это прекрасная народная легенда, сказочная и необычайная, подобная сказаниям об Орфее, о Валааме, сыне Веоровом, о мудреце Квазере, о Будде, и каждое столетие будет преобразовывать ее по-своему, пока, наконец, имя Кузена не получит символического значения и мифологи увидят в г-не Кузене не действительное лицо, а олицетворение мученика свободы, который, сидя в заключении, находит утешение в мудрости, в критике чистого разума; какой-нибудь будущий Балланш увидит в нем, быть может, аллегория его времени, когда критика, и чистый разум, и мудрость чаще всего сидели в тюрьме.

Что касается реальности этой истории о тюремном заключении г-на Кузена, то она имеет совсем не аллегорическое происхождение. Заподозренный в демагогии, он и в самом деле провел некоторое время в немецкой тюрьме, точно так же, как Лафайет и Ричард Львиное Сердце. Но чтобы г-н Кузен в часы досуга занимался там изучением «Критики чистого разума» Канта — сомнительно по трем основаниям. Во-первых: эта книга написана по-немецки. Во-вторых: для того чтобы читать эту книгу, надо знать немецкий язык. И в-третьих: г-н Кузен не знает немецкого языка.

Право же, я говорю это отнюдь не в целях порицания. Величие г-на Кузена выступает перед нами в еще более ярком свете, когда мы видим, что он изучил немецкую философию, не понимая языка, на котором она изложена. Насколько же он, этот гений, стоит выше нас, обыкновенных людей, которым лишь с величайшим напряжением удастся понять эту философию, хотя мы с детства хорошо знакомы с немецким языком! Существо такого гения всегда останется для нас необъяснимым; это одна из тех интуитивных натур, которым Кант приписывает способность спонтанного понимания вещей в их совокупности, в противоположность нам, обыкновенным аналитическим натурам, которые способны понимать вещи лишь в их раздельной последовательности и посредством комбинирования отдельных частей. Кант как бы уже предчувствовал появление такого человека, который в один прекрасный

день поймет его «Критику чистого разума» простым интуитивным созерцанием, без дискурсивно-аналитического изучения немецкого языка. Быть может, однако, французы вообще счастливее организованы, чем мы, немцы, и я заметил, что достаточно сообщить им лишь немного о какой-нибудь доктрине, об ученом исследовании, о научном воззрении, и они так превосходно умеют комбинировать и перерабатывать в своем уме это немного, что вскоре гораздо лучше понимают этот предмет, чем мы, и могут поучать нас относительно нашего собственного понимания. Иногда мне кажется, что головы французов, совершенно как их кафе, сплошь увешаны внутри зеркалами, так что всякая идея, попадающая в их голову, отражается там бесчисленное множество раз: оптическое устройство, посредством которого самые ограниченные и бедные головы представляются обширными и блестящими. Эти лучезарные головы, так же как сверкающие кафе, обычно совершенно ослепляют бедных немцев, когда они впервые попадают в Париж.

Боюсь, что из сладостных вод восхваления я незаметно перехожу в горькое море порицания. Да, не могу воздержаться от горького упрека г-ну Кузену вследствие одного обстоятельства: он, любящий истину еще больше, чем Платона и Теннемана, он несправедлив к самому себе, он клеветает на себя, пытается уверить нас, что он заимствовал многое из философии Шеллинга и Гегеля. Я должен взять г-на Кузена под защиту от этого самообвинения. Честно и благородное слово! Этот честнейший человек ни одной ничтожнейшей мелочи не украл из философии г-д Шеллинга и Гегеля, и если он привез домой что-нибудь на память от них обоих, то это была исключительно их дружба. Это делает честь его сердцу. Но психология полна примерами таких ложных самообличений. Я встречал человека, который признавался, что, будучи за столом у короля, украл серебряную ложку, и, однако, все мы знали, что бедняга не имеет доступа ко двору и обвиняет себя в воровстве ложки лишь для того, чтобы уверить нас, будто был гостем во дворце.

Нет, г-н Кузен был в немецкой философии неизменно верен шестой заповеди: здесь он не украл ни единой идеи, ни даже чайной ложечки идеи. Все свидетели утверждают, что г-н Кузен в этом отношении — повторяю, в этом от-

пошении — есть сама честность. И это удостоверяют не только его друзья, но и его противники. Тот же отзыв находим мы, например, в журнале «Берлинский ежегодник научной критики» нынешнего года, и так как автор этого документа, великий Гиприхе, относь не льстец и его слова тем менее можно поставить под сомнение, то я впоследствии приведу их целиком. Речь идет о том, чтобы очистить великого мужа от тяжкого обвинения, и лишь поэтому я упоминаю о свидетельстве «Берлинского ежегодника», правда неприятно задевающим мою собственную душу несколько насмешливым тоном, в котором здесь говорится о г-не Кузена. Ибо я действительный почитатель великого эклектика, как я уже высказал на этих страницах, где сравнил его со всеми возможными великими людьми: с Геркулесом, Наполеоном, Александром, Цезарем, Фридрихом, Орфеем, Валаамом, сыном Веора, мудрым Квазером, Буддой, Лафайстом, Ричардом Львиное Сердце и Паганини.

Я, быть может, первый, кто присоединил к этим великим именам имя Кузена. «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!»<sup>1</sup> — скажут, конечно, его враги, его безбожные враги, те вольтерьянцы, для которых нет ничего святого, которые не знают никакой религии и не веруют даже в г-на Кузена. Но не в первый уже раз случается, что лишь благодаря чужестранцу нация научается ценить своих великих людей. Я, быть может, имею заслуги перед Францией в том, что оценил достоинства г-на Кузена для современности и его значение для будущего. Я показал, как народ уже при жизни поэтически разукрашивает его и рассказывает о нем небывлицы. Я показал, как он постепенно теряется в легендарной дали и как настанет время, когда имя Виктора Кузена станет мифом. «Оно уже теперь миф», — хихикают вольтерьянцы.

О вы, хулители трона и алтаря, вы, злодеи, привыкшие, как поэт Шиллер, «чернить блестящее и совлекать возвышенное в грязь», я предсказываю вам, что слава г-на Кузена, подобно французской революции, совершит кругосветное путешествие! Я вновь слышу ядовитое проложение: «Слава г-на Кузена на самом деле совершает кругосветное путешествие, — из Франции она уже отбыла».

---

<sup>1</sup> От великого до смешного один шаг! (франц.).



# **ДУХИ СТИХИЙ**







...Говорят, в Вестфалии еще есть старики, знающие, где спрятаны старинные идолы; на смертном одре они сообщают это младшему из внуков, который и носит эту драгоценную тайну в своем скрытом саксонском сердце. В Вестфалии, бывшей Саксонии, не все то, что погребено, действительно мертво. Бродя по ее старым дубовым рощам, слышишь голоса былого, слышишь еще отзвуки тех глубокомысленных заклинаний, в которых жизнь бьет сильнее, чем во всей бранденбургской литературе. Таинственное благоговение охватило мою душу, когда я много лет тому назад, скитаясь по этим лесам, проходил однажды мимо древнего замка Зигбурга.

— Здесь, — сказал мой проводник, — жил некогда король Видекинд, — и он глубоко вздохнул. Это был простой дровосек, и в руке у него был большой топор.

Я убежден: этот человек и сегодня, если понадобится, будет биться за короля Видекинда; и горе тому черену, на который обрушится его топор!

То был черный день для земли саксонской, когда Видекинд, ее храбрый полководец, был разбит императором Карлом при Энгтере. «Когда он, обращенный в бегство, уходил к Эллербруху и все с женами и детьми столпились у переправы, одна старуха уж не в силах была идти дальше. Но чтобы она не попала в руки врага, саксы живую закопали ее на песчаном холме подле Бельманс-Кампа, приговаривая при этом: «Ступай в землю, ступай в землю, ты не жилица на свете, эта толкотня не по тебе».

Говорят, эта старуха еще жива. Не все умерло в Вестфалии, что погребено.

Братья Гримм рассказывают эту историю в своих «Немецких сказаниях»; в моем дальнейшем изложении я не раз буду пользоваться добросовестными, прилежными изысканиями этих почтенных ученых. Неценима заслуга обоих исследователей перед наукой о немецких древностях. Один Якоб Гримм сделал для языкознания больше, чем вся ваша Французская академия со времен Ришелье. Его «Немецкая грамматика» — исполинское создание, готический собор, под сводами которого все германские племена, словно гигантские хоры, поднимают голоса, каждое на своем наречии. Якоб Гримм, быть может, продал черту душу, чтобы тот доставлял ему материалы и был пособником в этом несобъятном лингвистическом сооружении. В самом деле, человеческой жизни и человеческого терпения не могло хватить, чтобы собрать эти глыбы учености и чтобы скрепить их воедино цементом из сотен тысяч цитат.

Основным источником в изучении древнегерманских народных верований служит Парацельс. Я уже неоднократно упоминал о нем. Его сочинения переведены на латинский язык недурно, но с пробелами. Читать его в старинном немецком подлиннике трудно; стиль сумбурен, но временами проступают великие мысли, высказанные великими словами. Это натурфилософ в самом современном значении слова. Его терминологию не следует всегда понимать в общепринятом смысле. В своем учении о духах стихий он называет их нимфами, ундинами, сельванами, саламандрами, однако лишь потому, что эти названия в ходу у его читателей, но не потому, чтобы они полностью выражали то, о чем он хочет сказать. Вместо того чтобы произвольно сочинять новые слова, он предпочел прискасть для своих идей старые выражения, обозначавшие до сих пор нечто сходное. Поэтому его часто толковали неправильно и многие обвиняли его в кощунственных насмешках, а то и в неверии. Одни говорили, что он хочет шутки ради привести в систему старые детские сказки, другие порицали то, что он, вразрез с христианской точкой зрения, не согласен признать духов стихий сплошь нечистой силой. «У нас, — говорит он где-то, — нет никаких оснований считать, что эти

существа — порождение дьявола; да и что такое дьявол, мы тоже до сих пор не знаем». Согласно его утверждению, духи стихий такие же подлинные божьи создания, как мы, только они, в противоположность нам, ведут свой род не от Адама и пребывают, по воле божьей, в четырех стихиях. Строеие их тела соответствует этим стихиям. И Парацельс распределяет различных духов по четырем стихиям, предлагая при этом определенную систему.

Но привести народные верования в систему, как пытались сделать некоторые, так же немыслимо, как вправить в рамку проносящееся облака. Самое большее, что можно сделать, это сгруппировать сходное по рубрикам. Это и попытаемся мы сделать по отношению к духам стихий.

О кобольдах была речь выше. Это — привидения, помесь умерших людей и бесов; их следует точно отличать от собственно духов земли. Те живут по преимуществу в горах, и их называют гномами, металлариями, малым народцем, карликами. Сказания об этих карликах сходны со сказаниями о великанах и указывают на существование двух различных племен, некогда более или менее мирно сожительствовавших в стране, но с тех пор исчезнувших без следа. Великаны навсегда исчезли из Германии. Карлики же иногда еще встречаются в рудниках, где в одежде маленьких рудокопов они добывают дорогие металлы и драгоценные камни. Искони карлики владели множеством золота, серебра и алмазов, ибо могли невидимо проникать куда угодно, и не было столь малого отверстия, через которое они не могли бы пролезть, если только оно вело к богатствам в недрах земли. Великаны же всегда были бедны, и если бы могли они брать у кого-нибудь взаймы, они бы оставили исполинские долги. Старинные песни часто с похвалой упоминают об искусстве карликов. Они ковали лучшие мечи, но только великаны умели биться этими мечами. Были ли эти великаны в самом деле так огромны? Пожалуй, страх увеличил их рост на несколько локтей. Такие вещи случались не раз. Византиец Никита, описывающий взятие Константинополя крестоносцами, рассказывает совершенно серьезно, что один из этих железных витязей севера, гнавший перед собою вся и всех, казался им в эту страшную минуту в полсотни локтей ростом.

Обиталища карликов, как я уже сказал, расположены были в горах. Маленькие щели в скалах народ до сих пор зовет карликовыми норами. Я много их видел в Гарце, особенно в Боденской долине. Кое-какие сталактиты, встречающиеся в горных пещерах, а также разные причудливо заостренные скалы народ называет карликовой свадьбой. Это карлики, превращенные злыми колдунами в камни в тот самый момент, когда они, семпя ножками, возвращались домой после венчания из своей маленькой церковки или веселились за свадебным угощением. Легенды о таких превращениях людей в камни распространены на севере, так же как на востоке, где невежественный мусульманин все статуи и карнатиды, найденные в развалинах древнегреческих храмов, считает окаменелыми людьми. В Бретани, как и в Гарце, я не раз видел причудливо расставленные группы камней, которые называются у крестьян карликовыми свадьбами; камни у Лок-Мариа-Кер — это обиталища торриганов, курилов — так там именуют этот маленький народец.

Карлики надевают маленькие колпачки, делающие их невидимыми; их называют шапками-невидимками или туманными шапочками. Раз один крестьянин во время молотбы сбил цепом шапку-невидимку с карлика; тот, став видимым, юркнул в расщелину земли. Иногда карлики и добровольно показывались людям, охотно входили с нами в общение и удовлетворялись уже тем, что мы их не обижали. Но мы, по нашей злой природе, не раз играли с ними скверные шутки. В «Народных сказаниях» Висса рассказана следующая история:

«В летнюю пору толпа карликов часто спускалась с горных круч в долину, либо только поглядывая, либо помогая в работе людям, особенно косарям при уборке сена. Весело усаживались они тут же на длинной и толстой кленовой ветке в тенистой зелени. Но раз пришли злые люди и ночью подпилили ветку, так что она еле держалась на стволе, и когда наутро ничего не подозревавшие человечки уселись на пей, ветка сломалась, карлики попадали на землю под смех окружающих, очень рассердились и запричитали:

О, как небо высоко  
И измена велика!  
Теперь прочь — и навсегда!»

С тех пор, как говорят, они покинули эту местность. Есть, впрочем, еще два других предания, тоже приписывающих уход карликов нашей склонности к насмешкам и нашей злобе. Одно из них так рассказано в упомянутых «Народных сказаниях»:

«Карлики, жившие в пещерах и расщелинах скал вокруг людей, были всегда к ним дружески расположены и по почам, когда люди спали, делали за них тяжелые работы. Ранним утром, когда крестьяне, высхав с телегами и орудиями, изумлялись, что все уже сделано, карлики начинали громко смеяться, притаившись в кустах. Не раз, найдя в поле незрелый хлеб сжатый, крестьяне сердились, но когда вслед за тем налетала буря с градом и они убеждались, что без этого, быть может, ни один колос не уцелел бы, они сердечно благодарили предусмотрительный народец. Но в конце концов люди за свои злые шутки потеряли милость и благосклонность карликов; они исчезли, и никто с тех пор не видел их. Вышло это так. У одного пастуха росло на горе прекрасное вишневое дерево. Однажды летом, когда вишни поспели, оказалось, что в три ночи дерево обобрано, а все ягоды спесены в корзинки и решета, где пастух всегда их хранил. Люди в деревне говорили: «Этого никто не мог сделать, кроме честных карликов, они являются ночью в длинных плащах, скрывающих их ноги, легко, как птички, и прилежно делают работу за людей; однажды уже случилось их тайне выследить, но им не нужно мешать, и пусть они делают свое дело». Этот рассказ вызвал любопытство пастуха, которому захотелось узнать, зачем карлики так тщательно прячут свои ноги и такие ли у них ноги, как у людей. В следующем году, когда вновь пришло лето и настала пора, когда карлики стали тайно собирать вишни и сносить их в амбар, пастух взял мешок золы и рассыпал вокруг горы. Наутро с рассветом он поспешил к дереву, которое оказалось совершенно обобраным, а на золе отпечатались следы множества гусиных лапок. Пастух расхохотался и стал издеваться над карликами, что их тайна раскрыта. Но вслед за тем они разрушили и опустошили свои жилища и спустились глубже в гору, рассердились на род людской и перестали помогать ему. Пастух, предавший их, стал чахнуть и в безумии влачил свои дни до самой смерти».

Другое предание, рассказанное в «Народных сказаниях» Отмара, носит гораздо более мрачный и суровый характер:

«Между Валькенридом и Нейгофом, в графстве Гогенштайн, было некогда у карликов два царства. Как-то один житель этой местности заметил, что его овощи по почам исчезают с поля, открыть же злоумышленника не удавалось. Наконец, по совету одной умной женщины, он стал в сумерках ходить по своему гороховому полю и бить над ним тонким прутом по воздуху. Немного времени прошло, и он увидел перед собой нескольких карликов. Он незаметно сбил с них шапки-невидимки. Дрожа упали они перед ним на колени и сознались, что это их народец грабит крестьянские поля, но что так поступать их заставляет крайняя нужда. Весть о поймавших карликах привела в волнение всю округу. Наконец, карлики прислали послов с предложением принять выкуп за себя и за захваченных братьев, после чего они навеки покинут страну. Но условия, на которых они должны были уйти, вызвали новые споры. Местное население не хотело отпустить карликов со всеми накопленными и припрятанными ими сокровищами, а те не хотели, чтоб их видели, когда они будут уходить. В конце концов сошлись на том, что карлики, уходя, пройдут по одному узенькому мостику близ Нейгофа и что каждый из них должен при этом положить в виде пошлины известную часть своего достояния в поставленную у моста бочку, причем людей там быть не должно. Так и было сделано. Но несколько любопытных спрятались под мостом, чтобы по крайней мере слышать, как те уходят. И в продолжение многих часов они слышали топот маленьких человечков, — словно через мост проходило громадное стадо овец».

Согласно другому варианту, каждый уходящий карлик обязан был бросить лишь одну монету в поставленную у моста бочку; и на другое утро бочка оказалась доверху наполненной старинными золотыми. Говорили также, будто перед тем к жителям приходил сам царь карликов в своей красной мантии, с просьбой не выгонять его народца. С мольбой вздымал он свои ручки к небу и плакал горчайшими слезами, как некогда дон Исаак Абарбанель перед Фердинандом Арагонским.

От карликов, духов земли, следует точно отличать эльфов, духов воздуха, которые более известны во Франции и особенно восхитительно прославлены английской поэзией. Если бы эльфы не были бессмертны по своей природе, их обессмертил бы уже Шекспир. Они будут вечно жить в поэтическом «Сне в летнюю ночь».

Вера в эльфов, по моему мнению, скорее кельтского, чем скандинавского происхождения. Поэтому в западных областях севера больше сказаний об эльфах, чем в восточных. В Германии мало знают об эльфах, и все это здесь лишь тусклый отзвук бретонских саг; таков, например, «Оберон» Виланда. То, что у народа в Германии называется эльфами или эльбами, — это жуткое отродье ведьм от их связи с злым духом. Родина подлинных сказаний об эльфах — Ирландия и Северная Франция; доходя отсюда до Прованса, они смешиваются там с восточными сказаниями о феях. Из такого смешения расцвели великолепные ле о графе Ланвале, которого прекрасная фея осчастливила своей благосклонностью под условием, что он будет молчать о своем счастье. Но когда однажды король Артур на пиршестве в Кардюэле назвал свою супругу Джиневру прекраснейшей из женщин, граф Ланваль не смог больше молчать; он проговорился — и счастьем его, по крайней мере на земле, пришел конец. Немногим счастливей была судьба рыцаря Грюэлана; и он тоже не смог умолчать о блаженстве своей любви: его возлюбленная, фея, исчезает, и на своем коне Жедефер он долго и тщетно скитается в поисках ее. Но в стране фей, в Авалоне, несчастные рыцари вновь находят своих возлюбленных. Здесь граф Ланваль и рыцарь Грюэлан могут откровенничать сколько их душе угодно. Здесь и датчанин Ожье может отдохнуть от богатырских странствований в объятиях своей Морганы. Вам, французам, известны все эти рассказы. Вам известен Авалон, но известен он и персу, только под названием Джиннистана. Это страна поэзии.

С наружностью эльфов и их нравами и образом действий вы также достаточно знакомы. «Королева эльфов» Спенсера давным-давно перелетела к вам из Англии. Кто не знает Титании? Кто так глух, что временами не слышит веселого звенящего полета ее свиты? Но верно ли, что увидеть своими глазами эту царицу эльфов,



а то и получить от нее привет — предвестие смерти? Я хотел бы знать это наверное, ибо:

Через лес, при лунном свете,  
Эльфы быстро мчатся мимо —  
Будто в небе прозвенели  
Колокольчики незримо.

Белых легких их лошадок  
Кавалькада вырастает  
Над землею — словно диких  
Лебедей несется стая.

На меня свой взор с улыбкой  
Королева обратила, —  
Он мне вновь любовь пророчит  
Или раннюю могилу? <sup>1</sup>

Среди датских народных песен есть два сказания об эльфах, точнее всего отражающие существо этих духов воздуха. Одна песня повествует о свидении некоего юнца, который прилег на вершине Эльверсхё и незаметно для себя уснул. Спится ему, что он стоит, опершись на меч, а эльфы пляшут вокруг него и ласками и обещаниями стараются вовлечь его в свой хоровод. Одна из пляшущих, приблизившись к нему, гладит его по щеке и шепчет: «Попляши с нами, юный красавчик, и мы споем тебе сладчайшую песнь, какой только жаждет твое сердце». И тут раздаются напевы, полные столь неотразимого любовного призыва, что стремительный поток, воды которого обычно бурно несутся вдаль, вдруг стихает и из спокойных вод его всплывают рыбки и весело играют хвостиками. Другая нашептывает: «Попляши с нами, юный красавец, мы научим тебя руническим заклинаниям, при помощи которых ты сможешь одолеть медведя, дикого вепря и змея, стерегущего золото; его золото достанется тебе». Но юнец не поддается всем этим соблазнам, и рассерженные девы, наконец, грозят ему пронзить его сердце холодной смертью. Уже сверкают их острые ножи, но тут, к счастью, слышится крик петуха, и молодец просыпается цел и невредим.

Другая песня менее воздушна; эльфы появляются не во сне, а в действительности, и тем резче выступает перед нами то жуткое и привлекательное, что есть в их

<sup>1</sup> Перев. Т. Сильман.

существо. Это песня о рыцаре Олуфе, который выехал поздним вечером, чтобы созвать гостей к себе на свадьбу. Припев все один и тот же: «Но пляска так быстро по лесу неслась». Как будто слышатся жуткие, сладострастные напевы, а по временам словно хихиканье и шепот задорных девушек. Наконец, перед Олуфом четыре, пять, множество танцующих девушек, и дочь лесного царя протягивает ему руку. С великой нежностью приглашает она его вступить в круг и потанцевать с нею. Но рыцарь отказывается танцевать и в извинение говорит: «Завтра моя свадьба». Ему предлагают соблазнительные подарки, по ним сафьяновые сапоги, что так пришлись бы ему по ноге, ни золотые шпоры, что так хорошо бы пристегнуть к сапогам, ни белоснежная шелковая рубашка, выбеленная самою царицей эльфов на лунном свете, ни даже серебряная перевязь, тоже восхваляемая перед ним как драгоценность, — ничто не может заставить его принять участие в хороводе эльфов. Он все повторяет свое извинение: «Завтра моя свадьба». Тут эльфы, разумеется, теряют, наконец, терпение, наносят ему в сердце такой удар, какого он никогда не получал, и, виювь усадив на коня поверженного на землю рыцаря, язвительно приговаривают: «Так поезжай же к своей невесте». Ах, когда он возвратился в свой замок, щеки его были очень бледны, а тело охвачено недугом, и когда на другой день утром с музыкой и песнями прибыла невеста с провожатыми, то рыцарь Олуф был безмолвен, ибо он лежал мертвый под красным покрывом.

Но пляска так быстро в лесу пронеслась.

Пляска — неотъемлемая особенность духов воздуха; они существа слишком эфирные, чтобы передвигаться по этой земле прозаически-обыкновенной походкой, подобно нам. Однако, как они ни нежны, их пожки оставляют некоторые следы на лужайках, где они вели свои ночные хороводы. Это выдавленные круги, которые народ прозвал кольцами эльфов.

В Австрии в одной местности существует сказание, представляющее известное сходство с предыдущим, хотя оно имеет славянское происхождение. Это сказание о призрачных танцовщицах, известных там под названием виллис. Виллисы — невесты, умершие до свадьбы.

Несчастные юные создания не могут спокойно лежать в могиле, в их мертвых сердцах, в их мертвых погах жива еще та страсть к танцу, которую им не пришлось удовлетворить при жизни, и в полночь они встают из могил, собираются толпами на больших дорогах, и горе тому молодому человеку, который там с ними встретится! Он должен танцевать с ними, они обнимают его с необузданным неистовством, и он пляшет с ними без удержу, без передышки, пока не падает замертво. В венчальных платьях, в венках с развевающимися лентами и сверкающими перстнями на пальцах, виллисы, подобно эльфам, пляшут при свете месяца. Лица, хотя и бледные как снег, юны и прекрасны; они смеются так жутко и так весело, так кощунственно-очаровательно, они кивают так сладострастно-тайнственно, так заманчиво; никто не в силах устоять против этих мертвых вакханок.

Народ, видя смерть невест в расцвете молодости, никогда не мог поверить, что юность и красота так внезапно падают жертвой черного уничтожения, и таким образом легко возникло поверье, что невеста после смерти ищет утраченных наслаждений.

Это заставляет нас вспомнить об одном из прекраснейших стихотворений Гете, о «Коринфской невесте», с которым давно познакомила французских читателей г-жа де Сталь. Сюжет этого стихотворения относится к глубокой древности, теряясь в ужасах фессалийских сказок. Элиан сообщает его, и нечто подобное рассказывает и Филострат в биографии Аполлония Тианского. Это мрачная свадебная история, где невеста — ламия.

Характерной чертой народных сказаний является то, что самые страшные катастрофы в них обычно происходят на свадебных торжествах. Внезапный ужас тем резче контрастирует с радостной обстановкой, с приготовлениями к празднеству, с веселой музыкой. Пока край кубка не коснулся губ, драгоценный напиток может еще пролиться. Мрачный, никем не званный свадебный гость может появиться — и, однако, ни у кого не хватает мужества прогнать его. Он шепчет невесте словечко на ухо, и она бледнеет. Он делает едва заметный знак жещиху, и тот выходит из зала, следуя за ним во тьму ночи, чтобы никогда больше не возвратиться. Обыкновенно тут имеется в прошлом любовный обет, отчего ледяная рука призрака

внезапно разлучает невесту и жениха. Спя за свадебным столом и бросив случайный взгляд вверх, рыцарь Петер фон Штауфенберг внезапно увидел маленькую белую пожку, просунувшуюся сквозь потолок столовой. Он узнает пожку русалки, с которой он состоял раньше в нежнейшей любовной связи, и по этому предвещанию понимает, что заплатит за измену жизнью. Он посылает за духовником, причащается и готовится к смерти. Об этом происшествии еще часто рассказывают и поют в немецких землях. Рассказывают также, что обманутая русалка, оставаясь невидимой, обняла неверного рыцаря и задушила его этим объятием. Этот трагический рассказ глубоко волнует женщин. Но наши юные вольнодумцы насмешливо улыбаются по этому поводу и отказываются верить, что русалки настолько опасны. Горько раскаются они впоследствии в своем неверии.

Русалки имеют очень большое сходство с эльфами. И те и другие обольстительны, задорны и любят пляски. Эльфы пляшут на болотах, зеленых лужайках, лесных прогалинах и охотнее всего под старыми дубами. Русалки пляшут у прудов и рек; случалось видеть их пляски на поверхности воды вечером, перед тем как кому-нибудь суждено там утонуть. Часто появляются они также там, где танцуют люди, и принимают участие в плясках наравне с нами. Русалок узнают по подолу их белого платья, который всегда влажен, а также по тонкой ткани их покрывал и по благородному изяществу всего их таинственного существа. Водяного — нечто вроде русалки мужского пола — узнают по зеленым зубам, очень похожим на рыбью кость. Жутко становится также, если коснуться его чрезвычайно мягкой и холодной как лед руки. На голове у него обычно зеленая шляпа. Горе девушке, которая, не признав его, беспечно пустится с ним в пляс. Он утащит ее вниз, в свое водяное царство. У Марк-Стига, царевийцы, были две красавицы дочери, из которых младшая попала во власть водяного, и притом когда была в церкви. Водяной явился в виде великолепного рыцаря; его мать сделала ему коня из чистой воды, а седло и поводья из белого песка, и красавица, ничего не подозревая, радостно отдала ему руку. Будет ли она на дне морском хранить обещанную ему верность? Не знаю; но я знаю сказание о другом водяном, который

тоже добыл себе жену на земле и был ею обманут самым коварным образом. Это сказание о Росмере, водяном, который, сам того не подозревая, взвалил себе на спину в ящике свою жену и отнес ее к ее матери. Горчайшие слезы проливал он после этого.

В свою очередь и русалкам часто приходится расплачиваться за то, что они находили удовольствие в общении с людьми. И об этом я знаю одну историю, многократно воспетую немецкими поэтами. Но всего трогательнее она звучит в простом рассказе братьев Гримм, в их «Немецких сказаниях».

«С незапамятных времен в деревне Эпфенбах, под Зиндхеймом, каждый вечер на посиделки являлись три юные красавицы в белых платьях. Они всегда приносили новые песни и новые напевы, знали всякие занятные сказки и игры; в их прялках и веретенах тоже было нечто необычайное, и ни одна пряха не могла сравниться с ними в точности пряжи и быстроте работы. Но ровно в одиннадцать часов они вставали, складывали свои прялки, и никакая просьба не могла их удержать ни на мгновение дольше. Неизвестно было, откуда они пришли и куда уходят; называли их просто девами с озера или сестрами с озера. Парни рады были им и влюблялись в них, а особенно сын учителя приходской школы. Он не мог вдоволь наслушаться их и наговориться с ними, и всего мучительнее было для него то, что каждый вечер они так рано уходят. И вот однажды пришла ему в голову мысль: он переставил деревенские часы на час назад, и вечером среди непрерывных разговоров и шуток никто не заметил, что время прошло. А когда на часах пробило одиннадцать, между тем как на самом деле уже было двенадцать, три девушки встали, сложили свои прялки и ушли. На другое утро несколько человек, проходя мимо озера, услышали оттуда стоны и увидели на поверхности его три кровавых пятна. С тех пор сестры никогда не появлялись на посиделках. А сын учителя стал чахнуть и вскоре умер».

Есть нечто таинственное в поведении русалок. Человек может вообразить под этой водной поверхностью сколько угодно прекрасного и столько же ужасающего. Рыбы, которые одни только и могут знать об этом что-нибудь, немые. Или они молчат из благоразумия? Быть

может, они боятся тяжкого наказания, если выдадут тайны тихого водяного царства? Своими сладострастными тайнами и скрытыми ужасами такое водяное царство напоминает Венецию. Не была ли Венеция сама таким царством, случайно всплывшим из пучины Адриатического моря на поверхность со всеми своими мраморными дворцами, дельфиноокими куртизанками, с фабриками коралловых и стеклянных бус, с государственными инквизиторами, с учреждениями для тайного утопления, со смеющимися пестрыми масками? Если Венеции придется когда-нибудь вновь исчезнуть в глубине ее лагун, ее история будет звучать как русалочья сказка, и няньки будут рассказывать детям о великом водяном пароде, настойчивостью и хитростью овладевшем даже сушей, но в конце концов заклеванном насмерть двуглавым орлом.

Таинственность есть особенность русалок, так же как мечтательное веселье — особенность эльфов. Быть может, в первичном сказании между ними не было особого различия, и лишь позднейшие времена начали разделять их. Названия их не помогают нам это узнать. В Скандинавии все духи называются эльфами, альфами, и их подразделяют на белых и черных эльфов; последние — это, собственно, кобольды. Домашних кобольдов, домовых, называют в Дании также никсами, или, как я уже говорил, шиссами.

Существуют, однако, и отклонения от природы — русалки с рыбьим хвостом, имеющие человеческий облик лишь до пояса, или русалки-красавицы, у которых нижняя половина является телом чешуйчатой змеи, как у вашей Мелузины, возлюбленной графа Раймонда де Пуатье.

Счастливец Раймонд — его возлюбленная была только наполовину змея!

Часто бывает также, что подводные обитатели, вступая в любовную связь с людьми, не только требуют тайны, но и просят никогда не спрашивать об их происхождении, о родине и родных. Они никогда не называют своего настоящего имени и в людской среде выступают, так сказать, под псевдонимом. Супруг принцессы Клевской называл себя Элиас. Был ли он водяным или эльфом? Как часто, спускаясь по Рейну и проезжая мимо Лебединой башни в Клеве, я вспоминал о таинственном

рыцаре, с такой горестной суровостью охранявшем свое инкогнито и одним вопросом о его происхождении навеки вырванном из объятий любви. Когда принцесса, не будучи в силах совладать со своим любопытством, однажды ночью обратилась к своему супругу с вопросом: «О господи, ради наших детей, не скажете ли вы, кто вы?» — он со вздохом поднялся с ложа, снова взошел на свою ладью, запряженную лебедем, поплыл вниз по Рейну и скрылся навеки. В самом деле, чрезмерные расспросы женщины докучны. Пользуйтесь вашими губками, красотки, не для вопросов, а для поцелуев. Молчание — важнейшее условие счастья. Если мужчина выбалтывает все о своем счастье или женщина с любопытством выясняет о тайнах своего счастья, оба они его лишаются.

Эльфы и русалки умеют колдовать, умеют принимать любое обличье; иногда, однако, и их самих превращает в разные отвратительные чудовища заклятие более сильных духов или некромантов. Но любовь снимает это заклятие, как, например, в сказке о Земпре и Азоре: стоит трижды поцеловать похожее на жабу чудовище, и оно превращается в прекрасного принца. Преодолей свое отвращение к уродливому и даже полюби его, и уродливое тотчас превратится в нечто прекрасное. Никакое заклинание не устоит против любви. Любовь ведь сама есть высшее волшебство, всякое иное заклятие уступает ей. Пред одной только силой она сама не способна устоять. Какая же это сила? Это не огонь, не вода, не воздух, не земля со всеми своими металлами, — это время.

Замечательнейшие сказания о духах стихий можно найти у доброго старого Иоганна Преториуса, книга которого «Антроподемус плутоникус, или Новое всемирное описание всякого рода необычайных людей» вышла в 1666 году в Магдебурге. Самый год уже замечателен: это год, когда, как предсказывали, должно было произойти светопреставление. Содержание книги — нагромождение бессмыслиц, отовсюду надергаанных суеверий, сумбурных и фантастических рассказов и ученых цитат, всякого хлама и чепухи. Излагаемые предметы расположены в алфавитном порядке, причем названия их также подобраны в высшей степени произвольно. Забавны и рубрики. Так, собираясь говорить о призраках, автор подразделяет их сле-

дующим образом: 1) призраки действительные и 2) призраки поддельные, то есть обманщики, переодетшиеся призраками. Но автор дает массу сведений, и в этой книге, как и в других его работах, сохранились предания, отчасти очень важные для изучения древнегерманских верований, отчасти очень интересные просто в качестве курьезов. Никому из вас, я в этом убежден, не известно, что существуют морские епископы. Сомневаюсь даже, чтобы это было известно «Gazette de France». И все же кое-кому было бы важно знать, что христианство имеет приверженцев даже в глубинах океана, и, разумеется, в большом количестве. Быть может, обитатели морских пучин в большинстве своем христиане, во всяком случае такие же христиане, как и большинство французов. Я охотно умолчал бы об этом, чтобы не привести этим сообщением в восторг католическую партию во Франции, но раз речь у нас зашла о русалках и водяных, то немецкая основательность требует от меня упоминания о морских епископах. Дело в том, что Преториус рассказывает следующее:

«По сообщению голландских летописей, Корнелиус Амстердамский писал в Рим врачу по имени Гельберт, что в 1531 году в Северном море близ Эльпаха был пойман водяной, имевший облик епископа римской церкви. Его отправили к королю польскому. Но так как он не хотел ничего есть из того, что ему предлагали, то умер на третий день, ничего не говоря, лишь тяжело вздыхая».

На следующей странице Преториус приводит еще пример:

«В 1433 году в Балтийском море у польского побережья выловили водяного, совсем похожего на епископа. Он был в епископской митре, в ризе и с епископским посохом в руке. Он позволял дотрагиваться до себя, в особенности если это делали тамошние епископы; он воздавал им должную честь, но безмолвно. Король хотел держать его в заключении, но он жестами воспротивился этому и просил епископов отпустить его в его стихию, что и было исполнено, причем два епископа сопровождали его туда; он выказал при этом радость. Очутившись в воде, он перекрестился и нырнул и больше уже не показывался. Об этом читаем в «Flandr. Chronic.», в «Hist. Ecclesiast. Spondani», равно как в «Memorabilibus Wolfii».



Я дословно передал оба рассказа и точно указал источник, чтобы кому-нибудь не пришло в голову, будто я выдумал морских епископов. Стал бы я выдумывать еще новых епископов!

Некоторым англичанам, с которыми мне пришлось вчера беседовать о реформе англиканско-епископальной церкви, я дал совет всех своих земных епископов превратить в водяных.

Чтобы дополнить предания о водяных и эльфах, я должен упомянуть еще о девах-лебедях. Сказание о них слишком неопределенно и покрыто мраком таинственности. Водяные ли это духи? Или воздушные? Волшебницы ли они? Иногда они прилетают по воздуху в виде лебедей, сбрасывают с себя белую оболочку пернатых, как одежду, превращаются в юных красавиц и купаются в тихих водах. Захваченные там каким-нибудь любопытным юнцом, они стремительно выскакивают из воды, наскоро облачаются в свои перья и вновь в виде лебедей поднимаются в воздух. Достоинейший Музеус рассказывает в своих «Народных сказках» прекрасную историю о юном рыцаре, которому удалось похитить один из таких лебединых нарядов; окончив купание, девушки быстро надели свои лебединые одежды и улетели; лишь одна, напрасно проискав свою одежду, осталась. Она не может улететь, заливаясь слезами, она восхитительно прекрасна, и хитрый рыцарь женится на ней. Семь лет живут они счастливо; но однажды, роясь в отсутствие супруга в тайных шкафах и сундуках, жена находит свой старый лебединый наряд; мигом надевает она его и улетает.

В старинных датских песнях часто идет речь о таком лебедином наряде, но в очень неясной, туманной форме. Здесь мы встречаем следы древнейшего волшебства, здесь слышатся звуки северного язычества, находящие, подобно полузабытым снам, чудесный отзвук в нашем воспоминании. Не могу не привести старинную песню, где не только говорится об одеянии из перьев, но и о ночных воронах, выступающих рядом с девами-лебедями. Эта песня так зловеща, так мрачна, так исполнена ужаса, как скандинавская ночь, и все же в ней пылает любовь, по дикой сладости, по захватывающей неступленности не имеющая себе равных, — любовь, которая, все мощнее разгораясь, взматается, наконец, кверху, как северное

сияние, охватив пламенем своих лучей все небо. Сообщая здесь эту могучую поэму любви, я должен предварительно заметить, что позволил себе лишь некоторые метрические изменения и слегка кое-что подправил во внешней форме, в оболочке. После каждой строфы повторяется припев: «Так он над морем летит!»

Король с королевой пустились в путь  
Вдвоём, в открытое море;  
И то, что король не один отплыл,  
На горе вышло, на горе.

Внезапно корабль на месте стал,  
И тщетны все были усилия;  
А сверху ворон кружил ночной,  
Зловеще расправив крылья.

«Быть может, кто под волпами скрыт  
И держит на привязи судно?  
Я дам ему золота и серебра —  
Нам с места двинуться трудно.

А если ты это, ворон ночной,  
Не дай опуститься на дно нам;  
Я дам тебе золота и серебра,  
В тяжелых слитках, со звоном».

«Не надо мне золота и серебра,  
Иная нужна мне награда:  
Того, что под поясом носишь ты,  
Того, королева, мне надо».

«Охотно отдам, что под поясом есть,  
Отдам охотно, не споря,  
Лишь сделай так, чтоб не сгинуть нам  
В бездонной пучине моря».

И бросила воропу связку ключей,  
Не чая ущерба иного.  
И ворон, довольный, крылами взмахнул —  
Он взял с королевы слово.

Так кончилось плаванье, и король  
Домой с королевой вернулся,  
И сразу же Герман, отважный боец,  
Под сердцем у ней шевельнулся.

Пять месяцев минуло с той поры,  
Слегла королева, и вскоре  
Красавец мальчик родился у ней, —  
Да голько всем на горе.

Он родился в глухую ночь,  
А утром его крестили,  
И именем Германа нарекли,  
И думали — сына скрыли.

А мальчик рос, он скакал верхом,  
Владел оружием искусно,  
И матери делалось всякий раз  
При виде Германа грустно.

«О мать моя, дорогая мать,  
Когда мимо вас прохожу я,  
О чем вы печалитесь всякий раз  
И слезы льете, тоскуя?»

«Так знай же, Герман, веселый боец,  
Осталось жить тебе мало:  
Еще до рожденья, под сердцем, тебя  
Я ворону обещала».

«О мать моя, дорогая мать,  
Откройте печаль, что вас гложет!  
Того, что написано нам на роду,  
Никто изменить не может».

То было в ненастный осенний четверг,  
Вставало утро седое.  
Покой королевский открыт был, и вдруг  
Раздалось карканье злое.

Ужасный ворон влетел в окно  
И сел с королевой в зале;  
«Отдайте мне сына — того, что вы  
Когда-то мне обещали».

И господом богом в чертогах небес  
И сонмом святых заедино  
Клялась королева, что нет у нее  
Ни дочери в мире, ни сына.

И яростно ворон крылами взмахнул  
И каркнул в ярости черной:  
«Так где же Герман, веселый боец?  
Он мой, мое право бесспорно».

А Герману минул пятнадцатый год,  
И он задумал жениться;  
Послы его в Англию прибыли; там  
Ждала невеста-девица.

Король согласился отдать свою дочь,  
И Герман собрался на остров.  
«Но как мне к невесте добраться скорей —  
Вода преграждает доступ?»

И то был Герман, веселый боец.  
Он в алый цвет обрядился  
И в пурпурно-алой одежде своей  
Пред матерью ниц склонился.

«О мать моя, дорогая мать,  
Я с просьбою к вам большою:  
Отдайте свое оперенье, лететь —  
На остров лететь, над водою».

«Мое оперенье висит в углу.  
И ткань уж очень стара ведь;  
Придется, пожалуй, се к весне  
Слегка подновить, подправить».

И крылья притом чересчур широки,  
Осядут в тучах, над морем.  
И если ты пустишься в путь, то я  
Умру, сраженная горем».

В се оперенье облекся он  
И взмыл над морскою пучиной,  
И видел, подпявшись, как ворон ночной  
Сидел на скале пустынной.

Над гладью морскою он неся вдаль,  
Взлетая выше и выше,  
И вдруг позади себя хлопанье крыл  
И голос хриплый услышал:

«Здорово, Герман, веселый боец!  
Скучаю давно по тебе я;  
Когда мне тебя обещала мать,  
Ты меньше был и нежнее».

«О, дай лишь до острова мне долететь,  
Сказать два слова невесте,  
И я с тобой встречусь (слово даю!)  
На этом же самом месте!»

«Тогда я отмечу тебя, чтоб узнать  
Потом, при свиданье, снова,  
И пусть это памятью будет тебе,  
Что дал ты ворону слово».

Он выклевал Герману правый глаз  
И выпил крови немало,  
И витязь явился к невесте своей  
Истерзанный, нехудалый.

В девичьем покое уселся он,  
Весь в ранах и бледен ликом.  
Подруги невесты, при виде его,  
В смущенье смолкли великом.

Подруги в немом молчапье сидят,  
Тревога уста их сомкнула,  
А гордая дева Аделуц,  
Взглянув, руками всплеснула.

«Здорово, Герман, веселый боец!  
Где вам довелось порезвиться?  
Как вышло, что так поблуднили вы  
И кровь по платью струится?»

«Простите, гордая Аделуц,  
Связал меня клятвою ворон,  
Он выклевал глаз мне и выточил кровь,  
И ждет меня с этих пор он».

Она гребень в руки взяла и его  
Стала причесывать нежно,  
Кладет она волосок к волоску  
И слезы льет неутешно.

Пригладит одну за другою прядь  
И слезы льет неутешно,  
Его мать прокликает, по чьей вине  
Он муку принял, безгрешный.

И гордая дева Аделуц  
К нему простерла руки:  
«Проклятье матери твоей,  
Что нас обрекла на муки».

«Постойте, гордая Аделуц,  
Оставьте ваши проклятья:  
Того, что написано мне на роду,  
Никак не мог избежать я».

В свое оперенье облекся он  
И к новым ринулся бедам;  
Она в оперенье свое облеклась,  
За ним полетела следом.

Он ввысь взмывал и книзу слетал,  
В объятиях дальних просторов;  
Она неотступно летела вслед,  
С него не спуская взоров.

«Вернитесь, гордая Аделуц,  
Вернитесь, вас дома заждались;  
Открыта настежь в покои дверь,  
Ключи на полу остались».

«Пусть настежь открыта в покои дверь,  
Ключи пусть топчут ногами:  
Туда, где мучения приняли вы,  
Лечу я следом за вами».

Он книзу слетал и ввысь взмывал,  
Над морем сумрак сгустился,  
Тянулись туманы, гряда за грядой,  
И он из глаз ее скрылся.

Всех птиц, встречавшихся ей в пути,  
Она разрывала на части,  
Но дикий ворон никак не мог  
Понасться ей, по несчастью.

Принцесса гордая Аделуц  
На берег низкий слетала:  
Веселого Германа не было там,  
Рука его там лежала.

И в гневе она поднялась опять,  
За вороном вновь полстела,  
На запад летела и на восток,  
Его умертвить хотела.

Всех птиц, встречавшихся ей на пути,  
На части она разрывала,  
Когда же ей встретился ворон, она  
В клочки его растерзала.

Рвала и терзала, после сама,  
Устав, испустила дыханье.  
Вот сколько Герман, веселый боец,  
Доставил ей мук и страданья.<sup>1</sup>

Весьма многозначительно в этой песне не только упоминание об одежде из перьев, но и самое умение летать.

---

<sup>1</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

Во времена язычества именно о королевах и знатных дамах говорили, что они умеют летать по воздуху, и это волшебное искусство, тогда считавшееся чем-то почетным, стало в христианскую эпоху представляться одним из мерзостных свойств ведьм. Народная вера в полеты ведьм является переработкой древнегерманских поверий, и она обязана своим происхождением отнюдь не христианству, как ошибочно полагали на основании того места из библии, где сатана носит по воздуху нашего спасителя. Однако это место из библии могло бы во всяком случае служить оправданием народного верования, поскольку им подтверждалось то, что дьявол и в самом деле в состоянии носить людей по воздуху.

Некоторые отождествляют дев-лебедей, о которых я говорил, со скандинавскими валькириями. И эти последние также оставили значительные следы в народных верованиях. Ведьмы, выведенные Шекспиром в «Макбете», изображены в гораздо более благородном виде в древнем сказании, которое довольно широко использовано по этому. Согласно этому сказанию, герою перед самым сражением встретились в лесу три загадочные девы, предсказавшие ему судьбу и бесследно исчезнувшие. Это были валькирии или даже норны, эти парки севера. Последних напоминают также три волшебные пряжи, известные нам из старых детских сказок: у одной плоская стопа, у другой широкий большой палец, у третьей отвислая губа. По этим признакам их узнают всегда, появляются ли они в дряхлом или омоложенном виде.

Не могу не упомянуть здесь об одной сказке, действие которой разыгрывается на моей рейнской родине, радостно расцветающей при этом в моем воспоминании. И здесь выступают три женщины, о которых я не могу определенно сказать, относятся ли они к духам стихий или они колдуньи, притом колдуньи именно древнеязыческого толка, столь сильно отличающиеся своим поэтическим благообразием от позднейших ведьм. Эта история не сохранилась во всей точности в моей памяти; если не ошибаюсь, она весьма подробно изложена в «Рейнских сказаниях» Шрейбера. Это сказание о долине Висперталь — о «шепчущей» долине, расположенной неподалеку от Лорха. Название это долина получила от голосов, шепчущих там на ухо прохожему нечто подобное тому таинственному «Пст! Пст!»,

которое обыкновенно слышишь, проходя вечерком по известным переулкам столицы. По этой самой Долине шепота проходили как-то трое странствующих подмастерьев; они были в очень хорошем настроении и захотели обязательно узнать, что же может означать это переставное «Пст! Пст!». Наконец, старший и самый смекалистый из них, по ремеслу оружейник, громко воскликнул: «Это, несомненно, голоса женщин настолько уродливых, что они не смеют показаться!» Едва он произнес эти лукавые и вызывающие слова, как перед ним вдруг явились три чудесные красавицы, пзящыми жестами приглашавшие его и обоих его спутников отдохнуть в их замке от тяжелого пути и вообще поразвлечься. Замок этого, расположенного поблизости, парни сначала совсем не заметили, быть может потому, что он не возвышался в открытом месте, а был высечен в скале, так что снаружи видны были только маленькие стрельчатые окна да широкий проезд. Войдя в замок, они немало были поражены великолепием, отовсюду сверкавшим им навстречу. Три девы, обитавшие там, как видно, в полном одиночестве, угостили их прекрасной трапезой, причем сами подносили им вино. Никогда в жизни парни, в груди которых все веселее смеялось сердце, не видели таких прекрасных и обольстительных женщин, и они обручились с ними в пламенных лобзаниях. На третий день красавицы сказали: «Если вы, милые женихи, хотите жить с нами всегда, то сначала вы должны пойти еще раз в лес и узнать там, что поют и говорят птицы; когда узнаете и поймете смысл того, что говорят воробей, сойка и сова, тогда возвращайтесь в наши объятия».

Три парня отправились в лес и, пробравшись через заросли и кривые сучья, исцарапавшись о колючки, то и дело натываясь на пни, подошли к дереву, на котором сидел воробей, прочитавший им:

Трое глупых парнишек, не труся,  
К берегам кисельным пустились;  
Пролетели три жареных гуся  
Мимо носа у них — и скрылись.

Молвят парни: «Здесьшний народ  
Ничего-то в толк не возьмет.  
Гусь, он должен быть со щепотку,  
Эти гуси не лезут нам в глотку».



«Вот-вот, — воскликнул оружейник, — совершенно верно сказано! Да, пускай жареные гуси пролетают мимо пасти дурака, ему все равно пользы от того не будет! Пасть у него мала, а гуси велики, и ему все равно с ними не справиться!»

Пробираясь дальше сквозь заросли и кривые сучья, испаравшись о колючки, то и дело натываясь на пни, пришли три парня к дереву, по ветвям которого прыгала сорока и стрекотала: «Моя мать была сорокой, моя бабушка тоже была сорокой, моя прабабушка тоже была сорокой, и моя прапрабабушка была сорокой, и если бы моя прапрабабушка не померла, то была бы еще жива».

«Вот-вот, — воскликнул оружейник, — это я понимаю! Это и есть всемирная история. Это в конце концов итог всех наших исследований, и многим более того люди в этом мире никогда не узнают».

Пробираясь дальше сквозь заросли и кривые сучья, испаравшись о колючки, то и дело натываясь на пни. пришли три парня к дереву, в дупле которого сидела сова и бормотала про себя: «Кто говорит с одной женщиной, того надует одна женщина, кто говорит с двумя женщинами, того надуют две женщины, а кто говорит с тремя женщинами, того надуют три женщины».

«Ого! — сердито закричал оружейник. — Эй ты, поганая птица со своей поганой, жалкой мудростью, которую за греш можно купить у всякого нищего горбуна! Это устаревшая, проклятая клевета! Ты бы много лучше думала о женщинах, если бы была пригожа и весела, как мы, или если бы знала наших невест, прекрасных, как солнце, и верных, как золото!»

Тут три парня пустились в обратный путь, и, пройдя некоторое время с веселым посвистом и песнями, они вновь очутились пред замком в скале и в безудержной радости заели озорную песню:

Дверь закрыта на замок,  
Что ты делаешь, дружок?  
Снишь ли ты, встаешь ли?  
Плачешь ли, поешь ли?

Так, весело распевая, стояли наши ребята перед воротами замка, как вдруг над воротами открылись три окошечка и из каждого выглянуло по старушонке:

все три длинноносые, со слезящимися глазами, они радостно кивали седыми головами и, раскрыв беззубые рты, хрипло кричали: «Вот они, наши милые женихи! Погодите, милые женихи, сейчас отопрем вам ворота и встретим вас поцелуями, и вы насладитесь счастьем в объятиях любви!»

До смерти перепуганные, парни не стали ждать, пока распахнутся ворота замка, и раскроются пред ними объятия невест, и будет достигнуто счастье на всю жизнь, которое было им обещано в этих объятиях, но дали стрелкача и понеслись во весь дух, да так быстро, что в тот же день добрались до города Лорха. И вечером, сидя в кабачке за вином, они осушили не одну кружку, прежде чем окончательно оправились от испуга. Но оружейник клялся всеми правдами и неправдами, что сова — умнейшая птица на свете и педаром считается символом мудрости.

Я коснулся здесь лишь вскользь темы, представляющей многотомный материал для интереснейших исследований, а именно вопроса о том, как христианство стремилось либо истребить, либо растворить в себе древнегерманскую религию и как следы ее сохранились в народных верованиях. Известно, как велась эта война на уничтожение... Когда народ, привыкший к былому поклонению силам природы, сохранял и после обращения старинное благоговение к известным местам, то такое преклонение старались обратить на пользу новой религии или объявить происками злого духа. У родников, которые язычество почитало божественными, христианский священник строил свою хитрую церковку и сам теперь освящал воду и эксплуатировал ее чудодейственную силу. До нынешнего дня ходит народ на богомолье к старым милым родникам незапамятной древности и с верой черпает в них исцеление. Священные дубы, не поддавшиеся христианским топорам, были оклеветаны; под этими деревьями, как говорили теперь, орудует по ночам нечистая сила и ведьмы предаются адскому распутству. Но дуб остался все же любимым деревом немецкого народа, дуб до сих пор есть символ немецкой национальности: это высочайшее и самое мощное дерево во всем лесу; корни его проникают в самую глубь земли; зеленым знаменем гордо развеивается в воздухе его листва; эльфы поэзии

гвездятся в его стволе; священно-премудрая омега обвиняет его ветки; одни только плоды его мелки и песьедобны для человека.

В древнегерманских законах еще много запретов. Нельзя было молиться вблизи рек, деревьев и камней, так как люди держались еретического взгляда, будто в них обитает божество. Карлу Великому пришлось в своих «Капитуляриях» твердо запретить приношение жертв камням, деревьям, рекам; запрещалось также зажигать там священные светильники.

Эти три предмета — камни, деревья и реки — являются основными в германском культе, и с этим перекликается вера в существа, живущие в камнях, а именно в карликов, в существа, живущие в деревьях, а именно в эльфов, в существа, живущие в воде, а именно в водяных и русалок. При желании установить здесь систему это распределение представляется гораздо более целесообразным, чем расположение по различным стихиям, причем для огня принимается четвертый разряд духов стихий, а именно саламандры. Однако народ, обходящийся всегда без системы, никогда ничего о них не знал. В пароде существует, собственно, только сказание о животном, которое способно жить в огне и называется саламандрой. Все мальчики — завзятые естествоиспытатели, и я, будучи малышом, пытался однажды исследовать, в самом ли деле саламандры могут жить в огне. Когда моим школьным товарищам удалось как-то поймать такое животное, я поспешил бросить его в печь, где оно сперва стало брызгать в огонь белой слизью, потом зашипело, все тише, тише, и, наконец, испустило дух. С виду зверек напоминает ящерицу, но он шафранно-желтого цвета, с черными крапинками, а белая жидкость, которую он испускает в огне и посредством которой, быть может, иной раз и гасит пламя, вероятно послужила источником веры, будто саламандра может жить в огне.

Огненные люди, бродящие по ночам, не духи стихий, но призраки покойников, мертвых ростовщиков, бессердечных чиповников и злодеев, переставлявших межские камни. Блуждающие огоньки тоже не относятся к духам. Никто точно не знает, что они представляют собою; они заманивают путника в трясины и болота. Как я уже сказал, народу неизвестен весь разряд духов огня, описывае-

мый Парацельсом. Об одном лишь огненном духе упоминает он, и это не кто иной, как Люцифер, сатана, дьявол. В старинных балладах он выступает под именем огненного царя, и его появления или уход в театре неизменно сопровождается традиционными огненными языками. Поскольку он, таким образом, есть единственный дух огня и является для нас представителем всего разряда таких духов, мы займемся им подробнее.

В самом деле, если бы дьявол не был огненным духом, как мог бы он выдержать пребывание в аду? Он существо настолько холодное, что не может себя нигде хорошо чувствовать, кроме как в огне. На эту холодность дьявольской природы жаловались все женщины, имевшие несчастье вступать с ним в близкие отношения. Удивительно совпадают в этом отношении дошедшие до нас показания ведьм в колдовских процессах всех стран. Эти дамы, признававшиеся в своей плотской связи с дьяволом, даже под пыткой неизменно рассказывают о холоде его объятий; ледяными — плакались они — были проявления этой дьявольской нежности.

Дьявол холоден даже в качестве любовника. Но он не безобразен, ибо может принимать любой вид. Нередко он облакался в личину женской прелести, чтобы помешать какому-нибудь набожному иноку в исполнении покаянного подвига или даже вовлечь его в соблазн плотского наслаждения. Другим, кого он желал только напугать, он являлся в образе зверином, так же как его адские подручные. В хорошем настроении, наевшись и напившись, он охотно является в виде животного. Был, например, один дворянин в Саксонии, который пригласил к себе друзей попить. Когда стол был накрыт, и пришло время обеда, и все было готово, гости не явились и один за другим прислали извинения, что не могут прибыть. В гневе вырвались у него слова: «Если ни один человек не хочет прийти, то пусть сам черт у меня обедает вместе с целым адом!» Сказав это, он покинул дом, чтобы рассеять досаду. Тем временем во двор въехало несколько рослых черных всадников; они приказали слуге дворянина отыскать барина и сообщить ему, что прибыли гости, которых он пригласил напоследок. После долгих поисков слуга находит, наконец, господина, возвращается вместе с ним, но оба не отваживаются войти

в дом. Ибо они слышат, как там все безумнее гремит разгул, песни и крики, и, наконец, видят, как перепившиеся бесы в образе медведей, кошек, козлов, волков и лисиц подходят к открытым окнам, держа в лапах полные кубки или дымящиеся тарелки, и, весело скаля зубы, кивают лоснящимися мордами стоящим внизу.

Что дьявол в образе черного козла председательствует на шабаше ведьм, известно всем и каждому. Позже, рассказывая о ведьмах и колдовстве, я остановлюсь на роли, которую он играет, пребывая в этом облике. В достопримечательной книге, где глубоко ученый Георгинус Годельманус дает правдивый и основательный обзор этого предмета, сказано также, что дьявол нередко является в образе монаха. Годельманус приводит следующий пример:

«В бытность студентом юридического факультета в знаменитом Виттенбергском университете, помню, не раз приходилось мне там слышать от профессоров моих, что пришел к дверям Лютера некий монах; когда в ответ на его сильный стук слуга открыл ему и спросил, чего ему надо, монах спросил, дома ли Лютер. Узнав об этом, Лютерус впустил его, потому что уже некоторое время не видал монахов. Войдя, тот сказал, что заметил несколько папистских ошибок, по поводу которых хотел бы поговорить с ним, и предъявил ему несколько силлогизмов и тезисов, и когда Лютерус без труда разрешил их, он выставил новые, не столь уже легкие, почему у Лютера, пришедшего в некоторое раздражение, вырвались слова: «Ты мне докучаешь, я ведь занят другими делами!» — И, встав, он показал ему в библии ответ на вопрос, предложенный монахом. И как заметил он в этом разговоре, что руки у монаха были вроде птичьих когтей, то сказал: «Да ты не тот ли самый? Постой, слушай-ка, вот этот приговор против тебя произнесен!» — И показал ему изречение в «Бытии», первой книге Моисея: «Семя жены сотрет главу змею». Побужденный этим изречением, дьявол пришел в ярость и ушел ворча, швырнув чернильницу за печку и распространив зловоние, которое еще несколько дней держалось в комнате».

В приведенном рассказе можно заметить одно свойство дьявола, обнаружившееся в давние времена и удержавшееся до нынешнего дня. Это его страсть к препирательствам, его софистика, его «силлогизмы». Дьявол — знаток

логики, п уже восемьсот лет тому назад это к своей невыгоде испытал папа Сильвестр, знаменитый Герберт. Будучи еще студентом в Кордове, он заключил с сатаной договор и при его адекой помощи изучил геометрию, алгебру, астрономию, ботанику, всякие полезные искусства, в том числе и искусство сделаться папой. Согласно договору, он должен был окончить свои дни в Иерусалиме. Конечно, он остерегался попасть туда. Но однажды, когда он служил обедню в одной римской часовне, дьявол явился за ним; папа противится, однако тот доказывает ему, что часовня, в которой они находятся, называется Иерусалимом, что условия старого договора исполнены и что он должен теперь отправляться в ад. И дьявол увлек папу, со смехом нашенывая ему на ухо:

*Tu non pensavi ch'io loico fossi.*

Ты не подумал о том, что я логик.  
(Данте, «Ад», 27).

Дьявол искусник в логике, он мастер в метафизике и своими ухищрениями и толкованиями всегда умее перехитрить вступивших с ним в соглашение. Если они не были достаточно внимательны, то, перечитывая впоследствии договор, к своему ужасу открывали, что дьявол вместо годов поставил лишь месяцы или недели или даже дни, и внезапно он обрушивается на них и доказывает, что условленный срок истек. В одной старинной пьесе кукольного театра, изображающей договор с сатаной, мерзостную жизнь и жалкий конец доктора Фаустуса, мы находим ту же черту. Фауст, пожелавший получить от дьявола все земные наслаждения, продал ему за это свою душу и обязался отправиться в ад, как только совершит третье убийство. Он уже успел убить двух человек и убежден, что не попадет в руки к дьяволу, пока не убьет третьего. Но тот доказывает Фаусту, что именно его собственный договор с дьяволом, убийство собственной своей души, должно считаться третьим убийством, и с помощью этой проклятой логики забирает его в преисподнюю. В какой мере использовал Гете эту характерную черту — софистику — для своего Мефистофеля, может судить каждый. Нет ничего занятнее чтения сохранившихся от времен колдовских процессов договоров с дьяволом, где договаривающийся с помощью всякого рода хитрых оговорок

предохраняет себя от всех придирок и старательнейшим образом по нескольку раз перефразирует все условия.

Дьявол — логик. Он не только представитель мирской полноты жизни, чувственных наслаждений, плоти, но он также представитель человеческого разума, именно потому, что разум отстаивает все права материи; и он, таким образом, является противоположностью Христу, который есть представитель не только духа, аскетического подавления чувственности, небесного спасения, но и веры. Дьявол не верит, он не опирается слепо на чужие авторитеты, он доверяет только собственному мышлению, он орудует разумом! Это, конечно, ужасно, и римско-католическо-апостольская церковь, прокляв самостоятельное мышление как дьявольщину, объявила дьявола, представителя разума, отцом лжи.

О внешнем облике дьявола в самом деле нельзя сказать ничего точного. Одни, как я уже упомянул, утверждают, что у него нет определенного облика и что поэтому он может являться в любой форме. По-видимому, это так и есть. Так, в «Демонологии» Горста говорится, что дьявол может обернуться даже салатом. Одна монахиня, в общем вполне почтенная, но не достаточно точно соблюдавшая устав своего ордена и недостаточно часто осенявшая себя крестным знамением, как-то съела салат. Едва поев его, она ощутила некоторое волнение, доселе чуждое ей и никоим образом не совместимое с ее саном. Странная истома стала овладевать ею теперь по вечерам, при свете месяца, когда так сильно благоухали цветы и соловьи разливались такими томительно-рыдающими напевами. Вскоре затем свел с ней знакомство один привлекательный юноша. Когда они сблизились, красавчик как-то спрашивает ее: «А ты знаешь, кто я такой?» — «Нет», — ответила несколько встревоженная монахиня. «Я дьявол, — сказал он. — Помнишь ли ты тот салат? Салат этот был я!»

Иные утверждают, что у дьявола всегда звериное обличье и что если мы видим его в другом образе, то это только наваждение. Конечно, в дьяволе есть нечто циничское, и никто не осветил эту его особенность лучше нашего поэта Вольфганга Гете. Превосходно, с этой точки зрения, изобразил дьявола также другой немецкий писатель, значительный как в своих недостатках, так и в достоинствах, и, во всяком случае, имеющий право быть

причисленным к поэтам перворазрядным, — г-н Граббе. Он также отлично понял холодность в натуре дьявола. В одной драме этого гениального писателя дьявол является на землю потому, что его мать моет пол в аду; по принятому у нас способу убирать комнаты, пол обливается кипятком и натирается грубой тряпкой, отчего в комнате стоит шинель и поднимается теплый пар, так что существо разумное не может оставаться дома. Поэтому дьявол выпущен бежать из хорошо натопленной преисподней наверх, на холодную землю, и здесь, хотя на дворе стоит жаркий июльский день, бедного дьявола бросает в такой озноб, что он чуть не замерзает и лишь с помощью врача спасается от окоченения.

Мы только что видели, что у дьявола есть мать; хотя многие утверждают, что у него, собственно, есть только бабушка. Мать тоже иногда поднимается на землю, и к ней, быть может, относится пословица: «Где черту самому не управиться, там ему поможет старуха». Но обыкновенно она в преисподней хлопочет на кухне или сидит в красном кресле, и когда по вечерам дьявол, усталый от дневных забот, возвращается домой, он жадно пожирает то, что ему настряпала его мамаша, а потом кладет ей голову на колени, чтобы она поискала у него в голове, и засыпает. Она же мурлычет ему песню, начинающуюся словами:

В соборе, в соборе,  
Там роза расцвела,  
Как кровь, она ала.

---

Странное дело — писательство. Одному посчастливится в нем, другому не повезет. Худшую неудачу испытал, пожалуй, мой несчастный приятель Генрих Кицлер, геттингенский *magister artium*.<sup>1</sup> Нет там, в Геттингене, никого, кто был бы более учен, более богат идеями, более усидчив, чем этот мой друг, и, однако, по сей час ни одна книга его сочинения не появилась на лейпцигской ярмарке. Старик Штифель в библиотеке, бывало, всегда улыбался, когда Генрих Кицлер просил у него книгу, крайне необходимую ему для труда, который он как раз

---

<sup>1</sup> Магистр искусств (*лат.*).



теперь заканчивает. «Долго еще будет он его заканчивать!» — бормотал в таких случаях старый Штифель, поднимаясь к полке по лесенке. Улыбались даже кухарки, приходившие в библиотеку за книгами «для Кнцлера». Все считали его ослом, а он, по существу, был только честным человеком. Никто не знал истинной причины, почему из-под пера его не вышла ни одна книга, и лишь случайно открыл ее я, зайдя однажды к нему в полночь зажечь мою свечу, — мы ведь были соседями по комнатам. Он только что закончил свой большой труд о преимуществах христианства; но он как будто совсем не радовался и скорбно смотрел на рукопись.

— Наконец-то, — сказал я, — тебе имя будет красоваться в лейпцигском ярмарочном каталоге в перечне законченных книг!

— Ах, нет, — ответил он с глубоким вздохом, — и это сочинение придется мне бросить в огонь, как предыдущие...

И он поверил мне свою страшную тайну. Действительно, ужасная неудача постигала злополучного магистра всякий раз, когда он работал над книгой, а именно: развив все доводы в пользу положения, которое он предполагал доказать, он считал своим долгом привести также все возражения, которые мог бы выставить его возможный противник; тут, став на эту противоположную точку зрения, он придумывал остроумнейшие аргументы и, поскольку они бессознательно укоренялись в его душе, получалось всегда так, что к тому времени, когда книга была готова, воззрения ее автора постепенно изменялись и в уме его возникало убеждение, совершенно противоположное духу его книги. При этом он был настолько честен, что приносил лавры литературной славы (таким же образом поступил бы всякий французский писатель) на алтарь истины, то есть бросал рукопись в огонь. Поэтому-то он так глубоко вздохнул, когда доказал преимущества христианства.

— Вот, — говорил он печально, — я накопил двадцать корзины выписок из отцов церкви; целые ночи корпел, сторбившись над письменным столом, и читал «Acta Sancto-rum»<sup>1</sup>, между тем как в твоей комнате распивали пуш и пе-

---

<sup>1</sup> «Деяния святых» (лат.).

ли «Государя»; вот заплатил я Ванденгуку и Рупрехту тридцать восемь с трудом заработанных талеров за богословские повинки, необходимые мне для моего сочинения, вместо того чтобы купить себе на эти деньги трубку; два года я работал как собака, два драгоценных года... И все для того, чтобы оказаться смешным, чтобы, подобно уличному хвостуну, опустить глаза, когда госпожа консисторальная советница Плапк спросит меня: «А когда выйдут в свет ваши «Преимущества христианства»?» Ах, книга готова, — продолжал бедняга, — и пришлось бы читателям по вкусу, ибо я возвеличил в ней победу христианства над язычеством и доказал, что, таким образом, истина и разум одержали также верх над лицемерием и безумием. Но я, несчастный, в глубине души я чувствую, что...

— Остановись! — воскликнул я в справедливом негодовании. — Не дерзай, ослепленный, чернить возвышенное и повергать во прах блистательное! Ты отрицаешь чудеса евангельские — пусть, но ты не можешь отрицать, что самая победа евангелия была чудом. Кучка безоружных людей вторглась в великий мир римлян, невзирая на его палачей и на его мудрецов, и восторжествовала единою силой слова. Но какого слова! Подгнившее язычество содрогнулось и надломилось при слове этих пришлых мужчин и женщин, возвещавших новое царствие небесное и не страшившихся ничего на этой старой земле — ни когтей диких зверей, ни ярости еще более диких людей, ни меча, ни огня... Ибо сами они были меч и пламя, пламя и меч господни! Этот меч обрубил увядшую листву и сухие ветви с древа жизни и тем исцелил его от разъедающей гнили; это пламя вновь согрело пазухи околоченный ствол, так что он покрылся свежей листвой и душистыми цветами... Это первое выступление христианства, его борьба и его полная победа есть наиболее потрясающе-возвышенное событие всемирной истории.

Я произнес эти слова с тем более благородной выразительностью, что накануне вечером выпил очень много эймбекского пива, и голос мой раздавался тем звучнее.

Но, нимало этим не смущенный, Генрих Кицлер с иронически-болезненной улыбкой возразил:

— Милый друг, не трудись понапрасну! Все, что ты тут говоришь, я изложил в этой рукописи гораздо лучше и гораздо основательнее. Я дал здесь ярчайшую картину отвратительного состояния мира в эпоху язычества и льщу себя надеждой, что смелые взмахи моей кисти напоминают творения лучших отцов церкви. Я показал, как порочны стали греки и римляне, благодаря дурному примеру, поданному богам, позорное поведение которых едва давало бы им право называться людьми. Без обиняков я прямо заявил, что даже Юпитер, высший из богов, сто раз заслужил, по королевскому ганноверскому уголовному уложению, если не виселицу, то каторжную тюрьму. В противоположность этому, я как следует пересказал все моральные изречения, встречающиеся в евангелии, и показал, как первые христиане, по примеру своего божественного прообраза, несмотря на унижения и гонения, которые они за это претерпели, проповедовали и осуществляли в жизни одну только прекраснейшую чистоту нравов. Лучшая часть моего труда та, в которой я вдохновенно повествую, как юное христианство, подобно маленькому Давиду, вступает в бой со старым язычеством и убивает этого громадного Голиафа. Но, увы, теперь этот поединок представляется мне в несколько странном свете... Ах, всякое увлечение моей апологией иссякло у меня в груди, когда я начал живо представлять себе, как стал бы изображать торжество евангелия какой-нибудь противник. К несчастью, в мои руки попали некоторые писатели недавнего прошлого, вроде Эдуарда Гиббона, которые как раз не слишком благосклонно отзываются об этой победе и как будто не очень умиляются тем, что там, где недостаточными оказывались меч духовный и духовное пламя, христиане прибегали к мирскому мечу и мирскому пламени. Да, я должен признаться, что в конце концов мною овладело горестное сострадание к остаткам язычества, к этим прекрасным храмам и статуям, ибо они принадлежат уже не религии, которая была мертва задолго до рождения Христова, но искусству, которое живет вечно. Слезы выступили однажды у меня на глазах, когда я случайно в библиотеке прочитал «Речь в защиту храмов», где древний грек Либаний скорбно умолял набравших варваров пощадить драгоценные создания искусства, которыми пластическое творчество эллинов укра-

сило мир. Но тщетно! Невозвратно уничтожены были мрачным разрушительным рвением христиан эти памятники весны человечества, которая не повторится снова и могла расцвести лишь однажды...

— Нет, — продолжал свою речь магистр, — я не хочу изданием этой книги принять позднее участие в таком кошунстве, нет, не хочу ни за что... И вам, разбитые изваяния красоты, вам, отблески усонших богов, вам, ставшим лишь чарующими грезами в поэтическом царстве теней, вам приношу я эту книгу в жертву!

С этими словами Генрих Кицлер швырнул свою рукопись в пламя камна, и от преимуществ христианства осталась одна только серая зола.

Это произошло в Геттингене зимою 1820 года, за несколько дней до той роковой ночи под Новый год, когда так ужасно поколотили педеля Дориса и между корпорациями и землячествами было проведено восемьдесят пять дуэлей. Ужасны были эти колотушки, словно деревянным ливнем сыпавшиеся в тот час на широкую спину бедного педеля. Но, как добрый христианин, он утешал себя уверенностью, что некогда на небесах мы будем вознаграждены за страдания, незаслуженно испытанные нами здесь, внизу. Давно это было. Старый Дорис давным-давно отстрадал и спит в своей тихой могиле у Вендских ворот. Два великих лагеря, некогда наполнявшие полемиическим бряцанием своих шпаг поля битвы при Бофдене, Ритшенкрге и Разенмюле, давно в ощущении своего обоюдного ничтожества нежнейшим образом выжили на брудершафт; и на пишущем эти строки закон времени также отразился сильнейшим образом. В моем мозгу играют менее веселые краски, чем в те времена, и на сердце у меня появилась тяжесть; где я некогда смеялся, там ныне лью слезы и в раздражении сжигаю надпрестольные образа моей былой набожности.

Было время, когда я при встрече на улице благоговейно целовал руку у каждого капуцина. Я был ребенком, и отец смотрел на это сквозь пальцы, отлично зная, что мои губы не всегда будут удовлетворяться плотью капуцинов. И в самом деле, я подрост и стал целовать красивых женщин... Но подчас они смотрели на меня с такой бледной скорбью, и я вздрагивал от испуга в объятиях наслаждения... Здесь таилось зло, невидимое никому, хотя каждый

болел им, и я раздумывал о нем. Я думал также о том, в самом ли деле должно предпочитать лишения и отречение всем наслаждениям земным, и будут ли те, кто здесь довольствовался терниями, тем обильнее угощаться там, наверху, ананасами? Нет, кто питался терниями, был ослом; и кому достались колотушки, тот при них и остается. Бедняга Дорис!

Мне не дозволено, однако, говорить здесь определенными словами обо всех вещах, над которыми я размышлял, и еще меньше дозволено мне делиться результатами моих размышлений. Придется ли и мне, как великому множеству других, сойти в могилу с сомкнутыми устами?

Но, быть может, мне разрешат привести здесь несколько банальных фактов, чтобы внести в побасенки, которые я здесь перебираю, некоторую долю разума или хотя бы видимость его. Эти факты относятся как раз к торжеству христианства над язычеством. Я совсем не разделяю мнения моего друга Кицлера, что иконоборчество первых христиан достойно столь горького порицания; они не могли и не должны были щадить древние храмы и статуи, ибо там жила еще старая греческая веселость, та жизнерадостность, которая христианству представлялась дьявольским наваждением. В этих статуях и храмах христианин видел не просто предметы чужого культа, ничтожного заблуждения, лишненного всякой реальности: эти храмы он считал крепостями подлильных демонов, а богам, изображаемым этими статуями, он приписывал бесспорное действительное бытие; для него ведь это были все сплошь бесы. Когда первые христиане отказывались поклонять колена и приносить жертвы пред изваяниями богов и за это подвергались преследованиям и суду, они неизменно отвечали, что не могут поклоняться демонам! Они предпочитали мученичество необходимости совершить ничтожнейший обряд преклонения пред дьяволом Юпитером, или дьяволицей Дианой, или, наконец, пред архидьяволицей Венерой.

Бедные греческие философы! Они никак не могли понять это противоречие, как и впоследствии никогда не могли понять, что в полемике с христианами им приходится защищать совсем не старую, умершую веру, но гораздо

более живые вещи. Дело было совсем не в том, чтобы неоплатоническими ухищрениями доказать наличие более глубокого смысла в мифологии, влить в умерших богов свежую кровь символики и изodia в день возиться с неуклюжими, грубыми возражениями первых отцов церкви, насмежавшихся чуть ли не по-вольтеровски над моральным обликом богов; дело шло о том, чтобы отстоять самый эллинизм, греческий образ мышления и чувствования, и бороться с распространением пудаизма, иудейского образа мышления и чувствования. Вопрос стоял, кому властвовать в этом мире — мрачному, тощему, враждебному плоти, сверхдуховному иудаизму назарейн или эллинской веселости, любви к красоте и цветущей жизнерадостности. Не в этих прекрасных богах было главное; никто уже больше не верил в благоухающих амброзией обитателей Олимпа, но божественно-упоительное было в их храмах, на их праздничных играх, на их мистериях; здесь украшали голову цветами, здесь плясали в прелестной торжественности, здесь возлежали за веселыми пиршествами... а то предавались и более упоительным наслаждениям.

Все эти радости, весь этот веселый смех давно отзвучал, и в развалинах древних храмов, по народному верованию, все еще проживают древнегреческие божества, но победа Христа лишила их всей их мощи; это жалкие бесы, днем гнездящиеся среди сов и жаб в темных развалинах своего бывшего великоления, ночью же выходящие оттуда в соблазнительном облике, чтобы обмануть и заманить какого-нибудь неосторожного путника или бесшабашного смельчака.

С этой народной верой связаны чудеснейшие сказания, и новейшие поэты черпали отсюда мотивы для прекраснейших своих созданий. Действие происходит обыкновенно в Италии, и героем выступает какой-нибудь немецкий рыцарь, юношеская невинность или стройная фигура которого заставляет прекрасных дьяволиц опутывать его особенно сладостными чарами. Вот прекрасными осенними днями бродит он со своими одинокими мечтаниями, быть может вспоминает — легкомысленный встреник! — о дубовых лесах на далекой родине и о русокудрой девушке, оставленной там. Вдруг он останавливается перед мраморной статуей, видом которой почти

ошломлен. Это, быть может, богища красоты, и он стоит перед нею лицом к лицу, и сердце юного варвара втайне охвачено давним волшебством. Что же это такое? В жизни не видал он таких стройных членов, и в этом мраморе чувствуется ему более живая жизнь, чем та, которую он когда-либо находил в красных щечках и губках, во всех телесных прелестях своих землячек. Эти белые глаза смотрят на него с таким вожделением и, однако, с такой жуткой тоскою, что его сердце наполняется любовью и жалостью, жалостью и любовью. И все чаще уходит он бродить среди старинных развалин, и земляки удивляются, что его почти не видно на пирушках и на рыцарских игрищах. Страшные слухи ходят о его скитаниях среди языческих руин. Но однажды утром он, бледный, с искаженным лицом, врывается в гостиницу, расплачивается по счету, подвизывает свою котомку и спешит назад, за Альпы. Что с ним приключилось?

Рассказывают, будто однажды вечером он отправился к своим любимым развалинам позднее обычного, после захода солнца, но из-за спустившейся темноты не мог найти места, где привык проводить долгие часы в созерцании статуи прекрасной богини. После долгих блужданий, уже к полуночи, он вдруг очутился перед виллой, которой никогда прежде не видал в этой местности, и был чрезвычайно удивлен, когда ему навстречу вышли слуги с факелами, приглашая его от имени своей повелительницы здесь переночевать. Как велико, однако, было его изумление, когда, войдя в обширный освещенный зал, он увидел здесь даму, в одиночестве расхаживавшую взад и вперед и поразительно похожую фигурой и чертами лица на прекрасную статую, которую он так любил. Да, сходство ее с тем мраморным изваянием увеличивалось оттого, что вся она была в ослепительно белой кисее и лицо ее было необычайно бледно. Когда рыцарь, учтиво склонившись, приблизился к ней, она долго серьезно и молча смотрела на него и, наконец, улыбаясь, спросила, не голоден ли он? Хотя сердце дрожало в груди у рыцаря, однако желудок у него был все-таки немецкий, после долгих скитаний ему очень хотелось подкрепиться, и он охотно последовал за прекрасной дамой в столовую. Она ласково взяла его за руку и повела по высоким гулким покоем, производившим, несмотря на все великолепие, впечатление жуткой

пустынности. Канделябры бросали призрачно-тусклый свет на стены, пестрая роспись которых изображала разные языческие любовные эпизоды, например Париса и Елену, Диану и Эндимиона, Калипсо и Улисса. Громадные причудливые цветы, стоявшие у окон в мраморных вазах, поражали такой пугающей пышностью и испускали такой одурманивающий, такой трупный запах. При этом ветер стонал в каминах, как страдающий человек. Наконец в столовой прекрасная дама, усевшись напротив рыцаря, стала наливать ему вино и с улыбкой предлагать лучшие куски. Кое-что, конечно, смущало рыцаря за этим ужипом. Когда он попросил соли, которой не оказалось на столе, белое лицо красавицы передернулось почти искажившим его недовольством, и лишь после повторного требования она с явным раздражением приказала, наконец, слугам подать солонку. Дрожащими руками поставили они ее на стол, причем рассыпали чуть не половину. Но доброе вино, огнем лившееся в глотку рыцаря, смягчило тайный ужас, временами охватывавший его; понемногу в нем пробудилась доверчивость и заиграла кровь, и когда дама спросила, знает ли он, что такое любовь, он ответил ей пламенными поцелуями. Опьяненный любовью, а быть может, и сладким вином, он вскоре уснул на груди своей пежной хозяйки. Но дикие сны метались в его голове, призрачные личины, какие пугают нас в лихорадочном полусне нервной горячки. То чудилось ему, что он видит свою старую бабушку, как она сидит дома в красном кресле и дрожащими губами судорожно шепчет молитву. То слышал он доносящееся сверху насмешливое хихиканье больших летучих мышей, метавшихся вокруг него с факелами в когтях; но когда он получше присмотрелся к ним, ему стало казаться, что это челядь, прислуживавшая за столом. В конце концов ему пригрезилось, что красавица хозяйка внезапно превратилась в отвратительное чудовище, и, насмерть перепуганный, он выхватил меч и отрубил ей голову. Лишь поздним утром, когда солнце уже высоко стояло на небе, рыцарь пробудился от сна. Но он лежал не в великолепной вилле, где, казалось, он провел ночь, а среди хорошо известных ему развалин, и с ужасом увидел, что прекрасная статуя, которую он так любил, упала с пьедестала и что ее отвалившаяся голова лежит у его ног.



Такой же характер имеет легенда о юном рыцаре, который, играя как-то на одной вилле в окрестностях Рима с приятелями в мяч, снял с пальца перстень, мешавший ему во время игры, и, чтобы не затерять его, надел на палец мраморной статуи. Однако, возвратившись по окончании игры к статуе, изображавшей какую-то языческую богиню, он с ужасом увидел, что палец мраморной женщины, на который он надел перстень, не вытянут, как было раньше, а крепко согнут, так что уже нельзя было снять перстень с пальца, не разбив руки, чего, однако, не позволяло ему какое-то непонятное страдание. Подойдя к прочим участникам игры, чтобы рассказать им об этом чуде, он предложил им убедиться в нем своими глазами. Но когда он вернулся с друзьями к статуе, она опять держала палец вытянутым, как всегда, а перстень исчез. Спустя некоторое время после этого происшествия рыцарь решил вступить в брак и отпраздновал свою свадьбу. Но в брачную ночь, когда он уже собирался лечь на ложе, вдруг перед ним явилась женщина, фигурой и лицом совершенно подобная упомянутой статуе, и стала настаивать на том, что, поскольку он надел перстень на ее палец, он обручен с нею и принадлежит ей как законный супруг. Тщетно возражал рыцарь против ее притязаний; всякий раз как он хотел приблизиться к обвенчанной с ним жене, язычница становилась между ним и ею, так что он вынужден был на эту ночь отказаться от всяких супружеских наслаждений. То же произошло и на вторую ночь, и на третью, и глубокая тоска охватила рыцаря. Никто не мог помочь ему, и даже самые набожные люди пожимали плечами. Наконец дошел до него слух об одном священнике, по имени Палумнус, который не раз уже оказывал большую помощь против языческих козней дьявола. Долго пришлось его упрашивать, прежде чем он обещал рыцарю содействие: это, по его словам, грозило величайшими опасностями ему самому. Затем священник Палумнус написал несколько странных знаков на клочке пергамента и дал рыцарю следующее указание: он должен явиться в полночь на место скрещения дорог в окрестностях Рима; здесь перед ним пройдут всякие необычайные явления; но он должен оставаться спокойным, ни в малой степени не смущаясь ничем из того, что услышит и увидит. Лишь

когда он заметит фигуру женщины, на палец которой он надел перстень, он должен подойти к ней и вручить ей исписанный пергамент. Этому предписанию рыцарь подчинился, но не без сердцебиения стоял он в полночь на указанном перекрестке, когда перед ним потянулось страшное шествие. Это были бледные мужчины и женщины, пышно разодетые в праздничные наряды времен язычества; у одних были золотые короны, у других лавровые венки на головах, однако скорбно опущенных; тут же с боязливой торопливостью пронесли и разные серебряные сосуды, кубки и утварь, необходимую для старинного богослужения; в толпе виднелись и большие быки с раззолоченными рогами, обвитые гирляндами цветов; наконец, на высокой триумфальной колеснице, сверкая пурпуром и в венке из роз, явилась величавая, божественная красавица. Тут рыцарь, подойдя к ней, подал ей пергамент священника Палумнуса; ибо в ней он узнал мраморную статую, владевшую его перстнем. Увидев знаки, которыми исписан был пергамент, красавица со стоном подняла руки к небу, слезы хлынули у нее из глаз, и с жестом отчаяния она вскричала: «Жестокосердый священник Палумнус! Все еще мало тебе того зла, что ты причинил нам! Но скоро придет конец твоим преследованиям, жестокосердый священник Палумнус!» Сказав это, она протянула рыцарю его перстень, и на следующую ночь тот не встретил никакого препятствия к вступлению в свои супружеские права. Но священник Палумнус умер на третий день после этого.

Эту историю я прочел впервые в «Mons Veneris»<sup>1</sup> Кормана. Недавно я наткнулся на нее также в преглутой книге о колдовстве Дель Рио, позаимствовавшего ее из произведения одного испанца; она, очевидно, испанского происхождения. Современный немецкий писатель барон Эйхендорф восхитительно использовал ее в превосходном рассказе. Предыдущая история тоже переработана немецким писателем Вилибальдом Алексисом в новеллу, принадлежащую к его самым поэтически-остроумным созданиям.

Упомянутое сочинение Кормана «Mons Veneris», или «Венериша гора», является важнейшим источником изла-

---

<sup>1</sup> «Венериной горе» (лат.).

гаемой здесь темы. Много времени прошло с тех пор, как мне случилось однажды держать ее в руках, и я лишь по воспоминаниям могу говорить о ней. Но и теперь встает в моей памяти эта маленькая книжка, страниц в сто пятьдесят, с ее прелестным старинным шрифтом; она напечатана, вероятно, около середины XVII века. Учение о духах стихий изложено в ней со всею основательностью, и автор связывает с ним свои необычайные сообщения о Венериной горе. Именно следуя примеру Корнмана, я счел нужным по поводу духов стихий говорить и о преображении древнегреческих богов. Они не призраки, потому что, как я неоднократно указывал, они не умерли; это не созданные и не умирающие существа, которые после победы Христа вынуждены были удалиться в подземные убежища. Пребывая здесь с прочими духами стихий, они забираются своими демоническими делами. Всего своеобразнее, романтически-чудесно звучит существующая в немецком народе легенда о богине Венере, которая, после низвержения ее храмов, нашла убежище в недрах неведомой горы, где она совместно с разудалой воздушной братией, с прекрасными лесными и водяными нимфами, а также с некоторыми знаменитыми, внезапно исчезнувшими с земли героями ведет жизнь, полную самых рискованных наслаждений. Уже издали, приближаясь к горе, слышишь радостный смех и сладостные звуки цитры, словно невидимой цепью обвивающие твое сердце и увлекающие в глубь горы. К счастью, неподалеку от входа стоит на страже старый рыцарь, по прозванию верный Эккарт; опираясь на свой большой боевой меч, он недвижим, как изваяние, но его честная, седая голова непрестанно качается, и он скорбно предупреждает о любовных опасностях, ожидающих всякого в недрах горы. Кое-кто вовремя внял предупреждению, кое-кто, напротив, не послушался гнусавого голоса старого стража и слепо ринулся в бездну проклятой похоти. Вначале все прекрасно. Но человек не всегда расположен смеяться, он становится временами тих и серьезен и возвращается мыслью к прошлому; ибо прошлое есть подлинная родина его души, и его охватывает тоска по чувствам, некогда испытанным, пусть это будут даже горестные чувства. Так оно и произошло с Тангейзером, согласно сообщению одной песни, принадлежащей к замечательней-

шим памятникам языка, сохранившимися в устах немецкого народа. Впервые я прочитал эту песню в упомянутом сочинении Коримана. У него почти дословно взял ее Преториус; из «Блоксберга» Преториуса перепечатали ее собиратели «Волшебного рога», и лишь по списку, взятому из последней книги и, быть может, неточному, приходится мне привести ее здесь:

Итак, начну, благословясь.  
Споем о Тангейзере песню,  
Как он с Венерой долго жил  
И натворил чудес с ней.

Тангейзер, рыцарь удалой,  
Прельстился дивным дивом —  
Пошел к Венере и к ее  
Прислужницам красивым.

«Тангейзер, помните, что вас  
Я нежно полюбила,  
Вы дали клятву жить со мной,  
Быть верным до могилы».

«Такой я клятвы не давал,  
К чему попреки эти!  
От вас я слышу от одной,  
Всевышний мне свидетель!»

«Тангейзер, что за странная речь!  
Останьтесь здесь, со мною,  
И будет одна из моих подруг  
Законной вашей женою».

«Когда женюсь я не на той,  
Кого люблю сердечно,  
В геенне огненной гореть  
И мучиться мне вечно».

«К чему о геенне толкуешь ты,  
Ведь ты не видел геенны,  
А эти алые уста  
Смеются неизменно».

«Мне ваши алые уста  
Немилы и отвратны.  
Позволь, прелестная, мне уйти,  
По чести уйти обратно».

«На то согласья я не даю,  
Тангейзер, славный витязь.  
Останьтесь лучше здесь, со мной,  
И жизнью насладитесь».

«От этой жизни я зачах,  
Клянусь самым всевышним!  
Расстаться с вами я решил  
И с телом вашим пышным».

«Тангейзер, что за вздорная речь!  
Нашлю на вас затмение.  
Пойдемте, чтоб отдаться вновь  
Любовным наслажденьям».

«Я в жены нежную возьму  
И чистую девицу.  
Венера, мне вы не нужны,  
Ведь вы же дьяволица!»

«Тангейзер, ах, как дерзки вы!  
Браштесь как поносно!  
Когда б остались вы у нас,  
Раскаяться б пришлось вам.

Тангейзер, раз нам суждено  
Расстаться, уходите,  
А вы повсюду мне хвалу  
В дороге вознесите!»

Тангейзер гору покинул вихрь,  
Раскаяньем терзаясь.  
«Направлю в Рим свои стопы  
И папе во всем покаюсь.

Я с чистым сердцем в путь пушусь,  
Господь нас не отринет.  
Там, в Риме, папа есть Урбан,  
Мою он исповедь примет».

«Святейший папа, властелин  
И мой отец духовный!  
Я к вам покаяться пришел  
В провинности греховной.

Я жил с Венерой целый год,  
Прельщен красой великой,  
И каюсь в том, да узрю свет  
Божественного лика».

В руках у папы посох был  
Из жесткой древесины.  
«Пусть прорастет он, и тогда  
Твои простятся вины».

«Когда б мне жить остался год,  
Лишь год один, не доле,  
Я, каясь, прожил бы его,  
Покорен божьей воле».

И он стопы направил вспять  
В отчаянье и муке.  
«Мария чистая, с тобой  
Отныне я в разлуке».

К Венере в гору я вернусь  
Навеки, без возврата.  
Так перст господень указал,  
Его веленье свято».

«Привет, Тангейзер, я по вас  
Скучала дни и ночи,  
Привет, мой рыцарь, знала я,  
Что вы ко мне вернетесь».

На третьи сутки посох вдруг  
Пророс — господне чудо! —  
Гонцов послал, чтоб искать  
Тангейзера повсюду.

А он в горе у Венеры был,  
Томился безысходно  
И ждал последнего суда,  
А там — как богу угодно.

Не должно пастырям земным  
От павших отречься:  
Кто покаяние несет,  
Тому грехи простятся.<sup>1</sup>

Вспоминаю, что, прочитав впервые в указанной книге Корнмана эту песню, я сначала был поражен противоположностью между ее языком и педантически латинизированной тяжеловесной прозой XVII века, которой написана эта книга. Словно в подземном сумраке рудника я вдруг наткнулся на богатую золотую жилу, и гордые в своей простоте, могучие в своей первобытности слова

---

<sup>1</sup> Перев. В. Зоргенфрея.

засверкали предо мною так ярко, что сердце чуть не было ослеплено этим неожиданным блеском. Я тотчас ощутил, что из этой песни говорит со мной хорошо знакомый голос радости; я слышал здесь голоса тех прозванных еретическими соловьев, которые в продолжение всего великого средневекового поста вынуждены были прятать свои умолкшие клювики и лишь изредка, где их меньше всего ожидали, например за монастырской стеной, давали о себе знать несколькими ликующими звуками. Читал ли ты «Письма Элоизы к Абеляру»? Наряду с «Песнью песней» великого царя (я говорю о царе Соломоне) я не знаю более пламенной песни любви, чем диалог между Венерой и Тангейзером. Эта песня подобна битве любви, и в ней струится самая алая кровь сердца.

Было бы трудно с точностью установить возраст песни о Тангейзере. Мы находим ее уже в первых пробах древнейшей печати. Молодой немецкий поэт г-н Бехштейн, любезно вспомнивший в Германии, что при встрече нашей в Париже у моего друга Вольфа эти старинные летучие листки были предметом нашей беседы, прислал мне надпих один из таких листков, под заглавием «Песнь о Дангейзере». Лишь устарелость языка удержала меня от сообщения здесь этого древнейшего варианта вместо вышеприведенного более позднего. Первый характеризуется значительными отступлениями и, по моему мнению, гораздо поэтичнее.

Случайно в мои руки попала недавно еще одна обработка той же песни, где едва сохранена внешняя рамка старейших версий, внутренние же мотивы изменены необыкновенным образом. В прежнем виде стихотворения, бесспорно, гораздо красивее, проще и величавее. Лишь известная правдивость чувства сближает эту новую версию со старой, и так как я, без всякого сомнения, — владелец единственного существующего экземпляра, то приведу здесь и ее:

О христиане! Не дайте себя  
Опутать бесовской силе!  
Я вам о Тангейзере песню пою,  
Чтоб души вы не губили.

Рыцарь Тангейзер радость искал,  
Любовью он наслаждался.  
Он грот Венеры нашел в горах  
И там семь лет оставался.

«Венера, госпожа моя,  
Будь счастлива долгие годы,  
Я больше гостить у тебя не хочу,  
Теперь я хочу свободы».

«Тангейзер благородный мой,  
Ты что-то целуешься вяло,  
Целуй меня крепче и говори —  
Чего тебе здесь не хватало?»

Не каждый ли день сладчайшим вином  
Тебя я, скажи, угощала?  
Не каждый ли день венкам из роз  
Твое чело я вешала?»

«Венера, госпожа моя,  
Меня не переспоришь.  
Постыла сладость вина и ласк,  
Вкусить я жажду горечь».

К тебе я пришел — смеяться, шутить,  
Прощаюсь — рыдать готовый,  
Я вместо венка из душистых роз  
Надел бы венец терновый».

«Тангейзер благородный мой,  
Нельзя ль обойтись без скандала?  
Ты вспомни: меня не оставить вовек  
Ты клятвы давал, бывало».

Пошли бы мы лучше в укромный покой,  
Былой отдались бы страсти,  
И бело-лилейное тело мое  
Тебе бы вернуло счастье».

«Венера, госпожа моя,  
Прекрасной хранят тебя боги,  
Ты нравилась многим в былые года  
И будешь нравиться многим».

Немало богов и немало людей  
Владело тобой, вероятно;  
На бело-лилейное тело твое  
Мне даже глядеть неприятно».

На бело-лилейное тело твое  
Я в страхе гляжу и в смятенье,  
Когда вспоминаю, что многим оно  
Доставит еще наслажденье».



«Тангейзер благородный мой,  
Свой гнев умерь ты малость,  
Уж лучше просто меня припей,  
Как это прежде случалось.

Уж лучше просто меня припей, —  
Обидой считать не стану.  
Но ты — жестокий христианин,  
Ты сердцу наносишь рану.

Должна я за то, что тебя люблю,  
Терпеть подобную пытку!  
Прощай! Ты можешь идти. И сама  
Тебе отворю калитку».

---

А в Риме, а в Риме, во граде святом,  
Праздничный благовест ныне.  
Церковное шествие к храму плывет,  
И папа посредине.

Это набожный папа Урбан,  
На нем тройная корона,  
Пурпурной мантии длинный шлейф  
Иссут четыре барона.

«Святейший отец наш, папа Урбан,  
Уйти ты не сможешь отсюда,  
Пока покаянье не примешь мое,  
Покамест спасен я не буду!»

Народ, расступаясь, отходит назад,  
Смолкает церковное пенье,  
Но кто он, измученный пилигрим,  
Пред папой склонивший колени?

«Святейший отец наш, папа Урбан,  
Взять и решать в твоей власти,  
От адекого некла меня защити,  
Спаси меня от напасти.

Рыцарь Тангейзер звали меня,  
Любовью я наслаждался,  
Я грот Венеры нашел в горах  
И там семь лет оставался.

Прекрасней Венеры женщины нет,  
И в мире не сыщешь лучше;  
Как солнечный свет и цветов аромат,  
Голос ее певучий.

Как мотылек летит к цветку  
И к чаше упадет,  
Моя смятенная душа  
У губ ее порхает.

В черных кудрях ее голова,  
Гордая, как изваянье,  
Глядят на тебя большие глаза,  
Захватывает дыханье.

Глядят на тебя большие глаза —  
И ты в цепях до могилы.  
Мне очень трудно было уйти,  
Но я нашел в себе силы.

Я снался, ушел оттуда с трудом,  
Теперь боюсь оглянуться:  
Всегда и повсюду я вижу ее  
И слышу: «Ты должен вернуться!»

Как призрак бездомный, скитаюсь я днем  
И жить начинаю лишь ночью.  
Мне снится она. Я вижу ее.  
Я вижу ее воочью.

Задорно и звонко смеется она,  
И белые зубы сверкают;  
Когда вспоминаю я этот смех,  
Слезы к глазам подступают.

Ее я люблю всей силой души,  
И сердцу перечить не надо, —  
Когда низвергается горный поток,  
Ничем не сдержать водопада.

Скача по утесам, он вниз унесет  
Шум, грохот, рыданье и пенье,  
Он тысячу раз себе шею свернет,  
Но он не замедлит паденье.

Если бы небом я обладал,  
Той, кто всех мне дороже,  
Я отдал бы солнце, отдал луну,  
И звезды отдал бы тоже.

Ее я люблю всей силой души,  
Любовь сожгла мое тело.  
Не адский ли это уже огонь,  
Которому нет предела?

Святейший отец наш, папа Урбан,  
Взять и решать в твоей власти,  
От адского пекла меня защити,  
Спаси меня от напасти».

Но папа скорбно руки воздел  
И произнес сурово:  
«Тапгейзер, несчастный ты человек,  
Бессильно святое слово.

Вечером прозванный, черт страшней,  
Чем прочих чертей когорты.  
Церковь не властна тебя спасти  
От прелестей этого черта.

За радости плоти своей душой  
Тебе поплатиться надо.  
Несчастный, ты проклят, ты приговорен  
Навеки к пламени ада».

---

Рыцарь Тапгейзер быстро идет,  
Хоть ноги изранены очень.  
Обратно, туда, где Венерин грот,  
Пришел он среди ночи.

Богиню Вечеру оставил сон,  
Она вскочила с кровати,  
Чтобы любимого своего  
Скорей заключить в объятия.

Носом кровь у нее пошла,  
Слезы хлынули сами,  
Она залила ему лицо  
Кровью и слезами.

Рыцарь улегся себе в постель,  
Не проронив ни слова,  
Богиня на кухню готовить суп  
Для друга пошла дорогого.

Суп подала, хлеба дала,  
Ноги ему омыла,  
Кудри ему расчесала она, —  
Очень ей весело было!

«Тапгейзер благородный мой,  
Давно ты со мной расстался.  
Скажи, в каких ты странах плутал,  
Где так долго шатался!»

«Вепера, госпожа моя,  
Я время провел за границей.  
Дела меня в Риме держали, но я  
К тебе спешил возвратиться.

Рим стоит на семи холмах,  
Меж ними Тибр протекает.  
Я в Риме папу повидал,  
Тебе он поклон посылает.

Я во Флоренцию заглянул,  
В Милаан зашел по дороге,  
Потом легко преодолел  
Швейцарские отроги.

Когда я достиг Альпийских гор,  
Снежинки кружиться стали,  
Озера улыбались мне,  
Орлы надо мной клеточали.

На Сен-Готарде услышал я храп —  
Дремала Германия сладко.  
Три дюжины добрых ее королей  
Стояли на страже перидка.

Я в Швабии школу поэтов нашел,  
Младенцы — ну просто прелесть:  
На них колпаки с бубенцами на всех,  
И все на горшочках уселись.

Во Франкфурт к шабесу я подоспел,  
Отведал я клецки и шалет.  
Ваша религия лучше других,  
Гусиные шкварки все хвалят.

А в Дрездене видел я старого пса.  
Он прежде умел отличиться.  
Но выпали зубы теперь у него,  
Он стал лишь брехать да мочиться.

А в Веймаре — муз овдовевших приют.  
Мне грустные песни там пели.  
Там плачут и плачутся: Гете в гробу,  
А Эккерман жив доселе.

Я в Потсдаме слышал отчаянный крик.  
Откуда же возгласы эти?  
Да это в Берлине наш Ганс, он решил  
Читать о текущем столетье.

А вот в Геттингене наука цветет,  
Да так, что плодов не заметно.  
Я город осматривал в темную ночь.  
Она была беспросветна.

А в Целле в тюрьме я увидел одних  
Ганшверцев. Немцы, мы жалки!  
Нет у нас общегерманской тюрьмы  
И общегерманской палки.

В Гамбурге я спросил — почему  
Улицы здесь провоняли?  
По мнению евреев и христиан,  
Воняет тина в канале.

В Гамбурге, хоть он и очень хорош,  
Народу хватает дурного.  
Я, биржу посетив, решил,  
Что в Целле был я снова.

В Гамбурге в Альтону я попал, —  
Это прекрасное место.  
После когда-нибудь я расскажу  
Все, что о нем мне известно». <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Перев. П. Карпа.



## ДОПОЛНЕНИЯ К «ДУХАМ СТИХИЙ»

(из I и II французских изданий)

Стр. 283. После слов *«оставили исполненные долги»* вместо последующего текста (до конца абзаца):

«И позже великаны так и не захотели принять христианство. Я вывожу это из одной старинной датской баллады, заканчивающейся собранием и свадьбой великанов. Невеста уже за завтраком поглощает четыре бочки мясного варева, шестнадцать говяжьих вырезок и восемнадцать свиных грудинок и запивает эту еду семью бочками пива. «Понстине, — говорит жених, — не случилось мне видеть девушку с таким добрым аппетитом». Среди пирующих был и карлик Миммеринг, маленький рост которого особенно выделялся в сравнении с этими великанами. И песня заканчивается словами: «Маленький Миммеринг был единственным христианином во всем этом языческом сборище».

Что касается свадеб у этого «малого народца», как иногда называют карликов в Германии, то о них сохранились прелестнейшие сказания; вот, например, одно из них.

Маленький народец вздумал однажды отпраздновать свадьбу в замке Эйленбург в Саксонии, и вот среди ночи они сквозь замочную скважину и оконные щели пробрались в залу и прыгали там по натертому полу, как горошины на току. Это разбудило старого графа, спавшего на возвышении под пологом в этой зале, и он был изумлен

видом этой толпы маленьких человечков. Тут один из них в богатом одеянии герольда, подойдя, вежливо, в учтивых словах, пригласил его принять участие в их празднике. «Но просим вас, — прибавил он, — об одном: вы должны быть здесь один; никто в вашем доме не должен одновременно с вами смотреть на празднество, даже единого взгляда не должен бросить». Старый граф дружелюбно ответил: «Так как вы нарушили мой сон, я ваш гость». Тут подвели к нему маленькую женщину; заняли места маленькие факельщики, и заиграла тихая, таинственная музыка. Графу очень трудно было не потерять в танце свою маленькую даму, так легко ускользавшую от него в круговороте; в конце концов она так завертела его, что он едва мог дышать. Вдруг в разгаре этой оживленной пляски все останавливаются; музыка смолкла, и вся толпа бросилась к дверным щелям, к мышинным норкам, ко всем дырочкам, сквозь которые можно было пройти. Но молодые, герольды и танцующие подняли глаза к отверстию в потолке залы и увидели там лицо старой графини, тайком смотревшей на веселое общество. Тут все они склонились перед графом, и тот, который пригласил его, снова выступил, благодаря его за гостеприимство. «Но так как, — прибавил он, — наше торжество и наше веселье было нарушено тем, что еще один взгляд человеческий видел их, то впредь в вашем роду никогда не будет одновременно больше шести Эйленбургов». Затем они поспешно разбежались, все снова стихло, и старый граф остался в одиночестве в потемневшей комнате. Проклятие имеет силу до сих пор, и один из шести живых рыцарей Эйленбургов всегда умирает, когда на свет появляется седьмой».

Стр. 288—289. После стихотворения (вместо двух последующих абзацев и цитаты из песни):

«Лишь два сказания об эльфах могут считаться чисто скандинавского происхождения, и так как они короче и лучше рассказаны в датских песнях, то я приведу их в этой версии. Вот первая:

Я склонил голову на холме эльфов, мои глаза слипались;  
Тут пришли две молодые женщины, заговорившие со мной.  
Лишь в этот первый раз я их видел.

Одна потрепала меня по белой щеке, другая шепнула мне на ухо:  
«Встань, пригожий молодец, если хочешь приготовиться к пляске».  
Лишь в этот первый раз я их видел.

«Проснись, пригожий молодец, если хочешь попрыгать в пляске;  
Мои юные дочери споют тебе приятнейшие вещи; которые сладостно  
тебе будет слушать».  
Лишь в этот первый раз я их видел.

И вдруг повыше всех женщин раздалась песня,  
Остановился вдруг пенный поток, хотя привык струиться.  
Лишь в этот первый раз я их видел.

Остановился вдруг пенный поток, хотя привык струиться.  
Маленькие рыбки играли, плавая в его волнах.  
Лишь в этот первый раз я их видел.

Они играли своими хвостиками, все рыбки в потоке;  
Все птички, летавшие в воздухе, запели в долине.  
Лишь в этот первый раз я их видел.

«Послушай, пригожий молодец, хочешь остаться у нас?  
Мы научим тебя вырезать руны, читать их и писать».  
Лишь в этот первый раз я их видел.

«Я научу тебя привязывать медведя и вепря к стволу дуба;  
Змей, лежащий на куче золота, убежит из страны, испугавшись тебя».  
Лишь в этот первый раз я их видел.

Они плясали вверху, они плясали внизу, в хороводе эльфов.  
Я, пригожий молодец, стоял, твердо опершись на свой меч.  
Лишь в этот первый раз я их видел.

«Послушай, пригожий молодец, если не хочешь разговаривать с нами,  
Острым пожом дадим мы тебе полный покой».  
Лишь в этот первый раз я их видел.

Когда б господь не направил мою звезду так, что петух в этот миг  
захлопал крылом,  
Я, конечно, остался бы на холме эльфов с этими молодыми женщинами.  
Лишь в этот первый раз я их видел.

И всякому доброму молодцу, который едет ко двору, скажу,  
Чтобы он не ехал через холм эльфов и не ложился там спать.  
Лишь в этот первый раз я их видел.

Стр. 291. После слов «в свое водное царство»:  
«Рассказывают следующую историю.



В Лайбахе, в реке, посвящен то же название, жил водяной дух, которого называли Нике, или водяной. Он являлся ночью рыбакам и лодочникам, а днем и другим людям, так что всякий мог рассказать, как он вышел из воды и явился в человеческом образе. В 1547 году, в первое воскресенье июля, все окрестное население собралось, по стародавнему обычаю, в Лайбахе на старом рынке у фонтана, приветливо осененного прекрасной линой. Отобедав под музыку вместе с друзьями, они пустились в пляс. Спустя некоторое время приходит молодой парень, хорошо сложенный и хорошо одетый, который, казалось, не прочь был принять участие в пляске. Он вежливо раскланялся с собравшимися и каждому дружески подал руку, которая была на ощупь мягка, и холодна как лед, и при прикосновении вызывала странную дрожь; потом он пригласил на танец одну молодую девушку, красивую и нарядную; она была свежа, развязна и легкомысленна и звалась Урсула Шефер; она умело приспособилась к его ухваткам и вместе с ним проделывала его забавные выходки. С жаром проплясав некоторое время, они, вертясь, выскользнули из круга зрителей, все дальше и дальше, сперва от липы до Зиттихенгофа, потом еще дальше, до Лайбаха, где он, на виду у многих лодочников, бросился с нею в реку, и оба скрылись.

Липа эта стояла до 1638 года, когда ее срубили вследствие ее старости».

Стр. 291. Вместо краткого пересказа песни о дочери Марск-Стига:

«Это сказание ходит в разнообразнейших вариантах. Самый красивый — датский — в цикле песен, прославляющих гибель цареубийцы Марск-Стига и всего его рода. Водяной обращается к своей матери:

«Дорогая матушка, дайте мне сейчас же совет,  
Как бы мне овладеть дочерью Марск-Стига».  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Она сделала ему коня из чистой воды,  
Седло и удила были тончайшего песка;  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Она превратила его в прекрасного рыцаря;  
И он направился к собору святой Марии.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Он привязал коня своего у церковных врат  
И трижды обошел вокруг церкви.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Водяной человек вошел в церковь,  
И все лица святых отвернулись.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Священник пред алтарем сказал:  
«Что это за прекрасный рыцарь?»  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Дочь Марск-Стига засмеялась под своей фатою:  
«Пусть бы небо сделало этого рыцаря моим».  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Он прошел одну скамью, потом прошел лавы:  
«О дочь Марск-Стига, поклянись мне в верности!»  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Он прошел четыре скамьи и прошел пять:  
«О дочь Марск-Стига, следуй за мной в мой дом».  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Дочь Марск-Стига протянула ему руку:  
«Клянусь тебе и следую за тобой».  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Тогда вышло из церкви свадебное шествие,  
И они весело плясали, не боясь ничего.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Они дошли в пляске до реки.  
Накопец, уж никого не было подле них.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

«О дочь Марск-Стига, поддержи моего коня,  
Пока я построю тебе красивый кораблик».  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

И когда они пришли на белый песок,  
Все кораблики повернули к берегу.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

И когда они были на середине Зунда,  
Дочь Марск-Стига упала в море.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

С берега они долго слышали,  
Как кричала в воде дочь Марск-Стига.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Я советую молодым девушкам  
Не пускаться так пылко в пляс.  
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Мы тоже дадим некоторым молодым девушкам разумный совет не пускаться в пляс с первым попавшимся. Однако юные особы всегда опасаются, как бы у них не оказалось мало кавалеров, и чем подвергаться опасности быть неприглашенными, они охотно бросаются в объятия водяного».

Стр. 302. После слов «*со скандинавскими валькириями*» вместо последующего текста (до конца абзаца):

«Это женщины, рассекающие воздух своими белыми крыльями, обычно накануне битвы, исход которой определяется их тайными решениями. Они имеют также обыкновение являться витязям на уединенных лесных тропинках и предсказывать им победу или поражение. У Преториуса рассказано:

«Случилось однажды, что король Швеции и Дании Готер, занесенный конем на охоте, заблудился в тумане, далеко от своих, увидел перед собою девушек, которые знали его, приветствовали, назвав по имени, и заговорили с ним. И на его вопрос, кто они, они ответили ему, что в их руках победа над врагом на войне; что они всегда на войне и что они помогают в бою, хотя и остаются при этом сами невидимы; что тот, кому они даруют победу, разбивает и покоряет врагов и остается победителем на поле битвы, и враг не может повредить ему.

Сказав это, они исчезли на его глазах со всем, что было вокруг, и король остался один в чистом поле...»

В основе рассказ этот напоминает нам появление трех ведьм пред Макбетом. Вера в валькирий перешла здесь в веру в ведьм. Равным образом находим мы в германских преданиях трех норн, но в виде старых колдуний или причудливых прях, из коих одна сучит льняную нить, другая ее смачивает, а третья вертит прялку. Эти северные парки обычно являются в детских сказках, из коих привожу самую милую из книги Гриммов:

«Жила-была ленивая девушка, которая не хотела прять. Как ни убеждала ее мать, она не могла ее уговорить взяться за работу. Наконец, однажды, рассердившись и потеряв терпение, мать побила ее, отчего девушка громко расплакалась. В это время проезжала королева и, услышав плач, приказала остановиться и спросила мать, за что она так бьет дочь, что плач слышен на улице. Матери стыдно было рассказать про лень дочери, и она сказала: «Не могу оторвать ее от прялки; всегда и вечно хочет она прять; но я бедна и не могу достать сколько надо льна». — «Вот как, — сказала королева, — нет для меня большего удовольствия, чем слушать, как прядут, и ничем не восхищаюсь я больше, чем верчением прялок; отдайте мне вашу дочь. У меня в замке довольно льна; она сможет прять сколько захочет». Матери это пришлось очень по сердцу, и королева взяла девушку с собой. Когда они приехали в замок, королева привела девушку в три комнаты, сверху донизу наполненные самым лучшим льном: «Спряди мне этот лен, — сказала она, — и когда ты кончишь, мой старший сын женится на тебе. Хотя ты бедна, мне это все равно. Твое неутомимое прилежание — достаточное приданое». Девушка перепугалась в глубине души, так как всего этого льна ей было не спрясть, хотя бы она прожила триста лет и работала бы ежедневно с утра до вечера. Оставшись одна, она расплакалась и три дня просидела сложа руки. На третий день пришла королева и, видя, что ничего не сделано, удивилась; но девушка оправдывалась, говоря, что горе, причиненное ей разлукой с материнским домом, мешало ей работать. Королева поверила, но, уходя, сказала: «Значит, завтра примешься за работу».

Оставшись снова одна, девушка не знала, на что решиться и что делать, и в горести подошла к окну. Тут она увидела трех старух, у одной из которых была плоская стопа, у другой нижняя губа свешивалась на подбородок, а у третьей был широкий большой палец. Проходя пред окном, они остановились, посмотрели вверх и предложили помочь девушке, говоря: «Если ты пригласишь нас на свадьбу, не будешь нас стыдиться, а будешь называть нас тетушками, мы спрядем твой лен, и очень скоро». — «Ах, от всей души, — ответила она, — войдите и примитесь сейчас за работу». Вот она впустила этих трех стран-

ных женщин и в первой комнате очистила место, где они уселись и принялись прясть. Одна тянула нитку и вертела колесо, другая смачивала нитку, а третья сучила ее и постукивала пальцем по столу, и всякий раз, как она стучала, на землю падал моток тончайшей пряжи. Девушка скрыла от королевы трех прях, и когда та пришла, показала ей громадную кучу пряжи, так что королева не могла нахвалиться. Когда первая комната была опустошена, пришла очередь второй, потом третьей, и та скоро оказалась пуста. Тогда три женщины распрощались с девушкой, сказав ей: «Не забывай же о своем обещании; в этом твое счастье».

Когда девушка показала королеве пустые комнаты и груды ниток, та устроила свадьбу, и жених радовался, что у него будет такая трудолюбивая жена, и очень хвалил ее. «У меня три тетушки, — сказала девушка, — они мне много сделали добра, я не хотела бы их забывать в счастье; пусть сядут с нами за стол». Королева и жених согласились. Когда началось празднество, вошли три женщины в страшных нарядах, и невеста сказала: «Добро пожаловать, дорогие тетушки!» — «Ах, — сказал жених, — отчего у тебя такие некрасивые друзья?» И, обратившись к первой, он спросил ее, отчего у нее такая плоская стопа. «От нажима на прялку, от нажима», — ответила она. «Отчего у вас отвислая губа?» — спросил он у второй. «От лизания, — ответила она, — от лизания». Потом он спросил у третьей: «Отчего у вас такой широкий палец?» — «От сучения, — ответила она, — от сучения». Тогда королевский сын испугался и вскричал: «Если так, то моя прекрасная невеста никогда не прикоснется к прялке!» Таким образом она избавилась от этой проклятой работы.

А мораль? Французы, которым я рассказывал эту сказку, неизменно спрашивали меня, в чем ее мораль. Вот в этом-то, друзья мои, и состоит разница между вами и нами. Мы требуем морали только в действительной жизни, по отнюдь не в поэтических вымыслах. Вы, во всяком случае, можете вывести из этого рассказа, что можно заставить прясть за себя других и все же сделаться принцессой. Очень благородно со стороны кормилицы, если она вовремя сообщит детям, что есть нечто еще более действительное, чем труд, а именно счастье. У нас ходит поверье о счастливицах, которые родились в рубашке

и которым потом везет во всем па свете. Вера в удачу как нечто прирожденное или случайно подаренное имеет языческое происхождение и составляет восхитительный контраст христианским воззрениям, согласно которым страдания и лишения рассматриваются как наивысшие милости небес.

Задачей, назначением язычества было завоевание счастья. Греческий герой называл его золотым руном, герой германский — сокровищем Нибелунгов. Напротив, задачей христианства было отречение, и его герои проходили через подвиг мученичества: они сами возлагали на себя крест, и величайшая их борьба всегда увенчивалась лишь завоеванием могилы.

Нельзя, правда, не вспомнить, что как золотое руно, так и сокровище Нибелунгов принесли своим обладателям великие несчастья. Но в самом деле ошибкой этих героев было то, что они приняли золото за счастье. По существу они были правы. Человек должен стремиться к счастью на этой земле, к сладостному блаженству, а не к кресту... Увы, он может дожидаться того времени, когда будет на кладбище: там поставят на его могиле этот крест».

Стр. 311. После цитаты из песни:

«Многие утверждают, что когда бедное дитя не может уснуть, добрая старушка обычно читает ему берлинскую «Церковную евангелическую газету».

Обиход дьявола устроен в аду в полном соответствии с обиходом Христа на небе. Последний также живет холостяком со своей матерью; царица небесная и ангелы — его домочадцы, как дьяволы — домочадцы сатаны. Дьявол и его прислужники — черны, Христос и его ангелы — белы. В северных немецких народных песнях всегда говорится о белом Христе. Мы обычно называем дьявола черным, князем тьмы. К этим двум персонажам, Христу и дьяволу, тот же народ присоединил еще две фигуры, столь же бессмертные, столь же непреходящие: смерть и вечного жида. Средние века завещали искусству нового времени эти четыре типа как олицетворение добра, зла, разрушения и человечества. Вечный жид, скорбный символ человечества, никем не понят глубже, чем Эдгаром Кинсе, одним из величайших поэтов Франции. Мы, немцы,

недавно переведя его «Агасфера», немало были изумлены, встретившись со столь исполинским замыслом у француза.

Быть может также, французам суждено дать наиболее правильное объяснение средневековым символам. Французы давно вышли из средневековья, они смотрят на него спокойно и могут оценить его красоты без предвзятости философской или эстетической. Мы, немцы, сидим еще в нем по шею, в этом средневековье: мы боремся еще с его одряхлевшими представителями; мы, стало быть, не можем восхищаться им с особенным пылом. Нам, наоборот, необходимо распалиться односторонней ненавистью, для того чтобы не была парализована наша разрушительная энергия.

Вы, французы, можете любоваться рыцарством и любить его. У вас от него не осталось ничего, кроме красивых летописных сказаний и железных доспехов. Вы ничем не рискуете, развлекая таким образом ваше воображение, удовлетворяя ваше любопытство. А у нас, немцев, летопись средних веков не закончена; самые новейшие ее страницы еще залиты кровью наших близких и друзей, и эти блестящие панцири еще прикрывают живые тела наших палачей. Ничто не мешает вам, французам, ценить формы старинной готики. Для вас в больших соборах, вроде собора Парижской богородицы, нет ничего, кроме архитектуры и романтики; для нас это самые страшные крепости наших врагов. Для вас сатана с его адскими приспешниками — только поэзия; у нас есть еще мошенники и дураки, старающиеся философски обосновать веру в дьявола и в inferнальные злодеяния ведьм. Пусть это происходит в Мюнхене, — это в порядке вещей, но когда в просвещенном Вюртемберге делается попытка оправдать старинные колдовские процессы, когда выдающийся писатель, г-н Юстинус Кернер, старается воскресить веру в одержимых духом, то это столь же прискорбно, сколь отвратительно.

О черные плуты! И вы, дураки всех цветов! Кончайте свое дело, зажгите мозг народа отжившими суевериями, столкните его на путь фанатизма; вы сами когда-нибудь станете его жертвами; вы не избегнете участи неумелых колдунов, которые не смогли справиться с вызванными ими духами и были разорваны ими на куски.

Быть может, бог революции неспособен поднять народ германский посредством разума, быть может свершение этого трудного дела — задача безумия? Когда, вскипев, кровь бросится ему в голову, когда он вновь почувствует биение своего сердца, народ не станет слушать ни благочестивого лепета баварских святош, ни мистического бормотания швабских пустозвонов; ничто не будет больше слышно его духу, кроме мощного голоса одного человека.

Кто этот человек?

Это человек, которого ждет народ германский, человек, который возвратит ему, наконец, жизнь и счастье, счастье и жизнь, по которым он так долго томится в своих сновидениях. Как медлишь ты, кого с таким пламенным вожделем возвещали старики, кого юность ждет с таким истерпением, ты, несущий волшебный скипетр свободы и императорскую корону без креста!

Однако здесь не место взывать, тем более что я уклонился от моей темы. Я должен говорить лишь о невинных преданиях, о том, что рассказывается и распевается за немецкими печками. Вижу, что дал очень скудные сведения о духах, живущих в горных недрах, например ничего не сказал о Кифгейзере, где пребывает император Фридрих. Он, правда, не принадлежит к духам стихий, я же занят в этой части только ими. Но предание слишком мило и восхитительно; всякий раз, когда я вспоминал о нем, душа моя содрогалась от священного вожделем, от мистической надежды. Разумеется, в убеждении, что император Фридрих, старый Барбаросса, не умер, но, когда попы сделались ему невольному, сбежал в недра горы, которая называется Кифгейзер, есть нечто большее, чем сказка. Рассказывают, что он скрывается там вместе со своим двором, пока не появится вновь, чтобы осчастливить народ германский. Гора эта находится в Тюрингии, неподалеку от Нордгаузена. Я много раз проходил мимо нее и как-то в прекрасную зимнюю ночь более часа стоял там, многократно восклицая: «Приди, Барбаросса, приди!», и сердце огнем горело в моей груди, и слезы лились по щекам. Но он не пришел, дорогой император Фридрих, и я мог облобызать только скалу, где он живет.

Молодой пастух, живущий по соседству, был счастливее. Он пас овец подле Кифгейзера, заиграл на свирели



и, решив, что заслужил добрую награду, громко воскликнул: «Император Фридрих, для тебя я сыграл эту серенаду!» Говорят, император вышел на зов этот из горы, явился пред пастухом и сказал ему: «Бог в помощь, юноша; для кого ты играл?» — «Для императора Фридриха». — «Если так, то пойдем со мною, он наградит тебя». — «Я не могу оставить овец». — «Следуй за мной, ничего дурного не будет с твоими овцами».

Пастух пошел за императором, который за руку привел его к расщелине в горе. Они подошли к железной двери, и, когда она распахнулась, пред пастухом открылся большой красивый зал, где было много рыцарей и добрых слуг, с почетом их встретивших. Затем император, выказывая ему благоволение, спросил его, какой он желает награды. Пастух ответил: «Никакой». Тогда император сказал ему: «Иди и возьми в награду одну из ножек моего золотого кувшина». Пастух сделал то, что было ему приказано, и хотел идти; но император показал ему еще множество диковинного оружия, латы, мечи, аркебузы и велел ему рассказать людям, что он собирается этим оружием завоевать гроб господень.

Пастух, несомненно, плохо понял его. Барбаросса помышлял о совсем иных завоеваниях, чем гроб господень. А то, может быть, пастух, боясь быть брошенным в качестве демагога в темницу, слегка приукрасил истину. Не гробницу, холодное обиталище мертвеца, хочет завоевать старый Барбаросса, но блистательное жилище для живых, теплое царство света и наслаждения, где он мог бы радостно царить, с волшебным скипетром свободы в руке, увенчанный императорской короной без креста.

Что касается пастуха, то в заключение истории рассказывается, что он в радости и в добром здравии вышел из недр горы и на другой день отнес золотых дел мастеру ножку кувшина, подаренную ему. Мастер признал, что она сделана из лучшего золота, и купил у него подарок императора за триста добрых дукатов.

Рассказывают также о другом крестьянине, из деревни Реблинген, видевшем императора в Кифгейзере и получившем от него прекрасный подарок. Знаю одно, что если бы меня привела моя звезда внутрь этой горы, я не просил бы у Барбароссы ни золотых ваз, ни подобных игрушек, а если уж он захотел бы дать мне что-нибудь, то я попро-

сил бы у него его книгу «De tribus impostoribus». <sup>1</sup> И тщетно разыскивал эту книгу в библиотеках и уверен, что автор ее, старая Рыжая Борода, сохраняет несколько экземпляров в Кифгейзере.

Многие уверяют, что император в своей горе сидит за каменным столом и спит или размышляет о способах обратно отвоевать империю. Он непрерывно покачивает головой и моргает глазами. Борода его выросла теперь до земли. Иногда, словно во сне, он протягивает руку и как бы хочет опять схватить свой меч и щит. Говорят, что, когда император вернется на землю, он повесит этот щит на высохшем дереве, и тогда дерево начнет распускаться и зеленеть, и лучшие времена вернутся тогда в Германию. Что касается меча, то, говорят, его будет нести крестьянин в полотняной рубахе, и этим мечом отрубят голову тем, кто по глупости посмеет считать, что он по крови выше крестьянина. Но старые рассказчики прибавляют, что никто точно не знает, когда и как это произойдет.

Передают еще, что, когда один пастух, введенный гномом, вошел в глубь Кифгейзера, император поднялся и спросил, летают ли еще вороны вокруг горы. И после утвердительного ответа пастуха он со вздохом вскричал: «Значит, мне надо спать еще сто лет!»

Увы, несомненно, вороны все еще летают вокруг горы, столь хорошо известные нам черные вороны, набожное карканье которых мы все еще слышим. Но время ослабило их, и есть хорошие стрелки, бьющие их на лету. Я знаю одного из этих стрелков, который проживает теперь в Париже и отсюда умело бьет воронов, летающих вокруг Кифгейзера. Когда император возвратится на свет, он найдет на своем пути немало воронов, которых этот стрелок убил из своего арбалета. И старый государь заметит, посмеиваясь, что у того было славное оружие».

---

<sup>1</sup> «О трех обманщиках» (лат.).



**ФЛОРЕНТИНСКИЕ  
НОЧИ**



## НОЧЬ ПЕРВАЯ

В передней Максимилиан застал врача, который уже натягивал черные перчатки.

— Я очень спешу! — торопливо крикнул он Максимилиану. — Синьора Мария не спала весь день и только сейчас слегка задремала. Мне не к чему напоминать вам о том, что следует избегать всякого шума, который мог бы разбудить ее; а когда она проснется, то, бога ради, не давайте ей говорить. Она должна спокойно лежать; ей нельзя двигаться, нельзя шевелиться, нельзя говорить, и лишь духовное оживление для нее полезно. Пожалуйста, рассказывайте ей опять всякий вздор, пусть она спокойно вас слушает.

— Не беспокойтесь, доктор, — с грустной улыбкой возразил Максимилиан. — Из меня уже выработался настоящий болтун, я не даю ей пропнести ни слова. Я буду рассказывать ей фантастические бредни, без конца, сколько угодно... Но долго ли ей еще осталось жить?

— Я очень спешу, — ответил врач и исчез.

Черная Дебора, с ее чутким слухом, по походке узнала вошедшего и тихо открыла ему дверь. По его знаку она так же тихо удалилась из комнаты, и Максимилиан остался один около своей подруги. Единственная лампа сумеречным светом освещала комнату. Эта лампа с робостью и любопытством бросала временами отсветы на лицо больной женщины, которая лежала, вытянувшись на зеленой шелковой софе, одетая в белую кисею, и тихо спала.

Молча, скрестив руки на груди, стоял Максимилиан некоторое время перед спящей и созерцал ее прекрасные формы, которые скорее открывались, чем прикрывались легкой одеждою, и каждый раз, когда лампа бросала луч света на бледное лицо, сердце его начинало биться сильнее.

— Боже! — прошептал он про себя. — Что это? Какое воспоминание оживает во мне? Да, теперь я знаю. Эта белая фигура на зеленом фоне, да, теперь...

В это мгновение больная проснулась, и, точно из глубины сновидения, поднялись на друга ее мягкие темно-синие глаза с вопросом, с мольбою...

— О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — спросила она тем грустно-нежным голосом, которым говорят чахоточные и в котором как бы слышится лепет ребенка, щебетанье птицы и последние хрипы умирающего. — О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — еще раз повторила она и вдруг приподнялась так резко, что длинные локоны, как вспугнутые золотые змеи, кольцами обвили ее голову.

— Ради бога, — воскликнул Максимилиан, бережно укладывая ее опять на софу, — лежите спокойно, не говорите; я все скажу вам, все, что я думаю, все, что чувствую, и даже то, чего сам не знаю!

— На самом деле, — продолжал он, — я сам не знаю в точности, о чем я сейчас думал и что чувствовал. Картины детства туманной вереницей проносились в моей голове: я вспоминал замок матери, запущенный сад вокруг него, прекрасную мраморную статую, лежащую в зеленой траве... Я упомянул о «замке моей матери»; но, ради бога, не представляйте себе при этом ничего роскошного и великолепного! Я просто привык так говорить; отец мой всегда с каким-то особым выражением произносил слово «замок» и всегда так странно при этом улыбался. Значение этой улыбки я понял лишь впоследствии, когда я, мальчуганом лет двенадцати, поехал с матерью в этот замок. Это было мое первое путешествие. Целый день мы ехали по густому лесу, и жуткий мрак его оставил во мне незабываемое впечатление. Лишь под вечер мы остановились перед длинным шлагбаумом, который отделял нас от широкой поляны. Нам пришлось ждать почти полчаса, пока из ближайшей землянки не вышел малый, который отодвинул барьер и впустил нас. Я назвал его «малым».

потому что старая Марта продолжала так называть своего сорокалетнего племянника. Для того чтобы должным образом встретить благородных господ, он напялил на себя старую ливрею своего покойного дяди, а так как из нее необходимо было предварительно выколотить пыль, то он и заставил нас так долго ждать. Будь у него еще лишнее время, он, вероятно, надел бы и чулки; но его длинные голые красные ноги мало отличались от яркопунцовой ливреи. Были ли под ней еще и панталоны, я не помню. Наш слуга Иоганн, который тоже часто слышал о «замке», сделал очень удивленное лицо, когда малый подвел его к маленькому покосившемуся строению, где жил покойный барин. Но Иоганн совершенно растерялся, когда мать приказала ему внести туда постели. Как мог он думать, что в «замке» не окажется постелей! И приказание матери захватить постели для нас он или вовсе не слышал, или пропустил мимо ушей, считая это излишними хлопотами.

Маленький одноэтажный домик, который в свои лучшие времена насчитывал не более пяти жилых комнат, сейчас представлял унылую картину тленности жизни. Поломанная мебель, рваные обои, ни одного целого оконного стекла, кое-где оторванные половицы, всюду безобразные следы озорного хозяйничания солдат, «Солдатский постой у нас всегда очень развлекался!» — сказал малый с идиотской улыбкой. Но мать сделала нам знак, чтобы мы оставили ее одну, и, в то время как малый занялся с Иоганном, я отправился осматривать сад. Сад тоже имел безотрадный вид полного запустения. Большие деревья частью омертвели и стояли искалеченные, частью были сломаны, и ползучие растения с торжеством поднимались над павшими стволами. Лишь местами разросшиеся тисовые кусты напоминали о заглохших дорожках. Кое-где стояли статуи, почти все без головы или в лучшем случае без носа. Мне вспоминается Диана, у которой нижняя часть тела самым забавным образом обросла темным плющом; вспоминаю также богиню изобилия, у которой из рога пышно выбивались дурно пахнущие сорные травы. Лишь одна статуя, бог знает как, уцелела от злобы людей и времени; правда, она была сброшена со своего пьедестала в высокую траву, по здесь она лежала нетронутой, эта мраморная богиня с прекрасными, чистыми



чертами лица, и, как греческое откровение, выделялись в высокой траве строгие формы благородной груди. Я почувствовал почти страх, когда увидел ее; эта статуя внушала мне странный, жгучий трепет, и тайный стыд не позволял мне долго наслаждаться созерцанием ее прелести.

Когда я вновь вернулся к матери, она стояла у окна, погруженная в мысли; голова ее опиралась на правую руку, и слезы не переставая текли у нее по щекам. Никогда до этих пор я не видел, чтобы она так плакала. Она обняла меня с порывистой нежностью и стала просить у меня прощения за то, что я, по небрежности Иоганна, буду лишен порядочной постели. «Старая Марта, — сказала она, — тяжело больна и потому не сможет, милосердия, уступить тебе свою постель. Но Иоганн возьмет подушки из карсты и устроит так, чтобы ты мог на них спать, и пусть он даст тебе также свой плащ вместо одеяла. Я сама буду спать здесь на соломе; это спальня моего покойного отца; когда-то здесь все имело лучший вид. Оставь меня одну!» — И слезы еще обильнее полились у нее из глаз.

Не знаю отчего, от непривычного ли ложа или от душевного смятения, но я не мог уснуть. Сквозь разбитое окно свободно лился лунный свет, и мне казалось, что он манит меня туда, в светлую летнюю ночь. Я боролся на своей постели с боку на бок; я закрывал глаза и снова с нетерпением открывал их и все время не переставая думал о прекрасной мраморной статуе, которую я видел лежащей в траве. Я не мог объяснить себе стыдливую робость, охватившую меня при взгляде на нее; я досадовал на себя за это ребяческое чувство. «Завтра, — тихо сказал я себе, — завтра я поцелую тебя, прекрасное мраморное лицо, поцелую в тот прелестный уголок рта, где губы заканчиваются восхитительной ямочкой!» Нетерпение, подобного которому я никогда не испытывал, охватило все мое существо; я не в силах был дольше сопротивляться странному влечению и, наконец, вскочив с постели, воскликнул с задорной отвагой: «Ну что ж! Я поцелую тебя еще сегодня, прекрасный образ!» Тихо, чтобы мать не услышала моих шагов, вышел я из дому, что не представляло никакой трудности, так как подъезд дома, хоть и украшенный величественным гербом, не имел две-

рей; затем я стал поспешно пробираться сквозь чашу запущенного сада. Не слышно было ни звука; безмолвно и строго все покоилось в лунном свете. Тени деревьев лежали на земле, точно пригвожденные. Все так же неподвижно лежала в зеленой траве прекрасная богиня; но не каменная смерть, а тихий сон, казалось, сковал ее дивные члены, и когда я приблизился к ней, мне стало страшно, что малейшим шорохом я могу пробудить ее от дремоты. Я затаил дыхание, наклоняясь над нею, чтобы разглядеть прелестные черты ее лица; жуткий страх отталкивал меня от нее, и в то же время жгучее мальчишеское желание влекло меня к ней; сердце билось, как будто я готовился к убийству, и, наконец, я поцеловал прекрасную богиню с таким жаром, с такой нежностью, с таким отчаянием, как никогда больше не целовал в своей жизни. И никогда после не мог я забыть то жуткое и сладостное чувство, которое хлынуло в мою душу, когда мой рот ощутил блаженный холод этих мраморных губ... И вот, Мария, когда я сейчас стоял перед вами и смотрел на вас, пока вы спали, вся в белом на зеленой софе, вы напомнили мне ту белую мраморную богиню, которая лежала на зеленой траве. Если бы вы не проснулись, мои губы не могли бы дольше противиться искушению...

— Макс! Макс! — крикнула женщина, и крик ее шел как бы из глубины ее сердца. — Это ужасно! Вы знаете, что поцелуй ваших губ...

— О, замолчите! Я знаю, что это для вас было бы ужасно! Только не смотрите на меня с такой мольбой. Я понимаю ваши чувства, хотя истинная причина их была скрыта от меня. Я никогда не смел прикоснуться своими губами к вашим...

Но Мария не дала ему кончить, она схватила его руку, покрыла ее горячими поцелуями и сказала затем, улыбаясь:

— Пожалуйста, прошу вас, рассказывайте мне еще о ваших любовных приключениях. Как долго продолжалась ваша любовь к мраморной красавице, которую вы поцеловали в парке вашей матери?

— Мы уехали на другой день, — отвечал Максимилиан, — и я никогда больше не видел этого прелестного изваяния. Но еще почти целых четыре года сердце мое было занято им. С этого времени в моей душе развилась удивительная страсть к мраморным статуям, и не далась

как сегодня утром я испытал их магическую силу. Я возвращался из Лауренцианы, библиотеки Медичи, и забрел, не знаю как, в капеллу, где тихо покоится этот великолепнейший род Италии в усыпальнице из драгоценных камней. Целый час оставался я там, погруженный в созерцание мраморного изваяния женщины, мощные линии тела которой несут на себе печать сильного и смелого резца Микеланджело, в то время как весь ее облик овеян все же той воздушной нежностью, которая обычно не свойственна именно этому мастеру. В этом мраморе заколдовано все царство грез с его тихими очарованиями; кротким покоем дышат эти прекрасные формы, и словно умиротворяющий лунный свет струится по ее жилам... Это — «Ночь» Микеланджело Буонаротти. О, как хотел бы я заснуть вечным сном в объятиях этой «Ночи»!

— Женские образы, написанные на полотне, — продолжал Максимилиан после небольшого молчания, — никогда так сильно не увлекали меня, как статуи. Лишь один раз я был влюблен в картину. Это была мадонна поразительной красоты, которую я увидел в одной церкви в Кельне на Рейне. Я сделался тогда ревностным посетителем церкви и весь погрузился в мистику католичества. В ту пору я, подобно испанскому рыцарю, каждый день готов был бы биться не на жизнь, а на смерть во имя непорочного зачатия Марии, королевы ангелов, прекраснейшей дамы неба и земли! Все святое семейство пользовалось тогда моими глубокими симпатиями, и особенно дружески я снимал шляпу всякий раз, когда мне случилось пройти мимо изображения святого Иосифа. Но это состояние длилось не очень долго, и я довольно бесцеремонно бросил мать божию, когда познакомился в одной античной галерее с греческой нимфой, которая долго держала меня затем в своих мраморных оковах.

— И вы любите всегда только женщин, высеченных из камня или писанных на полотне? — с усмешкой спросила Мария.

— Нет, я любил также мертвых женщин, — ответил Максимилиан, лицо которого стало опять очень серьезным. Он не заметил, что при этих словах Мария испуганно вздрогнула, и спокойно продолжал:

— Да, как это ни странно, однажды я влюбился в девушку через семь лет после того, как она умерла. Когда

я познакомился с маленькой Верой, она мне чрезвычайно понравилась. Целых три дня я был поглощен этой юной особой; я находил в высшей степени забавным и милым все, что она делала; меня восхищала ее манера говорить, все проявления ее обаятельно-странного существа; однако слишком нежных чувств я при этом не испытывал. И я не был особенно глубоко огорчен, когда спустя несколько месяцев внезапно пришло известие, что она неожиданно умерла от нервной горячки. Вскоре я совершенно забыл ее и убежден, что в течение целого ряда лет ни разу о ней не вспомнил. С тех пор прошло целых семь лет, и вот однажды я приехал в Потсдам, чтобы провести прекрасное летнее время, наслаждаясь ничем не нарушаемым одиночеством. Я не общался там ни с кем решительно, и все мои знакомства ограничивались статуями, находящимися в саду Сан-Суси. И тут в моей памяти вдруг встали какие-то черты лица, какая-то на редкость привлекательная манера говорить и двигаться; и притом я никак не мог вспомнить, какому именно лицу они принадлежат. Нет ничего мучительнее, чем перебирать таким образом старые воспоминания, и поэтому я был радостно удивлен, когда по прошествии нескольких дней вдруг вспомнил маленькую Веру и сразу сообразил, что это ее милый забытый образ ожил во мне и лишил меня покоя. Да, я обрадовался этому открытию, как человек, который внезапно нашел своего близкого друга; мало-помалу поблекшие краски ожили, и вот уже прелестная крошка как живая стояла передо мной, улыбающаяся, кокетливо-капризная, остроумная и еще более очаровательная, чем когда-либо. С тех пор я уж не мог больше расстаться с этим дорогим видением; оно заполнило всю мою душу; где бы я ни находился, Вера была рядом со мной, говорила со мной, смеялась, но смеялась невинно и без особенной нежности. Я же все более и более очаровывался ею, и с каждым днем это видение приобретало для меня все большую и большую реальность. Нетрудно вызвать духов, но не так-то легко бывает вновь отослать их в мрачное ничто; они смотрят на нас тогда таким умоляющим взглядом, наше собственное сердце так страстно вступает за них... Я уже не в силах был бороться, я влюбился в маленькую Веру через семь лет после того, как она умерла. Шесть месяцев прожил я таким образом в Потсдаме, целиком

погруженный в эту любовь. Еще старательнее, чем прежде, избегал я всяких столкновений с внешним миром, и если на улице кто-нибудь проходил мимо меня слишком близко, я испытывал неприятное стеснение. Я страшился встреч с людьми, — это был страх, который, быть может, ощущают души умерших, скитаясь по ночам; ведь про них говорят, что они при встрече с живым человеком пугаются так же, как пугаются живые люди при встрече с привидениями. Случилось так, что как раз в это время в Потсдам явился путешественник, от общения с которым я не мог уклониться, — а именно мой брат. Видя его, слушая его рассказы о текущих событиях, я словно пробудился от глубокого сна и ужаснулся, поняв, в каком страшном одиночестве я прожил столько времени. В этом состоянии я не замечал даже, как сменялись времена года, и с удивлением вдруг увидел, что деревья уже совершенно обнажились и покрыты осенней изморозью. Я тотчас оставил Потсдам и маленькую Веру и в другом городе, где меня ожидали серьезные дела, очень скоро благодаря ряду трудных обстоятельств и отношений вновь окунулся в мучительную, суровую действительность.

— Милосердное небо, — продолжал Максимилиан, и горькая усмешка мелькнула на его губах, — милосердное небо! Как мучили меня живые женщины, с которыми я тогда неизбежно сталкивался; как нежно мучили они меня своими капризами, вспышками ревности, непрерывным напряжением нервов! На скольких балах я должен был вертеться с ними; в какие только сплетни не был замешан! Какое безудержное тщеславие, какое упоение ложью, какое лобзающее предательство, какие ядовитые цветы! Эти дамы сумели отравить мне всякое наслаждение, всякую любовь, и на некоторое время я превратился в ненавистника женщин, проклинавшего весь их пол. Со мною случилось почти то же самое, что с одним французским офицером: во время русского похода он с величайшим трудом выбрался невредимым из ледяных прорубей Березины, и там у него родилась такая антипатия ко всему замороженному, что он с отвращением отказывался даже от самых сладких и приятных сортов мороженого от Тортони. Да, воспоминание об этой Березине любви, которую я тогда перешел, отбило у меня на некоторое время вкус к самым прелестным дамам, к женщи-

пам, похожим на ангелов, к девушкам, сладким, как ванильный шербет.

— Пожалуйста, не браните женщин! — воскликнула Мария. — Все это избитые фразы мужчин. В конце концов, для того чтобы быть счастливыми, вы все же нуждаетесь в женщинах.

— О, — вздохнул Максимилиан, — разумеется, это верно, но, к сожалению, женщины способны делать нас счастливыми всего только на один лад, в то время как у них имеется тридцать тысяч способов сделать нас несчастными.

— Дорогой друг, — возразила Мария, подавив слегка насмешливую улыбку, — я говорю о гармонии двух согласпо настроенных душ. Разве вы никогда не испытывали этого счастья? Но я замечаю необычную краску на ваших щеках... Говорите... Макс?

— Это правда, Мария, я чувствую себя сконфуженным почти как мальчишка, признаваясь вам, что знал счастливую любовь, что она некогда доставила мне бесконечное блаженство! Воспоминание о ней и теперь еще не окончательно угасло во мне, и под его прохладную сень и теперь еще нередко спасается моя душа, когда жгучая пыль и полуденный зной жизни становятся слишком уж невыносимы. Я не в состоянии, однако, отчетливо описать вам эту мою возлюбленную. Она была настолько эфирна, что лишь во сне могла открыться мне. Я надеюсь, Мария, что вы не разделяете банальных предрассудков по поводу снов; эти ночные видения поистине не менее реальны, чем те грубые явления дня, к которым мы можем прикоснуться руками и которые так часто нас загрязняют. Да, я во сне видел это дорогое существо, давшее мне величайшее счастье в здешнем мире. О ее внешности я могу сказать лишь немного. Я не в состоянии в точности описать ее черты: это было лицо, которого я не видел никогда ранее и после ни разу в жизни не встречал. Помню лишь, что оно было не бело-розовым, а совершенно однотонным, бледно-желтоватым, с мягким розовым оттенком и прозрачным, как хрусталь. Это лицо было прекрасно не строгой соразмерностью линий, не интересной живостью выражения; нет, это было как бы олицетворение чарующей, восхитительной, почти пугающей правдивости. Это лицо было полно сознательной любви, изящной доброты, это была

скорее душа, чем лицо, и потому-то я никогда не мог вполне ясно представить себе его внешний облик. Глаза были нежны, как цветы. Губы несколько бледны, но прелестно изогнуты. На ней был шелковый пеньюар василькового цвета; но это было и все ее одеяние; шея и ноги были обнажены, и сквозь мягкую тонкую одежду просвечивала порой, как бы украдкой, грациозная нежность ее членов. Слова, с которыми мы обращались друг к другу, я теперь тоже не могу передать с полной точностью; я знаю только, что мы были помолвлены и что мы нежно ворковали, весело и счастливо, откровенно и доверчиво, как жених с невестой, почти как брат с сестрой. Иногда мы уже больше ничего не говорили, а только смотрели друг на друга, и в этом блаженном созерцании протекала целая вечность... Что меня пробудило, я тоже не могу теперь сказать, но я еще долго жил под обаянием этого счастья любви. Еще долго я был словно опьянен несказанным восторгом, блаженство как бы овладело мечтательными глубинами моего сердца, и незнакомая мне дотоле радость как бы изливалась на все мои ощущения; я оставался ясным и светлым, несмотря на то, что моя возлюбленная никогда больше не являлась мне во сне. Но разве я не пережил в одном ее взгляде целую вечность? Да и она слишком хорошо меня понимала и поэтому знала, что я не люблю повторений.

— В самом деле! — воскликнула Мария. — Вы, несомненно, un homme à bonne fortune...<sup>1</sup> Но скажите: а кто была мадемуазель Лоранс? Мраморная статуя или картина, мертвая или сновидение?

— Пожалуй, все это вместе, — отвечал Максимилиан совершенно серьезно.

— Я так и думала, дорогой друг, что эта ваша возлюбленная была существом весьма сомнительным. А когда вы расскажете мне ее историю?

— Завтра. Это история длинная, а сегодня я устал. Я только что из оперы, и в моих ушах слишком много музыки.

— Вы часто бываете теперь в опере, и я думаю, Макс, что вы ходите туда больше для того, чтобы смотреть, чем для того, чтобы слушать!

---

<sup>1</sup> Человек, пользующийся успехом (франц.).

— Вы не ошибаетесь, Мария, я действительно хожу в оперу для того, чтобы всматриваться в лица прекрасных итальянок. Бесспорно, они достаточно хороши и вне театра и идеальность их черт могла бы послужить для историка прекрасным доказательством влияния изобразительных искусств на внешность и телосложение итальянского народа. Природа берет здесь у художников тот капитал, который она ему некогда ссудила, и, поистине, на него выросли великолепные проценты! Природа, которая некогда дала художникам образцы, теперь в свою очередь подражает тем шедеврам, которые благодаря ей были созданы. Чувство прекрасного стало достоянием всего народа, и как некогда тело влияло на дух, так ныне дух влияет на тело. Обожание прекрасных мадонн, этих дивных образов, украшающих храмы, запечатлевающихся в душе жениха, в то время как невеста отдает пыл своего сердца какому-нибудь прекрасному святому, — не остается бесплодным. Такое избирательное сродство породило здесь людей еще более прекрасных, чем та благодатная почва, на которой они живут, чем солнечное небо, которое окружает их как бы золотой рамкой. Мужчины никогда особенно не интересовали меня, за исключением тех случаев, когда они изваяны или изображены на полотне, и поэтому я предоставляю вам, Мария, приходиться в экстаз при виде красивых, гибких итальянцев с их жгуче-черными бакенбардами, смелыми, благородными носами и мягкими, умными глазами. Говорят, что самые красивые мужчины — это ломбардцы. Я никогда не исследовал этого вопроса, зато о ломбардских женщинах я размышлял достаточно серьезно; и они, как я мог убедиться, вполне заслужили свою славу. Впрочем, должно быть, уже в средние века они были достаточно хороши собой. Недаром же рассказывают про Франциска Первого, что слух о красоте миланских женщин был тем тайным побуждением, которое заставило его предпринять итальянский поход; королю-рыцарю было, конечно, интересно узнать, действительно ли так прекрасны его духовные сестры, родственницы его воспреемников, как об этом гласила молва... Бедняга! В Павии он должен был дорогой ценой искупить это любопытство!

Но как прекрасны становятся эти итальянки, когда музыка освещает их лица. Я говорю «освещает», потому



что, как я заметил в театре, действие музыки на лица красивых женщин удивительно напоминает те эффекты света и тени, которые поражают нас, когда мы ночью при свете факелов рассматриваем статуи. Эти мраморные изображения открывают нам тогда с ужасающей искренностью свою внутреннюю жизнь, свои страшные немые тайны. Совершенно таким же образом разворачивается перед нашими глазами вся жизнь прекрасных итальянок, когда они слушают оперу; мелодии, сменяясь, вызывают у них в душе вереницу чувств, воспоминаний, желаний и вспышек досады, которые мгновенно отражаются в мимике лица, в том, как они краснеют, бледнеют, в выражении их глаз. Кто умеет читать, тот прочтет тогда на их прекрасных лицах очень много приятных и интересных вещей: рассказы, не менее замечательные, чем повеллы Боккаччо, чувства, не менее нежные, чем сонеты Петрарки, капризы, причудливые, как октавы Ариосто, а порою и ужасное вероломство и страшные злодейства, не менее поэтичные, чем ад великого Данте. Ради этого стоит понаблюдать за ложами. Если бы только мужчины не выражали в это время своего восторга с таким ужасающим шумом! Этот слишком необузданный рев и грохот итальянского театра временами утомляет меня. Однако музыка — душа этих людей, их жизнь, их национальное дело. Конечно, и в других странах есть музыканты, не уступающие величайшим итальянским знаменитостям; но там нет музыкального народа. Здесь же, в Италии, музыка не воплощается в отдельных личностях: она живет в народе; музыка стала народом. У нас, на севере, это совсем иначе: у нас музыка стала только каким-то одним человеком и зовется Моцартом или Мейербером; и к тому же, если вникнуть как следует, то окажется, что в самом лучшем из того, что дают нам северные музыканты, мы найдем свет итальянского солнца, аромат апельсиновых рощ, и произведения эти в меньшей степени принадлежат Германии, чем прекрасной Италии — родине музыки. Да, Италия навсегда останется родиной музыки, хотя ее великие маэстро рано уходят в могилу или умолкают, хотя умирает Беллини и молчит Россини.

— В самом деле, — заметила Мария, — Россини упорно хранит строгое молчание. Если не ошибаюсь, он молчит вот уже десять лет.

— Быть может, это не более чем шутка с его стороны, — ответил Максимилиан. — Он хотел показать, что данное ему прозвище «Лебедь из Пезаро» совсем к нему не подходит. Лебеди поют в конце своей жизни, а Россини перестал петь в середине жизни. И мне кажется, что он поступил правильно и именно этим доказал, что он настоящий гений. Художник, обладающий только талантом, до конца жизни сохраняет стремление упражнять этот талант; его подхлестывает честолюбие; он чувствует, что непрерывно совершенствуется, и не может успокоиться, пока не достигнет высшего доступного ему совершенства. Но гений уже совершил вышнее: он доволен, он презирает мир с его мелким честолюбием и отправляется домой в Стретфорд-на-Эйвоне, как Вильям Шекспир, или, смеясь и отпуская остроты, прогуливается, как Иоахим Россини, по Boulevard des Italiens<sup>1</sup> в Париже. Если гений обладает неплохим здоровьем, то он имеет возможность прожить еще довольно много времени после того, как создал свои шедевры, или, как обычно выражаются, после того, как выполнил свою миссию. Распространенное мнение, что гений должен рано умереть, — по-моему, предрассудок; кажется, период от тридцати до тридцати четырех лет считается самым опасным временем для гения. Как часто дразнил я этим бедного Беллини и, шутя, пророчил ему, что он в качестве гения должен скоро умереть, так как для него наступает уже опасный возраст. Поразительно то, что, несмотря на мой шутливый тон, его серьезно беспокоили эти пророчества; он называл меня своим jettatore<sup>2</sup> и прилагал все старания, чтобы отвести дурной глаз... Он страстно хотел жить, он чувствовал какое-то жгучее отвращение к смерти, боялся ее, как боится ребенок спать в темной комнате... Это был добрый, милый ребенок, порою немного своенравный; но стоило только напомнить ему о предстоящей близкой смерти, как он сразу становился кротким, послушным и спешил двумя поднятыми пальцами сотворить знак заклинания... Бедный Беллини!

— Вы, значит, лично его знали? Он был хорош собой?

— Он не был безобразен. Вы видите, и мы, мужчины, не в состоянии ответить утвердительно, когда нам задают

---

<sup>1</sup> Итальянскому бульвару (франц.).

<sup>2</sup> Человеком, способным сглазить (итал.).

подобного рода вопросы о человеке, принадлежащем к нашему полу. У него была высокая стройная фигура, изящные, я сказал бы кокетливые, движения; всегда он был à quatre épingles;<sup>1</sup> правильное, продолговатое лицо, бледно-розовое; светло-белокурые, почти золотистые волосы, в мелких завитках; высокий, очень высокий благородный лоб; прямой нос; бледно-голубые глаза; красиво очерченный рот; круглый подбородок. При этом в чертах его лица было что-то неопределенное, бесхарактерное, что-то напоминающее молоко, и на этом молочном лице блуждало порой кисло-сладкое выражение печали. Это выражение печали заменяло собой недостававшую его лицу одухотворенность; но в его печали не было глубины: она блуждала в его взоре без поэзии, трепетала около его губ без страсти. Казалось, всей своей фигурой юный маэстро стремится выразить эту плоскую, вялую печаль. Его волосы были завиты в такие грустно-мечтательные локоны, его платье с такой томностью облекало его нежное тело, он носил свою испанскую тросточку с такой идиличностью, что всегда напоминал мне юных пастушков из наших пасторалей, которые выступают, жеманно размахивая посошком, разукрашенным лентами, в светлых курточках и штанишках. И поступь его была так девственна, так элегична, так невесома. Это был не человек, а какой-то вздох en escarpins.<sup>2</sup> Он имел большой успех у женщин; но сомневаюсь, чтобы ему когда-либо удалось внушить сильную страсть. Для меня лично в его внешности всегда было что-то несносно комическое; причина, быть может, заключалась в его французском языке. Несмотря на то, что Беллини уже несколько лет жил во Франции, он говорил по-французски так плохо, как говорят, быть может, только в одной Англии. Строго говоря, его французскую речь отнюдь нельзя было характеризовать словом «плохо»; плохо, в данном случае, — еще слишком хорошо. Это было чудовищно, кровосмесительно, несусветно! Да, когда приходилось бывать с ним вместе в обществе и он, как палач, принимался колесовать несчастные французские слова и невозмутимо выкладывать невероятный соq-à-l'âne,<sup>3</sup> то казалось порой, что

<sup>1</sup> Аккуратно, шегольски одет (франц.).

<sup>2</sup> В бальных башмаках (франц.).

<sup>3</sup> Вздор (франц.).

вот-вот с громом рухнет мир... Гробовая тишина воцарялась тогда в зале и смертельный ужас рисовался на всех лицах, то бледных, как мел, то багровых, как киноварь; женщины не знали, что делать, упасть ли в обморок или спастись бегством; мужчины смущенно поглядывали на свои панталоны, как бы желая удостовериться, что они действительно облачены в эту деталь костюма, и хуже всего то, что этот ужас вызывал в то же время конвульсивные приступы смеха, от которых почти невозможно было удержаться. Поэтому, попадая вместе с Беллини в общество, приходилось всегда ощущать некоторую тревогу; в его близости было какое-то жуткое очарование, которое одновременно и отталкивало и привлекало. Порой его невольные каламбуры только сместили, напоминая своей забавной безвкусицей замок его соотечественника, принца из Пеллагонии, описанный Гете в «Путешествии по Италии», — музей вычурно-уродливых предметов, беспорядочно натасканных отовсюду безобразных вещей. Так как Беллини во всех подобных случаях бывал совершенно уверен, что сказал нечто вполне невинное и чрезвычайно серьезное, то лицо его представляло дичайший контраст его словам. И в эти минуты выступало особенно резко то, что мне не нравилось в лице Беллини, но что отнюдь нельзя было бы назвать недостатком, — и дамы, конечно, вовсе не склонны были разделять мое неблагоприятное впечатление. Лицо Беллини, — как и весь его облик, — отличалось той физической свежестью, тем цветущим здоровьем, тем нежным румянцем, которые производят такое неприятное впечатление на меня, предпочитающего мертвенное, мраморное. Лишь позднее, уже после продолжительного знакомства с Беллини, я почувствовал к нему некоторую симпатию. Это случилось тогда, когда я заметил, что его характер отмечен благородством и добротой. Душа его, несомненно, осталась чистой и незапятнанной всеми отвратительными соприкосновениями с жизнью. Он не был лишен также того наивного добродушия, той детскости, которые характерны для гениальных людей, хотя и не всем открываются эти их качества.

— Да, я припоминаю, — продолжал Максимилиан и опустился в кресло, около которого он стоял до этого, облокотившись на его спинку, — да, я припоминаю минуту, когда Беллини представился мне в таком привле-

кательном свете, что мне было радостно смотреть на него, и тогда-то я решил ближе сойтись с ним. К сожалению, однако, это было последним нашим свиданием здесь, на земле. Дело происходило вечером, в доме одной великосветской дамы, обладательницы самой маленькой ножки во всем Париже; мы только что встали из-за стола; все были очень веселы; на фортепиано звучали самые нежные мелодии... Я как сейчас вижу его — этого добряка Беллини: утомленный бесчисленными сумасшедшими беллинизмами, которые он нагородил, он устал в кресло... Кресло это было очень низенькое, почти как скамеечка, так что Беллини очутился как бы у ног одной красавицы, которая полудежала на софе и с прелестным злорадством взирала на него сверху вниз, в то время как он из кожи лез, чтобы занять ее несколькими французскими фразами. Он поминутно принужден был комментировать самого себя на своем сицилийском жаргоне, доказывая, что сказал отнюдь не глупость, а наоборот, самый утонченный комплимент. Мне кажется, что прекрасная дама вовсе даже не слушала слов Беллини; она взяла у него из рук его испанскую тросточку, с помощью которой он временами пытался содействовать своей слабой риторике, и воспользовалась ею для того, чтобы совершенно спокойно разрушить изящную прическу на висках юного мастера. К этому шаловливому занятию относилась, по всей вероятности, ее улыбка, придававшая ее чертам такое выражение, какого я никогда не видел на лицах живых людей. Лицо это никогда не изгладится из моей памяти! Это было одно из тех лиц, которые, казалось бы, вовсе не принадлежат грубой действительности, а относятся к царству поэтических грез. Контуры лица напоминали да Винчи; это был благородный овал с плавными ямочками на щеках и с септимально заостренным подбородком ломбардской школы. Цвет лица отличался скорее римской нежностью: он был матово-жемчужный, с характерной томной бледностью — *torbidezza*. Одним словом, это было лицо, встречающееся лишь на старых итальянских портретах; оно напоминало изображения тех знатных дам, в которых были влюблены итальянские художники шестнадцатого века, когда создавали свои шедевры; о которых мечтали поэты того времени, когда, слагая свои песни, становились бессмертными; о которых думали французские и немецкие герои, онаясы-

вая себя мечом и отправляясь совершать подвиги по ту сторону Альп... Да, да, это было одно из таких лиц, и улыбка, полная самого очаровательного злорадства и изящного лукавства, оживляла это лицо, в то время как красавица кончиком камышовой трости разрушала сооружение из белокурых локонов на голове добряка Беллини. В это мгновение я увидел Беллини словно преображенным от прикосновения волшебной палочки, и я сразу почувствовал в нем что-то родственное моему сердцу. Лицо его как бы сияло отсветом улыбки красавицы, — быть может, это было высочайшее мгновение его жизни... Я никогда его не забуду... Две недели спустя я узнал из газет, что Италия потеряла одного из самых славных своих сынов!

Странно! Одновременно появилось известие и о смерти Паганини. В его смерти я не сомневался ни минуты, поскольку старый, бледный Паганини всегда был похож на умирающего; но смерть юного, розового Беллини казалась мне невероятной. Однако же сообщение о смерти первого оказалось лишь газетной уткой — Паганини и по сие время жив и здравствует в Генуе, а Беллини лежит в могиле в Париже!

— Вы любите Паганини? — спросила Мария.

— Этот человек, — отвечал Максимилиан, — является украшением своей родины и бесспорно заслуживает самого лестного упоминания, когда перечисляются музыкальные знаменитости Италии.

— Я никогда его не видела, — заметила Мария. — Но если верить молве, его внешность не вполне удовлетворяет эстетическому чувству. Я знаю его портреты...

— Которые все на него не похожи, — вставил Максимилиан, — они изображают его или хуже, или лучше, чем он есть, но никогда не передают его действительного облика. На мой взгляд, только одному человеку удалось передать на бумаге подлинную физиономию Паганини: это — глухой художник, по имени Лизер, который в порыве вдохновенного безумия несколькими взмахами карандаша так хорошо уловил черты Паганини, что не знаешь, смеяться или пугаться правдивости его рисунка. «Дьявол водил моей рукой», — сказал мне глухой художник и при этом таинственно захихикал, проиически-

добродушно покачивая головой; подобными ужимками он обычно сопровождал свои гениальные проказы. Этот художник был удивительный чудак; несмотря на свою глухоту, он страстно любил музыку, и говорят, что, когда он находился достаточно близко от оркестра, он умел читать звуки на лицах музыкантов и в состоянии был по движению их пальцев судить о более или менее удачном исполнении; он был даже оперным критиком в одном почтенном гамбургском журнале. Впрочем, чему же тут удивляться? Движения музыкантов — это видимые знаки, и в них глухой художник умел созерцать звуки. Ведь для некоторых людей сами звуки — только невидимые знаки, в которых они слышат краски и образы.

— И вы один из таких людей! — воскликнула Мария.

— Мне жаль, что у меня нет больше наброска, сделанного Лизером, он дал бы вам некоторое представление о наружности Паганини. Только резко черными, беглыми штрихами могли быть схвачены фантастические черты этого лица, которые, как кажется, принадлежат скорее удушливому царству теней, чем солнечному миру жизни. «Поистине, сам дьявол водил моею рукой», — уверял меня глухой художник, когда мы однажды стояли вместе с ним перед Альстерским павильоном в Гамбурге, где Паганини должен был дать свой первый концерт. «Да, мой друг, — продолжал он, — справедливо то, что все про него говорят, — что он продался черту, продал ему и душу и тело, для того чтобы стать лучшим скрипачом, накопить миллионы и, прежде всего, для того, чтобы бежать с той проклятой галеры, где он томился много лет. Дело в том, друг мой, что, когда он был капельмейстером в Лукке, он влюбился в одну театральную примадонну, приревновал ее к какому-то ничтожному аббату, — быть может, стал рогоносцем, а затем, по доброму итальянскому обычаю, заколол свою неверную amata,<sup>1</sup> попал в Генуе на галеры и, как я уже сказал, продал себя, наконец, черту, для того чтобы стать лучшим в мире скрипачом и иметь возможность наложить сегодня вечером на каждого из нас контрибуцию в два талера... Но смот-

---

<sup>1</sup> Возлюбленную (итал.).

рите-ка! Да воскреснет бог и расточатся врази его! Вот по той аллее идет он сам в сопровождении своего двусмысленного *famulo!*»<sup>1</sup>

И в самом деле, вскоре я увидел самого Паганини. На нем был темно-серый сюртук, спускавшийся до пят, благодаря чему фигура его казалась очень высокой. Длинные черные волосы спутанными локонами падали на его плечи и, словно темной рамой, окружали его бледное, мертвенное лицо, на котором забота, гений и адские силы оставили свой неизгладимый след. Рядом с ним шел, приплясывая, низенький, благодушный, до смешного прозаический человек: у него было розовое морщинистое лицо, он был в светло-сером сюртучке со стальными пуговицами; он рассыпал во все стороны невыносимо приторные приветствия и в то же время с озабоченно-боязливым видом искоса поглядывал на высокую мрачную фигуру, серьезно и задумчиво шествовавшую рядом с ним. Казалось, что видишь перед собой картину Рецша, изображающую Фауста и Вагнера на прогулке перед воротами Лейпцига. Между тем глухой художник в своем обычном шутовском стиле отпускал замечания по поводу той и другой фигуры и обратил мое особое внимание на размеренную, размашистую походку Паганини. «Не кажется ли вам, — сказал он, — что он все еще носит железные кандалы на ногах? У него навсегда сохранилась эта походка. Взгляните также, как презрительно и иронически он поглядывает порой на своего спутника, когда тот слишком надоедает ему своими прозаическими вопросами; но он не может обойтись без него: кровавый договор связывает его с этим слугой, который есть не кто иной, как сам сатана. Несведущая публика, правда, думает, что этот его спутник — сочинитель комедий и анекдотов, Гаррис из Ганновера, которого Паганини якобы взял с собой в турне для заведения денежной стороной своих концертов. Народ не знает, что черт позаимствовал у господина Георга Гарриса только его внешность, тогда как бедная душа этого бедного человека, вместе с прочим хламом, до тех пор останется запертой в сундуке в Ганновере, пока черт не возвратит ей ее телесную оболочку, если он предпочтет сопровождать маэстро Паганини в каком-

<sup>1</sup> Наперсника (*итал.*).



либо ином, более достойном воплощении — например, в виде черного пуделя».

Если уж в яркий полдень, под зелеными деревьями гамбургского Юнгфернштига, Паганини произвел на меня впечатление чего-то сказочного и диковинного, то как же поражала его зловеще-живописная наружность вечером на концерте! Концерт давался в гамбургском «Театре комедии», и публика, любящая искусство, уже заранее набилась туда в таком количестве, что я лишь с трудом отвоевал себе местечко около оркестра. Несмотря на то, что это был почтовый день, в первых ложах присутствовали все просвещенные представители торгового мира, весь Олимп банкиров и прочих миллионеров — богов кофе и сахара, вместе со своими толстыми божественными супругами, Юнонами с Вандрама и Афродитами с Дрекваля. Молитвенная тишина господствовала в зале. Глаза всех были устремлены на сцену. Все уши насторожились. Мой сосед, старый торговец мехами, вынул грязную вату из своих ушей, чтобы лучше впитать в себя драгоценные звуки, стоившие ему два талера. Наконец на эстраде появилась темная фигура, которая, казалось, только что вышла из преисподней. Это был Паганини в своем черном парадном облачении: на нем был черный фрак, черный жилет ужасающего покроя, — быть может, предписанного адским этикетом при дворе Прозерпины. Черные панталоны самым жалким образом свисали вокруг его тощих пог. Длинные руки казались еще длиннее, когда он, держа в одной руке скрипку, а в другой — опущенный книзу смычок и почти касаясь ими земли, отвешивал перед публикой свои невиданные поклоны. В угловатых движениях его тела было что-то пугающе деревянное и в то же время что-то бессмысленно животное, так что эти поклоны должны были неизбежно возбуждать смех; но его лицо, казавшееся при ярком свете ламп оркестра еще более мертвенно бледным, выражало при этом такую мольбу, такое тупое смирение, что смех умолкал, подавленный какой-то ужасной жалостью. У кого научился он этим поклонам, у автомата или у собаки? И что означал его взгляд? Был ли это умоляющий взор смертельно больного человека, или за этим взглядом скрывалась насмешка хитрого скряги? Или кто такой он сам? Живой человек, хоторый, подобно умирающему гладиатору, в своей

предсмертной агонии на подмостках искусства старается позабавить публику своими последними судорогами? Или это мертвец, вставший из гроба, вампир со скрипкой в руках, который хочет высосать если не кровь из нашего сердца, то во всяком случае деньги из нашего кошелька?

Такие вопросы теснились в наших головах, пока Паганини с обычными кривляльями отвечивал со все стороны свои бесконечные поклоны; но все подобные мысли сразу оборвались, когда этот изумительный артист приставил скрипку к подбородку и начал играть. Что касается меня, то ведь вы знаете мое второе музыкальное зрение, мою способность при каждом звуке, который я слышу, видеть соответствующий звуковой образ; с каждым новым взмахом его смычка предо мною вырастали зримые фигуры и картины; языком звучащих пероглифов Паганини рассказывал мне множество ярких происшествий, так что перед моими глазами словно разворачивалась игра цветных теней, причем сам он со своей скрипкой неизменно оставался ее главным действующим лицом. Уже при первом ударе его смычка обстановка, окружавшая его, изменилась; он со своим нотным пюпитром внезапно очутился в приветливой, светлой комнате, беспорядочно-весело убранной вычурной мебелью в стиле помпадур: везде маленькие зеркала, позолоченные амурчики, китайский фарфор, очаровательный хаос лент, цветочных гирлянд, белых перчаток, разорванных кружев, фальшивых жемчугов, раззолоченных жестяных диadem и прочей мишуры, переполняющей обычно будуар примадонны. Внепность Паганини тоже изменилась, и притом самым выгодным для него образом: на нем были короткие панталоны из лилового атласа, белый расшитый серебром жилет, кафтан из светло-голубого бархата с золотыми пуговицами; старательно завитые в мелкие кудри волосы обрамляли его лицо, совсем юное, цветущее, розовое, сиявшее необычайной нежностью, когда он поглядывал на хорошенькое созданыще, стоявшее рядом с ним у пюпитра, в то время как он играл на своей скрипке.

И в самом деле, рядом с ним я увидел хорошенькое молодое существо в старомодном туалете; белый атлас раздувался кринолином ниже бедер, и это очаровательно

обрисовывало тощую талию; напудренные завитые волосы были высоко подобраны, и под этой высокой прической особенно ярко сияло хорошенькое круглое личико с блестящими глазками, нарумяненными щечками, мушками и задорным, миленьким носиком. В руке она держала бумажный сверток, и как по движению ее губ, так и по кокетливому покачиванию верхней части ее фигурки можно было заключить, что она поет; но ухом нельзя было уловить ни одной из ее трелей, и только по звукам скрипки, на которой молодой Паганини аккомпанировал этой прелестной крошке, я мог угадать, что именно она пела и что переживал он сам во время ее пения. О, это были мелодии, подобные шелканью соловья в предвечерних сумерках, когда аромат розы наполняет томлением его сердце, почувшшее весну! О, это было тающее, сладострастно изнемогающее блаженство! Это были звуки, которые то встречались в поцелуе, то капризно убегали друг от друга и, наконец, смеясь, вновь сливались и замирали в опьяняющем объятии. Да, легко и весело порхали эти звуки; точно так мотыльки, шаловливо дразня друг друга, то разлетаются в разные стороны и прячутся за цветы, то настигают один другого и, соединяясь в беспечно счастливом упоении, взвиваются и исчезают в золотых лучах солнца. Но паук, черный паук, способен внезапно положить трагический конец радости влюбленных мотыльков. Закралось ли тяжелое предчувствие в юное сердце? Скорбный, стонящий звук, как предвестник надвигающейся беды, тихо проскользнул среди восторженных мелодий, которые излучала скрипка Паганини... Его глаза увлажняются... Молитвенно склоняется он на колени перед своей *amata*... Но, ах! Нагнувшись, чтоб расцеловать ее ножки, он замечает под кроватью маленького аббата! Не знаю, что он имел против этого бедняги, но генуэзец побледнел как смерть; он с яростью хватает маленького человечка, обильно награждает его пощечинами, дает ему немало пинков ногою и в довершение всего выкидывает за дверь, а затем вытаскивает из кармана свой длинный стилет и вонзает его в грудь юной красавицы...

Но в этот момент со всех сторон раздались крики: «Браво! Браво!» Восхищенные мужчины и женщины Гамбурга выражали шумное одобрение великому мастеру,

который только что закончил первое отделение своего концерта и кланялся, сгибаясь еще ниже, еще более угловато, чем раньше. И мне казалось, что лицо его полно какой-то жалобной, еще более заискивающей мольбы, чем раньше. В его глазах застыла жуткая тревога, как у обреченного грешника.

«Божественно! — воскликнул мой сосед, торговец мехами, ковыряя в своих ушах. — Одна эта вещь стоила двух талеров».

Когда Паганини снова начал играть, мрачная пелена встала перед моими глазами. Звуки уже не превращались в светлые образы и краски; наоборот, даже фигуру самого артиста окутали густые тени, из мрака которых пронзительными, жалобными воплями звучала его музыка. Лишь изредка, когда висевшая над ним маленькая лампа бросала на него свой скудный свет, я мог разглядеть его побледневшее лицо, с которого все же не вполне исчезла печать молодости. Странный вид имела его одежда, как бы расщепленная на два цвета — желтая с одной стороны, красная — с другой. Ноги его были закованы в тяжелые цепи. Позади виднелась фигура, в физиономии которой было что-то веселое, козлиное; а длинные волосатые руки, по-видимому принадлежавшие этой фигуре, временами касались, услужливо помогая артисту, струн его скрипки. Иногда они водили рукой его, державшей смычок, и тогда блеющий смех одобрения сопровождал исходившие из скрипки звуки, все более и более страдальческие, все более кровавые. Эти звуки были, как песни падших ангелов, которые согрешили с дочерьми земли, за это изгнаны были из царства блаженных и с пылающими от позора лицами спускались в преисподнюю. Это были звуки, в бездонной глубине которых не теплилось ни надежды, ни утешения. Когда такие звуки слышат святые на небе, славословия господа богу замирают на их бледнеющих губах, и они с плачем покрывают свои благочестивые головы! Порой, когда в мелодические страсти этой музыки врывалось неотвратимое блеяние козлиного смеха, я замечал на заднем плане множество маленьких женских фигур, которые со злобной веселостью кивали своими безобразными головками и пальцами, сложенными для крестного знамения, злорадно почесывали себя сзади. Из скрипки вырывались тогда стоны, полные безнадежной тоски;

ужасающие вопли и рыдания, какие еще никогда не оглашали землю и, вероятно, никогда вновь не огласят ее, разве только в долине Иосафата в день страшного суда, когда зазвучат колоссальные трубы архангелов и голые мертвецы выползут из могил в ожидании своей участи... Но измученный скрипач вдруг ударил по струнам с такою силой, с таким безумным отчаянием, что цепи, сковывавшие его, со звоном распались, а его лихой помощник исчез вместе со своими глумливыми чудовищами.

В этот момент мой сосед, торговец мехами, произнес: «Жаль, жаль! У него лопнула струна — это от постоянного пиччкато!»

Действительно ли лопнула струна у скрипки? Я этого не знаю. Я заметил лишь, что звуки приобрели иной характер, и внезапно вместе с ними как будто изменился и сам Паганини и окружающая его обстановка. Я едва мог узнать его в коричневой монашеской рясе, которая скорее скрывала, чем одевала его. С каким-то диким выражением на лице, наполовину спрятанном под капюшоном, опоясанный веревкою, босой, одинокий и гордый, стоял Паганини на нависшей над морем скале и играл на скрипке. Происходило это, как мне казалось, в сумерки; багровые блики заката ложились на широкие морские волны, которые становились все краснее и в таинственном созвучии с мелодиями скрипки шумели все торжественнее. Но чем багрянее становилось море, тем бледнее делалось небо, и когда, наконец, бурные воды превратились в ярко-пурпурную кровь, тогда небо стало призрачно-светлым, мертвенно-бледным, и угрожающе и величественно выступили на нем звезды — и звезды эти были черные-черные, как куски блестящего каменного угля. Но все порывистее и смелее становились звуки скрипки; в глазах страшного артиста сверкала такая вызывающая жажда разрушения, его тонкие губы шевелились с такою зловещей горячностью, что, казалось, он бормочет древние нечестивые заклинания, которыми вызываются бури и освобождаются от оков злые духи, томящиеся в заключении в морских пучинах. Порою, когда он простирал из широкого монашеского рукава свою длинную, худую обнаженную руку и размахивал смычком в воздухе, он казался воистину чародеем, повелевающим стихиями с помощью своей волшебной палочки, — и тогда безумный рев несся из мор-

ских глубин, и кровавые, обьятые ужасом волны вздымались вверх с такой силой, что почти достигали бледного небесного купола, покрывая брызгами красной пены его черные звезды. Кругом все выло, визжало, грохотало, как будто рушилась вселенная, а монах все с бóльшим упорством играл на своей скрипке. Мощным усилением безумной воли он хотел сломать семь печатей, палоченных Соломоном на железные сосуды, в которых заключены были побежденные им демоны. Мудрый царь бросил их в море, и мне чудилось, что я слышу голоса заключенных в них духов, в то время как скрипка Паганини гремела своими самыми гневными басами. Наконец мне послышались словно ликующие клики освобождения, и я увидел, как из красных кровавых волн стали подымать свои головы освобожденные демоны: чудища, сказочно безобразные, крокодилы с крыльями летучей мыши, змеи с оленьими рогами, обезьяны, у которых головы покрыты были воронкообразными раковинами, тюлени с патриархально длинными бородами, женские лица с грудями вместо щек, зеленые верблюжьи головы, ублюдки самых невообразимых помесей, — все они пялили свои холодные умные глаза на играющего на скрипке монаха, все простирали к нему свои длинные лапы-плавники... А у монаха, охваченного бешеным порывом заклинания, свалился капюшон, и длинные волнистые пряди, разметавшись по ветру, словно черные змеи, кольцами окружали его голову.

Это было настолько умопомрачительное зрелище, что я, в страхе потерять рассудок, заткнул уши и закрыл глаза. Привидение тут же исчезло, и, когда я вновь огляделся, я увидел бедного генуэзца в его обычном виде, отвешивающим свои обычные поклоны, в то время как публика восторженно аплодировала.

«Так вот она, эта знаменитая игра на басовой струне, — заметил мой сосед, — я сам играю на скрипке и знаю, чего стоит так владеть этим инструментом». К счастью, перерыв длился недолго, иначе этот музыкальный меховщик втянул бы меня в длинный разговор об искусстве. Паганини слова спокойно приставил скрипку к подбородку, и с первым же ударом смычка вновь началось волшебное перевоплощение звуков. Но только оно теперь не оформлялось в такие резко-красочные и телесно-отчетливые образы. Звуки развертывались спокойно, вели-

чественно вздымаясь и парастая, как хорал в исполнении соборного органа; и все вокруг раздвинулось вширь и ввысь, образуя колоссальное пространство, доступное лишь духовному, но не телесному взору. В середине этого пространства носился светящийся шар, на котором высился гигантский, гордый, величественный человек, игравший на скрипке. Что это был за шар? Солнце? Я не знаю. Но в чертах человека я узнал Паганини, только идеально прекрасного, небесно-проясненного, с улыбкой, исполненной примирения. Его тело цвело мужественной силой; светло-голубая одежда облекала облагороженные члены; по плечам ниспадали блестящими кольцами черные волосы; и в то время как он, уверенный, незыблемый, подобно высокому образу божества, стоял здесь со своей скрипкой, казалось, будто все мироздание повинуетя его звукам. Это был человек-планета, вокруг которого с размеренной торжественностью, в божественном ритме вращалась вселенная. Эти великие светила, в спокойном сиянии плывшие вокруг него, — не были ли это небесные звезды? И эта звучащая гармония, которую порождали их движения, — не было ли это той музыкой сфер, о которой с таким восторгом вещали нам поэты и ясновидцы? Порой, когда я напряженно вглядывался в туманную даль, мне казалось, что я вижу одни только белые колеблющиеся одеяния, окутывающие пилигримов-великанов, шествовавших с белыми посохами в руках. И странно! — золотые набалдашники их посохов — это и были те великие светила, которые я принял за звезды. Широким кругом двигались пилигримы вокруг великого музыканта, от звуков его скрипки все ярче сияли золотые набалдашники их посохов, и слетавшие с их уст хоралы, которые я принял за пение сфер, были лишь зампрающим эхом звуков его скрипки. Невыразимого, священного иступления полны были эти звуки, которые то едва слышно проносились, как таинственный шепот вод, то снова жутко и сладко нарастали, подобно призывам охотничьего рога в лунную ночь, и, наконец, гремели с безудержным ликованием, словно тысячи бардов ударяли по струнам своих арф и сливали свои голоса в одной победной песне. Это были звуки, которых никогда не может уловить ухо, о которых может лишь грезить сердце, когда оно ночью покоится у сердца возлюбленной. Впрочем, быть может, душа наша

в состоянии постичь их и в яркий солнечный день, когда она, ликуя, погружается в созерцание прекрасных овалов и линий греческого искусства...

— Или когда выпита лишняя бутылка шампанского, — послышался вдруг насмешливый голос, словно от сна пробудивший нашего рассказчика. Оглянувшись, он заметил доктора, который в сопровождении черной Деборы тихонько вошел в комнату, чтобы посмотреть, как действовало на больную его лекарство.

— Этот сон мне не нравится, — произнес доктор, указывая на софу.

Максимилиан, погруженный в фантастические образы собственной речи, не заметил, что Мария давно заснула, и теперь с досадой закусил губу.

— Этот сон, — продолжал доктор, — сообщает ее лицу облик смерти. Не правда ли, она похожа сейчас на те белые маски, на те гипсовые слепки, с помощью которых мы стремимся сохранить черты умерших?

— Я хотел бы, — прошептал ему на ухо Максимилиан, — сделать такой слепок с лица нашей приятельницы. Она и мертвая будет очень хороша.

— Не советую вам это делать, — возразил доктор. — Такие маски отравляют нам воспоминание о тех, кого мы любили. Нам все кажется, что в этом гипсе сохранилось еще что-то живое, тогда как в действительности то, что там запечатлено, есть сама смерть. Правильные, красивые черты лица приобретают при этом какое-то зловеще-застывшее, надменное, отталкивающее выражение, благодаря чему они больше пугают нас, чем радуют. Но настоящими карикатурами оказываются гипсовые слепки с лиц, привлекательность которых носила более духовный, чем телесный характер, черты которых были не столько правильны, сколько интересны; ибо лишь только отлетели грации жизни, отклонения от идеальных линий красоты не восполняются уже больше духовной привлекательностью. Однако всем этим гипсовым лицам, каковы бы они ни были, свойственно какое-то загадочное выражение, которое при долгом созерцании пронизывает нашу душу нестерпимым холодом; кажется, будто все это лица людей, которые собираются отправиться в тяжелый путь.

— Куда? — спросил Максимилиан, в то время как доктор под руку уводил его из комнаты.



## НОЧЬ ВТОРАЯ

— И к чему мучить меня этим гадким лекарством, когда я все равно скоро умру.

Эти слова Мария произнесла как раз в то мгновение, когда Максимилиан входил в комнату. Перед ней стоял врач, державший в одной руке аптечную склянку, а в другой маленькую рюмку, в которой отвратительно пенилось какое-то бурое снадобье.

— Дражайший друг! — воскликнул врач, обращаясь к вошедшему. — Вы явились сюда как нельзя более кстати. Уговорите же синьору проглотить эти несколько капель; я спешу.

— Я прошу вас, Мария! — прошептал Максимилиан тем нежным голосом, который не часто у него появлялся и в котором слышалась такая сердечная боль, что больная, растроганная, почти забывшая о собственных страданиях, взяла в руки рюмку. Но прежде чем поднести ее к губам, она сказала с улыбкой:

— Не правда ли, в награду вы мне расскажете историю Лоранс?

— Я исполню все, чего вы желаете! — кивнув, ответил Максимилиан.

Бледная женщина тотчас выпила содержимое рюмки с улыбкой, смешанной с содроганием.

— Я спешу, — сказал врач, натягивая свои черные перчатки. — Прилягте, синьора, и лежите совершенно спокойно. Двигайтесь как можно меньше. Я спешу.

В сопровождении черной Деборы, вышедшей ему посветить, он оставил комнату. Теперь друзья были одни и долго безмолвно смотрели друг на друга. Одни и те же мысли волновали обоих, но каждый стремился скрыть их от другого. Внезапно женщина схватила руку Максимилиана и покрыла ее жаркими поцелуями.

— Ради бога! — сказал Максимилиан. — Не делайте таких резких движений и ложитесь опять спокойно на свою софу.

Когда Мария исполнила его просьбу, он заботливо укрыл ее ноги шалью, к которой прежде прикоснулся губами. Движение это, по-видимому, не ускользнуло от Марии; глаза ее радостно заискрились, как у счастливого ребенка.

— Что же, мадемуазель Лоранс была очень хороша?

— Если вы не будете меня прерывать и дадите обещание слушать меня тихо и спокойно, то я подробнейшим образом изложу вам все, что вы желали бы знать.

Приветливо улынувшись в ответ на утвердительный взгляд Марии, Максимилиан уселся в кресло, стоявшее рядом с софой, и так начал свой рассказ:

— Восемь лет тому назад я отправился в Лондон, чтобы изучить язык и самих англичан. Черт бы побрал этот народ вместе с его языком! Они пабивают себе рот дюжиной односложных слов, жуют их, комкают, снова выплевывают, и это они называют речью. К счастью, они по природе своей довольно молчаливы, и хотя глазают на нас, разинув рот, тем не менее длительными беседами они нас не обременяют. Но горе нам, если мы попали в руки сыну Альбиона, который совершил свое большое путешествие и обучился на континенте французскому языку. Этот уже не упустит случая поупражняться в знании языка; он засыплет вас вопросами о всевозможных вещах, и едва вы ответили на один вопрос, как уже готов другой: о вашем возрасте, о вашей родине, о продолжительности вашего пребывания за границей, причем он искренне убежден, что наилучшим образом занимает вас своим неустанным допросом. Один из моих парижских друзей был, пожалуй, прав, утверждая, что англичане обучаются французскому языку в bureau de passeports.<sup>1</sup> Всего полезнее их беседа за столом, когда они разрезают свои колоссальные ростбифы и с серьезным видом расспрашивают вас, какой кусок вы желаете получить: прожаренный или непрожаренный? Из середины или с зарумяненного края? С жиром или без жира? Но этими ростбифами да еще бараньим жарким исчерпывается все, что у них есть хорошего. Да сохранит господь всякого христианина от их соусов, которые состоят на одну треть из муки и на две трети из масла или — когда желательно внести разнообразие — на одну треть из масла и на две трети из муки. Да сохранит господь всякого и от их напьюных гарниров из зелени, которую они отваривают в воде и подают к столу в том самом виде, в каком она вышла

---

<sup>1</sup> Паспортном столе (*франц.*).

из рук создателя. Еще ужаснее английской кухни английские тосты и неизбежные застольные речи, произносимые тогда, когда убрана скатерть и дам, покинувших сидящее за столом общество, замечает теперь соответствующее количество бутылок портвейна... По мнению англичан, эти последние могут наилучшим образом восполнить отсутствие прекрасного пола. Я говорю «прекрасного пола», так как англичанки заслуживают этого названия. Это красивые, белые, стройные создания. Только слишком обширное пространство между носом и ртом, встречающееся у них не менее часто, чем у тамошних мужчин, не раз отравляло мне в Англии наслаждение от созерцания самых красивых лиц. Это нарушение норм прекрасного действует на меня особенно тягостно, когда я встречаю англичан здесь, в Италии, где их скупо отмеченные носы и широкие пространства между носом и ртом образуют резкий контраст с лицами итальянцев, черты которых приближаются к античной правильности, а носы, либо по-римски изогнутые, либо по-гречески опущенные, нередко страдают чрезмерной длиной. Очень правильно заметил один немецкий путешественник, что англичане, разгуливающие здесь среди итальянцев, напоминают статуи с отбитым кончиком носа.

Да и вообще, только встретив англичан в чужой стране, можно как следует почувствовать их недостатки, особенно ярко выступающие в силу контраста. Это — боги скуки, которые проносятся из страны в страну на курьерских, в блестящих лакированных экипажах, и оставляют везде за собою серое, пыльное облако тоски. Прибавьте к этому любопытство, лишенное внутреннего интереса, их вылощенную тяжеловесность, их паглую тупость, их угловатый эгоизм и какую-то унылую радость, которую возбуждают в них самые меланхолические предметы. Вот уже три недели, как здесь, на Piazza di Gran Duca,<sup>1</sup> ежедневно появляется англичанин и с разинутым ртом целыми часами глазсет на шарлатана, который, сидя верхом на лошади, вырывает людям зубы. Быть может, это зрелище должно вознаградить благородного сына Альбиона за то лишение, которое он испытывает, не присутствуя на публичных казнях, совершаемых в его любезном оте-

---

<sup>1</sup> Площади великого герцога (итал.).

честве... Ибо, наряду с боксом и петушиными боями, для британца нет зрелища более увлекательного, чем созерцание агонии какого-нибудь бедняги, который украл овцу или подделал подпись и которого за это на целый час выставляют с веревкой на шее перед фасадом Олд Бейли, прежде чем швырнуть его в вечность. И отнюдь не преувеличиваю, когда говорю, что в этой безобразно жестокой стране кража овцы и подделка документа караются наравне с ужаснейшими преступлениями — отцеубийством или кровосмешением. Я сам, к своему прискорбию, оказался случайным свидетелем того, как в Лондоне за кражу овцы вешали человека, и с этих пор баранье жаркое потеряло для меня всякую прелесть: жир напоминает мне каждый раз белый колпак несчастного грешника. Рядом с ним был повешен один ирландец, подделавший подпись богатого банкира; я как сейчас вижу этого бедного Пэдди, объятого наивным смертельным ужасом перед судом присяжных: он никак не мог понять, что за одну только подделку подписи его должно постигнуть столь жестокое наказание, — его, который охотно позволил бы каждому воспроизвести его собственную подпись! И этот народ постоянно говорит о христианстве, не пропускает ни одного воскресного богослужения и наводняет весь мир библиями!

Я должен, впрочем, признаться вам, Мария, что если в Англии мне все становилось поперек горла — и кушанья и люди, — то причина отчасти заключалась во мне самом. Я привез с собою с родины добрый запас хандры и искал развлечения у народа, который сам способен избавляться от скуки не иначе, как потопив ее в водовороте политической или коммерческой деятельности. В совершенстве машин, которые применяются здесь везде и выполняют столько человеческих функций, для меня также заключалось что-то неприятное и жуткое; меня наполняли ужасом эти искусные механизмы, состоящие из колес, стержней, цилиндров, с тысячею всякого рода крючочков, штифтиков, зубчиков, которые все движутся с какой-то страстной стремительностью. Не менее угнетали меня определенность, точность, размеренность и пунктуальность жизни англичан; ибо так же, как машины ходят там на людей, так и люди кажутся там машинами. Да, дерево, железо и медь словно узурпировали там дух человека и от избытка одушевленности почти что обезу-

мели, в то время как обездушенный человек, в качестве пустого призрака, совершенно машинально выполняет свои обычные дела, в определенный момент пожирает бифштексы, произносит парламентские речи, чистит свои ногти, влезает в дилжане или вешается.

Вы легко поймете, что в этой стране тоска моя должна была возрастать со дня на день. Но ничто не сравнится с тем мрачным настроением, которое напало на меня однажды вечером, когда я стоял на мосту Ватерлоо и смотрел вниз, в воды Темзы. Душа моя словно отражалась в воде и смотрела на меня оттуда, зияя всеми своими ранами... Самые грустные истории приходили мне при этом на память... Я думал о розе, которую постоянно поливали уксусом и потому она лишилась своего сладостного аромата и преждевременно увяла... Я думал о заблудившейся бабочке, которую заметил один естествоиспытатель, взбравшийся на Монблан, — он видел, как она одиноко порхала между ледяными глыбами... Я думал об одной ручной обезьяне, которая так подружилась с людьми, что с ними играла, с ними обедала; но вот однажды к обеду была подана на блюде зажаренная маленькая обезьянка, в которой она узнала свое собственное детище; быстро схватив его, она бросилась в лес и с тех пор никогда уже больше не возвращалась к своим друзьям-людям... Ах, мне стало так грустно, что горячие капли градом полились из моих глаз... Они падали вниз, в Темзу, и плыли дальше, в огромное море, которое уже поглотило столько человеческих слез, совершенно не замечая этого.

В то самое мгновение странная музыка пробудила меня от мрачных грез; оглянувшись, я заметил на берегу кучку людей, столпившихся вокруг какого-то, очевидно забавного, зрелища. Подойдя ближе, я увидел семью артистов, в которую входили следующие четыре лица.

Во-первых, низенькая, коренастая женщина, одетая во все черное, с очень маленькой головой и очень толстым, выпяченным животом. На этом животе висел крупнейший барабан, в который она беспощадно колотила.

Во-вторых, карлик, одетый, наподобие французского маркиза старого времени, в расшитый кафтан; у него была большая папудренная голова; но все остальные части его тела были крайне невелики; приплясывая, он ударял по треугольнику.

В-третьих, молодая девушка лет пятнадцати, одетая в короткую, плотно облегающую тело кофту из голубого полосатого шелка и в широкие панталоны из такого же материала. Это была очаровательная, воздушная фигурка. Лицо ее отличалось античной красотой. Благородный, прямой нос, прелестно изогнутые губы, мечтательный, мягко закругленный подбородок, золотисто-солнечный цвет кожи, блестящие черные волосы, обвитые косами вокруг лба; так стояла она, прямая, строгая, с нахмуренным лицом, и смотрела на четвертого члена компании, который как раз проделывал в это время свои фокусы.

Это четвертое действующее лицо был ученый пес, в высшей степени многообещающий пудель; к величайшей радости английской публики, он только что сложил из рассыпанных перед ним деревянных букв имя «Веллингтон» с весьма лестным эпитетом: «герой». Так как эта собака — что можно было заметить уже по ее умному виду — не принадлежала к числу английских животных, но вместе с тремя остальными товарищами явилась сюда из Франции, то сыны Альбона радовались, что великий Веллингтон, по крайней мере среди французских собак, добился того признания, в котором ему так позорно отказывали все прочие французские создания.

В самом деле, вся эта компания состояла из французов, и карлик, отрекомендовавшийся мосье Тюрлютю, начал хвастливую речь на французском языке, сопровождая ее такой страстной жестикуляцией, что бедные англичане раскрыли свои рты и поздри шире, чем обычно. Иногда, закончив длинный период, он кричал нетухом, и это кукареку вместе с именами многочисленных императоров, королей и князей, которыми пестрела его речь, составляли единственное, что понимали его бедные слушатели. Этих императоров, королей и князей он прославлял как своих покровителей и друзей. Он уверял, что еще восьмилетним мальчиком имел продолжительную беседу с его величеством блаженной памяти Людовиком Шестнадцатым, который и в позднейшие времена прибегал к его совету во всех важных случаях. От бурь революции он, подобно многим другим, спасся эмиграцией и лишь в эпоху Империи вернулся в свое любезное отечество, для того чтобы разделить славу великой нации. Благосклонностью Наполеона он, по его словам, никогда не пользовался;

но зато его святейшество папа Пий Седьмой чуть ли не обожествлял его. Царь Александр угощал его конфетами, а принцесса Вильгельмина фон Киригц постоянно сажала его к себе на колени. Его светлость герцог Карл Брауншвейгский заставлял его нередко ездить верхом на своих собаках, а его величество король Людвиг Баварский читал ему свои августейшие стихотворения. Князья Рейс, Шлейц, Крейц, а также князья Шварцбург-Зондерсхаузен любили его как брата и всегда курили с ним из одной трубки. Да, сказал он, с самого детства он вращался только среди монархов, все теперешние государи некоторым образом выросли вместе с ним, и он относится к ним как к людям своего круга и облесается в траур всякий раз, когда кто-нибудь из них отходит в вечность. После этих торжественных слов он закричал пестухом.

Мосье Тюрлютю был действительно одним из любопытнейших карликов, каких мне приходилось когда-либо видеть; его старое, сморщенное лицо представляло такой забавный контраст с его детски тщедушным тельцем, и вся его персона столь же забавно контрастировала с теми штукаами, которые он выкидывал. Он принимал, например, самые задорные позы и непомерно длинной рапирой пронзал воздух направо и налево, причем поминутно клялся своей честью, что вот эту кварту или эту терцию никто не в состоянии отпарировать, что, наоборот, его парады не может разбить ни один из смертных и что он вызовет любого из публики померяться с ним в благородном искусстве фехтования. Посвятив некоторое время этому представлению и не найдя никого, кто отважился бы вступить с ним в открытый поединок, карлик отвесил поклон с грацией, свойственной старой Франции, поблагодарил за выраженное ему одобрение и взял на себя смелость предложить высокочтимой публике зрелище, более необычайное, чем все то, что когда-либо вызывало изумление зрителей на территории Англии. «Взгляните! — воскликнул он, надев грязные лайковые перчатки и с почтительной вежливостью выводя на середину круга молодую девушку, принадлежавшую к группе комедиантов. — Эта особа — мадемуазель Лоранс, единственная дочь почтенной и благочестивой дамы, которую вы видите там с большим барабаном и которая до сих пор носит траур по случаю смерти своего нежнолюбимого супруга, вели-

чайшего чревовещателя Европы! Мадемуазель Лоранс будет теперь танцевать! Изумляйтесь танцу мадемуазель Лоранс!» — Произнеся эти слова, он снова закричал пстухом.

Девушка не обращала, по-видимому, ни малейшего внимания ни на эти речи, ни на любопытные взгляды зрителей; угрюмо сосредоточенная, она ждала, чтобы карлик расстелил перед ней большой ковер и вновь заиграл на своем треугольнике под аккомпанемент большого барабана. Это была страшная музыка, смесь неуклюжего брюзжания и сладострастного призыва, и я был захвачен этой патетически-шутовской, скорбно-наглой, причудливой мелодией, которая в то же время отличалась необычайной простотой. Но я тотчас же забыл о музыке, как только молодая девушка начала танцевать.

Танец и танцовщица с почти неудержимой силой приковали к себе все мое внимание. То не был классический танец, который еще встречается в наших больших балетах, где, как и в классической трагедии, господствуют одни только ходульные единства и прочие условности; тут не было ни тщательно вытанцовываемых александрийских стихов, ни декламаторских прыжков, ни этих антраша, символизирующих антитезу, ни благородной страсти, которая выделяет пируэты, вращаясь на одной ноге с такой стремительностью, что нельзя ничего разобрать, кроме неба и трико, ничего, кроме идеальности и жи. По правде сказать, ничто мне так не противно, как балет в парижской Большой опере, где в наибольшей чистоте сохранилась традиция этого классического танца, несмотря на то, что в области прочих искусств — в поэзии, музыке и живописи — французы низвергли классическую систему. Но в хореографическом искусстве им трудно будет произвести подобного рода революцию; разве только они прибегнут здесь, как и в политической революции, к террору и начнут гильотинировать ноги у своих одеревеневших танцоров и танцовщиц старого режима. Мадемуазель Лоранс не была великой танцовщицей; ее носки не отличались особой гибкостью, ноги ее не были подготовлены для всевозможных вывертов, она ничего не смыслила в танцевальном искусстве, как ему обучает Вестрис, но она танцевала так, как человеку предписывает танцевать природа; все ее существо было в гармонии



с ее движениями: не только ее ноги, но все ее тело, ее лицо принимали участие в танце... Порой она становилась бледной, почти смертельно бледной; ее глаза неестественно широко раскрывались, губы ее подергивались судорогой желания и боли, а ее черные волосы, полукруглыми прядями обрамлявшие ее виски, трепетали, как два воронова крыла. Это был совсем не классический танец, но и не романтический, в том смысле, в каком употребил бы это слово современный француз из школы Эжена Рандюэля. В этом танце не было ничего средневекового или венецианского, ничего похожего на пляску горбунов или на пляску смерти; не чувствовалось в нем ни лунного света, ни кровосмесительных страстей... Этот танец не заботился о том, чтобы забавлять внешним разнообразием движений; наоборот, внешние движения казались лишь словами какого-то особого языка и имели какой-то особый смысл. Что же говорил этот танец? Я не мог постигнуть это, несмотря на всю страстную выразительность его языка, и лишь смутно догадывался порой, что речь идет о чем-то мучительно страшном. Я, обычно столь легко схватывающий внутренний смысл всех явлений, не мог разрешить загадку этого танца, и если я вновь и вновь тщетно старался схватить его смысл, то виной тому, без сомнения, была музыка, которая, вероятно не без умысла, наводила меня на ложный след, лукаво сбивая с правильного пути и мешая мне. Треугольник госпожина Тюрлюто посмеивался иногда так коварно! А мамаша была в свой барабан так гневно, что ее лицо пылало под темным облаком траурной шляпы, как кровавое зарево северного сияния.

После того как труппа ушла, я долго еще стоял на том же месте и размышлял над тем, что бы могла обозначать эта пляска? Был ли это южнофранцузский или испанский национальный танец? Об этом как будто говорило неистовство, с которым юная танцовщица бросалась то в одну, то в другую сторону, это дикое, необузданное движение, которым она иногда откидывала голову назад, наподобие вакханок, изумляющих нас на барельефах античных ваз. В ее танце чудилось тогда что-то ослепительно-безвольное, что-то мрачно-неотвратимое, роковое, словно это танцевала сама судьба. Или это были обрывки какой-то древней забытой пантомимы? Или она, танцуя,

рассказывала историю чьей-то жизни? Иногда девушка припадала ухом к земле и прислушивалась, как будто оттуда доносился до нее чей-то голос... Она трепетала тогда как осиновый лист, затем порывисто откидывалась в другую сторону, будто хотела что-то стряхнуть с себя, уносилась безумными, бешеными прыжками, а затем вновь припадала ухом к земле, прислушивалась еще тревожнее, чем прежде, кивала головой, краснела, бледнела, содрогалась, застывала на мгновение, выпрямившись, как свеча, и, наконец, делала такое движение, точно умывала руки. Не кровь ли смывала она со своих рук так долго и старательно, так жутко старательно? При этом она бросала в сторону взгляд, такой просящий, такой умоляющий, хватающий за сердце... И случайно взгляд этот упал на меня.

Всю следующую ночь я думал об этом взгляде, об этом танце, о причудливом аккомпанементе; и когда я на следующий день, по обыкновению, начал скитаться по лондонским улицам, я почувствовал неудержимое желание снова встретиться с прекрасной танцовщицей; и я постоянно напрягал слух, стараясь уловить звуки барабана и треугольника. Я нашел, наконец, в Лондоне нечто такое, что меня заинтересовало, и уже не слонялся больше бесцельно по его скучающим улицам.

Я как раз выходил из Тауэра, где обстоятельно осмотрел топор, которым была обезглавлена Анна Болейн, а также алмазы английской короны и львов, как вдруг на Тауэрской площади посреди большой толпы людей я увидел мамашу с большим барабаном и тотчас же услышал голос мосье Тюрлютю, кричавшего петухом. Ученый пес снова прославлял по буквам героизм лорда Веллингтона; карлик снова показывал свои непобедимые терции и кварталы, а мадемуазель Лоранс снова начала свой изумительный танец. Предо мной были опять те же загадочные движения, тот же язык, говоривший мне что-то такое, чего я не мог постигнуть, так же беспокоило она откидывала назад прекрасную головку, так же припадала ухом к земле и после этого, вновь объятая ужасом, старалась прогнать его все более бешеными прыжками. И потом снова ее чуткое ухо припадало к земле, и снова трепет, смертельная бледность, полное окаменение; и опять это ужасное, таинственное омовение рук и трогательный,

умоляющий взгляд в сторону, который на этот раз еще дольше остановился на мне.

Да, женщины — девушки не хуже, чем замужние женщины — немедленно замечают, когда им удалось привлечь внимание мужчины. Хотя мадемуазель Лоранс, когда она не танцевала, все время неподвижно и сердито смотрела в одну точку, а во время своей пляски бросала на публику лишь один-единственный взгляд, тем не менее не случайно взгляд этот останавливался всегда на мне, и чем чаще я видел, как она танцует, тем значительнее и вместе с тем загадочнее сияли ее глаза. Я был словно околдован этим взглядом и целых три недели с утра до вечера таскался по улицам Лондона, останавливаясь всюду, где танцевала мадемуазель Лоранс. Несмотря на сильнейший шум уличной толпы, я стал на очень далеком расстоянии улавливать звуки барабана и треугольника, и мосье Тюрлютю, заметив, что я спешу к ним, тотчас же посылал мне навстречу самое приветливое кукареку. Хотя я не обменялся ни одним словом ни с ним, ни с мадемуазель Лоранс, ни с мамашей, ни с ученой собакой, я в конце концов стал как бы членом их труппы. Когда мосье Тюрлютю собирал деньги, он держался всегда с тончайшим тактом: приближаясь ко мне, он смотрел в противоположную сторону, в то время как я бросал в его треугольную шляпенку мелкую монету. Он действительно держал себя с благородным достоинством, напоминаям изысканные манеры прошлого; глядя на этого маленького человечка, легко было поверить, что он вырос среди монархов, и тем более странное получалось впечатление, когда он, совершенно забыв о своем достоинстве, начинал кричать петухом.

Я не могу вам описать, до какой степени я был раздосадован, когда, по прошествии некоторого времени, я в течение трех дней тщетно разыскивал маленькую труппу по всем улицам Лондона и, наконец, пришел к убеждению, что она оставила этот город. Скука вновь охватила меня своими свинцовыми объятиями, снова сжала мое сердце. Наконец я уже не мог больше выдерживать, сказал прости английским mob, black guards, gentlemen <sup>1</sup> и fashionables <sup>2</sup> — всем четырем сословиям

---

<sup>1</sup> Черни, грязной сволочи, джентльменам (англ.).

<sup>2</sup> Фешепебельной знати (англ.).

этого государства — и отправился назад, на цивилизованный континент, где молитвенно преклонил колена перед белым фартуком первого попавшегося мне навстречу повара. Здесь я снова мог, наконец, обедать, как подобает разумному человеку, и радовать свою душу созерцанием благодушных и бескорыстных физиономий. Но мадемуазель Лоранс я все же не мог забыть; она еще очень долго танцевала в моих воспоминаниях, и в часы одиночества я еще очень часто размышлял о загадочной пантомиме этого прелестного ребенка, в особенности о том, как она к чему-то прислушивалась, припав ухом к земле. Немало времени прошло также, прежде чем в моем воспоминании замолкли причудливые мелодии треугольника и барабана.

— И это вся история? — внезапно воскликнула Мария, порывисто приподнявшись.

Но Максимилиан нежным движением вновь уложил ее, многозначительно приставил палец к губам и прошептал:

— Тихе, тихе. Только не говорите ни слова, лежите совершенно спокойно, и я расскажу вам конец истории. Только ради всего святого не перебивайте меня.

Усевшись поудобнее в кресле, Максимилиан следующим образом продолжал свой рассказ:

— Через пять лет после этого происшествия я впервые приехал в Париж и попал туда как раз в очень интересный период. Французы только что разыграли свою Июльскую революцию, и весь мир им аплодировал. Эта пьеса не была столь ужасна, как прежние трагедии Республики и Империи. Всего лишь несколько тысяч трупов осталось лежать на подмостках. Однако политические романтики не были удовлетворены и сулили новую постановку, в которой будет пролито больше крови и палач получит больше работы.

Париж доставлял мне искреннее наслаждение своей веселостью, которая проявляется там решительно во всем и оказывает свое влияние даже на самые мрачные умы. Поразительно! Париж — это место, где разыгрываются величайшие трагедии мировой истории — трагедии, одно воспоминание о которых заставляет обитателей самых отдаленных стран содрогаться и проливать слезы; и, однако, здесь, в Париже, зритель этих трагедий испытывает нечто

вроде того, что я испытал раз в «Porte Saint-Martin», когда давалась «Tour de Nesle». <sup>1</sup> Мне пришлось там сидеть позади дамы, на которой была надета шляпа из красно-розового тюля; у этой шляпы были такие широкие поля, что они заслоняли от меня всю сцену; таким образом, все, что разыгрывалось там трагичного, я видел сквозь этот красный флер, и все ужасы «Tour de Nesle» рисовались мне в самом жизнерадостном, розовом свете. Да, в Париже есть такой розовый свет, и он окрашивает в веселые тона все трагедии в глазах их непосредственных зрителей, чтобы не отравлять им радость жизни. Даже те ужасы, которые вы приносите в Париж в своем собственном сердце, перестают вас там угнетать. Здесь как-то странно смягчаются страдания. В парижском воздухе все раны исцеляются гораздо быстрее, чем где бы то ни было: есть в этом воздухе что-то такое же великодушное, полное обаяния и сострадания, как и в самом народе.

Но что мне больше всего понравилось в парижанах — это их вежливость в обращении и аристократическая внешность. О сладостный ананасный аромат вежливости! Как благодетельно освежил ты мою больную душу, которая так наглоталась в Германии табачного дыма, запаха кислой капусты и грубости! Подобно мелодии Россини, прозвучали в моих ушах изысканные извинения француза, лишь слегка толкнувшего меня на улице в день моего прибытия в Париж. Я был почти испуган этой сладостной вежливостью, — я, привыкший к немецки-грубым толчкам в бок без всяких извинений. В первую неделю моего пребывания в Париже я нарочно старался ходить так, чтобы меня толкали, только для того, чтобы насладиться музыкой этих просьб о прощении. Но не только эта вежливость, а и самый язык придавал в моих глазах французскому народу известный палет аристократизма. Ведь, как вы знаете, у нас, на севере, умнее говорить по-французски принадлежит к числу атрибутов высшего дворянства, и поэтому с французским языком у меня с самого детства ассоциировалась идея аристократизма. Здесь, в Париже, какая-нибудь дама с толкучего рынка лучше говорит по-французски, чем окончившая институт немецкая аристократка с шестьюдесятью четырьмя предками.

---

<sup>1</sup> «Нельская башня» (франц.). (См. комментарии.)

Благодаря языку, который придает французскому народу аристократический облик, народ этот приобрел в моих глазах что-то очаровательно сказочное. Это вызывалось другим воспоминанием моего детства. Дело в том, что первой книжкой, по которой я учился по-французски, были басни Лафонтена; их наивно-благоразумные речи неизгладимо запечатлелись в моей памяти, и когда я приехал в Париж, то звуки раздававшейся вокруг французской речи постоянно напоминали мне басни Лафонтена; мне все казалось, что я слышу хорошо знакомые голоса животных: вот это говорит лев, а это — волк, затем ягненок, аист или голубь; нередко мне чудились и речи лисицы, и в моем воспоминании частенько воскресали слова:

Hé! bonjour, monsieur du Corbeau!  
Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau!<sup>1</sup>

Но еще чаще пробуждались в моей душе эти воспоминания о персонажах басен, когда я попал в Париже в те высшие сферы, которые именуются светом. Ведь это был тот самый свет, который доставил покойному Лафонтену типы, воплощенные в характерах его различных животных. Зимний сезон начался вскоре после моего приезда в Париж, и я принял участие в жизни его салонов, где более или менее весело толчется весь этот свет. Самым интересным и поразительным для меня в жизни света была не столько одинаковость царящих в нем утонченных нравов, сколько различие его составных частей. Порою, наблюдая людей, мирно собравшихся в каком-нибудь великолепном салоне, я чувствовал себя словно в лавке редкостей, где в пестром смешении покоятся рядом с другим реликвией всевозможных эпох: греческий Аполлон — рядом с китайской пагодой, мексиканский Вицлипуцли — рядом с готическим Ессе homo,<sup>2</sup> египетские идолы с собачьими головами, священные уродцы из дерева, слоновой кости, металла и т. п. Там встречались старые мушкетеры, танцевавшие некогда с Марией-Антуанеттой, умеренные республиканцы, которых боготво-

<sup>1</sup> Сударыня Ворона, мой привет!  
Милей, прекрасней вас на свете пет!

(Перев. Б. Томашевского.)

<sup>2</sup> Вот человек (лат.). (См. комментарии.)

рили в Национальном собрании, моптаньяры, беспощадные и безупречные, бывшие герои Директории, царствовавшие в Люксембурге, вельможи Империи, перед которыми трепетала вся Европа, иезуиты, господствовавшие во времена Реставрации, — одним словом, все выцветшие, искалеченные божества различных времен, в которые никто уже больше не верил. Имена вопиют при взаимном сопоставлении; но люди мирно и дружественно помещаются рядом, как старинные редкости в упомянутых антикварных лавках на Quai Voltaire.<sup>1</sup> В германских странах, где страсти не так легко поддаются дисциплине, светское общение столь разнородных лиц было бы чем-то совершенно невыносимым. Да и кроме того, у нас, на холодном севере, потребность говорить не так сильна, как в более теплой Франции, где даже враги, встретившись в салоне, не в состоянии в течение долгого времени хранить угрюмое молчание. Кроме того, желание нравиться во Франции настолько велико, что люди всеми силами стараются произвести благоприятное впечатление не только на друзей, но и на врагов. Здесь постоянно во что-нибудь драпируются и мило гримасничают, так что женщинам не легко превзойти мужчин в кокетстве; впрочем, это им все же удастся.

Последним замечанием я не хотел сказать ничего дурного, а особенно о французских женщинах и менее всего о парижанках. Наоборот, я величайший их почитатель, причем я почитаю парижанок за их недостатки, пожалуй, больше, чем за их добродетели. Я не знаю ничего более меткого, чем легенда о том, что парижанки рождаются на свет со всевозможными недостатками, но добрая фея, пожалевшись над ними, придает каждому из этих недостатков особые чародейские свойства, благодаря чему лишь возрастает их обаяние. Зовут эту добрую фею грацией. Красивы ли парижанки? Кто может на это ответить? Кто в состоянии распутать все ухищрения туалета, кто в состоянии разгадать, подлинно ли то, что просвечивает сквозь тюль, не поддельно ли то, что так хвастливо выпирает из пышного шелкового покрова? И едва вашему глазу удалось проникнуть за оболочку, только вы собрались приступить к исследованию самой сердцевины, как она

---

<sup>1</sup> Набережной Вольтера (франц.).

тотчас облекается в новую оболочку, затем опять в новую, и эта непрерывная смена моды издевается над всеми усилиями мужской проницательности. Красивы ли их лица? И на это тоже трудно ответить. Ибо все черты лица у них в постоянном движении, каждая парижанка обладает тысячью лиц, причем одно радостнее, одухотвореннее, прелестнее другого, и тот, кто среди всех этих меняющихся выражений захочет найти самое прекрасное или же самое правдивое, тот неизменно попадет впросак. Большие ли у них глаза? Почем я знаю! Мы не измеряем калибр пушки, когда ее ядро отрывает нам голову. И даже если они не попадают в цель, эти глаза, они ослепляют своим огнем, и человек счастлив, если он оказался в безопасности, за линией огня. Широко или узко у них пространство между носом и ртом? Иногда широко, когда они морщат носик; иногда узко, когда они шаловливо надувают верхнюю губку. Велик у них рот или мал? Но кто может определить, где оканчивается рот и начинается улыбка? Чтобы высказать правильное суждение, надо чтобы лицо, выносящее это суждение, а также предмет его находились в состоянии покоя. А кто же может быть спокоен рядом с парижанкой, и какая парижанка бывает когда бы то ни было спокойна? Есть люди, которые думают, что они могут совершенно отчетливо рассмотреть бабочку, наколов ее булавкой на бумагу. Это столь же нелепо, сколь и жестоко. Приколотая, неподвижная, бабочка уже более не бабочка. Бабочку надо рассматривать, когда она порхает вокруг цветов... И парижанку надо рассматривать не в ее домашней обстановке, где у нее, как у бабочки, грудь проколота булавкой, а в гостиных, на вечерах и балах, когда она порхает на своих крылышках из расшитого газа и шелка под сверкающими лучами хрустальных люстр. Тогда раскрывается вся их страстная любовь к жизни, их жажда сладостного дурмана, жажда опьянения, и это придает им почти пугающую красоту и очарование, которое одновременно и восхищает и потрясает нашу душу. Это страстное стремление вкушать радости жизни, словно смерть уже через мгновение оторвет их от кипучего источника наслаждений или он иссякнет, это иступление, эта одержимость, это безумие парижанок, особенно поражающее на балах, напоминают мне поверье о мертвых танцовщицах, которых у нас назы-



вают виллисами. Это — юные невесты, умершие ранее дня своей свадьбы, но сохранившие в душе неутоленную страсть к танцам, столь властную, что по ночам они встают из своих гробов, толпами собираются на дорогах и в полночь предаются самым диким пляскам. Разодетые в подвенечные платья, с венками из цветов на головах, со сверкающими кольцами на бледных руках, жутко смеясь, неотразимо прекрасные, виллисы пляшут в лучах луны, и тем нестовее и иступленнее, чем более они чувствуют, что час их плясок истекает и что они снова должны вернуться в ледяной холод могилы.

Впечатление это особенно глубоко запало мне в душу на вечер в одном доме на Шоссе д'Антен. Это был блестящий вечер; все традиционные элементы общественных увеселений были палицо: достаточно огней, которые тебя освещают, достаточно зеркал, чтобы в них смотреться, достаточно людей, чтобы разогреться в толкотне, достаточно прохладительных напитков и мороженого, чтобы освежиться. Начали с музыки. Франц Лист разрешил увлечь себя к фортепьяно, взъерошил волосы над гениальным лбом и дал одно из самых своих блистательных сражений. Клавиши, казалось, истекали кровью. Если я не ошибаюсь, он сыграл один пассаж из «Палингенезий» Баллаша, идеи которого он перевел на язык музыки, что было очень полезно для тех, кто не может читать труды этого знаменитого писателя в подлиннике. Затем он сыграл «Шествие на казнь» («La marche au supplice») Берлиоза, прекрасную вещь, которую этот юный музыкант, если я не ошибаюсь, сочинил утром в день своей свадьбы. Повсюду в зале — побледневшие лица, волнующиеся груди, тихие вздохи во время пауз и, наконец, бурное одобрение. Женщины всегда словно хмелеют от игры Листа. С еще более нестовой радостью отдались они теперь танцам, эти виллисы салонов, и мне лишь с трудом удалось выбраться из поднявшейся сутолоки в соседний зал. Здесь шла игра, и в обширных креслах расположились несколько дам, следивших за играющими или по крайней мере делавших вид, что они интересуются игрой. Проходя мимо одной из этих дам и задев ее платье рукавом, я почувствовал, как вверх по моей руке до самого плеча пробежала легкая дрожь, точно от слабого электрического

разряда. Но как содрогнулось мое сердце, когда я взглянул этой даме в лицо. Она это или не она? Это было то самое лицо, своей формой и солнечным колоритом напоминавшее античную статую, но оно не было уже, как прежде, мраморно-чистым и мраморно-гладким. При внимательном взгляде можно было заметить на лбу и щеках маленькис шероховатости, быть может следы оспы, совершенно напоминавшие те легкие пятна сырости, которые бывают видны на лицах статуй, долгое время подвергавшихся действию дождя. Это были те же черные волосы, закрывавшие ей виски гладкими, закругленными прядями, похожими на крылья ворона. Но когда глаза ее встретились с моими, когда я уловил столь хорошо знакомый мне косой взгляд, молния которого всегда так загадочно пронизывала мне душу, я уже больше не сомневался: это была мадемуазель Лоранс.

Откинувшись в изящно-небрежной позе в кресле, мадемуазель Лоранс одной рукой опиралась на его ручку, а в другой держала букет цветов. Она сидела недалеко от игорного стола, и, по-видимому, все ее внимание было поглощено картами. Костюм ее отличался изящным вкусом и вместе с тем был совершенно прост, весь из белого атласа. На ней не было никаких драгоценностей, за исключением браслетов и жемчужной брошки на груди. Пышные кружева пуритански закрывали ее юную грудь до самой шеи, и этой простотой и целомудрием туалета она представляла трогательно-милый контраст с некоторыми более пожилыми дамами, которые сидели возле нее нестро разряженные, сверкая бриллиантами, и меланхолически обнажали взору руины своего бывшего великоления — то место, где некогда стояла Троя. Мадемуазель Лоранс по-прежнему была изумительно красива и по-прежнему имела восхитительно сердитый вид, и меня неудержимо влекло к ней, так что в конце концов я очутился позади ее кресла, горя желанием заговорить с ней и все же не решаясь это сделать из какой-то боязливой деликатности.

Я, вероятно, уже довольно долго молча стоял позади нее, как вдруг она выдернула из своего букета цветок и, не оглядываясь, протянула мне его через плечо. Этот цветок издавал какой-то особый аромат, от которого как бы исходили на меня волшебные чары. Я почувствовал себя

свободным от всех светских условностей, и это было словно во сне, когда мы говорим и делаем всякого рода вещи, изумляющие нас самих, и когда наши слова приобретают характер детской доверчивости и простоты. Спокойно, равнодушно и небрежно, как это ведется между старыми друзьями, я перегнулся через спинку кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, где же мамаша с барабаном?»

«Она умерла», — ответила она тем же тоном, так же спокойно, равнодушно и небрежно.

После небольшой паузы я еще раз наклонился над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, а где ученая собака?»

«Она вырвалась на волю», — ответила она опять тем же спокойным, равнодушным и небрежным тоном.

И снова, после короткой паузы, наклонился я над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, а где же мосье Тюрлютю, карлик?»

«Он у великанов на бульваре Тамплъ», — отвечала она. Но едва она произнесла эти слова, и притом опять все тем же спокойным, равнодушным, небрежным тоном, как к ней подошел старый солидный господин высокого роста, с военной выправкой, и сообщил, что ее карета подана. Медленно поднявшись с кресла, она оперлась на его руку и, не бросив на меня ни одного взгляда, вместе с ним покинула общество.

Я подошел к хозяйке дома, которая весь вечер стояла у входа в главный зал и дарила своей улыбкой каждого из входивших и уходивших гостей, и осведомился у нее об имени юной особы, только что вышедшей в сопровождении старого господина, на что она весело расхохоталась мне в лицо и воскликнула:

«Бог мой! Разве можно всех знать? Я знаю его так же мало, как...» Она запнулась, так как, наверное, собиралась сказать: «Так же мало, как вас самого». Меня она также видела в этот вечер впервые.

«Быть может, — заметил я, — ваш супруг мог бы сообщить мне какие-либо сведения. Где я могу найти его?»

«На охоте в Сен-Жермене, — отвечала дама, смеясь еще сильнее. — он уехал сегодня утром и вернется только

завтра вечером... Но постойте, я знаю человека, который долго разговаривал с интересующей вас дамой; я забыла, как его зовут, но вы легко его разыщете, если будете расспрашивать о молодом человеке, которому Казимир Перье дал пинок ногою не помню в какое место.

Как ни трудно найти человека по одному только при знаку, что он получил пинок от министра, я все же быстро отыскал кого мне было нужно и обратился к молодому человеку с просьбой дать мне более подробные сведения о странном существе, которое меня так интересовало и которое я сумел описать ему достаточно отчетливо.

«Да, — сказал молодой человек, — я знаю ее очень хорошо; я беседовал с ней на многих вечерах», — и он повторил мне кучу ничего не говорящих вещей, которыми он ее развлекал. Его особенно поражало то, что она взглядывала на него совершенно серьезно всякий раз, когда он говорил ей какую-нибудь любезность. Немало удивляло его также то, что она всегда отклоняла его приглашение на контрданс, уверяя, что не умеет танцевать. Как ее зовут и откуда она, он не знал. И к кому я ни обращался с расспросами, никто ничего не мог сообщить мне об этом. Напрасно бегал я на всевозможные вечера, нигде уж больше не удалось мне встретить мадемуазель Лоранс.

— И это вся история? — воскликнула Мария, медленно поворачиваясь и сонно зевая. — Это и есть вся ваша замечательная история? И с той поры вы никогда уже больше не встречали ни мадемуазель Лоранс, ни мамаша с барабаном, ни карлика Тюрлюлю, ни ученой собаки?

— Лежите, лежите спокойно, — отвечал Максимилиан. — Я снова увидел их всех, даже ученого пса. Правда, он был, бедняга, в самом отчаянном положении, когда я встретился с ним в Париже. Это было в Латинском квартале. Я как раз проходил мимо Сорбонны, как вдруг из ворот выскочила собака, а за нею дюжина вооруженных палками студентов, к которым вскоре присоединились две дюжины старух, и все хором кричали: «Бешеная собака!» Почти как человек выглядело несчастное животное, охваченное смертельным ужасом; вода текла из его глаз, точно это были слезы, и когда, с хрипением пробегая мимо, оно бросило на меня свой влажный

взгляд, я узнал в нем моего старого друга, ученого пса, который некогда слагал хвалу лорду Веллингтону и приводил в изумление народ Англии. Быть может, он действительно взбесился? Или свихнулся от чрезмерной учености, когда стал продолжать курс своего обучения в Латинском квартале? Или, быть может, находясь в Сорбонне, он выразил своим царапаньем и ворчанием неодобрение надутому шарлатанству какого-нибудь профессора, и этот последний постарался избавиться от нежелательного слушателя, объявив его бешеным? Но, увы! Молодежь не расследует долго, чем именно был продиктован первый крик «бешеная собака!». Скрывалось ли за этим уязвленное самолюбие ученого педанта или просто зависть конкурента, — она бессмысленно бросается колотить собаку палками, а старые бабы, как водится, тотчас присоединяются к ней со своими воплями и легко заглушают голос невинности и разума. Мой бедный друг был обречен; на моих глазах он был безжалостно убит, поруган и, наконец, выброшен в навозную кучу! Несчастный мученик науки!

Немногим веселее оказалось положение карлика, мосье Тюрлютю, когда я его нашел на бульваре Тампль. Хотя мадемуазель Лоранс и сказала мне, что он находится там, но, быть может, я недостаточно внимательно искал, или же мне мешала сповавшая взад и вперед толпа, только я лишь очень не скоро заметил помещение, в котором показывают великанов. Войдя туда, я нашел там двух высоких бездельников, которые праздно валялись на нарах, но при моем появлении разом вскочили и стали в позы великанов. Они вовсе не были так велики, как хвастливо было расписано в афише. Это были два долговязых парня, одетые в розовые трико, носившие очень черные, быть может фальшивые, бакенбарды и вращавшие над головами деревянные, выдолбленные внутри дубины. Когда я спросил их о карлике, о котором тоже оповещала их афиша, они ответили, что его уже четыре недели не показывают по причине его все усиливающего недомогания, но что я все же могу его увидеть, если заплачу двойную входную плату. Как охотно вносишь двойную входную плату, чтобы повидаться со старым другом! Но увы! Я застал друга на ложе смерти. Это ложе в сущности представляло собой детскую колыбельку, и в ней лежал бедный карлик

со своим желтым, сморщенным, старческим лицом. Рядом сидела маленькая девочка лет четырех и, качая люльку погою, шаловливо напевала:

«Спи, Тюрлютюшечка, спи!»

Когда карлик меня увидел, он насколько мог шире раскрыл свои стеклянные, тусклые глаза, и скорбная усмешка мелькнула на побледневших губах его; он, по-видимому, сразу узнал меня, протянул мне свою высохшую ручонку и тихо прохрипел:

«Старый друг!»

Да, в печальном положении очутился этот человек, который уже восьми лет от роду имел длинную беседу с Людовиком Шестнадцатым, которого царь Александр кормил конфетами, принцесса фон Кириц держала на коленях, которого боготворил папа и никогда не любил Наполеон! Это последнее обстоятельство доставляло несчастному огорчения даже на смертном одре, или, как я уже сказал, в его смертной колыбели, и он оплакивал трагическую судьбу великого императора, который никогда его не любил, но так печально закончил свою жизнь на Святой Елене... «Совсем как кончаю я, — прибавил он, — одинокий, непризнанный, покинутый всеми королями и князьями, карикатура бывшего величия».

Хотя я и не мог толком понять, что общего между карликом, умирающим среди великанов, и великаном, умершим среди карликов, тем не менее меня очень растрогали слова бедного Тюрлютю и его полнейшая заброшенность в смертный час. Я не мог удержаться и выразил удивление, почему мадемуазель Лоранс, достигшая теперь такого высокого положения, не позаботилась о нем. Едва я произнес это имя, как карлика в его колыбели начали потрясать жестокие судороги и его белые губы со стоном пролепетали: «Неблагодарное дитя, которое я воспитал, которое я хотел возвысить, сделав своей супругой, которое я учил, как надо держать себя с великими мира сего, как улыбаться, как кланяться при дворе, как представляться!.. Ты хорошо воспользовалась моими советами, ты теперь важная дама, у тебя своя карета, лакеи и много денег, много гордости, но нет сердца. Ты позволяешь мне здесь умереть, в одиночестве и нищете, как умер Наполеон на Святой Елене! О Наполеон, ты никогда меня не любил...» Я не мог разобрать, что он еще сказал.

Он поднял голову, сделал рукой несколько движений, как будто с кем-то фехтовал, быть может со смертью. Но кося этого противника не в силах противостоять ни один человек — ни Наполеон, ни Тюрлюто. Тут не помогают никакие парады. Истомленный, словно потерпевший поражение, карлик снова опустил голову, устремил на меня долгий, неопределимо жуткий взгляд, внезапно закричал петухом и испустил дух.

Эта смерть опечалила меня особенно сильно еще потому, что усопший не успел сообщить мне никаких подробных сведений относительно мадемуазель Лоранс. Где мне теперь ее искать? Я не был в нее влюблен и не чувствовал к ней особого расположения, тем не менее загадочное желание повсюду разыскивать ее преследовало меня; стоило мне войти в гостиную и, осмотрев собравшееся общество, убедиться, что здесь нет ее знакомого лица, как я быстро терял всякий покой и какая-то сила вновь гнала меня на поиски. Размышляя об этом чувстве, я стоял как-то в полночь у одного из отдаленных входов в Большую оперу, с досадой ожидая карету, так как лил сильный дождь. Но кареты не было, или, вернее, подъезжали только кареты, принадлежавшие другим людям, которые с удовольствием в них усаживались и отъезжали, так что мало-помалу вокруг меня стало довольно пустынно.

«Видно, придется вам ехать со мною», — произнесла, наконец, одна дама, вся закутанная в черную мантилью; она также ждала некоторое время экипажа, стоя подле меня, и теперь как раз собиралась сесть в карету. При звуке этого голоса сердце мое вздрогнуло, хорошо знакомый, искоса брошенный взгляд вновь оказал свое обычное волшебное действие, и опять я почувствовал себя как во сне, очутившись в уютной и теплой карете рядом с мадемуазель Лоранс. Мы не сказали ни слова, да и не могли бы услышать друг друга, так как карета с ужасающим грохотом неслась по улицам Парижа, и притом в течение долгого времени, пока, наконец, не остановилась перед большим подъездом.

Слуги в блестящих ливреях освещали нам путь в то время как мы поднимались по лестнице и шли через анфиладу комнат. Горничная, вышедшая к нам навстречу с заспанным лицом, запинаясь, с бесчисленными извинениями, сообщила, что натоплено только в красной ком-

пате. Лоранс, кивнув служанке, чтобы она уходила, смеясь, произнесла: «Случай заводит вас сегодня далеко: в одной только моей спальне и топили...»

В этой спальне, где мы вскоре остались одни, ярко пылал камин, и это было тем приятнее, что комната была невероятно велика и высока. Эта огромная спальня, к которой скорее подошло бы название спального зала, казалась какой-то нежилой, пустынной. Мебель и украшения — все носило на себе отпечаток того времени, блеск которого представляется нам теперь таким запыленным, величие которого кажется таким сухим. Реликвии этого времени производят на нас неприятное впечатление и возбуждают даже скрытую усмешку. Я говорю об эпохе Империи, эпохе золотых орлов, высоко развевающихся султанов, греческих причесок, славы великих тамбурмажоров, военных мессе, официального бессмертия, декретируемого «Moniteur»'ом континентального кофе, который изготовлялся из цикория, скверного сахара, который фабриковали из свекловицы, и принцев и герцогов, которых делали из ничего. Но оно все же имело свое очарование, это время патетического материализма... Тальма декламировал, Гро писал картины, Биготтини танцевала, Грассини пел, Мори произнесил проповеди, Ровиго управлял полицией, император читал Оссиана, Полина Боргезе позировала в качестве Венеры, и притом совершенно нагая, ибо комната была хорошо натоплена, так же как та спальня, в которой мы находились с мадемуазель Лоранс.

Мы сидели у камина, дружески болтая, и со вздохом она рассказала мне, что вышла замуж за боапартовского героя, который каждый вечер перед отходом ко сну угощал ее описанием какой-нибудь из пережитых им битв; несколько дней тому назад, перед тем как уснуть, он описал ей сражение под Иеной; здоровье его очень плохо, и едва ли он доживет до русского похода. Когда я спросил ее, давно ли умер ее отец, она рассмеялась и сказала, что отца она никогда не знала и что ее так называемая мать никогда не была замужем.

«Как не была замужем? — воскликнул я. — Да ведь в Лондоне я собственными глазами видел ее в глубоком трауре по умершему муже!»

«О, — возразила Лоранс, — она в течение двенадцати лет всегда одевалась во все черное, чтобы в качестве



несчастной вдовы возбуждать в людях сострадание, а кстати, если удастся, соблазнить какого-нибудь склонного к женитбе простофилю; под черным флагом она считывала скорее причалить к гавани супружества. Но одна только смерть сжалилась над нею, и она умерла от кровоизлияния. Я никогда ее не любила, так как получала от нее много колотушек и мало еды. Я умерла бы от голода, если бы мосье Тюрлютю не приносил мне иногда потихоньку кусочек хлеба; но карлик требовал в награду за это, чтобы я вышла за него замуж, и когда его надежды рухнули, он объединился с моей матерью, — я говорю «матерью» только по привычке, — и они общими силами стали меня мучить. Они говорили всегда, что я совершенно ненужное существо, что ученая собака стоит в тысячу раз больше, чем я с моими плохими танцами. Мне назло они осыпали собаку похвалами, превозносили ее до небес, гладили, кормили пирожными, а мне бросали объедки. Собака, говорили они, их вернейшая опора, она восхищает публику, которая несколько не интересуется мною; собака кормит меня своим трудом, я питаюсь подаянием собаки. Проклятая собака!»

«О, не проклинаяйте ее больше, — прервал я ее гневную речь, — ее уже нет, я присутствовал при ее смерти...»

«Неужели скотина околела?» — воскликнула, вскакивая, Лоранс, и лицо ее разгорелось от радости.

«И карлик тоже умер», — прибавил я.

«Мосье Тюрлютю! — вскричала Лоранс столь же радостно. Но мало-помалу радость эта исчезла с ее лица, и более мягко, почти печально она, наконец, прибавила: — Бедный Тюрлютю!»

Я не скрыл от нее, что карлик, упряя, горько жаловался на ее жестокость. Тогда она пришла в сильнейшее волнение и стала всячески уверять меня, что намеревалась вполне обеспечить карлика, предлагала ему полное содержание, с условием, что он будет тихо и скромно жить где-нибудь в провинции. «Но этот честолюбец, — продолжала Лоранс, — хотел во что бы то ни стало остаться в Париже и даже жить в моем отеле; он говорил, что рассчитывает возобновить при моем посредстве свои былые связи в Сен-Жерменском предместье и снова занять свое прежнее блестящее положение в обществе. Когда я ему шаотрез отказала в этом, он велел передать мне,

что я — проклятое привидение, вампир, отродье покойницы...»

Лоранс внезапно умолкла, задрожала всем телом и, наконец, произнесла с глубоким вздохом: «Ах, лучше бы они оставили меня в могиле вместе с моей матерью!»

Когда я настойчиво стал просить ее объяснить мне эти загадочные слова, из глаз ее ручьем полились слезы: вся содрогаясь от рыданий, она призналась мне, что черная женщина с барабаном, выдававшая себя за ее мать, сама ей раз объявила, что слухи относительно ее рождения не были пустой выдумкой. «В городе, где мы жили, — продолжала Лоранс, — меня все звали отродьем покойницы! Старухи уверяли, будто я на самом деле дочь одного тамошнего графа, который всю жизнь очень жестоко обращался со своей женой. Когда же она умерла, он устроил ей пышные похороны. Но она была на последнем месяце беременности и только впала в летаргический сон, и когда кладбищенские воры, желая похитить драгоценные украшения погребенной, разрыли могилу, они нашли ее еще живую, в родовых муках. Разрешившись от бремени, она тотчас умерла, и воры опять положили ее в гроб, а ребенка взяли с собой и отдали на воспитание укрывательнице краденого в их шайке и любовнице великого чревоушателя. Этого бедного ребенка, которого похоронили раньше, чем он родился, все называли «отродьем покойницы»... Ах, вы никогда не поймете, сколько горя пережила я, будучи еще совсем маленькой девочкой, от того что меня так называли. Пока великий чревоушатель еще был жив, он часто сердился на меня и всегда кричал: «Проклятое отродье покойницы, лучше бы я не вынимал тебя из могилы!» Так как он был искусный чревоушатель, то он умел так изменять свой голос, что казалось, будто голос идет из-под земли. И тогда чревоушатель уверял меня, что это голос моей покойной матери и что она рассказывает мне про свою судьбу. Он-то сам хорошо знал ужасную ее судьбу, потому что был когда-то камердинером у графа. Ему доставляло жестокое удовольствие видеть, с каким безумным ужасом бедная маленькая девочка прислушивается к речам, которые доносятся как будто из-под земли. Этот голос, казалось шедший из-под земли, рассказывал страшные истории, истории, которые я не вполне могла понять и которые мало-помалу забыла, но они снова

ярко воскресали предо мной, когда я танцевала. Да, когда я танцевала, меня всегда охватывало странное воспоминание, я забывала себя, мне казалось, что я совсем другое лицо, что меня терзают муки и тайны этого другого лица... Но как только я переставала танцевать, все это вновь угасало в моей памяти».

В то время как Лоранс медленно и каким-то странным, полувопросительным тоном произносила эти слова, она стояла передо мной у камина, где все ярче разгоралось пламя; я сидел в кресле, — вероятно, обычном месте ее супруга, когда он по вечерам, перед отходом ко сну, рассказывал ей о своих сражениях. Лоранс смотрела на меня своими большими глазами, словно прося совета; она склоняла голову с такой скорбной думой; она возбуждала во мне такое благородное, сладостное чувство жалости; она была так стройна, так молода, так прекрасна, эта лилия, выросшая из могилы, это дитя смерти, это привидение с лицом ангела и телом баядерки! Не знаю, как это случилось, — быть может, тут сказалось влияние кресла, в котором я сидел, — но мне внезапно почудилось, что я старый генерал, который вчера, сидя здесь, описывал битву при Иене, и что я должен продолжать свой рассказ, и я произнес: «После битвы при Иене, в течение немногих недель, почти без боя сдались все прусские крепости. Сначала сдался Магдебург, это была самая сильная крепость, и у нее было триста пушек. Разве это не позор?»

Но мадемуазель Лоранс не дала мне дальше говорить: мрачное выражение слетело с ее прекрасного лица, она расхохоталась как дитя и воскликнула: «Да, это позор, это более чем позор! Если бы я была крепостью и у меня было бы триста пушек, я никогда бы не сдалась!»

Но так как мадемуазель Лоранс не была крепостью и не имела трехсот пушек...

При этих словах Максимилиан вдруг остановился и, сделав небольшую паузу, тихо спросил:

— Вы спите, Мария?

— Я сплю, — отвечала Мария.

— Тем лучше, — сказал Максимилиан с тонкой улыбкой, — в таком случае мне нечего бояться, что вы соскучитесь, если я, по обычаю современных романистов,

несколько подробнее опишу меблировку той комнаты, в которой я находился.

— Не забудьте про кровать, дорогой друг!

— Это была действительно роскошная кровать, — возразил Максимилиан. — Ножками ей, как обычно у кроватей стиля ампир, служили кариатиды и сфинксы; она вся блистала роскошной позолотой; особенно выделялись золотые орлы, которые нежно целовались клювами, точно голуби, являясь как бы символом любви эпохи Империи. Полог кровати был из красного шелка, и пламя камина так ярко просвечивало сквозь него, что мы с Лоранс были освещены огненно-красным светом, и мне представлялось, что я бог Плутон, окруженный адскими огнями и держащий спящую Прозерпину в своих объятиях. Она спала, а я рассматривал ее милое лицо и старался в ее чертах найти объяснение той симпатии, которую питала к ней моя душа. Что же такое эта женщина? Какой смысл скрывается под символикой этих прекрасных форм?

Прелестная загадка кротко лежала теперь в моих объятиях, принадлежала мне и все же оставалась неразгаданной.

Не безумие ли, однако, пытаться разгадать внутренний смысл другого существа, в то время как мы не в состоянии разрешить загадку нашей собственной души? Ведь мы не знаем даже достоверно, существуют ли на самом деле другие существа! Бывает ведь порою, что мы не в состоянии отличить реальную действительность от бредовых образов. Что это было, игра фантазии или страшная правда, — то, что я видел и слышал в ту ночь? Не знаю. Я припоминаю только, что в то время как самые дикие мысли проносились в моем сердце, ухо внезапно уловило какой-то странный шум. Это была безумная, едва слышная мелодия. Она показалась мне очень знакомой, и в конце концов я уловил звуки треугольника и барабана. Треньканье и жужжание этой музыки доносилось как будто совсем издалека, и, однако, когда я огляделся, я увидел совсем близко перед собой, посреди комнаты, знакомое зрелище: это был мосье Тюрлютю, карлик, игравший на треугольнике, в то время как мамаша била в барабан, а ученая собака шарила по полу, как будто пытается снова сложить свои деревянные буквы. Собака двигалась,

казалось, лишь с большим трудом, и шерсть ее была вся в крови. Мамаша была по-прежнему одета в свое черное траурное платье; но живот ее уже не выпячивался так комично вперед, а отвратительно свисал вниз; и лицо ее тоже было теперь не красное, а бледное. Карлик, на котором по-прежнему был расшитый кафтан французского маркиза старого времени и напудренный парик, казался слегка подросшим, быть может потому, что он страшно исхудал. Он по-прежнему показывал чудеса фехтовального искусства и, по-видимому, снова шамкал свои старые хвастливые речи; но он говорил так тихо, что я не мог разобрать ни одного слова и только по движению его губ порой угадывал, что он опять пел петухом.

В то время как эти комически-странные, кошмарные фигуры, словно китайские тени, безумным вихрем пронеслись перед моими глазами, я почувствовал, что мадемуазель Лоранс начинает дышать все беспокойнее. Ледяной озноб сотрясал ее всю, и словно от нестерпимой боли содрогалось прелестное тело. Наконец, гибкая, как угорь, она выскользнула из моих объятий, внезапно очутилась посреди комнаты и начала танцевать под тихую, заглушенную музыку барабана мамаша и треугольника карлика. Она танцевала совершенно так же, как некогда у моста Ватерлоо и на перекрестках лондонских улиц. Это была та же самая таинственная пантомима, те же порывистые, страстные прыжки, то же вакхическое закидывание головы, порою прикивание к земле, словно она хотела расслышать, что говорят ей снизу, затем дрожь, бледность, каменная неподвижность, и вновь она склонялась к земле, чутко прислушиваясь. Точно так же терла она опять свои руки, как будто хотела их вымыть. Наконец, она, казалось, вновь бросила на меня свой злобый, полный мольбы и страдания взгляд... Но только в чертах ее смертельно бледного лица уловил я этот взгляд, а не в глазах, которые все время оставались закрытыми. Все тише и тише звучала музыка: мамаша с барабаном и карлик мало-помалу бледнели и рассеивались, как туман, и, наконец, совершенно исчезли; но мадемуазель Лоранс все еще оставалась посреди комнаты и продолжала танцевать с закрытыми глазами. Этот танец с закрытыми глазами в ночной тишине комнаты придавал милому существу такой жутко призрачный вид, что

мне стало не по себе; я не раз содрогнулся и был от души рад, когда она закончила свою пляску и снова скользнула в мои объятия таким же гибким движением, каким раньше покинула меня.

Я должен сознаться, что эта сцена произвела на меня далеко не приятное впечатление. Но человек ко всему привыкает. Возможно, что зловещая таинственность этой женщины придавала ей особую привлекательность, что к моим чувствам примешивалась нежность, полная жуткого трепета... Как бы то ни было, через несколько недель я уже ничуть не удивлялся, когда почью раздавались тихие звуки треугольника и барабана и моя дорская Лоранс внезапно вставала и с закрытыми глазами начинала танцевать свое соло. Ее супруг, старый бонапартист, командовал частью, расположенной в окрестностях Парижа, и служба позволяла ему проводить в городе только дневные часы. Само собой разумеется, я сделался его самым задушевным другом, и он горько плакал, когда ему впоследствии пришлось надолго расстаться со мной. Дело в том, что он уехал с женой в Сицилию, и с тех пор я никогда больше их не видал.

Окончив свой рассказ, Максимилиан быстро схватил шляпу и выскользнул из комнаты.



# **КОММЕНТАРИИ**





## К РАЗЛИЧНОМУ ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ

Этот отрывок впервые опубликован посмертно в 1869 году А. Штротдманом в книге «Последние стихотворения и мысли Генриха Гейне». Заглавие дано Штротдманом, по предположению которого набросок относится к началу 30-х годов.

Отрывок «К различному пониманию истории» по содержанию тесно связан с очерком Гейне «К истории религии и философии в Германии». Гейне критикует в этом отрывке реакционные идеи возникшей в Германии в начале XIX века «исторической школы права» — школы юристов-романтиков, которая боролась с идеями буржуазных просветителей, защищая принципы феодального государства, и при этом отрицала исторический прогресс, возможность перестройки общества на разумных основаниях. Но поэт не удовлетворяет и либеральная теория медленного, постепенного совершенствования, вера (в духе Гегеля и его школы) в торжество «мирового разума» лишь в отдаленном будущем: Гейне защищает право человечества на счастье уже в настоящем. Признание права народных масс на счастье и призыв к удовлетворению их материальных потребностей и интересов подготавливали разрыв поэта с немецкой идеалистической философией, восприятие им идей демократии и утопического социализма.

Стр. 7. *«Нет ничего нового под солнцем»* — цитата из книги Екклезиаста (I, 9).

*Царь Востока* — Соломон.

*...поэты геттеского эстетического периода...* — Термин «геттеский эстетический период» впервые встречается в рецензии Гейне на книгу Менцеля «Немецкая литература» (1828). В этой рецензии Гейне писал, что «идея искусства является средоточием всего того литературного периода, который начался с Гете и только

в наши дни подошел к концу» (см. т. V настоящ. издания, стр. 139). Гейне считал, что, в отличие от гегелевской эпохи, в 30—40-е годы центральное место в жизни общества заняли не художественные, а общественно-политические интересы.

Стр. 8. *Одно достаточно хорошо известное северогерманское правительство...* — Гейне имеет в виду правительство Пруссии.

*...ради его внедрения оно отправляет в путешествие людей...* — Имеется в виду финансировавшееся правительством путешествие в Италию реакционного прусского историка Леопольда Ранке (1795—1886).

*...при посредстве проповедников христианского смирения...* — Здесь содержится намек на дружбу Ранке с протестантским теологом и философом Фридрихом Шлейермахером (1768—1834), примыкавшим по своим взглядам к романтическому лагерю.

*...умерять с помощью компрессов из холодных газетных простыней трехдневную лихорадку народного свободолюбия.* — Имеется в виду издававшаяся Ранке при поддержке прусского правительства реакционная «Историко-политическая газета», которая должна была противодействовать революционным настроениям, проникавшим в Германию из Франции после Июльской революции. *Трехдневная лихорадка* — Июльская революция (27—29 июля 1830 года).

*Гуманитарная школа.* — Гейне говорит здесь о немецкой классической литературе, о Гете и Шиллере и их идее преобразования человеческого общества путем воспитания людей.

*Философская школа.* — Речь идет о Гегеле и его учениках, особенно об Э. Гансе.

Стр. 9. *Сен-Жюст* Луи-Антуан (1767—1794) — один из вождей якобинцев.

## **К ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ В ГЕРМАНИИ**

Это сочинение Гейне впервые было опубликовано на французском языке в марте—декабре 1834 года в парижском журнале «Revue des deux mondes». Французский текст был озаглавлен «О Германии со времен Лютера», а отдельные части его имели подзаголовки: «Религиозная революция и Мартин Лютер», «Предшественники философской революции, Спиноза и Лессинг» и «Философская революция, Кант, Фихте, Шеллинг».

Немецкое издание очерка «К истории религии и философии в Германии» (первоначально сочинение это было написано Гейне по-немецки и лишь впоследствии переведено на французский язык)

появилось в январе 1835 года. Оно составило вторую часть четырехтомного сборника сочинений Гейне, выходявшего в 1834—1840 годах под названием «Салон» в издательстве Гофмана и Кампе в Гамбурге. Это первое немецкое издание было изуродовано цензурой, о чем Гейне рассказывает в своем предисловии ко второму изданию (см. стр. 14 настоящ. тома). Так как в книге было более двадцати листов, а по существовавшим в то время в Германии цензурным правилам книги объемом более двадцати листов освобождались от предварительной цензуры, Гейне вначале полагал, что искажения и купюры в тексте первого издания — дело рук самого издателя Кампе. В связи с этим 19 марта 1835 года он обратился в аугсбургскую «Всеобщую газету» с письмом, в котором протестовал против действий издательства (это письмо было опубликовано в приложении к № 114—115 от 27 марта 1835 года). Однако, как Гейне вскоре выяснил, купюры в тексте первого издания были сделаны все же не самим издателем, а цензурой, которой Кампе считал нужным представить рукопись как «искупительную жертву» за «печатные грехи» других издававшихся им писателей. Этот поступок Кампе вызвал законное возмущение поэта, который, по собственному признанию, провел немало ночей без сна, вспоминая об «убийстве», жертвой которого он стал.

Начав в 1852 году подготовку нового немецкого издания, Гейне затребовал от Кампе свою рукопись, но Кампе заявил, что не может ее отыскать (возможно, что он хотел скрыть ее от поэта). Ввиду этого Гейне ввел во второе немецкое издание ряд отрывков, переведенных им с французского текста. Лишь после смерти Гейне его рукопись была найдена А. Штротдманом и авторский текст был полностью восстановлен.

Во французском варианте сочинение «К истории религии и философии в Германии» явилось первой частью книги Гейне «О Германии», вышедшей в Париже в двух томах в 1835 году и переизданной в 1855 году. Кроме этого сочинения, в состав первого издания книги «О Германии» вошли «Романтическая школа», первая часть «Духов стихий» и ряд переведенных Гейне статей упоминаемых им немецких авторов (Геллерта, Фосса, Хинрихса о Викторе Кузене, Фалька о Гете), представляющих как бы иллюстрации к отдельным местам его текста. Из второго издания книги «О Германии» Гейне изъясил эти переводные статьи, заменив их рядом более поздних своих сочинений 40-х и 50-х годов («Боги в изгнании», «Доктор Фауст», «Признания» и др.).

Книга «О Германии» была издана Гейне с посвящением ученику Сен-Симона, одному из главных деятелей сен-симонизма Просперу Анфантену (1796—1864). Вот текст этого посвящения:

«Просперу Анфантену в Египте.

Вы выразили желание познакомиться с развитием идей в Германии за последнее время и с отношениями, связывающими умственное движение в этой стране с последними выводами доктрины.

Благодарю вас за честь, оказанную мне обращением ко мне предложением ознакомить вас с этим предметом, и очень рад случаю войти с вами в общение через разделяющее нас пространство.

Разрешите поднести вам эту книгу; я хотел бы верить, что она удовлетворит потребности вашей мысли. Во всяком случае позвольте просить вас принять ее как выражение почтительного расположения.

*Генрих Гейне».*

О мотивах, побудивших его снабдить книгу этим посвящением, Гейне писал в предисловии ко второму французскому изданию, датированном 15 января 1855 года:

«В то время имя, к которому обращено было это посвящение, являлось своеобразным символом, с которым связывалось представление о наиболее передовой части борцов за освобождение человечества, только что разгромленной жандармами и прихвостнями старого строя. Поддерживая побежденных, я бросил гордый вызов их противникам и открыто заявил о своем сочувствии мученикам, бывшим в это время жертвой тяжких оскорблений и предметом беспощадной травли в газетах и в обществе».

В связи с тем, что к 50-м годам XIX века сен-симонизм утратил свое политическое значение, а его бывшие деятели превратились в чиновников и преуспевающих дельцов, Гейне в издании 1855 года снял это посвящение, открыто выразив при этом свое презрение к «отставным апостолам», сменившим мечту о золотом веке на прозаическую «проповедь денежного века».

Сочинение «К истории религии и философии в Германии» и другие произведения Гейне, входившие в книгу «О Германии», имели как бы двойной адрес. Они были адресованы и французскому и немецкому читателю, и не случайно Гейне издавал их одновременно на обоих языках. Обращаясь к французскому читателю, Гейне брал на себя роль посредника между прогрессивной французской и немецкой культурой. Его целью было разрушить ложные представления и предрассудки, мешавшие французскому демократическому читателю разобрататься в философском и литературном движении современной Германии, познакомиться передовую Францию с развитием немецкой мысли и литературы, раскрыть их сильные и слабые стороны. Но такова лишь одна сторона задачи, кото-

рую ставил перед собой Гейне. Сам поэт писал о своих сочинениях этого периода, что основная тенденция их была «патриотически-демократической». Если французскому читателю «К истории религии и философии в Германии» и «Романтическая школа» открывали путь к пониманию судеб немецкой культуры в ее прошлом и настоящем, то немецкому читателю они давали анализ развития немецкой культуры, строгую критическую оценку классической философии и литературы с демократической точки зрения.

Как указал Гейне в «Признаниях», «К истории религии и философии в Германии» и «Романтическая школа» были обращены полемически против известной книги французской романтической писательницы г-жи де Сталь «О Германии», вышедшей в 1813 году. Озаглавив французское издание своих сочинений, посвященных характеристике немецкой литературы и философии, «О Германии» (так же, как была озаглавлена книга Сталь), Гейне сознательно подчеркнул связь между обеими этими книгами. Он ценил книгу Сталь как первое во Франции сочинение, автор которого понял международное значение немецкой классической литературы и философии. Но для него была неприемлема романтическая тенденция автора. Писательница, испытавшая влияние А.-В. Шлегеля и других немецких романтиков, рисовала в книге «О Германии» в противовес буржуазной Франции идеализированную картину патриархально-мелкобуржуазной Германии с ее раздробленностью и партикуляризмом. Сталь восторженно относилась к традиционному немецкому идеализму и романтизму (в которых она видела противоядие от материализма просветителей), ее восхищение вызывала ограниченность интересов немецких писателей, их уход в «домашнюю», «частную» жизнь, отсутствие у немцев вкуса и интереса к «политике».

Сочинения Гейне были направлены не только против идеализации патриархально-романтической Германии в книге Сталь, — Гейне вел в них оживленную полемику и с Виктором Кузеном (1792—1867), пропагандистом идей Шеллинга и Гегеля во Франции. Примыкавший в молодые годы к либеральной оппозиции режиму Реставрации, Кузен после Июльской революции очень скоро превратился в открытого защитника буржуазной монархии. В своих лекциях и статьях он выдвигал на первый план реакционные черты немецкой идеалистической философии, главным принципом которой он считал идею «примирения», «гармонии» противоположностей. Особую симпатию Кузена вызывали идеи Шеллинга, который в мюнхенский период стал философом католической реакции.

Сочинения Гейне, посвященные немецкой культуре, были направлены и против многочисленных представителей немецкой реакции различных оттенков: против одного из теоретиков романтизма Августа-Вильгельма Шлегеля (1767—1845), друга и литературного советчика г-жи де Сталь во время ее работы над книгой, а также против других деятелей романтической школы в литературе и философии. Гейне сочетал в них, таким образом, задачи борьбы с немецкой и общеевропейской реакцией.

В сочинении «К истории религии и философии в Германии» Гейне акцентировал те черты истории немецкой культуры, которые резко противоречили традиционному в ту эпоху пониманию ее (сложившемуся под влиянием романтиков и гегельянцев) и которые — с точки зрения поэта — были наиболее ценными для немецкой и европейской демократии.

Гейне заявляет себя в очерке «К истории религии и философии в Германии» сторонником социалистических идеалов сен-симонистов. Он доказывает, что будущее человечества неразрывно связано с вопросом о праве широких народных масс на земное счастье, на удовлетворение своих материальных потребностей и интересов. Без удовлетворения материальных потребностей народных масс, без избавления их от нищеты и страданий невозможен, как понимает поэт, подлинный социальный прогресс человечества.

С этой центральной идеей Гейне 30-х годов связана беспощадная борьба, которую он ведет в своих сочинениях против религии и идеализма. Религия и идеализм приучают народные массы презрительно относиться к своим земным, плотским потребностям, пренебрегать ими во имя счастья в потустороннем мире, прививают народу культ терпения и страдания. Одну из важнейших своих задач Гейне поэтому видит в борьбе с идеализмом и христианским спиритуализмом, в пропаганде сен-симонистской идеи «оправдания плоти», которой поэт придает широкий революционный смысл, толкуя ее в духе признания неотъемлемого права народа на земное счастье и благоденствие, на создаваемые им материальные блага.

Борьба Гейне с философским идеализмом и религиозным спиритуализмом имела огромное значение для передовой немецкой общественной мысли. Гейне выступает в сочинении «К истории религии и философии в Германии» как непосредственный предшественник Людвиг Фейербаха в его борьбе с церковью и философским идеализмом школы Гегеля. В то же время нетрудно видеть слабые стороны изложенной выше концепции Гейне, связанной с утопическим характером его социалистических идеалов: подобно

сен-симонистам, Гейне придает основное значение смене идей, *победе нового, сенсуалистически-окрашенного мировоззрения над религиозным аскетизмом*, оправдывающим социальное угнетение и страдания широких масс. Этой слабой стороной своего мировоззрения он также во многом превосходит Фейербаха, считавшего перевороты в области религиозного мировоззрения главной движущей силой исторического прогресса.

Тем не менее, в отличие от сен-симонистов, Гейне — и это составляет его огромное преимущество — выступает в сочинении «К истории религии и философии в Германии» не только как социалист-просветитель, но и как убежденный демократ. Он горячо верит в будущую демократическую революцию в Германии, призванную очистить родину поэта от самодержавия, клерикальной и феодальной нечисти.

Всю историю философии Гейне в сочинении «К истории религии и философии в Германии» рассматривает как борьбу двух противоположных течений — спиритуализма, принижающего материю во имя духа, и сенсуализма, оправдывающего и возвышающего земное, материальное начало. Гейне вплотную подходит, таким образом, к материалистическому, научному пониманию истории философии как борьбы идеализма и материализма.

Однако слабость материалистической традиции в Германии проявляется у Гейне, как и у Фейербаха, в том, что термин «материализм» он отождествляет с механическим материализмом XVIII века. Правильно видя слабые стороны французского материализма XVIII века, его абстрактность и метафизичность, Гейне противопоставляет французскому материализму пантеизм в духе Спинозы как более высокую и совершенную форму мировоззрения, сочетающую признание прав «материи» с признанием интересов «духа», рассматривающую материальное и духовное как проявления единой, цельной природы.

Идеалом Гейне является цельный и гармоничный человек, всесторонне развитый телесно и духовно. Это тот идеал, который Ленин в своем конспекте книги Фейербаха «Лекции о сущности религии» охарактеризовал как «идеал передовой буржуазной демократии или революционной буржуазной демократии» (см. В. И. Ленин и н. Философские тетради. М., 1933, стр. 68).

В противовес романтикам, Гейне стремится доказать, что спиритуалистически-христианское учение церкви в средние века никогда не было мировоззрением широких народных масс, которым всегда было чуждо христианское презрение к плоти и которые сохранили и отстаивали, несмотря на столетия церковного гнета, свой



языческий, пантеистически окрашенный взгляд на мир, нашедший выражение в народных сказаниях и обычаях.

Говоря о Реформации в Германии, Гейне подчеркивает, что деятельность Лютера имела отнюдь не узко-религиозное, а гораздо более широкое, социальное значение. Главной заслугой Лютера он считает борьбу за свободу мысли, без чего не было бы возможно все последующее развитие прогрессивной немецкой культуры.

Излагая ход философского развития в Германии от Лейбница до Шеллинга и Гегеля, Гейне стремится показать, что философская мысль в Германии развивалась в упорной борьбе с церковью. Гейне сравнивает историю немецкой классической философии от Канта до Гегеля с историей французской революции, считая, что первая в области теории, в особенности в области борьбы с религией, нанесла такой же удар старому порядку, как вторая — на практике.

Проводя параллель между развитием немецкой философии и французской революцией, Гейне до некоторой степени опирался на отдельные замечания Гегеля в его «Лекциях по истории философии» (см. Гегель. Сочинения, т. XI. М.—Л., Соцэкгиз, 1935, стр. 404), содержащие зародыш подобной параллели. Сходную мысль высказывал в начале 30-х годов также французский философ и историк Эдгар Кюппе (1803—1875), которого Гейне высоко ценил. Однако только у Гейне параллель между развитием немецкой философии и событиями французской революции приобрела политически отчетливую революционно-демократическую направленность.

Гейне писал позднее в «Признаниях», что в книге «К истории религии и философии в Германии» он первый «выболтал» широкой публике тайну «школьной мудрости» немецкой философии. Эта тайна заключалась, по определению поэта, не только в революционном характере, потенциально присущем немецкой классической философии, несмотря на ее идеалистическое облачение, но и в скрытом влиянии Спинозы, постоянно дающем себя знать в истории немецкой мысли, в колебаниях великих умов Германии между традиционным идеализмом и материалистически окрашенным пантеизмом. Гейне был первым историком немецкой философии, обнаружившим, что в мышлении Канта, Шеллинга, Гегеля и других немецких философов-идеалистов на определенных этапах их развития существенную роль играли материалистически-сенсуалистические идеи, которые оказали сильнейшее влияние на формирование их систем, несмотря на то, что, в конечном счете, эти системы получили идеалистический характер.

Конечным выводом Гейне является мысль о том, что философская революция в Германии, последним, завершающим фазисом

которой была философия Гегеля, — пролог к готовящейся в Германии демократической революции. В подготовке последней заключается, по Гейне, весь смысл развития немецкой классической философии. Та всеобъемлющая критика религии и социального неравенства, которая скрывается в системах немецких философов за внешними туманными формулами и официальными заверениями в благонадежности, должна, полагает писатель, помочь немецкому народу соединить демократическую революцию с социальным переворотом: целью немецкой революции должно быть освобождение человечества не только из-под власти помещиков и церкви, но и от всякого социального гнета, обрекающего широкие массы на голод и нищету.

В 30-е годы XIX века Гейне еще не мог дать научный анализ истории немецкой классической философии и ее противоречий. В его очерке истории немецкой мысли есть и слабые стороны. Так, Гейне не сумел показать значение Великой крестьянской войны 1525 года и влияние ее поражения на позднейшее развитие Германии в XVI—XVII веках. Он недостаточно акцентировал слабые, компромиссные черты, которые были свойственны взглядам Лютера, Лейбница, Канта и ряда других великих деятелей немецкой культуры. Основу подлинно научной, материалистической истории немецкой культуры заложили в последующие годы К. Маркс и Ф. Энгельс.

При всех исторически обусловленных недостатках, которые были свойственны данной Гейне картине развития немецкой мысли, его величайшей заслугой является то, что он первый открыто указал на революционный характер, присущий немецкой классической философии и диалектике Гегеля. Эту заслугу Гейне отметил Энгельс в «Людвиге Фейербахе». Указывая, что в Германии XIX века, как во Франции предыдущего столетия, «философская революция служила введением к политическому перевороту», Энгельс писал, что в 20-е и 30-е годы XIX века этого не понимали ни немецкие самодержцы, ни тогдашняя либеральная оппозиция. «Однако то, чего не замечали ни правительство, ни либералы, видел в 1833 г., по крайней мере, один человек; правда, он назывался Генрих Гейне» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 635).

Сочинение Гейне «К истории религии и философии в Германии», не оцененное позднейшими буржуазными историками философии (которые обходили его, а иногда подвергали прямой и грубой фальсификации), сохраняет огромное значение для понимания истоков и традиций немецкой демократической культуры.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Стр. 13. *«Revue des deux mondes»* — журнал, основанный в Париже в 1829 году. В числе сотрудников этого журнала были Бальзак, Стендаль, Мериме, Жорж Санд и Мюссе. Гейне печатался в нем неоднократно.

*«К истории новейшей художественной литературы в Германии»* — первоначальное название сочинения Гейне «Романтическая школа».

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Стр. 14. *Вначале я льстил себя надеждой заполнить при втором издании пробелы этой книги...* — См. введение к комментариям (стр. 411).

Стр. 15. *Моле Луи-Матье (1781—1855)* — видный французский государственный деятель; был премьер-министром при Луи-Филиппе.

*...скипетром и короною которого играют мартышки.* — См. «Фауст» Гете, часть I, сцена «Кухня ведьмы».

*...декретов Союзного сейма против «Молодой Германии»...* — Декретом Союзного сейма от 10 декабря 1835 года были запрещены все произведения писателей радикального направления, причисленных к группе «Молодая Германия»: Гейне, Берне, Гуцкова, Лаубе, Винбарга, Мундта. В отношении Гейне запрет касался не только уже изданных произведений, но и всего, что он мог написать в будущем.

Стр. 16. *Ансельм Кентерберийский (1033—1109)* — философ-схоласт; привел так называемое онтологическое доказательство бытия божия.

*Руге Арнольд (1803—1880)* — либеральный философ и публицист, левый гегельянец, редактор «Галлеских ежегодников». В 1843—1844 годах Гейне сотрудничал в «Немецко-французских ежегодниках», которые издавали в Париже Маркс и Руге.

*...смертоубийственных страниц...* — Гейне имеет в виду большую статью Руге «Генрих Гейне и его произведения», напечатанную в 1838 году в «Галлеских ежегодниках» и перепечатанную в собрании сочинений Руге.

*Навуходоносор* — вавилонский царь, завоевавший Сирию и Палестину и разрушивший Иерусалим в 586 году до н. э.

Стр. 17. *Даумер* Георг-Фридрих (1800—1875) — немецкий писатель, автор ряда сочинений, направленных против христианства. См. рецензию Маркса и Энгельса на его книгу «Религия нового века» (Сочинения, т. 7, стр. 208--213).

*Бруно Бауэр* (1809—1882) — один из виднейших представителей левого гегельянства. В начале 40-х годов выпустил свои работы по критике евангелия.

*Генгстенберг* Эрнст-Вильгельм (1802—1869) — теолог, защитник лютеранской ортодоксии. Гейне иронически ставит имя этого яркого защитника религии в один ряд с именами Бауэра, Даумера и др.

Стр. 18. ...*подобно Савлу по пути в Дамаск...* — Согласно христианским преданиям, на пути в Дамаск произошло внезапное обращение в христианство яростного гонителя новой религии Савла (впоследствии апостола Павла).

...*тамошних евреев обвинили в том, будто они пожирают старых капуцинов...* — В 1840 году в Дамаске был убит католический монах фра Томазо. В его убийстве обвинили безо всяких на то оснований дамасских евреев. Гейне подробно рассказывает об этом в «Лютетции», в статье от 7 мая 1840 года.

...*Тита Веспасиана, злодея, по рассказам раввинов так скверно кончившего дни свои.* — Римский император Тит Веспасиан (39—81), разрушивший Иерусалим, по талмудическому преданию умер от того, что в его мозг проникло насекомое.

Стр. 19. ...*Иошуа бен-Сирах бен-Елиэзер... в собрании изречений...* — Книга Иисуса (Иошуа) Сираха относится к так называемым библейским апокрифам (написана в 190 г. до н.э.).

## КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 21. ...*топор Сансона.* — Жозеф Сансон (1745—1826) был палачом в Париже во время революции.

Стр. 22. *Барониус* Цезарь (1538—1607) — кардинал, историк церкви.

*Шрек* Иоганн-Маттиас (1733—1808) — протестантский историк церкви.

*Манси* Иоганн-Доминик (ум. в 1769 году) — архиепископ Луккский, выпустивший в свет многотомное собрание материалов, относящихся к церковным соборам.

*Ассемани* Иосиф-Алонзий (1710—1782) издал свод церковных литургий.

*Саккарели* (XVIII в.) — католический историк церкви.

*Логос* (греч.) означает и «слово» и «разум». Этот термин играл большую роль в христианской догматике и богословии.

...*предметом разногласий были единосущие...* — Согласно учению Афанасия, принятому Никейским собором (325 г.), бог

и Христос считались едиными по своей сущности. Противники этого догмата, ариане, признавали лишь подобие бога и Христа.

*Инвеститура* — право утверждения епископов, из-за которого в средние века шла борьба между императорами и папами.

Стр. 23. *Sacrum Palatium* (Гейне употребляет в родительном падеже — *Sacri Palatii*) — дворец византийских кесарей.

*Евдокия* (IV—V в.) — жена византийского императора Аркадия.

*Пульхерия* (ум. 405) — дочь византийского императора Аркадия, правительница, а затем императрица Византии.

*Несторий*, патриарх Константинопольский (с 428 по 431 г.), отказывался называть Марию богородицей, так как, с его точки зрения, она была матерью лишь человека, ставшего «обителем божества».

*Кирилл* (ум. 444) — архиепископ Александрийский, церковный писатель, один из «отцов церкви»; обвинил Нестория в ереси и добился его осуждения на Ефесском соборе (431).

«...когда пали его легионы...» — Гейне цитирует свое собственное произведение «Путевые картины» (см. т. IV настоящ. издания, стр. 71).

*Исидоровы декреталии* — собрание поддельных папских распоряжений и постановлений (IX в.), которыми впоследствии папы пользовались для подкрепления своих притязаний на светскую власть.

*Манихеи* — последователи религиозно-философского учения, зародившегося в III веке н. э. на Ближнем Востоке. Основным догматом манихейства являлось учение о добром и злом началах, лежащих в основе мира. Манихейство связало как с христианством, так и с парсизмом — религией древних народов, населявших Среднюю Азию и Персию.

*Гностики* — приверженцы гностицизма, мистического религиозно-философского учения (I—II в.).

Стр. 24. *Эоны*. — В учении гностиков так назывались образы или силы, якобы истекающие из скрытого божества и обуславливающие различные эпохи мира.

*Керинф* (II в. н. э.) — один из первых гностиков.

Стр. 26. *История базельского соловья* заимствована Гейне из книги Ф. Добенска «Народные верования и героические сказания немецкого средневековья» (Fr. Ludw. Ferd. Dobeneck. Des deutschen Mittelalters Volksglauben und Heroensagen Berlin, 1815). Гейне часто пользовался материалами этой книги.

Стр. 27. *Аннаты* — отчисления от доходов, которые католические священники должны делать в пользу папы в первый год по вступлении в должность.

*Экспектативы* — термин феодальной юриспруденции: право замещения освобождающихся должностей.

*Резервации* — оговорки.

*Фома Аквинский* (1225—1274) — средневековый философ-схоласт, католический богослов.

*Бонавентура* (1221—1274) — виднейший представитель схоластики, аскет, церковный писатель.

*Этот рассказ, по-видимому, не нуждается в комментариях.* — Гейне несколько изменил рассказ, заимствованный у Добенка. У Добенка соловей — это душа отверженного, и он должен здесь дожидаться своего приговора до дня страшного суда. Истолкование рассказа всецело принадлежит Гейне.

Стр. 28. *«Венера, госпожа моя...»* — точная цитата из народной «Песни о Тангейзере» (см. «Духи стихий», стр. 324 настоящ. тома).

*Даже бедной Диане...* — Ср. «Атта Тролль», гл. 19 (т. II настоящ. издания, стр. 225).

Стр. 29. *Наши средневековые поэты, пользуясь... сюжетами, созданными... у вас...* — Немецкие средневековые поэты, создатели рыцарских романов, часто заимствовали сюжеты у французских поэтов.

*Фаблио* — жанр средневековой литературы, сложившийся во Франции, — небольшой юмористический или сатирический рассказ в стихах.

*...из Корнуолла или из Аравии...* — В Корнуолле (на юго-западе Англии) зародились кельтские сказания (о короле Артуре и др.); восточные сказания стали известны в Европе после крестовых походов.

*Фел Моргана*, или Фата Моргана (кельтский сказочный цикл) — сестра короля Артура, волшебница, властительница *Авалона* — страны фей.

*Брокен* — одна из вершин Гарца; в немецких народных сказаниях — место шабаша ведьм.

Стр. 30. *...в «Демонологии»... Николауса Ремигиуса...* — Отрывки из этой книги приводятся у Добенка.

*«Антроподемус»* (вышел в свет в 1666—1667 гг.) — одна из многочисленных книг немецкого автора Ганса Шульца (1630—1680), писавшего под псевдонимом Преториус. Книги Преториуса являются источником для знакомства с суевериями его времени.

Стр. 32. *...следующий маленький рассказ.* — Добенек заимствует этот рассказ из «Застольных речей» Лютера.

*Место из старинной летописи* — место из «Хроники монастыря Хпршау» аббата Тритемия (1462—1516). Гейне цитирует Тритемия по Добенеку.

Стр. 34. ...*молодой датский писатель, г-н Андерсен, с которым я имел удовольствие встречаться...* — Гейне познакомился с Хансом-Кристианом Андерсеном в 1833 году и много раз встречался с ним; в альбом Андерсена он вписал стихотворение «Жизненный путь» (см. т. III настоящ. издания, стр. 112).

*Пандемоническое мировоззрение* — мировоззрение, согласно которому весь мир населен злыми духами.

Стр. 36. *Тецель* — саксонский монах-доминиканец; занимался продажей индульгенций в Германии.

Стр. 37. *Полициано* Анджеоло (1454—1494) — талантливый итальянский поэт и ученый эпохи Возрождения; жил при дворе Лоренцо Медичи, отца папы Льва X.

*Конклав* — заседание кардиналов, на котором избирается папа.

...*подобно пирамиде, воздвигнутой египетской блудницей...* — Рассказ заимствован Гейне у Геродота (II книга).

*Спиритуализм; сенсуализм* — см. введение к комментариям (стр. 414—415).

Стр. 38. *Босюэ* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский церковный писатель; в «Истории изменений протестантских церквей» доказывал несостоятельность протестантизма.

Стр. 39. *Королева Наваррская* — Маргарита Наваррская (1492—1549), сестра французского короля Генриха IV, автор сборника новелл «Гептамерон».

*Янсенизм* — религиозно-общественное движение во Франции, зародившееся в XVII веке. Янсенисты требовали максимальной строгости нравов.

*Методисты* — религиозная секта, возникшая в XVIII веке в Англии, а затем распространившаяся в Америке; отличается крайним, доходящим до ханжества, благочестием.

Стр. 40. *Унетенные крестьяне нашли в новом учении...* — Гейне говорит здесь о Великой крестьянской войне в Германии, вспыхнувшей в 1525 году.

*Ян* (Юган) *Лейденский* (1509—1536) — один из вождей анабаптизма, радикального движения городской бедноты в эпоху Реформации, основатель так называемой Мюпстерской коммуны.

Стр. 41. *Высокие особы, собравшиеся в 1521 году в имперском зале в Вормсе...* — Вормский сейм в 1521 году занимался вопросом о «ереси» Лютера. Эдикт, принятый сеймом, подверг государственной опале Лютера и его приверженцев.

*Здесь ...сидел молодой император...* — то есть император Карл V (1500—1558).

*Представитель этого римлянина* — представитель папы римского, кардинал Каэтан.

Стр. 43. *Юнг-Штиллинг* Иоганн-Генрих (1740—1817) — немецкий мистический писатель, написавший книгу «Теория науки о духах», а также множество других сочинений на аналогичные темы.

*Меланхтон* Филипп (1497—1560) — немецкий гуманист, соратник Лютера.

Стр. 44. *Св. Бонифаций* (ок. 672—752) — ревностный проповедник христианства в Германии.

*Боско* Бартоломео (1793—1863) — знаменитый итальянский фокусник, приобретший во времена Гейне общеевропейскую известность.

*Отец Оленд* — Родриг Оленд (1794—1850) — сен-симонист, один из деятелей Менильмонтанского братства.

Стр. 46. *Маркиз Бранденбургский*. — Имеется в виду прусский король Фридрих II (1712—1786).

*Естественный покровитель нашей протестантской свободы мысли* — ироническая характеристика прусского короля Фридриха-Вильгельма III (1770—1840).

Стр. 47. *Гофман* Фридрих-Людвиг (1790—1871) — гамбургский цензор.

Стр. 49. «*Вульгата*» — название средневекового перевода Библии на латинский язык.

«*Септуагинта*» — название древнейшего перевода Библии на греческий язык (III—I в. до н. э.).

*Когда католическое духовенство...* *Ульрих фон Гуттен*. — Кельнские богословы добивались от императора разрешения на уничтожение древнееврейских книг. Знаменитый гуманист Иоганн Рейхлин (1455—1522) высказался против уничтожения этих книг. Якоб фон Гоогстратен, глава кельнских богословов, верховный судья по делам еретиков, выступил против Рейхлина. Кульминационным пунктом полемики между гуманистами и богословами было издание «Писем темных людей» (1515—1517), блестящей сатиры на мракобесов, написанной гуманистами Кротом Рубеаном, *Ульрихом фон Гуттенем* (1488—1523) и др.

*Древнешвабское наречие*. — Так Гейне называет средне-верхне-немецкий язык.

Стр. 49—50. *Если бы Лютер для перевода Библии взял язык, на котором говорят в нынешней Саксонии... возник язык, который мы находим в Лютеровой Библии*. — Немецкий национальный язык базируется на верхнесаксонских диалектах, однако он избрал в себя также ряд черт южнонемецких диалектов. Мнение Гейне, таким образом, ошибочно.



Стр. 50. *Аделунг* Иоганн-Кристоф (1732—1806) — немецкий лингвист, составитель первого научного немецкого словаря; занимался историей возникновения литературного немецкого языка.

Стр. 51. *Эйслебенский лебедь* — Лютер, который был родом из саксонского города Эйслебена.

Стр. 52. *Ганс Сакс* (1494—1576) — шпирбургский поэт-мейстер-зингер. Занятия поэзией совмещал с сапожным ремеслом. Его произведения, отличающиеся правдивостью, близостью к традициям народного творчества, юмором, ограничены узостью проповедуемой в них бюргерской морали.

*Травести* — здесь в смысле пародия, подражание.

*Мистерия* — представление на сюжеты из библии и евангелия.

## КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 56. *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — английский философ и государственный деятель. По характеристике Маркса, Бэкон был родоначальником английского материализма и опытных наук нового времени.

Стр. 58. *Картезианская философия* — философия Декарта.

Стр. 60. *Пантеизм* — философское учение, отрицающее бога как существо, отличное от мира, и отождествляющее бога с природой. Пантеизм в XVI—XVIII веках играл важную положительную роль в борьбе с религией.

*Джон Локк* (1632—1704) — английский философ, основатель эмпиризма. Критиковал учение Декарта о врожденных идеях. Французские материалисты XVIII века развивали в материалистическом направлении сенсуализм, который разрабатывал Локк.

*Кондильяк* Этьен-Бонно (1715—1780) — французский философ-просветитель, автор «Трактата об ощущениях».

*Гельвеций* Клод-Адриан (1715—1771) — выдающийся французский философ, материалистический сенсуалист, идеолог революционной французской буржуазии XVIII века.

*Гольбах* Поль-Анри (1723—1789) — виднейший представитель французского материализма XVIII века, автор знаменитой «Системы природы».

*Ламетри* Жюльен-Офре (1709—1751) — французский философ-материалист, атеист, автор трактата «Человек-машина».

Стр. 61. *Бентамисты* — сторонники Иеремии Бентама (1748—1832), английского философа, основателя утилитаризма (учения, кладущего в основу нравственности принцип пользы).

*Лейбниц* Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — крупнейший немецкий философ-идеалист и математик; развивал учение о вселенной как о системе множества динамических духовных частиц — *монад*.

Стр. 62. «*Теодицея*» (1710) — сочинение Лейбница, в котором он пытался примирить философию с религией и доказывал, что, согласно воле провидения, все в мире происходит к лучшему. *Теодицея* (лат.) — оправдание бога.

*Больше всего нападали на него свободомыслящие и просветители.* — Речь идет главным образом о направленных против Лейбница насмешках Вольтера в философской повести «Кандид».

*Шеллинг* Фридрих-Вильгельм-Иозеф (1775—1854) — немецкий философ, объективный идеалист; в молодые годы — предшественник Гегеля; способствовал повороту от субъективного идеализма Фихте к объективному идеализму; в своей натурфилософии стремился создать философское учение о природе на основе объективного идеализма; впоследствии — мистик, последовательный иррационалист.

Стр. 63. ...*сведения, которые дает нам Аристотель о савилонских мартышках, об индийских попугаях...* — К числу произведений Аристотеля принадлежит также «История животных».

...*греческих трагедиях, которые он равным образом анатомировал.* — Намек на «Поэтику» Аристотеля.

Стр. 64. *Пиетисты* — сторонники пиетизма, особого направления в протестантстве, противопоставлявшего чувство разуму и боровшегося с просветительской философией.

*Христиан Вольф* (1679—1754) — философ-идеалист, популяризатор философии Лейбница; впервые стал излагать философию на немецком языке.

*Бenedикт Спиноза* (1632—1677) — великий голландский философ-материалист. Пантеистическое учение Спинозы, сложившееся в борьбе с церковью, оказало большое влияние на представителей материалистического течения в немецкой философии XVII—XVIII веков.

Стр. 65. *Соломон Маймон* (1754—1800) — философ, начавший свой путь как последователь Канта, а затем критиковавший его с идеалистических позиций. Упомянутое Гейне жизнеописание Маймона — автобиография последнего, вышедшая в 1792—1793 годах.

...*они когда-то кололи Спинозу своими длинными кинжалами.* — Перед исключением Спинозы из еврейской общины и отлучением его от синагоги, последовавшими в 1656 году, один фанатик покушался на его жизнь.

Стр. 66. Ван [дер] Энде Франц — врач и ученый, у которого Спиноза брал уроки латинского языка.

«*Tractatus politicus*» — незаконченное произведение Спинозы, в котором он обсуждает различные типы государств (вышло в свет в 1677 г.).

Стр. 67. *Natura naturans* — термин философии Спинозы. Это понятие противопоставляется понятию *natura naturata* (природа производимая).

*Г-жа дю Дефан* (1697—1780) приобрела известность благодаря своей переписке с знаменитейшими людьми XVIII века. Гейне имеет в виду письмо к ней Вольтера от 3 апреля 1769 года.

*Философия тождества* — философия Шеллинга (см. примечание к стр. 62).

... «живое взаимопроникновение идеального и реального... безжизненных египетских оригиналов» — цитаты из «Философских исследований о сущности человеческой свободы» Шеллинга (1809).

Стр. 68. «Бог»... *есть «все, что существует»* — формула сенсимониста Анфантена (см. о нем во введении к комментариям, стр. 411—412).

Стр. 70. *К этому убеждению пришли уже некоторые представители духовенства...* — Намек на реакционный религиозный псевдосоциализм Фелисите-Робера де Ламенне (1782—1854).

Стр. 71. *Пуруша* — в индийской философии — душа и мировая душа.

*Пракрити* — в индийской философии — материя, первичная материальная причина.

Стр. 73. «*Или ты думаешь: раз ты добродетелен...*» — слова сэра Тоби из «Двенадцатой ночи» Шекспира (II, 3).

*Фридрих-Генрих Якоби* (1743—1819) — немецкий философ-идеалист, критиковавший в «Письмах господину Мендельсону» (1785) и других произведениях учение Спинозы, так как оно противоречило религиозной вере.

Стр. 74. *Иоганн Таулер* (ок. 1300—1361) — доминиканский монах, мистик; проповедовал для народа на немецком языке в Страсбурге.

Стр. 75. *Парацельс* Теофраст (1493—1541) — врач, естествоиспытатель, химик и теософ, сыгравший, несмотря на свое увлечение мистицизмом, положительную роль в развитии науки, особенно в области медицины.

Стр. 76. *Якоб Беме* (1575—1624) — философ-мистик; оказал большое влияние на немецких романтиков, многие из которых были его почитателями. Их, по-видимому, и имеет в виду Гейне, говоря далее о тех, кто восхваляет этого мистика.

*Сен-Мартен сообщил вам...* — Перевод нескольких произведений Беме на французский язык, осуществленный известным франкмасоном и мистиком Луи-Клодом Сен-Мартеном (1743—1804), вышел в свет в 1800 году.

*Переводили его и англичане.* — Английский перевод произведений Беме вышел в 1644 году.

*Карл I Стюарт* (1600—1649) — английский король, казненный во время революции.

Стр. 78. *Иоганн Шпенер* (1635—1705) — основатель пиегизма.

*Скотт Эригена* (ок. 810—877) — ирландский философ-схоласт; переводил мистические произведения неоплатоников.

*Дионисий Ареопагит* — легендарный первый епископ афинский, которому приписываются различные мистические произведения.

*Герман Франке* (1663—1727) — глава галлеских пиегистов.

Стр. 80. *Панглос* — учитель Кандида в философской повести Вольтера «Кандид». Панглос проповедует учение Лейбница о том, что человеческий мир — лучший из возможных миров. Это учение Вольтер высмеивает.

*...Эсхил не влагает ни одного слова в уста олицетворенной силе.* — В трагедии Эсхила «Скованный Прометей» Бия (сила) не произносит ни слова.

*...при омоложении царя Эсона.* — См. Овидий, «Метаморфозы» (книга VII).

Стр. 81. *Земмлер Иоганн-Соломон* (1725—1791) — глава богословского рационализма; стремился сочетать филологическую критику Библии с защитой веры.

*Теллер Вильгельм-Авраам* (1734—1804) — берлинский богослов.

*Бардт Кристоф-Фридрих* (1741—1792) — немецкий философ-рационалист; его «Новейшие откровения божьи» были осмеяны Гете в «Прологе к новейшим откровениям божьим».

*Соломон Севера.* — Так в одной из своих од Вольтер называл Фридриха II.

*Офир* — страна, из которой, согласно библейской легенде, царь Соломон вывозил для своего храма различные ценности.

Стр. 81—82. *...целые корабли золота, слоновой кости, поэтов и философов...* — В упоминаемой Гейне главе Библии говорится о золоте, серебре, драгоценных камнях, слоновой кости, черном дереве, обезьянах и павлинах.

Стр. 82. *Кроме старого Геллерта...* — Немецкий писатель Христиан-Фюрхтегот Геллерт (1715—1768), автор басен, комедий, романа «Письма шведской графини», во время беседы с Фридрихом II

упрекнул его в том, что тот выповат в духовной нищете немцев, так как не поддерживает их духовных стремлений.

*Николаи* Фридрих (1733—1811) — немецкий умеренно-бюргерский просветитель, издатель журнала «Всеобщая германская библиотека» (1765—1805).

...*сатиру на его «Вертера»*... — Эта сатира называлась «Радости молодого Вертера» (1775).

Стр. 83. ...*Лессинг, который в письме к приятелю*... — Имеется в виду письмо к Эшенбургу от 26 октября 1774 года.

Стр. 84—85. *Мендельсон* Мозес (1729—1786) — философ-просветитель.

Стр. 85. *Зульцер* Георг (1720—1779) — немецкий эстетик, автор «Всеобщей теории изящных искусств».

*Аббт* Томас (1738—1766) — философ-просветитель.

*Гарве* Христиан (1742—1798) — философ-моралист.

*Энгель* Иоганн-Якоб (1741—1802) — один из берлинских просветителей; писатель, журналист и театральный деятель.

*Бистер* Иоганн-Эрих (1749—1816) — директор Королевской библиотеки в Берлине, издатель журналов «*Berlinische Monatschrift*», «*Berliner Blätter*» и др.

*Мориц* Карл-Филипп (1756—1793) — писатель. *Его автобиография* — роман «Антон Рейзер». В 1783—1793 годах Мориц издавал «Журнал опытной психологии».

...*он основал чистый мозаизм* — то есть еврейскую религию, опирающуюся на Библию, без позднейших наслоений. Гейне играет на том, что слово «мозаизм» является производным от имени Мозес (Моисей), явившегося также именем Мендельсона, о котором здесь идет речь.

Стр. 86. *Бедный раввин назаретский*. — Имеется в виду Христос.

*Джеймс де Ротшильд* — миллионер, один из представителей крупнейшего банкирского дома Ротшильдов, имевшего свои филиалы во многих странах Западной Европы.

Стр. 88. *Клотц* Христиан-Адольф (1738—1771) — профессор классической филологии в Галле. Лессинг осмеял его в «Письмах антикварного содержания» как представителя сухой и педантичной учености.

«*Стиль — это сам человек!*» — цитата из речи знаменитого французского натуралиста Жоржа-Луи Бюффона (1707—1788), произнесенной им при избрании в Академию в 1753 году.

Стр. 90. «*Радость моя была непродолжительна...*» — из письма Лессинга к Эшенбургу от 31 декабря 1777 года.

Мендельсон ...пылко защищал его, когда его обвинили в спинозизме. — Гейне имеет в виду статью «Моисей Мендельсон — друзьям Лессинга», которую Мендельсон написал в 1786 году.

...той Лессинг... был на пути... к спинозизму... — В разговоре с философом Якоби в 1780 году Лессинг говорил, что есть лишь одна истинная философия — философия Спинозы.

«Драматургия» — то есть «Гамбургская драматургия» (1767—1769), произведение Лессинга, посвященное вопросам театра и драмы, явившееся вершиной в развитии буржуазно-демократической эстетики в Германии XVIII века.

Стр. 91. ...когда его прогоняли с амвона... — Когда правительство запретило Лессингу вести полемику с гамбургским пастором Геце, изувером и мракобесом, он написал драму «Натап Мудрый». В этой драме Лессинг продолжал свою борьбу против религиозной нетерпимости, за свободу разума. В письме к Элизе Реймарус от 6 сентября 1778 года он писал: «Я должен попробовать, дадут ли мне возможность беспрепятственно проповедовать, по крайней мере, с моего старого амвона — с подмостков театра».

«*O sancta... сам Христос!*» — цитата из «Параболы», одного из полемических сочинений Лессинга, направленных против пастора Геце.

Стр. 92. ...о 21 января деизма... — 21 января 1793 года был казнен Людовик XVI. Гейне продолжает здесь сравнение гибели феодального строя во Франции с гибелью «старого режима мысли» в Германии.

Стр. 93. ... *urbem et orbem*. — Гейне перефразирует слова благоговения, приносимые римским папой: *urbī et orbī* (граду и миру).

### КНИГА ТРЕТЬЯ

Стр. 95. *Фонтенель* Бернар (1657—1757) — французский писатель и философ-просветитель.

Стр. 98. *Шютц* Христиан-Готфрид — последователь Канта; писал в редактируемой им «Allgemeine Literaturzeitung» (Иена) статьи о Канте.

*Шульц* Иоганн — последователь Канта; его толкования «Критики чистого разума» были одобрены Кантом.

*Рейнгольд* Карл-Леонгард (1758—1828) — автор популяризаторских «Писем о Кантовой философии» (1786—1792).

*В вышедшем недавно сборнике его небольших статей...* — Гейне говорит здесь о сборнике «Смешанные сочинения».

*«Всеобщая естественная история и теория неба»*. — В этой изданной анонимно работе Кант излагал свою гипотезу о происхождении солнечной системы, впоследствии во многом блестяще подтвердившуюся. Как указывал Энгельс, космогоническая теория Канта «была величайшим завоеванием астрономии со времени Коперника» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 57).

*«Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного»* (1764) — основное произведение Канта в ранний период его деятельности, посвященное эстетике.

*«Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика»* (1762) — произведение Канта, направленное против философии шведского мистика Сведенборга.

Стр. 99. ...в своей *«Критике способности суждения»* он утверждал даже... — См. часть I, §§ 46, 47 этого сочинения Канта.

*Этой форме он вынес безжалостный смертный приговор в «Критике чистого разума»*. — См. это сочинение Канта, раздел «Трансцендентальное учение о методе» (I глава, 1 секция).

*Пифагор* (ок. 580—496 до н. э.) — греческий философ и математик. Его учение о числе, как основе всего сущего, было развито его учениками — пифагорейцами.

Стр. 101. ...сравнивает он поэтому свою философию с методом Коперника. — См. предисловие ко второму изданию *«Критики чистого разума»* (1787).

Стр. 102. ...что ту часть его книги, где он трактует о так называемых феноменах и ноуменах... — См. раздел «Трансцендентальное учение об элементах» (2 часть, 1 отдел, 2 книга, 3 глава) *«Критики чистого разума»*.

...в противоположность многим ученым, которых я не стану называть... — Имеется в виду Виктор Кузен (см. введение к комментариям, стр. 413).

*«Оставьте всякую надежду!»* — начало надписи над вратами ада из *«Божественной комедии»* Данте («Ад», III, 1).

Стр. 103. *Три основных рода доказательства существования бога* — телеологическое или физико-теологическое доказательство, основанное на признании разумного и целесообразного устройства природы, космологическое, рассматривающее существование мира как следствие, а бога (творца мира) как причину этого существования, и онтологическое, делающее вывод о необходимости существования бога из понятия о нем как о совершеннейшем существе.

...то место из *«Критики чистого разума»*... — См. раздел «Трансцендентальное учение об элементах» (II часть, 2 отдел, 2 книга, 3 глава, 3 секция) этой книги Канта.

Стр. 105. *De profundis* — начальные слова католической заупокойной молитвы.

Стр. 106. «...путь практический разум и дает поруку в бытии божьем». — См. «Критику практического разума» Канта (часть I, книга 2, глава 2 — «Бытие бога как постулат чистого практического разума»).

Стр. 107. Тьер Адольф (1797—1877) — историк французской революции и буржуазный политический деятель, стяжавший себе впоследствии печальную славу как палач Парижской коммуны.

Мише Франсуа-Огюст-Мари (1796—1884) — либеральный историк французской революции.

Стр. 108. *Первая его работа* — сочинение Фихте «Опыт критики всякого откровения», выпущенное в свет в 1792 году в Кенигсберге издателем Канта Гартунгом.

Стр. 110. «*Clavis Fichtiana*» — сочинение Жан-Поля Рихтера (1763—1825), известного немецкого писателя-юмориста, автора антифеодалных сатир, романов, повестей, идиллий и трактата по эстетике.

Стр. 112. *Его биография* — книга «Жизнь и литературная переписка Иоганна-Готлиба Фихте» (1830—1831), изданная его сыном Иммануилом-Германом Фихте.

Стр. 113. *Пастор Боровский* — первый биограф Канта.

Стр. 115. В «*Философском журнале*»... — Имеется в виду том VII (выпуск I) «Философского журнала», издававшегося Нитгаммером и Фихте (Иена, 1798).

Стр. 116. «*Апелляция к публике*». — Эта статья Фихте имела подзаголовок: «Сочинение, которое просят прочесть, прежде чем конфисковать» (Иена и Лейпциг, 1799).

...его предодбие старший советник консистории фон Гердер... — Иоганн-Готфрид Гердер (1744—1803) — великий немецкий демократ-просветитель, теоретик и историк литературы, фольклорист, философ и поэт, оказавший решающее влияние на литературу «бурж и натиска», и в частности на молодого Гете. Во время своего пребывания в Веймаре занимал должность старшего советника консистории.

...Гете... рассказывает в своих воспоминаниях... — Далее Гейне цитирует отрывки из «Ежедневных и ежегодных тетрадей» Гете в том виде, как они приводятся в биографии Фихте, изданной его сыном (см. примечание к стр. 112).

...но как мог бы он идти в ногу с миром, который он считал своим лично созданным достоянием? — Здесь Гете иронически намекает на субъективный идеализм Фихте.



Стр. 117. ...счел себя вправе обратиться... с резким посланием... — Гете имеет в виду официальное письмо Фихте веймарскому министру, тайному советнику Фойгту от 22 марта 1799 года.

Стр. 118. *Иудеям, каковыми в конечном счете являются все действительности... в глазах великого язычника он был только нелепостью.* — Противопоставление аскетического иудейско-«назарейского» мировоззрения языческому, «эллинскому», основанному на признании материальной природы человека, Гейне развил в 1840 году подробно в своем сочинении «Людвиг Берне» (см. том VII настоящ. издания).

...он откровенно признается в этом... — См. Гете. Поэзия и правда, 14 и 16 книги.

*«Хоть бы раз Гете взял в руки какую-нибудь другую латинскую книгу, кроме Спинозы!»* — Эти слова Гердера Гете приводит в своем «Итальянском путешествии» (сообщение от 12 октября 1786 года).

Стр. 119. ...с шлегелевского мятежа. — Так Гейне называет выступления по вопросам литературы теоретиков раннего романтизма (пенской школы) братьев Шлегелей. Фридрих Шлегель (1772—1829) — критик, писатель, филолог, ведущий теоретик этой школы; создал учение о романтизме как о высшей форме искусства современности, о романтической прозе как о субъективном произволе поэта, не подчиняющегося никаким законам. Ф. Шлегель проделал эволюцию от прославления республиканских идеалов античной Греции к католицизму и феодальной реакции. Август-Вильгельм Шлегель — критик, поэт, филолог и переводчик (см. также введение к комментариям, стр. 414).

Стр. 121. *«Живой и действительный нравственный порядок... не понимающая себя самой философия...»* — цитата из упоминавшейся выше статьи Фихте «Об основах нашей веры в божественное управление миром» (1798).

Стр. 123. ...отвергательного убийства послов... — 28 апреля 1799 года на Раштаттском конгрессе были убиты послы революционной Франции. Тайным организатором этого преступления считалось австрийское правительство.

Ш. и Г. — Шиллер и Гете. Следует отметить, что Гете в письмах с возмущением отзывался об убийстве французских послов.

...в лице Павла и Питта... — Фихте имеет в виду русского императора Павла I и английского премьер-министра Вильяма Питта, инспириатора и организатора коалиционных войн против революционной Франции.

Буриер Погана-Фридрих (1732—1805) — профессор философии в Лейпциге.

Фойет Христиан (1743—1819). — См. примечание к стр. 117.

*Розенмюллеровское* — производное от фамилии лейпцигского профессора богословия Иоганна-Георга Розенмюллера (1736—1815).

Стр. 125. *Гейберг* Петер (1758—1841) — датский поэт, высланный в 1799 году из родной страны за свои либеральные убеждения; к концу жизни ослеп и умер в изгнании в Париже. Гейне называет его своим земляком, очевидно, ввиду соседства Северной Германии и Дании.

*Георг Форстер* (1754—1794) — немецкий писатель и ученый, сторонник якобинцев, участник революционных событий в Майнце 1792—1793 годов. Умер изгнанником в Париже.

Стр. 127. *...впоследствии мы посвятим этой задаче особую книгу.* — В произведениях Гейне неоднократно встречаются указания на его намерение написать книгу о немецкой философии. Возможно, что фрагментом ее являются «Письма о Германии» (см. т. VII наст. изд.).

Стр. 128. *Гамадриады*, или дриады, — в греческой мифологии нимфы деревьев.

Стр. 130. *Элеаты* — греческая философская школа (VI—V до н. э.), главным представителем которой был Парменид (ок. 540—не ранее 480 до н. э.).

*...во II томе «Вестника спекулятивной физики».* — В этом издании, основанном Шеллингом (выпуск II), была напечатана его работа «Изложение моей философской системы» (1801).

*...напоминает о благороднейшем мученике за наше учение, славной памяти Джордано Бруно из Нолы.* — Под нашим учением Гейне подразумевает пантеизм, подчеркивая таким образом пантеистические черты, содержащиеся в учении великого итальянского мыслителя Джордано Бруно (1548—1600), сожженного на костре по приговору инквизиции.

Стр. 131. *Давид* (1810—1876) — французский композитор; вместе с другими членами сен-симонистской общины совершил в 1833—1834 годах путешествие на Восток. Имя композитора было Фелисьен-Сезар, а не *Жюль*, как ошибочно указывает Гейне.

Стр. 132. *Г-н Шеллинг... извивается, как червяк, в передних практического и теоретического абсолютизма и выступает прислужником в иезуитском вертеле...* — В годы своей жизни в Мюнхене Шеллинг пользовался благосклонностью короля и был связан с клерикально-реакционными католическими кругами.

Стр. 133. *Баллаши* Пьер-Симон (1776—1847) — французский писатель и философ мистического направления, автор трудов по вопросам философии истории.

Стр. 134. ...в Мюнхене ...поповский характер которого... — После революции 1830 года Мюнхен превратился в политический центр клерикализма.

Стр. 135. ...ваш великий эклектик... — Гейне имеет в виду Виктора Кузена.

*Окен* Лоренц (1779—1851) — биолог и натурфилософ; был известен своим политическим радикализмом.

*Адам Мюллер* (1779—1829) — реакционный публицист; экономист и государствовед, примыкавший к романтической школе; теоретик Реставрации. Выражение *стойловый откорм* Гейне берет из «Агрономических писем» Мюллера.

*Геррес* Иозеф (1776—1848) — романтический писатель, публицист и филолог. От увлечения идеями французской революции перешел к национализму, а затем к ревностной проповеди католической реакции.

*Штеффенс* Генрих (1773—1845) — натурфилософ-идеалист, естествоиспытатель и писатель; сторонник Шеллинга и романтиков.

Стр. 136. ...вестфальский дворянчик... издал сочинение... — Гейне имеет в виду книгу барона Вернера Гакстаузена «Об основах нашего государственного устройства» (1833).

Стр. 137. ...берсеркерское неистовство... — Берсеркер — в древнесеверных сказаниях — воин, отличавшийся сверхчеловеческой силой, которая умножалась, когда он во время боя впадал в ярость.

Стр. 138. *Тор* — бог грома в германской мифологии, победивший великанов с помощью своего молота.

Стр. 139. *Конрадин Гогенштауфен* (1252—1268) — германский император, который был взят в плен и обезглавлен во время войны с французами за сицилианскую корону.

*Вирт* Иоганн-Георг-Август (1798—1848) — один из виднейших представителей либерализма.

## РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Как и очерк «К истории религии и философии в Германии», «Романтическая школа» (написанная Гейне в 1832—1833 годах по-немецки) впервые появилась в печати на французском языке. Она была напечатана в парижском журнале «L'Europe littéraire» («Литературная Европа») в 1833 году (март—май). Эта первая публикация была короче позднейшей редакции и носила заглавие «Современное состояние литературы в Германии, после г-жи де Сталь». Она соответствовала двум первым книгам и двум главам третьей

книги «Романтической школы». В том же 1833 году книга вышла на немецком языке под заглавием «К истории новейшей художественной литературы в Германии» (изд. Гайделоф и Кампе, Париж и Лейпциг, 2 части, 1833).

В 1835 году Гейне дописал заключительные главы «Романтической школы», которая под новым заглавием и уже в окончательном виде появилась на французском языке в составе книги «О Германии», а на немецком была издана в Гамбурге в начале 1836 года Гофманом и Кампе.

Так же, как «К истории религии и философии в Германии», «Романтическая школа» по форме обращена к французскому читателю и полемически направлена против книги г-жи де Сталь «О Германии» и сочинений Виктора Кузена о немецкой философии (см. комментарии к сочинению «К истории религии и философии в Германии», стр. 413). Однако в еще большей мере Гейне обращался и в этой своей книге не к французской, а к немецкой публике.

«Романтическая школа» — один из классических образцов передовой немецкой литературной критики XIX века. Не случайно эту книгу Гейне внимательно читал В. Г. Белинский, сочувственно цитирующий отрывок из нее в одном из своих писем к М. А. Бакунину (от 12—24 октября 1838 года) и ссылающийся на нее в другом письме — к Н. В. Станкевичу (от 29 сентября — 8 октября 1839 года — см. В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. XI М., АН СССР, 1956, стр. 325 и 386). Гейне возродил в этой своей книге лучшие традиции немецкой демократической критики и публицистики XVIII века — традиции Лессинга, Гердера, Фортстера.

Книга Гейне была первой выдающейся попыткой целостной характеристики немецкой романтической школы в ее политических, философских и художественно-эстетических тенденциях. Анализ эволюции немецкого романтизма, данный Гейне в этой книге, очерки творчества отдельных немецких романтиков оказали огромное влияние на последующую историко-литературную оценку немецкого романтизма.

Вместе с тем книга Гейне была блестящим памфлетом, направленным против реакционных тенденций немецкой романтической школы, живым документом литературно-общественной борьбы. Гейне подверг в ней суровой критике идеализацию средневековья в творчестве немецких романтиков, их мистические и католические увлечения, указав на реакционный характер этих тенденций, превративших с годами немецкий романтизм в прямое орудие абсолютизма и католической церкви.

Гейне проникательно указал на некоторые из общественных причин, способствовавших возникновению романтизма. «Быть может, — писал он, — некоторых немецких поэтов романтической школы, честных в своих исканиях, впервые принудило бежать от современной действительности и стремиться к возрождению средневековья недовольство нынешней религией денег, отвращение к эгоизму, чей чудовищный оскал всюду их преследовал» (стр. 248—249). Однако, подчеркивая антибуржуазный характер романтизма, Гейне понимает, что апология средневековья привела романтиков к подножию креста, сделала их пособниками контрреволюции с ее весьма земными и прозаическими интересами. И романтической апологии средневековья и буржуазному царству эгоизма Гейне противопоставляет идею демократии, защиту права народных масс на материальное счастье. Он отвергает романтический спиритуализм, возвышающий дух за счет плоти, внушающий народу мысль о самоотречении и терпении. Гейне выдвигает идеал гармонического развития духа и плоти, признание права народных масс на удовлетворение всех своих — материальных и духовных — потребностей.

Одной из блестящих и оригинальных особенностей книги Гейне является стремление показать ту исзатихавшую литературно-общественную борьбу, которая велась вокруг деятельности романтической школы. Гейне высоко оценивает демократическую оппозицию романтизму, проявлявшуюся в разных формах с первых дней его существования. Так, он сочувственно характеризует творчество Н.-Г. Фосса, подчеркивая народную, крестьянско-демократическую основу недоверия Фосса к романтическо-католическим идеалам.

Гейне дает отповедь тем деятелям современного ему немецкого либерализма и вульгарной демократии, которые нападали на Гете, не находя в его творчестве либеральной «тенденции». В отличие от них, Гейне стремится дать строго историческую оценку Гете. Он защищает великого поэта от нападок реакционеров, высоко оценивает широту его мысли и его художественную объективность и в то же время сурово порицает политический индифферентизм Гете, поднятый на щит «гетеанцами» 20-х и 30-х годов.

Говоря о деятельности романтиков, Гейне особенно подчеркивает как одну из важнейших их заслуг обращение к фольклору, работу над сборником и изданием памятников немецкого народного творчества. В связи с характеристикой изданного Арнимом и Brentano сборника немецких народных песен «Волшебный рог мальчика» поэт дает в начале третьей книги «Романтической школы» блестящую характеристику немецкой народной поэзии.

Следует иметь в виду, что, когда Гейне писал «Романтическую школу», большинство ее деятелей были еще живы. Идеи романтической школы представляли непосредственную политическую опасность для немецкого освободительного движения, и этим объясняется особенно саркастический и язвительный характер портретов таких деятелей романтической школы, как А.-В. Шлегель, Шеллинг, Уланд и др. Живые, остроумные, насыщенные злободневными намеками характеристики деятелей немецкого романтизма и французского эпигона немецкого идеализма — Кузена делают «Романтическую школу» одним из шедевров политической и литературной сатиры Гейне.

### КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 144. *Труд г-жи де Сталь «De l'Allemagne»...* — См. комментарий к очерку «К истории религии и философии в Германии» (стр. 413).

*...много лет тому назад я предсказал конец «гетевского эстетического периода»...* — См. примечание к стр. 7 («К различному пониманию истории»).

*...пути и приемы недовольных, стремившихся покончить с эстетическим царствованием Гете...* — Гейне говорит здесь о вожде немецких мелкобуржуазных радикалов Людвиге Берне (1786—1837), который отрицательно относился к творчеству Гете, называя его «рифмованным холопом», и о националисте Вольфганге Менцеле (1798—1873), нападавшем на Гете в своей «Немецкой литературе» (1828).

Стр. 145. *...громче всех ... раздается все же тоненький дискант е-на А.-В. Шлегеля.* — См. введение к комментариям к очерку «К истории религии и философии в Германии», стр. 414. Став после 1803 года другом и литературным советчиком г-жи де Сталь, А.-В. Шлегель сопровождал ее в путешествии по странам Европы и оказал реакционное влияние на ее суждения о немецкой литературе.

«Германия» римского историка Тацита (ок. 55—120) — один из важнейших источников по истории древних германцев.

Стр. 147. *Регентство* — правление Филиппа Орлеанского (1715—1723).

*Петроний Гай* (I в.) — римский писатель, автор романа «Сатирикон», рисующего упадок нравов в императорском Риме. Описанию пиршества вольноотпущенника, богача *Трималхиона* посвящена одна из наиболее удачных частей романа.

*Апулей* (II в.) — автор сатирического романа «Метаморфозы» («Золотой осел»).

.. умирающий кентавр, с таким коварством навязавший сыну Юпитера смертоносную одежду, отправленную его собственной кровью? — Согласно греческому мифу, Геракл пал жертвой коварства смертельно раненного им кентавра Несса: жена Геракла Деянира, введенная в заблуждение Нессом, подарила своему мужу смертоносную одежду — плащ, пропитанный кровью убитого кентавра.

Стр. 148. *«Варлаам и Иосафат»* — эпическая поэма Рудольфа Эмского (XIII век), проповедующая аскетический отказ от мира (мудрец Варлаам обращает в христианство индийского принца Иосафата, который отказывается от царства и поселяется в пустыне).

*«Хаалейная песнь в честь святого Анно»* была написана в XII веке неизвестным автором. *Святой Анно* — кельнский архиепископ Анно II, умерший в 1075 году.

Стр. 149. *Поэма Отфрида о Христе* — поэма Отфрида Вейсенбургского (написана около 870 года), представляющая собою стихотворное переложение евангелия.

*«Книга богатырей»*. — Под таким названием в конце XV века было напечатано собрание эпических произведений по мотивам германских героических сказаний («Ортнит», «Гугдитрих», «Вольфдитрих», «Большой розовый сад», «Карлик Лаурин»).

*Сказания о короле Артуре* — сказания кельтского происхождения о вожде бриттов короле Артуре (V—VI в.); впоследствии стали основой сказаний о рыцарях Круглого стола при дворе короля Артура.

*Ивейн* — рыцарь Круглого стола, герой одноименного романа Гартмана фон Ауэ (XII—XIII в.), одного из самых замечательных немецких средневековых поэтов.

*Ланцелот* — рыцарь Круглого стола, герой одноименного романа Ульриха фон Цацикхофена (XII в.).

*Вигалуа* — герой одноименного рыцарского романа Вирта фон Графенберга (XIII в.).

*Сказания о святом Граале* — средневековые сказания о чудотворной чаше с кровью Христовой, хранимой в замке Монсальват королем Грааля и его рыцарями.

*«Титурель»* и *«Парцифаль»* — эпические поэмы знаменитого немецкого миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170—ок. 1220). *«Парцифаль»* — немецкая версия сказаний о святом Граале. Поэма *«Титурель»* не была закончена Вольфрамом.

*«Лоэнгрин»* — поэма о рыцаре Грааля Лоэнгрине, сыне Парцифала (написана в XIII в.).

Стр. 150. *«Тристан и Изольда»* Готфрида Страсбургского — самая светская поэма немецкого средневековья (начало XIII в.);

лишена мистицизма, является образом виртуозного стиля, остроумия, изящества формы. Тема любви Тристана и Изольды разработана здесь с психологической тонкостью и глубиной.

*Дорого пришлось заплатить Франческе да Полента и ее прекрасному другу...* — Читая вместе «Ланцелота», объяснились друг другу в любви Франческа да Римини (дочь герцога равеннского Гвидо да Полента) и сводный брат ее мужа Паоло Малатеста. Оба были убиты мужем Франчески в 1278 году. История Франчески и Паоло описана Данте в «Божественной комедии» («Ад», песнь V).

*...на стенах Геркуланума?* — При раскопках Геркуланума, города, погребенного под лавой во время извержения Везувия (в 79 г.), была обнаружена хорошо сохранившаяся стенная живопись.

Стр. 151. *Эзотерическое значение* — значение, доступное лишь посвященным.

*...громоздит Пелион на Оссу, «Парцифалья» на «Титуреля»...* — Согласно греческому мифу, гиганты, восставшие против Зевса, взгромоздили, чтобы взобраться на небо, одну высокую гору на другую: Пелион — на Оссу. Гейне намекает здесь на огромный объем упоминаемых поэм.

Стр. 154. *...греческим ученым, переселившимся к нам после падения Византии...* — После завоевания Византии турками в 1453 году греческие ученые переселялись в европейские страны.

*Лев X, пышный Медичи* — папа Лев X (1475—1521), сын Лоренцо Медичи. Покровительствовал искусствам.

*...в Виттенберге протестовали латинской прозой...* — Лютер, впервые выступивший в городе Виттенберге, вначале писал на латинском языке.

*...в Риме языком протеста были... ottave rime.* — Октава (стихотворная строфа из восьми строк с устойчивой системой рифмовки) была введена поэтами итальянского Возрождения.

*Джулио Романо (1492—1546)* — знаменитый художник и архитектор итальянского Возрождения, ученик Рафаэля. Написал много картин на мифологические сюжеты.

*Маэстро Лодовико* — Лодовико Ариосто (1474—1533), знаменитый поэт итальянского Возрождения, автор «Неистового Роланда».

*...тезисы... которые были прибиты немецким монахом на дверях виттенбергской церкви.* — Гейне имеет в виду тезисы Лютера, направленные против торговли индульгенциями (тезисы были прибиты Лютером на дверях церкви в Виттенберге 31 октября 1517 года).



Стр. 155. ...*дом Атрея и Лая*... — События из жизни Агамемнона и Менелая — сыновей *Атрея*, Эдипа — сына *Лая* и других потомков обоих названных Гейне героев греческой мифологии легли в основу многих произведений древней литературы и литературы эпохи Возрождения.

...с *Анжуйской династией прибыли в Испанию и герои французской трагедии*... — Филипп V, бывший герцог Анжуйский (1701—1746), был первым Бурбоном на испанском престоле. С его приходом усилилось французское влияние на испанскую литературу.

*Мадам Генриетта* — Генриетта-Мария (1609—1669), сестра Людовика XIII, жена английского короля Карла I.

*Готшед* Иоганн-Кристоф (1700—1766) — теоретик литературы, драматург; ратовал за насаждение в Германии правил и традиций театра французского классицизма.

...изображенный... *Гете в его воспоминаниях*. — Гете описал свой визит к Готшеду («Поэзия и правда», 7 книга).

*Лессинг был литературным Арминием*... — Под предводительством *Арминия*, вождя германского племени херусков (17 г. до н. э. — 21 г. н. э.), германцы разбили римлян в битве в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.). — Лессинг выступал против влияния французского классицизма в «Письмах о новейшей литературе» и в «Гамбургской драматургии».

Стр. 156. ...*лишь теперь нам ясно, что он имел в виду, изображая деспотию мелких князьков в «Эмилии Галотти»*. — Действие драмы «Эмилия Галотти» происходит в Италии, стране, которая своей раздробленностью и деспотизмом мелких князей напоминала Германию XVIII века.

*Гердер*. — См. примечание к стр. 116 («К истории религии и философии в Германии»).

Стр. 157. *Август Лафонтен* (1756—1831) — плодовитый и популярный немецкий писатель, автор сентиментальных семейных романов.

*Виланд* Кристоф-Мартин (1733—1813) — значительный немецкий писатель-просветитель; автор поэмы-сказки «Оберон», воспитательного романа «Агатон», сатирического романа «Абдериты»; переводчик Шекспира и древних авторов; сыграл значительную роль в развитии немецкого литературного языка.

*Рамлер* Карл-Вильгельм (1725—1798) — автор напыщенных, риторических и переполненных мифологическими образами од, пользовавшихся, однако, значительной популярностью у тогдашнего читателя.

Стр. 158. *Ифланд* Август-Вильгельм (1759—1814) — актер, а также плодовитый и популярный драматург, писавший в жанре мещанской драмы.

*Коцебу* Август (1761—1819) — популярный романист и плодовитый драматург, автор сентиментально-нравоучительных пьес.

*Фридрих Шлегель*. — См. примечание к стр. 119 («К истории религии и философии в Германии»).

*Иена...* была средоточием, откуда распространялась новая эстетическая доктрина. — В 1799 году в этом городе встречаются братья Шлегели, Новалис и Тик и формируется так называемая иенская романтическая школа.

Стр. 159. ...ведь он... в некоторой степени также поэт... — Гейне намекает на натурфилософское стихотворение Шеллинга «Эпикурейский символ веры Гейнца Видерпоста» (1799) и его произведение «Последние слова пастора из Дротининга» (1802).

*Перевод Шекспира...* — А.-В. Шлегель переводил Шекспира с 1797 по 1810 год. Он перевел 17 драм. Полный перевод Шекспира, осуществленный Шлегелем и Тиком, — замечательный памятник художественного перевода.

...был переведен *Кальдерон*... — Шлегель перевел 5 драм Кальдерона; они были изданы под названием «Испанский театр» (1803—1809).

*«Поклонение кресту»* и *«Стойкий принц»* — драмы Кальдерона.

*Захария Вернер* (1768—1823) — романтический писатель, создатель распространенного у поздних романтиков жанра так называемой драмы рока (напр., «Двадцать четвертое февраля»). Гейне подчеркивает религиозно-мистический характер его творчества.

Стр. 160. ...с ними случилось то же, что со старой камеристкой... — Гейне вкратце пересказывает сюжет сказки «Пажки Роланда» (из «Народных сказок» Музеуса).

*Людвиг Тик* (1773—1853) — один из крупнейших немецких романтиков (иенская школа), поэт, драматург, прозаик и переводчик. Для творчества Тика особенно характерна реакционная идеализация средневековья.

...он так наглотался народных книг... — Тик одним из первых начал обрабатывать так называемые народные книги.

*«Я — достопочтенный Бонифаций...»* — Этими словами начинается драма Тика «Жизнь и смерть святой Генофефы» (1799).

*«Сердечные излияния монаха, любителя излучного»* (1797). — В этой книге писателя-романтика Вильгельма-Генриха Вакепродера (1773—1798), дополненной и изданной Тиком, идеализируется

с реакционных позиций средневекового искусства, и в частности — старонемецкая живопись, в которой, по мысли авторов, лучше всего осуществляются основные принципы искусства: наивность и интуиция.

*Перуджино* (Пьетро Вачуччи; ок. 1450—1528) — глава умбрийской школы живописи, учитель Рафаэля.

*Фра Джованни-Андреа* да Фиезоле (1387—1455) — итальянский художник, создатель стеновой живописи в монастыре св. Марка во Флоренции.

Стр. 161. *Шаритон* — предместье Парижа, где находится психиатрическая больница.

*Иозеф Геррес*. — См. примечание к стр. 135 («К истории религии и философии в Германии»).

...как сказал бы Полоний... — Полоний говорит: «Если это безумие, то в нем есть система» (Шекспир. Гамлет, II, 2).

Стр. 162. *Ян Фридрих-Людвиг* (1778—1852) — основатель немецких гимнастических обществ; яркий и ограниченный националист, которого неоднократно бичевал в своих произведениях Гейне.

Стр. 163. *Кернеровские песни* — то есть песни, принадлежащие перу Теодора Кернера (1791—1819), автора патриотических стихотворений, популярных в Германии во время наполеоновских войн.

...А.-В. Шлегель конспирировал против Расина... — См. статью А.-В. Шлегеля «Сравнение «Федры» Расина с «Федрой» Еврипида» (1807).

...министр Штейн — против Наполеона. — Прусский министр Генрих Штейн (1757—1831) проводил умеренно-либеральные реформы, имевшие целью усилить Пруссию и подготовить сопротивление Наполеону.

«Новонемецкое религиозно-патриотическое искусство» — название статьи Генриха Мейера, друга Гете, напечатанной в журнале «Об искусстве и старине» (1817). Статья выражала мнение Гете, редактировавшего этот журнал, и была направлена против романтического искусства.

...столь же романтические, как «Мальчик с пальчик» и «Кот в сапогах»... — Гейне говорит здесь о романтических драмах Тика.

Стр. 164. *Гиппокрена* — в греческой мифологии источник на склоне горы Геликон, вызывавший поэтическое вдохновение.

*Клеменс Брентано* (1778—1842) — талантливый поэт, а также автор повелл, комедий и сказок; принадлежал к так называемому гейдельбергскому кружку романтиков. Его первые произведения полны «романтической иронии». После 1818 года Брентано почти

совсем отказался от светского литературного творчества и кончил свою деятельность в лоне католицизма.

*Новалис* — псевдоним Фридриха фон Гарделберга (1772—1801), одного из виднейших представителей иенской романтической школы. Реакционная идеализация средневековья, поэтизация смерти и другие характерные черты раннего немецкого романтизма обнаружались в творчестве Новалиса раньше, чем у других представителей этой школы.

*Шютц* Фридрих-Карл-Юлиус (1779—1844) — профессор университета в Галле, автор книг о Гете: «Гете и Пусткухен» (1822) и «Философия Гете» (1825—1827).

*Каровэ* Фридрих-Вильгельм (1789—1852) — немецкий публицист, философ; стремился к созданию единой религии под эгидой католической церкви.

*Адам Мюллер*. — См. примечание к стр. 135 («К истории религии и философии в Германии»).

Стр. 165. ...как некогда легендарный крысолов заманивал гамельнских детей... — Имеется в виду немецкое народное предание о крысолове, который, играя на дудочке, выманил из города Гамельна всех крыс, а затем всех детей.

*Иоганн-Генрих Фосс* (1751—1826) — поэт и переводчик, автор идиллий, часто носивших антифеодальный характер.

Стр. 166. ...героями своих поэм избирал ...скромного протестантского пастора и его ...семейство... — Заглавной героиней идиллии Фосса «Луиза» является дочь протестантского пастора из Грюнау.

...распутно-романтической «Люцинда»... — Гейне имеет в виду философско-романтический роман Фридриха Шлегеля «Люцинда», одной из основных идей которого является идея свободной любви.

Стр. 167. Г-н Вольфганг Менцель, немецкий литератор, известный в качестве одного из ожесточеннейших противников Фосса... — Менцель (см. о нем примечание к стр. 144) выступал против Фосса в 1825 году в работе «Фосс и символика» и в 1828 году в книге «Немецкая литература».

Стр. 168. *Штольберг* Фридрих (1750—1819) — поэт, принадлежавший к «Союзу рощи» (см. следующее примечание), в который входил и Фосс. Впоследствии Штольберг отказался от взглядов своей молодости и принял католичество (1800).

...основали в Геттингене поэтическую школу. — Имеется в виду так называемый «Союз рощи», к которому примыкали поэты «бури и натиска». Был основан в 1772 году. Членами его, кроме Фосса и Штольберга, были Гельтш, Миллер и др. Поэзия «Союза рощи»

посила бюргерски-демократический характер; поэтическим образцом для этой школы было творчество Клопштока.

...познакомиться с предисловием к стихотворениям Гельми... — Гейне перевел на французский язык это предисловие Фосса и включил его в первое издание своей книги «О Германши».

...«Дворянской цепи»... — Настоящее название масонской ложи, о которой говорит Гейне, — «Общество цепи».

Стр. 169. «Книжка любви» («Liebesbüchlein»). — Гейне имеет в виду «Книгу о любви» («Ein Büchlein von der Liebe») Штольберга, вышедшую в свет в 1820 году.

Стр. 170. *Квиеитисты* — сторонники квиетизма, религиозного направления, проповедующего пассивность и мистически-созерцательное отношение к жизни.

*Супернатуралистические секты протестантской церкви* — направление в теологии, утверждающее, что истинны веры недоступны разуму.

*Гете... изрек обвинительный приговор Шлегелям.* — Имеется в виду выражающая мнение Гете статья Мейера (см. примечание к стр. 163).

Стр. 171. ...и Август-Вильгельм Шлегель удалился в пагоду Брамь. — После 1818 года Август Шлегель занялся изучением санскрита и древнеиндийской литературы.

*Переписка между ним и Гете...* — Переписка между Шиллером и Гете была опубликована в 1828—1829 годах.

...и называет их балбесами. — В письме от 16 мая 1797 года Шиллер пишет Гете о Фридрихе Шлегеле: «Этот балбес полагал, что он должен заботиться о том, как бы не испортился ваш вкус».

*Один* — верховное божество древних германцев.

Стр. 172. ...18 брюмера в немецкой литературе... — 18 брюмера (9 ноября) 1799 года произошел государственный переворот во Франции: Наполеон I сверг Директорию и объявил себя первым консулом. «Единовластие» Гете в немецкой литературе Гейне сравнивает с властью Наполеона.

*Барра и Гоие* — члены Директории, свергнутой Наполеоном.

*Как я сам в то время... открыто высказал, Гете уподобился Людовику XI...* — Гейне писал об этом в рецензии на книгу Менцеля «Немецкая литература» (см. т. V настоящ. издания, стр. 148).

Стр. 173. *Люди противоположнейших воззрений объединились в этой оппозиции.* — Против Гете выступали как христианские ортодоксы, обвинявшие его в язычестве (например, Пусткухен), так и мелкобуржуазные радикалы, обвинявшие его в аполитичности (например, Берне)

...невозможно было насадить на его макушку красную шапку и плясать под ним карманьолу. — Красная шапка (фригийский колпак) — символ Великой французской революции, карманьола — народная песня и революционный танец той же эпохи.

Стр. 174. *Макс Пикколомини* и *Текла* — герои драмы Шиллера «Валленштейн», *маркиз Поза* — герой драмы Шиллера «Дон Карлос», *Филина* — героиня романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», *Гретхен* — героиня трагедии Гете «Фауст», *Клерхен* — героиня драмы Гете «Эгмонт».

Стр. 175. ...драма «*Васантасена*»... — Гейне имеет в виду древнеиндийскую драму «Глиняная повозка» Шудрака (V—VI в.), героиня которой носит имя *Васантасена*.

Стр. 176—177. ...то безразлично, чем заниматься, — облаками или античными геммами, народными песнями или костюми обезьян, людьми или комедиантами. — Гейне говорит здесь о разнообразии интересов Гете, занимавшегося историей античного искусства, фольклором, сравнительной анатомией, театром и пр., а также и об индифферентизме Гете.

Стр. 177. «Пророк, обращенный к прошлому» — слова из «Фрагментов» Фридриха Шлегеля, неоднократно цитируемые Гейне.

Стр. 178. *Шарль Нодье* (1780—1844) — французский писатель-романтик; его литературные воззрения отражены в книге «Литературные, моральные и фантастические мечтания».

...приблизительно то же самое говорится в эпиграмме... — В «Венецианских эпиграммах» (67) Гете говорит, что он способен стерпеть все, кроме четырех вещей: табачного дыма, клопов, чеснока и креста.

Стр. 179. *Я говорил: Гете все же король нашей литературы*... — См. рецензию Гейне на книгу Менцеля «Немецкая литература» (т. V настоящего издания, стр. 148).

*Мюльнер* Адольф (1774—1844) — писатель, журналист, издатель; резко критиковал Гете.

...профессор Шютц, сын старого Шютца. — Отец профессора Ф.-К.-Ю. Шютца (см. примечание к стр. 164) Христиан-Готфрид Шютц (1747—1832) был основателем пенской «Литературной газеты».

*Шпаун* Франц (1753—1826) — австрийский чиновник, который просидел десять лет в тюрьме из-за одного своего сочинения, признанного опасным.

Стр. 180 ...требуется уже большой мастер, для того чтобы ...изобразить такого испанского нищего мальчишку, ищущего вишей, нидерландского мужика, которого рвет или которому выдергивают зуб... — Гейне имеет в виду известные образцы испанской и фламандской жанровой живописи: серию «Уличные мальчишки»

Бартоломео Мурпльо (1617—1680), «Мужчпну, засунувшего палец в рот» Адриана Броувера (1605—1638) и «Зубного врача» Давида Теширса (1610—1690).

Стр. 181. *Это перст Гете.* — Здесь Гейне остроумно использует сходно звучащие сочетания слов: Finger Gottes (перст божий) и Finger Goethes (перст Гете).

*«В этом государстве нет значительного человека...»* — Эти слова Павел I произнес в беседе с французским эмигрантом, генералом Дюмурье.

*Эккерман* Иоганн-Петер (1792—1854) — литератор, с 1823 по 1832 год секретарь Гете. Автор книги «Разговоры с Гете» (1836). Здесь Гейне имеет в виду книгу Эккермана «Замечания по поводу поэзии, в особенности по поводу поэзии Гете» (1823). Ср. «Путешествие от Мюнхена до Генуи» (т. IV настоящ. издания, стр. 213).

*В борьбе против Пусткухена добыл свои критические шпоры Карл Иммерман...* — Друг Гейне писатель-романтик Карл Иммерман (1796—1840) написал против Пусткухена «Письмо к другу о поддельных «Годах странствий Вильгельма Мейстера» и приложениях к ним» (1823).

Стр. 182. *Фарнхаген фон Энзе* Карл-Август (1785—1858) — писатель, критик, выдающийся стилист, друг Гейне, восторженный поклонник Гете; автор книги «Гете в свидетельствах современников».

*Вильгельм фон Гумбольдт* (1767—1835) — лингвист и теоретик искусства; в книге «Эстетические опыты» (1799) писал о «Рейнеке-Лисе» и «Германе и Доротее» Гете.

*Исследования г-на Шубарта о Гете...* — Филолог-классик К.-Э. Шубарт (1796—1861) опубликовал в 1820 году двухтомный труд «К вопросу об оценке Гете с привлечением родственной литературы и искусства».

*Вилибальд Алексис* (1798—1871) — немецкий писатель и публицист, автор многочисленных исторических романов.

*Циммерман* Фридрих-Готтлиб (1782—1835) — историк литературы, гамбургский профессор; был близко знаком с Гейне.

*Я вправе предположить знакомство с содержанием «Фауста»...* — Французский перевод «Фауста» (Жерара де Нерваля) вышел в 1818 году.

Стр. 183. *Альберт Великий*, граф фон Фольшtedт (1193—1280) — доминиканец, философ, естествоиспытатель; истолковывал Аристотеля в духе средневековой схоластики.

*Раймунд Луллий* (1234—1315) — испанский писатель-схоласт.

*Теофраст Парациельс.* — См. примечание к стр. 75 («К истории религии и философии в Германии»).

*Агриппа Неттесгеймский* (1486—1535) — врач и философ; критиковал науку своего времени в сочинении «О тщете и недостоверности наук».

*Роджер Бэкон* (1214—1294) — английский философ и естествоиспытатель; первым применил эксперимент как средство познания; враждовал с церковью.

...это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание... — Распространенное во времена Гейне мнение, что астролог и чернокнижник Фауст, живший в XVI веке и ставший героем «народных книг», и Фуст из Майнца, компаньон изобретателя книгопечатания Гуттенберга, — одно и то же лицо, впоследствии было опровергнуто.

Стр. 184. ...«Западно-Восточный диван» Гете, более поздняя книга, которой еще не знала г-жа де Сталь... — «Западно-восточный диван» был впервые напечатан в 1819 году, а книга г-жи де Сталь «О Германии» — в 1813 году.

*Гаспар Дебюро* (1796—1846) — французский артист, особенно знаменитый в 30-х годах XIX века.

Стр. 185. ...посмертное сочинение Иоганна Фалька... — Книга Фалька, о которой здесь идет речь, согласно его завещанию вышла в свет после смерти Гете. Гейне перевел часть этой книги на французский язык для французского издания «Романтической школы».

Стр. 186. ...подобно Аполлону среди овец царя Адмета... — Согласно греческой мифологии, Аполлон служил пастухом у царя Адмета, одного из участников похода аргонавтов.

...Коцебу... устраивает публичное чествование Шиллера... — Коцебу был намерен устроить в 1802 году чествование Шиллера, так называемый апофеоз Шиллера. Чествование не состоялось по требованию Шиллера и Гете.

...Агни, Варуна, Яма и Индра принимают облик Наля на свадьбе Дамаянти... — В индийской мифологии Агни — олицетворение огня, Варуна — бог земли, Яма — сын солнца, Индра — бог войны. Рассказ о Нале и Дамаянти находится в третьей книге «Махабхараты».

Стр. 187. Когда я был у него в Веймаре... — Гейне посетил Гете осенью 1824 года.

*Орел с молниями в клюве* — атрибут Юпитера.

...теми самыми губами... просто нимф... — Гейне продолжает здесь сравнение Гете с Юпитером.

...она уже занесла было косу над королем испанским. — Фердинанд VII (1784—1833) тяжело заболел в 1832 году.



## КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 188. *Так как я некогда принадлежал к университетским ученикам Шлегеля старшего...* — С 1819 по 1820 год Гейне учился в Боинском университете, где посещал лекции А.-В. Шлегеля по истории немецкого языка и поэзии и участвовал в руководимых им занятиях по тексту «Нибелунгов» и по метрике.

*Но был ли стихододителем г-н Август-Вильгельм Шлегель к старому Бюргеру, своему литературному отцу?* — В Геттингенском университете А.-В. Шлегель был учеником и другом поэта Готфрида-Августа Бюргера (1747—1794), автора «Леноры» и других прославленных баллад. Впоследствии Шлегель критиковал Бюргера в статье «О произведениях Бюргера», напечатанной им в книге «Характеристики и критические статьи» (1801), которую он опубликовал вместе с Фридрихом Шлегелем.

Стр. 189. *«Пророк наизнанку», или «пророк, обращенный к прошлому».* — См. примечание к стр. 177.

*Шлейермахер* Фридрих (1768—1834) — философ, близкий к испанским романтикам; разрабатывал в первую очередь вопросы этики; в 1801 году написал «Интимные письма о «Люцинде» Фр. Шлегеля».

Стр. 190. *«Флорентин»* — роман, написанный писательницей и переводчицей Доротесей Шлегель (1763—1839), дочерью философа Мозеса Мендельсона, женой Фридриха Шлегеля.

*«Мудрость и язык индусов».* — Точное название книги Шлегеля — «О языке и мудрости индусов. Материалы, способствующие изучению древности. С приложением метрических переводов индусских стихотворений» (1808).

*Уильям Дэйвис* (1746—1794) — выдающийся ориенталист, санскритолог, первый переводчик «Сахунталы» на английский язык.

*Слока* — стихотворный размер древнеиндийских поэм, парные шестнадцатисложные стихи, каждый из которых разделен посредине цезурой.

*Книга Фридриха Шлегеля об Индии, разумеется, переведена на французский язык...* — Эта книга была переведена Може (1809).

Стр. 191. *«Рамаяна»* — древнеиндийская поэма (IV—III в. до н. э.) о жизни царя-изгнанника Рамы.

*Сабала* — божественная корова, якобы способная доставить своему обладателю все блага мира; принадлежала *Васиште* и являлась предметом спора между ним и *Висвамитрой*.

*...«соблазнил жену в доме своего друга...»* — До брака с Фридрихом Шлегелем Доротей Шлегель была замужем за берлинским

банкиром Фейтом, в литературном салоне которого бывал и Фридрих Шлегель.

Стр. 192. ... в «Словаре немецких писательниц» Шпиндлера. — Гейне имеет в виду книгу Шинделя «Немецкие писательницы XIX века».

*Александр фон Гумбольдт* (1769—1859) — знаменитый естествоиспытатель и географ. *Шампольон* Жан-Франсуа (1790—1832) — знаменитый египтолог. Гумбольдт и Шампольон названы здесь как великие знатоки древности, которые якобы только и могут определить возраст любившего молодиться А.-В. Шлегеля.

*Грис* Иоганн-Дитрих (1775—1842) перевел на немецкий язык произведения Тассо, Арпосто, Кальдерона и др.

*Зольгер* Карл-Вильгельм-Фердинанд (1780—1819) — философ-идеалист; занимался вопросами эстетики. Его главное сочинение — «Эрвин. Четыре беседы о прекрасном и об искусстве» (1815).

*Якоб Гримм* (1785—1863) — знаменитый филолог, основатель германистики, автор «Немецкой грамматики», «Немецкой мифологии», «Истории немецкого языка»; вместе со своим братом Вильгельмом Гриммом издал «Немецкие сказания», «Детские и семейные сказки» и положил начало изданию «Словаря немецкого языка».

*Лассен* Христиан (1800—1876) — санскритолог; вместе с А.-В. Шлегелем издал сборник древнеиндийских басен.

*Франц Бопп* (1791—1867) — санскритолог, один из основоположников сравнительно-исторического языкознания; Гейне слушал его лекции в Берлинском университете.

*Нибур* Бартольд-Георг (1776—1831) — историк Рима.

Стр. 193. *Иоганн фон Мюллер* (1782—1809) — автор «Истории швейцарцев».

*Герен* Арнольд-Герман-Людвиг (1760—1842) — историк, автор «Идеи о политике, сношениях и торговле важнейших народов древнего мира»; был профессором в Геттингене.

*Шлоссер* Фридрих-Кристоф (1776—1861) — автор «Всемирной истории» (из которой делал выписки Маркс), «Истории XVIII столетия» и др.

*Перси* Томас (1728—1811) — английский поэт и фольклорист; его сборник английских и шотландских народных песен «Реликвии древней английской поэзии» оказал большое влияние на английскую и немецкую литературу.

Стр. 194. ...страдальческий вопль титана, которого ганноверские аристократы и школьные педанты замучили до смерти. — Бюргер жил в Геттингене, входившем в состав ганноверского коро-

левства. Последние годы его жизни были омрачены преследованиями, которым он подвергался, и нуждой.

...понять стихи, в которых Бюргер громко восклицает, что честный человек должен скорее умереть с голоду, чем кланяться мило-сти у сильных мира сего! — Гейне имеет в виду стихотворение Бюргера «Непреклонность» («Mannestrotz»).

*Имя Бюргер по-немецки равнозначно слову citoyen.* — Гейне вновь подчеркивает высокую гражданственность поэзии Бюргера. Бюргер писал антифеодальные стихи, приветствовал французскую революцию 1789—1793 годов, выступал против интервенционной войны с революционной Францией.

Стр. 195. *Фронда* (Фронда прищев) — реакционное движение французской знати в 1650—1653 годах, направленное против централизованной монархической власти, осуществившей объединение раздробленной на феодальные владения страны.

*Тальма Франсуа-Жозеф* (1763—1826) — знаменитый французский трагик; в эпоху революции вышел из состава «Французской комедии» и основал «Театр республики», осуществив целый ряд реформ в области постановки спектаклей.

Стр. 196. ...сравнивать «Федру» Расина с «Федрой» Еврипида. — См. примечание к стр. 163.

*Пародист Еврипида и Сократа* — Аристофан, осмеявший Еврипида в «Лягушках» и Сократа в «Облаках».

Стр. 198. *Каталани* Анджелика (1779—1849) — знаменитая итальянская певица.

*Если не считать Наполеона, это был первый великий человек, которого я тогда увидел...* — Гейне видел Наполеона в 1811 и 1812 годах в Дюссельдорфе.

Стр. 199. ...я написал в ту пору три оды, обращенные к г-ну Шлегелю... — Гейне посвятил А.-В. Шлегелю три сонета (см. т. I настоящ. издания, стр. 48 и 187).

*Паулюс* Генрих-Эбергард-Готлоб (1761—1851) — профессор богословия, представитель так называемого рационалистического направления в теологии (см. стихотворение Гейне «Церковный советник Прометей», т. II настоящ. издания, стр. 118). Эмилия Паулюс вышла замуж за А.-В. Шлегеля в 1818 году и вскоре разошлась с ним.

Стр. 200. ...вновь появился в Берлине, бывшей столице своего литературного блеска... — А.-В. Шлегель вернулся в Берлин в 1827 году, где в 1801—1804 годах он читал свои знаменитые лекции «Об изящной литературе и искусстве».

...к публике, которая получила уже от Гегеля философию искусства, науку эстетики. — Гегель читал курс по эстетике (в Гей-

дельберге в 1817 году, в Берлине в 1820, 1823, 1826, 1828—1829 годах), который он озаглавил «Эстетика, или философия искусства».

Стр. 201. ...говорил о Мольере, что тот был вовсе не поэт, а просто шут. — См. «Лекции о драматическом искусстве и литературе» А.-В. Шлегеля (1805—1811).

...А.-В. Шлегель... украшенный... орденом Почетного Легиона. — Луи-Филипп наградил А.-В. Шлегеля орденом Почетного Легиона в 1831 году.

Стр. 202. Поэтическая полемика, которую г-н Тик вел в драматической форме... — В комедиях «Кот в сапогах», «Прищ Цербино» и других произведениях Тик осмеивал просветителей, мещанскую трагедию.

Гоцци Карло (1720—1806) — итальянский драматург, создавший на основе традиционной комедии масок новый драматический жанр — комедию-сказку (напр., «Турандот», «Король Олень»); оказал сильное влияние на немецких романтиков.

Стр. 204. Юстин (II в.) — римский историк. Его «История», которую цитирует Гейне (кн. I, гл. 7), является извлечением из «Всеобщей истории» Трога Помпея (I в.).

Стр. 209. Перевод ряда английских драм дошекспировской эпохи Тик опубликовал в 1811 году (книга «Староанглийский театр»).

Перевод «Дон-Кихота», выполненный Тиком, один из лучших образцов художественного перевода, вышел в свет в 1799—1801 годах.

Стр. 210. Якоб Беме. — См. примечание к стр. 76 («К истории религии и философии в Германии»).

Стр. 211. Ганс Сакс. — См. примечание к стр. 52 («К истории религии и философии в Германии»).

...в начале своей деятельности он произвел великую революцию в мире немецкой мысли... — Гейне имеет здесь в виду критику Фихте со стороны Шеллинга и натурфилософию последнего.

Стр. 211—212. ...Фихте можно было рассматривать как герцога Брауншвейгского от спиритуализма, и его идеалистическая философия была не чем иным, как манифестом против французского материализма. — Герцог Брауншвейгский, стоявший во главе австрийской армии во время войны монархической коалиции против революционной Франции, в 1792 году издал так называемый Кобленцкий манифест, в котором угрожал французскому народу. С этим манифестом монархизма против французской революции Гейне сравнивает философию Фихте, являвшуюся манифестом спиритуализма против французского материализма.

Стр. 212. *...Шеллинг, павший медиатизированный философ, тоскливо бродил среди прочих медиатизированных господ в Мюнхене.* — Шеллинг, лишенный своего прежнего господства в области философии, сравнивается здесь с мелкими владетельными немецкими князьями, которые при Наполеоне были медиатизированы, то есть перестали быть суверенными государями. В Мюнхене Шеллинг жил с 1808 по 1820 год и вновь вернулся в этот город в 1827 году.

Стр. 213. *...смотрят сквозь очки, отшлифованные Барухом Спинозой.* — Эта метафора, подчеркивающая большое влияние Спинозы на немецкую философию, основана на том, что Спиноза занимался шлифовкой оптических стекол.

*Стеффенс* Генрих. — См. примечание к стр. 135 («К истории религии и философии в Германии»).

Стр. 214. *«Рейнский Меркурий»* — антинаполеоновский журнал, издававшийся Герресом с 1814 по 1816 год.

Стр. 217. *Александрийские философы* пытались возродить греческую мифологию, защищаясь от наступающего христианства. Они опирались на учение Платона. Важнейший представитель этой философской школы — Плотин (204—269).

Стр. 218. *Барро* Эмиль (1800—1869) — французский публицист, сен-симонист.

*Гофман* Эрнст-Теодор-Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик, автор повелл, сказок, романов. В творчестве Гофмана романтическая фантастика сочетается с критикой дворянско-буржуазного общества, немецкого филистерства и карликового абсолютизма.

Стр. 219. *Леве-Веймарс* (1801—1854) переводил на французский язык произведения Гейне, Гофмана, Виланда.

*«Фантастические рассказы»* (полное название: «Фантастические рассказы в манере Калло») — сборник рассказов Гофмана (1814).

Стр. 220. *Он любил юную даму, болевшую чахоткой и умершую от этого недуга.* — София фон Кюн, невеста Новалиса, умерла в 1797 году, в возрасте 14 лет.

*...раньше чем завершился... свой роман.* — Роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген» остался незаконченным и был издан в 1802 году Тиком и Фридрихом Шлегелем.

*Генрих фон Офтердинген, знаменитый поэт...* — О миннезингере Генрихе фон Офтердингене нет исторических данных; произведения его не дошли до нас, его имя встречается только в поэме «Война певцов» (см. ниже).

...несколько тупоумных немецких националистов сожгли «Жандармский кодекс» г-на Каммца. — Гейне говорит о так называемом Вартбургском празднестве 1817 года, устроенном немецкими либералами в память Реформации и битвы при Лейпциге. Карл-Альберт фон Каммц, «Жандармский кодекс» которого был во время этого праздника сожжен в числе других книг, был прусским министром и гонителем либералов.

*В... Вартбурге происходило... состязание певцов...* — В поэме неизвестного автора «Война певцов» (ок. 1260 г.) описывается состязание певцов в замке Вартбург при дворе ландграфа Германа Тюрингенского.

*Сборник Манессе* — стихотворная рукопись, содержащая песни 140 миннезингеров (XIV в.).

Стр. 222. *Блюменбах* Иоганн-Фридрих (1752—1840) — профессор в Геттингене, естественный опытный.

*Когда поздней осенью 1828 года я вернулся (тоже со жгучей стрелой в груди) с юга...* — Возвращаясь из Италии, Гейне получил известие о смерти отца.

### КНИГА ТРЕТЬЯ

Стр. 226. «*История бравого Касперля и прекрасной Паннерль*»... — Гейне допускает небольшое искажение названия повеллы Брентано: имя ее героини — Анперль.

«*Волшебный рог мальчика*» — сборник немецких народных песен, изданный в 1806—1808 годах гейдельбергскими романтиками Ахимом фон Аршмом и Клеменсом Брентано, оказавший огромное влияние на последующее развитие немецкой поэзии, в частности и на лирику Гейне.

Стр. 227. *Это замечание сделал однажды немецкий поэт, которого я люблю больше всех других, а именно я сам.* — См. сборник «Новая песня», № 31, 3 строфа (т. II настоящ. издания, стр. 19).

*В «Волшебном роге мальчика» есть эта трогательная песня...* — Имеется в виду песня «Швейцарец» (Гейне опускает две последние строфы).

Стр. 230. *Это не гетевская Гретхен, и ее рассказ не сюжет для Ари Шеффера.* — Ари Шеффер (1795—1858) — французский художник, написавший, в частности, несколько картин на мотивы из произведений Гете и других немецких писателей. Образ Гретхен запечатлен Шеффером в картинах «Гретхен за прялкой», «Гретхен в церкви», «Гретхен, возвращающаяся из церкви» и «Гретхен

на Блоксберге». См. высказывания Гейне о Шэффере в статье «Французские художники» (т. V настоящ. издания, стр. 179—185).

Стр. 232. *Уланд* Людвиг (1787—1862) — известный романтический поэт, драматург, историк литературы. Многие его лирические стихотворения, написанные под влиянием народной песни, были весьма популярны. Либерал по своим убеждениям, Уланд был одним из вождей оппозиции в Вюртембергском ландтаге, вследствие чего он был выпущен отказаться от профессорской кафедры в Тюбингенском университете.

Стр. 234. *Стивенс* Джордж (1736—1800) — английский критик, шекспировед.

*Оросман* — герой трагедии Вольтера «Заира».

*Лишь после смерти удостоился он чего-то вроде некролога от одного из представителей школы.* — Некролог был написан Виллгальдом Алексисом и напечатан в берлинском журнале «Прямодушный» (1831, № 25).

Стр. 235. ...*Арним родился в 1784 году в Бранденбургской марке и умер зимой 1830 года.* — В действительности Арним родился в 1781 году в Берлине и умер в 1831 году. Гейне сам отметил эту ошибку в предисловии ко 2 части немецкого издания 1833 года.

Стр. 238. ...*бедные маленькие человечки ночью перебирались по мосту...* — Гейне заимствует этот рассказ из «Немецких сказаний» Гриммов.

*Cour des miracles* — квартал Парижа, где в средние века жили нищие и шарлатаны.

Стр. 240. «*Théâtre des Variétés*» и «*Théâtre-Gymnase*» — театры в Париже, где давались водевили и комедии.

Стр. 242. ...*как историк, предваряющий повествование о троянской войне рассказом о яйце Леды.* — Согласно греческому мифу, из яйца Леды родилась Елена Прекрасная, из-за которой началась Троянская война.

Стр. 243. *Калхас* — в греческой мифологии жрец и прорицатель, сопровождавший войска, которые осаждали Трою.

Стр. 244. *Филарет Шаль* (1798—1873) — французский критик и литературовед. Гейне имеет в виду его статью о Жан-Поле, напечатанную в книге «Этюды о старой и современной Германии». О Жан-Поле см. примечание к стр. 110 («К истории религии и философии в Германии»).

*«Молодая Германия».* — См. примечание к стр. 15 («К истории религии и философии в Германии»).

*Генрих Лаубе* (1806—1884) — романист, драматург и критик, один из руководителей «Молодой Германии». Был дружен с Гейне.

Стр. 245. *Карл Гуцков* (1811—1878) — один из виднейших писателей «Молодой Германии»; романист, драматург и публицист. Его роман «Валли сомневающаяся» послужил поводом для запрещения произведений писателей «Молодой Германии». Наиболее известна его драма «Уриэль Акоста» (1847). После появления гейневской книги о Берне был с Гейне во враждебных отношениях.

*Винбарг* Лудольф (1802—1872) — автор книги «Эстетические походы» (1834), являвшейся литературным манифестом «Молодой Германии».

*Густав Шлезьер* — ныне совершенно забытый публицист, примыкавший к «Молодой Германии».

Стр. 247. ...*Жан-Поль... сходен с великим ирландцем...* — Гейне имеет в виду *Лоренса Стерна* (1713—1768), писателя-юмориста, одного из мастеров английского романа, автора «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия», оказавшего влияние на Жан-Поля и на самого Гейне.

Стр. 249. *Де ла Мотт-Фуке* Фридрих (1777—1843) — немецкий романтический писатель и поэт, автор многочисленных рыцарских романов и драм, идеализировавших средневековье; читал лекции по истории немецкой литературы в университете в Галле; был в дружеских отношениях с Гейне. Лучшее произведение Фуке — «Ундины» (1811).

Стр. 250. *Гитциг* Юлиус-Эдуард (1780—1849) — юрист-криминалист и литературовед; написал биографии Гофмана, Вернера, Шампссо.

...*перипатетические философки...* — Перипатетиками называли учеников Аристотеля из-за того, что их занятия с философом происходили во время прогулок вдоль колоннады (перипатос), окружавшей сад школы. Гейне называет перипатетическими философками девиц легкого поведения, прогуливавшихся по галерее Пале-Рояля.

Стр. 251. ...*в Вене он вступил в орден лигорпанцев...* — Вернер перешел в католичество, стал в 1814 году священником, в 1822 году хотел вступить в орден лигорпанцев, близкий к иезуитскому ордену, но до окончания времени искуса отказался от своего намерения.

Стр. 252. *Не знаю, переведена ли эта повесть на французский язык.* — «Ундины» была переведена на французский язык Фурне лишь в 1855 году. (На русском языке стихотворное переложение «Ундины» Жуковского было опубликовано в 1837 г.)

Стр. 254. *Ричардсон* Сэмюэл (1689—1761) — английский романист, автор сентиментальных, правописательных романов «Кларисса Гарлоу» и «Памела».



*Голдсмит* Оливер (1728—1774) — автор идиллического сельского романа «Векфилдский священник», оказавшего влияние на Гете, Фосса и Жан-Поля Рихтера.

*Филдинг* Генри (1707—1754) — английский писатель-реалист, автор романов «Джозеф Эндрюс», «Том Джонс Найденш» и др.

Стр. 255. *Раунах* Эрнст (1784—1852) — плодовитый и бездарный драматург, автор многочисленных исторических драм, пользовавшихся успехом у берлинской публики. С 1804 по 1822 год Раунах жил в России.

*Бирх-Пфейфер* Шарлотта (1800—1868) — немецкая актриса и автор сентиментальных драм.

Стр. 258. *Даже Зигфрида, убийцу дракона, ему удалось подложить под свое седло.* — В 1835 году Раунах написал пьесу «Сокровище Нибелунгов».

*Он осмелился даже поднять руку на Гогенштауфенов...* — Раунах написал множество (восемь томов) трагедий, посвященных Гогенштауфенам.

*Фридрих Раумер* (1781—1873) — историк; написал историю Гогенштауфенов и их времени.

*Граббе* Христиан-Дитрих (1801—1836) — талантливый драматург, стремившийся возобновить традиции Шекспира и «бури и натиска» в немецкой драме. Гейне очень высоко ценил творчество Граббе.

*Ихтриц* Фридрих (1800—1875) — драматург; наиболее известна его трагедия «Александр и Дарий».

Стр. 263. *Макс фон Шенкендорф* (1783—1817) — поэт, автор патристических стихотворений.

*Эрнст-Мориц Арндт* (1769—1860) — прозаик, поэт, публицист. Его стихотворения и статьи содействовали патристическому подъему во время войн против Наполеона.

Стр. 265. *Эйхендорф* Иозеф (1788—1857) — писатель-романтик, принадлежавший к гейдельбергскому кружку. Его лирические стихотворения выдержаны в традиции немецкой народной песни.

*Юстинус Кернер* (1786—1862) — поэт и прозаик, представитель так называемой швабской школы немецкого романтизма (см. ниже), натурфилософ мистического направления.

*Густав Шваб* (1792—1850) — автор баллад и романсов; известен также своими пересказами немецких народных книг и мифов классической древности. Кернер и Шваб — наиболее типичные представители швабской школы романтизма, в которую входили также Уланд, Пфистер, Мерике. Поэты швабской школы выступали против технической цивилизации, против современной

городской жизни, воспевали идиллически-патриархальную жизнь немецкой провинции и пр. Гейне неоднократно резко осмеивал швабскую школу.

*Вильгельм Мюллер* (1794—1827) — автор стихотворений, близких к народной песне; создал лирические циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», положенные на музыку Шубертом. Гейне всегда очень высоко ценил поэзию Мюллера.

*Ветцель Карл* (1779—1819) — поэт и драматург. Его стихи были напечатаны в 1817 и 1818 годах в альманахе «Уралия», издававшемся Брокгаузом.

*Адальберт фон Шамиссо* (1781—1838) — писатель, близкий к романтизму, автор знаменитой повести «Чудесная история Пестера Шлемиля», лирических стихотворений, поэмы «Бестужев» (о декабристе Александре Бестужеве). Перевел «Войнаровского» Рыльева и «Песни» Бераже. В его произведениях (особенно последнего периода) проявляются настроения, которые позволяют считать этого писателя предшественником политических лириков 40-х годов. Шамиссо был также ученым-естествоиспытателем и путешественником.

Стр. 266. *«Лес поэтов»* (1813), *«Странствие певцов»* (1818), *«Утешительное одиночество»* (1808), *«Волюбная палочка»* (1818) — альманахи, в которых печатались многие произведения романтиков.

Стр. 267. *«Посетие по прошествии многих лет гробницу...»* — См. сказание «Оттон III у гроба Карла» в книге братьев Гримм «Немецкие сказания» (1816—1818).

*Император Оттон III* (980—1002) в 1000 году приказал открыть гробницу Карла Великого.

*Ваш король Франциск... незадолго до сражения при Павии.* — Французский король Франциск I (1494—1547), воевавший с императором Карлом V за обладание Италией, был разбит наголову и взят в плен в сражении при Павии (24 февраля 1525 года), после чего он вынужден был подписать Мадридский мир.

*Роланд* — герой средневекового французского эпоса «Песнь о Роланде», сподвижник Карла Великого.

*Себастьян* (1554—1578) — португальский король; погиб во время похода против мавров.

Стр. 268. *У французских писателей были только художественные интересы...* — Здесь и далее Гейне говорит о различии между немецкими и французскими романтиками.

Стр. 269. *...уста всеильного вальпира, избравшего своим местом пребывания Франкфурт ..* — Гейне имеет в виду Союзный сейм, заседавший во Франкфурте.

## ПРИНЦИПА

Стр. 272. ...покоятся на бархатных скамьях Люксембургского дворца. — В Люксембургском дворце заседала во время Реставрации и при Луп-Филиппе палата пэров. Виктор Кузен с 1832 года был пэром Франции.

Стр. 273. *Себастиани Г.-Ф.* (1775—1851) — французский дипломат; с 1830 по 1834 год был министром иностранных дел.

Стр. 275. *Валаам* (библ.) — волхв и прорицатель.

*Мудрец Квазер* — согласно северной мифологии, герой, из крови которого убившие его карлики приготовили особый мед. Человек, отведавший этого меда, становился мудрецом или поэтом.

*Баллани.* — См. примечание к стр. 133 («К истории религии и философии в Германии»).

...одна из тех интуитивных натур, которым Кант приписывает способность спонтанного понимания вещей... — См. К а н т. Критика способности суждения, ч. II, § 77.

Стр. 276. ...он, любящий истину еще больше, чем Платона и Теннемана... — Гейне перефразирует известное изречение: «Платон мне друг, но истина дороже», восходящее еще к классической древности. *Теннеман* (1761—1819) — философ-кантланец, автор одиннадцатитомной «Истории философии», переведенной Виктором Кузеном.

## ДУХИ СТИХИЙ

Первая половина «Духов стихий» (кончающаяся пересказом демонологических преданий) была впервые напечатана на французском языке во втором томе парижского издания сочинения Гейне «О Германии» (1835). В 1837 году обе части были опубликованы на немецком языке в третьем томе «Салона» (вместе с «Флорентинскими ночами»). Вторая часть была написана Гейне специально для этого издания, в связи с просьбой издателя Кампе увеличить объем тома, с тем чтобы он был приблизительно равен предыдущим. В последний раз при жизни поэта «Духи стихий» (полностью) были изданы в 1855 году во втором французском издании книги «О Германии». Для него Гейне еще раз пересмотрел текст и сделал ряд добавлений. Первая часть в этом издании была озаглавлена «Народные предания» («Traditions populaires»), вторая была напечатана в качестве вступления к «Богам в изгнании» под этим общим заголовком. Гейне предпослал ей небольшую вводную заметку следующего содержания: «Все мы покидаем этот мир, люди и боги,

верования и предания... И, быть может, доброе дело — сохранить последние от полного забвения, бальзамируя их не по отвратительному способу Ганая, но с помощью тайных снадобий, которые можно отыскать только в аптечке поэта. Да, верования, а вместе с ними и предания покидают нас. Они исчезают не только в наших цивилизованных странах, но даже в тех самых северных областях земли, где некогда пышно цвели самые яркие суеверия. Миссионеры, которые объезжают эти холодные места, жалуются на неверие их обитателей. В сообщении о своем путешествии на север Гренландии один датский проповедник рассказывает о том, как он расспрашивал одного старика о нынешних верованиях гренландского народа. «Прежде, — ответил тот, — верили хоть в луну, а теперь ни во что не верят». (Заметка эта датирована: «Париж, 19 марта 1853 г.»).

«Духи стихий» развивают намеченную Гейне уже в первой части очерка «К истории религии и философии в Германии» тему, которую сам поэт охарактеризовал как тему «древнегерманского пантеизма». В средневековых народных преданиях и верованиях немецкого народа Гейне стремится выделить мотивы, отражающие поэтическое отношение народа к природе, радостное приятие земного, посястороннего мира, наивное обожествление природы и ее сил.

Гейне широко воспользовался в «Духах стихий» фольклорным материалом, собранным в «Немецких сказаниях» братьев Grimm и других сборниках, изданных поэтами и учеными, находившимися под влиянием романтической школы. Однако материал, собранный романтиками, Гейне полемически переосмысливает и заостряет против идей романтической школы. Он доказывает, что христианско-католический спиритуализм чужд средневековому народному мировоззрению: под слоем официальных христианских представлений, навязанных церковью, в народных преданиях средних веков всегда существовал другой, более глубокий пласт мифов и сказаний, уходящих своими корнями в отдаленное языческое прошлое и имеющих радостно-земной, пантеистически-чувственный характер. Это чувственно-пантеистическое народное мировоззрение, отразившееся в преданиях о духах стихий, Гейне противопоставляет вопиющему католицизму и идеализму романтической реакции.

В статье «О допосылке», задуманной Гейне как предисловие к третьему тому «Салона» (1837), но изъятой из этого тома цензурой, которая в то время яростно преследовала его и «Молодую Германию», поэт попытался сознательно затушевать политическую тенденцию

«Духов стихий». Он старался представить это сочинение как ряд «безобидных сказок», своего рода новелл «Декамерона», которые должны помочь читателю забыть об окружающей его «зачумленной» действительности. Во французском тексте, где он мог быть более откровенен, Гейне, напротив, подчеркнул основную идею сочинения, направленного, по его выражению, против того «сухого и лишнего питательных соков хлеба, которым кормит нас христианский спиритуализм».

Непосредственным тематическим продолжением «Духов стихий» явился позднейший очерк «Боги в изгнании» (1853), рассказывающий о судьбе античных мифов и преданий в средние века (в связи с той же проблемой борьбы церковного спиритуализма и народно-пантеистического, языческого мировоззрения).

Очерк «Духи стихий» оказал влияние на Рихарда Вагнера: данное здесь Гейне изложение легенды Лоэнгрине и Тангейзере могло побудить Вагнера взяться за музыкально-драматическую обработку этих сюжетов.

Стр. 281. *В Вестфалии, бывшей Саксонии...* — Вестфалия была одной из частей старого саксонского герцогства. Саксы позже, чем другие германские племена, были обращены в христианство (в VIII в.). Считалось, что старинные предания и остатки язычества сохранились лучше всего у них.

*...когда я много лет тому назад, скитаясь по этим лесам...* — Осенью 1820 года Гейне пешком путешествовал по Вестфалии.

*Видекинд* (Видукинд) — вождь саксов; в 785 году после долголетней войны с франкским императором Карлом Великим был побежден им и обращен в христианство.

*«Когда он, обращенный в бегство...»* — Рассказ заимствован из «Немецких сказаний» братьев Гримм.

Стр. 282. *Один Якоб Гримм сделал для языковедения больше, чем вся наша Французская академия со времен Ришелье.* — О Якобе Гримме см. примечание к стр. 192 («Романтическая школа»). Французская академия была основана могущественным министром Людовика XIII кардиналом Ришелье в 1634 году. Составление словаря французского языка, порученное Академии, затянулось на многие десятилетия. Первое издание вышло в 1694 году.

*Парацельс.* — См. примечание к стр. 75 («К истории религии и философии в Германии»).

Стр. 283. *О кобольдах была речь выше* — т. е. в очерке «К истории религии и философии в Германии».

*Никита Акоминат*, византийский историк (XII—XIII вв.),

описывая взятие Константинополя крестоносцами (в 1204 г.), рассказывает между прочим о великано-крестоносце 54 футов роста.

Стр. 284. *Лок-Мариа-Кер* — местечко в Бретани. В Лок-Мариа-Кер и в его окрестностях сохранилось несколько памятников кельтской старины.

*Висс* Иоганн-Рудольф (1781—1830) — автор книги «Идиллии, народные сказания, легенды и рассказы Швейцарии» (1815). Первая легенда, приводимая Гейне, представляет собою примечание к стихотворению «Любопытство и наказание», вторая — пересказ этого стихотворения. Гейне цитирует обе легенды по «Немецким сказаниям» Гриммов.

Стр. 286. *Другое предание...* — Это предание имеется в «Народных сказаниях» Отмара (1800) и в «Немецких сказаниях» Гриммов.

...*Исаак Абарбанель перед Фердинандом Арагонским.* — Исаак Абарбанель (1437—1508), еврейский философ и богослов, советник по налоговым и финансовым делам при испанском дворе, безуспешно просил короля Фердинанда Арагонского отменить декрет об изгнании евреев из Испании.

Стр. 287. *«Оберон»* — сказочная поэма Виланда (1781).

*Ле (lais)* — бретонские и старофранцузские эпические песни небольшого размера с сюжетом из народных сказок, преданий и сказаний из цикла о короле Артуре.

*Граф Ланваль; рыцарь Грюэлан* (Граэлан); *датчанин Олзе* — герои сказаний, собранных в книге «Фаблю и сказки XII и XIII века» (Париж, 1782). Они помещены и Добенеком в его книге (см. примечание к стр. 26 очерка «К истории религии и философии в Германии»).

*«Королева эльфов»* — большая аллегорическая поэма английского поэта Эдмунда Спенсера (1552—1599).

Стр. 288. *«Через лес при лунном свете...»* — стихотворение Гейне из цикла «Новая весна» (см. т. II настоящ. издания, стр. 20).

*Среди датских народных песен...* — См. Вильгельм Гримм. Древнедатские героические песни, баллады и сказки (1811).

...*песня повествует о свидении некоего юнца...* — Ср. стихотворение Гейне «Русалки» (т. II настоящ. издания, стр. 83).

Стр. 289. *Песня о рыцаре Олуфе* содержится в книге Вильгельма Гримма (см. выше). Ее перевел и Гердер (под названием «Дочь лесного царя») для своих «Народных песен»; перевод Гердера явился источником для баллады Гете «Лесной царь».

*Это сказание... под названием виллис.* — Источником для рассказа Гейне о виллисах могло послужить напечатанное в «Карманном альманахе для отечественной истории» стихотворение Терезы фон Артнер «Пляска виллис. Народное славянское поверье». Гейневский рассказ лег в основу сюжета сценария Готье к балету «Жизель».

Стр. 290. *Элиан* (II—III в.) — греческий писатель, автор «Разных историй» и «Историй о животных».

*Филострат* Младший, или Афинский (III в.) создал жизнеописание Аполлония Тианского, философа-пифагорейца (I в.).

*Ламия* — согласно греческой мифологии, прекрасная женщина-призрак, которая пьет человеческую кровь.

Стр. 291. *Об этом происшествии еще много рассказывают и поют в немецких землях.* — Приводимая Гейне легенда рассказана в «Рыцарь фон Штауфенбурге», старогерманском стихотворении, опубликованном Христианом Энгельгардтом (1823), а также в гриммовской «Мифологии».

*Он утащит ее вниз, в свое водяное царство.* — Рассказ о пляске с водяным заимствован из «Немецких сказаний» Гриммов. Ср. стихотворение Гейне «Встреча» (т. II настоящ. издания, стр. 91).

*У Марск-Стига, царевубийцы...* — Рассказ о Марск-Стиге Гейне заимствует из «Древнедатских героических песен, баллад и сказок» Вильгельма Гримма; во французском издании Гейне дал точный перевод песни (см. стр. 336—338 настоящ. тома).

Стр. 292. *...в простом рассказе братьев Гримм...* — См. «Немецкие сказания» Гриммов («Три девушки с озера»).

Стр. 293. *Если Венеции... под двуглавым орлом.* — Двуглавый орел — эмблема Австрии, под властью которой Венеция находилась с 1814 года.

*...никсами, или, как я уже говорил, ниссами.* — См. «К истории религии и философии в Германии», стр. 34.

*Мелюзина* — во французских легендах сказочное существо, полуженщина-полурыба.

*Супруг принцессы Клевской называл себя Элиас.* — См. «Лебединый корабль на Рейне» в «Немецких сказаниях» Гриммов. Во французском издании Гейне дал полный перевод сказания.

Стр. 294. *Некромант* — волшебник, вызывающий тени умерших.

*Иоганн Преториус.* — См. примечание к стр. 30 («К истории религии и философии в Германии»).

Стр. 295. *«Gazette de France»* — католическая газета 40-х годов.

Стр. 296. ...*Музеус рассказывает...* — Имеется в виду сказка «Похищенное покрывало» в «Народных сказках немцев» И.-К.-А. Музеуса (1735—1787).

Стр. 297—301. Вставленная в текст поэма — сильно переработанный Гейне вариант поэмы «Верная невеста» из «Древнедатских героических песен» Вильгельма Гримма.

Стр. 302. *Ведьмы, выведенные Шекспиром в «Макбете»...* — Источником для Шекспира послужила книга Голиншета «Хроника Англии, Шотландии и Ирландии» (1577). Голиншет говорит о «трех женщинах странного и дикого вида, похожих на создания другого, более раннего мира».

...*норны, эти парки севера.* — Норны — богини судьбы у древних германцев, парки — богини судьбы у римлян.

...*три волшебные пряжи, известные нам из старых детских сказок...* — См., например, сказку братьев Гримм «Три пряжи».

...*в «Рейнских сказаниях» Шрейбера.* — Имеются в виду «Сказания Рейна и Шварцвальда» Алоиса Шрейбера.

Стр. 306. *Карлу Великому пришлось в своих «Капитуляриях» твердо запретить приношение жертв...* — Гейне следует здесь изложению Добенека, который цитирует книгу Диппольда «Жизнь императора Карла Великого».

Стр. 307. *Был, например, один дворянин в Саксонии...* — Этот рассказ заимствован Гейне из книги Иоганна-Георга Годельмана «Трактат о магах, колдунах и ламиях» (1676).

Стр. 308. *Георгиус Годельманус* — то есть И.-Г. Годельман (см. предыдущее примечание).

Стр. 309. ...*папа Сильвестр, знаменитый Герберт.* — Герберт из Орильяка, занимавший с 999 по 1003 год папский престол под именем Сильвестра II, обладал большими познаниями в философии, математике и физике и слыл чернокнижником. Рассказ о нем заимствован из книги Г.-Ц. Горста «Демономания, или История веры в колдовство» (1818).

Стр. 311. *В одной драме этого гениального писателя...* — Имеется в виду трехактная комедия Граббе (см. примечание к стр. 258 «Романтической школы») «Шутка, сатира, прония и нечто более значительно» (1822).

*Но обыкновенно она в преисподней хлопочет...* — См., например, сказку братьев Гримм «Дьявол с тремя золотыми волосками».

Стр. 313. *«Государь» («Landesvater»)* — название студенческой песни.

*Ванденгук и Рупрехт* — владельцы книжного магазина в Геттингене.



Стр. 314. *Эдуард Гиббон* (1737—1794) — английский историк. В его основном труде «История возвышения и упадка Римской империи» (1782—1788) содержится критика христианства.

*Либаний* (314—393) — греческий софист.

Стр. 315. *Это произошло в Геттингене... поколотили педеля Дориса...* — См. «Путешествие по Гарцу» (т. IV настоящ. издания, стр. 10).

*Бофден, Ритшенкруг и Раземюле* (правильно: Боффенден, Ритшенкруг и Раземюле) — окрестности Геттингена, где часто происходили студенческие дуэли.

Стр. 317. *...неоплатоническими ухищрениями...* — Философы-неоплатоники (III в.), борющиеся против христианства, пытались переосмыслить и наполнить новым содержанием мифологию и эллиническое мировоззрение.

Стр. 319. *Эндимион* — персонаж греческой мифологии, прекрасный юноша, возлюбленный Селены, богини луны, которого Зевс погрузил в сон, даровав ему при этом вечную жизнь и вечную молодость. Посещение спящего Эндимиона Селеной послужило сюжетом для многих произведений изобразительного искусства.

*...Калипсо и Улисса.* — Гомер в «Одиссее» повествует о любви нимфы Калипсо к Одиссею (Улису,) попавшему к ней на остров Огигию после кораблекрушения.

Стр. 320—321. *Такой же характер имеет легенда... умер на третий день после этого.* — Сказание о статуе, не пожелавшей расстаться со случайно надетым на ее палец кольцом и явившейся к владельцу кольца в его брачную ночь, было широко распространено в древности и в средние века. Немецкий писатель Вилибальд Алексис использовал этот сюжет в новелле «Венера в Риме» (1831).

Стр. 321. *«Mons Veneris» Корнмана* вышла в свет в 1614 году.

*...в преглуной книге о колдовстве Дель Рио...* — Имеется в виду вышедшее в 1608 году «Исследование о колдовстве».

*...Эйхендорф восхиительно использовал ее в превосходном рассказе.* — Гейне имеет в виду рассказ Эйхендорфа «Мраморная статуя» (1819), с которым, однако, сюжетно связана не данная легенда о статуе, а предыдущая (см. стр. 317—319).

Стр. 322. *Верный Эккарт* — герой многих немецких сказаний; роль его заключается в том, что он предупреждает героев о грозящей им опасности.

Стр. 326. *Письма Элоизы* к ее возлюбленному и учителю *Абеляру*, знаменитому французскому философу-схоласти (1079—1142),

были написаны после того, как влюбленных пасильственно разлучили. Эти письма замечательны своей искренностью, трагизмом и силой чувства.

*Бехштейн* Людвиг (1801—1860) — немецкий писатель и фольклорист, опубликовавший первую версию песни о Тангейзере.

*Вольф* Оскар-Людвиг-Бернгард (1799—1851) — известный поэтимпровизатор.

Стр. 326—332. Здесь Гейне впервые публикует свой собственный вариант песни о Тангейзере, включенный им впоследствии (под названием «Тангейзер») в сборник «Новые стихотворения». См. также комментарии к «Тангейзеру» во II томе настоящ. издания (стр. 349—351).

### ДОПОЛНЕНИЯ К «ДУХАМ СТИХИЙ»

Стр. 341—342. *Вечный жид* — персонаж старинной легенды, иерусалимский сапожник Агасфер, якобы оскорбивший и ударивший Христа и осужденный за это на вечное скитание. Легенда об Агасфере нашла свое отражение в произведениях многих писателей (Гете, Шелли, Жуковского, Беранже, Сю, Ленау, Гамерлинга и др.). Об одном из таких произведений — мистерии «*Агасфер*» историка, философа и поэта *Эдгара Кине* (1803—1875), опубликованной в 1833 году, и говорит здесь Гейне.

Стр. 342. *Юстинус Кернер*. — См. примечание к стр. 265 («Романтическая школа»).

Стр. 343. ...о *Кифгейзере*, где пребывает император *Фридрих*. — Рассказанная здесь легенда об императоре Фридрихе I (Барбароссе), вероятно, была известна Гейне из «Немецких сказаний» братьев Гримм. Впоследствии в поэме «Германия» (гл. 14—17) Гейне широко использовал эту легенду, придав ей еще большую политическую остроту. См. также комментарии к поэме «Германия» (т. II настоящ. издания).

Стр. 345. *Я знаю одного из этих стрелков...* — Гейне имеет в виду самого себя.

### ФЛОРЕНТИНСКИЕ НОЧИ

Новелла «Флорентинские ночи» опубликована впервые в штургартском журнале «*Morgenblatt für gebildete Stände*», 1836, №№ 83—125 (6 апреля — 25 мая). Почти одновременно она появилась на французском языке в парижском журнале «*Revue des deux*

mondés», 1836, т. VI (выпуски от 15 апреля и 1 мая). С незначительными исправлениями «Флорентинские ночи» были включены Гейне в третий том «Салона» (1837).

Новелла была написана в момент жестоких цензурных гонений па Гейне и писателей «Молодой Германии». В письме к А. Левальду от 3 мая 1836 года поэт писал о ней: «Вторая флорентинская ночь покажет вам, быть может, что в случае необходимости, если политика и религия будут мне воспрещены, я смог бы прожить и писанием новелл. По совести говоря, это не доставило бы мне много радости — я не нахожу в подобном занятии особого удовольствия. Но в скверные времена надо уметь делать все».

Мысль о том, что в третьем томе «Салона» (кроме «Флорентинских почей» в этот том вошли «Духи стихий») он по цензурным соображениям избежал всяких политических намеков, поэт выражал и в других письмах этого времени. По просьбе своего издателя Кампе Гейне одно время хотел выпустить эту часть «Салона» под измененным названием («Сказка» или «Тихая книга»).

Гейне возвращается в «Флорентинских ночах» к темам и образам «Путевых картин», сочетая здесь в своеобразной форме романтические мотивы с изображением многих сторон и явлений современной общественной жизни. Смело расширяя рамки романтической новеллы, Гейне свободно переплетает в ней лирические и биографические элементы с проницательными зарисовками жизни Италии, Лондона, Парижа, Гамбурга, портретами современных композиторов и музыкантов. Особого упоминания заслуживают портрет Николо Паганини и описание его виртуозной игры, принадлежащие к лучшим достижениям мировой литературы.

## НОЧЬ ПЕРВАЯ

Стр. 356. *Гортони* — знаменитое во времена Гейне кафе на Итальянском бульваре в Париже.

Стр. 359. *В Павии он должен был дорогой ценой искупить это любопытство!* — См. примечание к стр. 267 («Романтическая школа»).

Стр. 360. *Беллини* Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор, автор опер «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане» и др. Его преждевременная смерть вызвала многочисленные литературные отклики.

*Россини* Джоакино (1792—1868) — крупнейший итальянский

композитор, автор опер «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль» и др. После создания «Вильгельма Телля» до самой смерти (в течение 38 лет) Россини почти ничего не писал.

Стр. 363. ...описанный Гете в «Путешествии по Италии»... — См. указанное произведение Гете — запись, датированную апрелем 1787 года (Палермо).

Стр. 364. ...в доме одной великосветской дамы... — Имеется в виду дом Каролины Жюбер (см. письмо Гейне к ней от 22 апреля 1835 года).

Стр. 365. Паганини Николо (1784—1840) — прославленный итальянский скрипач и композитор.

Стр. 366. Лизер Иоганн-Петер — немецкий художник, поэт и музыкант, с которым Гейне был знаком в Гамбурге; оставил портрет Гейне и рисунок к «Флорентинским ночам».

Стр. 367. Реци Морлиц (1774—1857) — немецкий рисовальщик, живописец и гравёр; известен гравюрами к гетевскому «Фаусту» (26 листов, Штутгарт, 1828).

Гаррп Георг (1780—1838) — немецкий писатель. Из его книги «Паганини в дорожной карете и дома, в часы досуга, в обществе и на концертах» (Брауншвейг, 1830) Гейне почерпнул отдельные черты для характеристики Паганини.

## НОЧЬ ВТОРАЯ

Стр. 379. Олд Бейли (Old Bailey) — улица лондонского Сити. Название этой улицы стало народным обозначением находящейся там тюрьмы, перед которой до 1868 года совершались казни.

Пэдди (Paddy) — кличка ирландцев в Англии.

Стр. 383. Вестрис Август (1759—1842) — итальянский танцовщик; выступал с успехом еще в 1835 году. Артистические семьи Вестрис и Тальони дали театру много балетных актеров.

Стр. 385. Анна Болейн (1503—1536) — вторая жена Генриха VIII, мать королевы Елизаветы; была обвинена в нарушении супружеской верности, заключена в Тауэр и присуждена судом пэров к смерти (15 мая 1536 г.).

Стр. 388. «Tour de Nesle» — драма Александра Дюма-отца.

Стр. 392. Виллисы. — См. примечание к стр. 289 («Духи стихий»).

Стр. 395. Казимир Перье (1777—1832) — французский банкир и политический деятель; в 1831—1832 годах был премьер-министром и министром внутренних дел в правительстве короля Луи-Филиппа; подавил лионское восстание рабочих 1831 года.

Стр. 399. *Тальма*. — См. примечание к стр. 195 («Романтическая школа»).

*Гро Жан-Антуан* (1771—1835) — французский художник-баталист, один из создателей культа Наполеона в живописи.

*Мори Жан-Сифрен* (1746—1817) — кардинал, французский политический деятель; при Наполеоне был назначен парижским архиепископом.

*Ровиго* — Анн-Жак-Мари-Рене Савари, герцог де Ровиго (1774—1833) — французский политический деятель, адъютант Наполеона Бонапарта; директор тайной полиции; после 1830 года — главнокомандующий французскими войсками в Алжире.

*Полина Боргезе* (1780—1825) — сестра Наполеона Бонапарта.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

К различному пониманию истории. <i>Перевод А. Горнфельда.</i> . . . . .	7
К истории религии и философии в Германии. <i>Перевод А. Горнфельда</i>	
Предисловие к первому изданию . . . . .	13
Предисловие ко второму изданию . . . . .	14
Книга первая . . . . .	20
Книга вторая . . . . .	56
Книга третья . . . . .	94
Романтическая школа. <i>Перевод А. Горнфельда</i>	
Предисловие . . . . .	143
Книга первая . . . . .	144
Книга вторая . . . . .	188
Книга третья . . . . .	224
Приписка . . . . .	272
Духи стихий. <i>Перевод А. Горнфельда</i> . . . . .	281
Дополнения к «Духам стихий» (из I и II французских изданий). <i>Перевод А. Горнфельда</i> . . . . .	333
Флорентинские ночи. <i>Перевод Е. Рудневой</i>	
Ночь первая . . . . .	349
Ночь вторая . . . . .	376
Комментарии <i>А. Морозова, Е. Пуриц и Г. Фридендера</i> <sup>1</sup> . . . . .	409

---

<sup>1</sup> *А. Морозовым* написаны комментарии к «Флорентинским ночам», *Е. Пуриц* — комментарии к остальным произведениям, помещенным в настоящем томе, *Г. Фридендером* — все вводные статьи к комментариям.



*Георгий Гейне*  
*Собрание сочинений, т. 6*

*Редактор Г. Бергельсон*  
*Художник Л. Хижинский*  
*Художественный редактор*  
*Л. Чалова*  
*Технический редактор*  
*Л. Крючкина*  
*Корректор Э. Урицкая*

Сдано в набор 14/II 1958 г.

Подписано к печати 15/VII 1958 г.  
Бумага 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 14,75 печ. л. =  
= 24,19 усл. печ. л. 24 уч.-изд. л.  
Тираж 80 000 экз. Заказ № 1400.  
Цена 10 р. 50 к.

Гослитиздат  
Ленинградское отделение  
Ленинград, Невский пр., 28  
Ленинградский Совет  
народного хозяйства  
Управление полиграфической  
промышленности  
Типография № 1 «Печатный  
Двор» имени А. М. Горького.  
Ленинград, Гатчинская, 26